

М
О
С
К
В
А

Москва

8
1973

8
1973

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М. Н. АЛЕКСЕЕВ



РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

В. С. АНДРЕЕВ,
И. Б. БУГАЕВ,
Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,
М. М. ГОДЕНКО (заместитель главного редактора),
М. Н. ГОРБУНОВ (ответственный секретарь),
Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
А. С. ЕЛКИН (заместитель главного редактора),
В. И. КОЧЕТКОВ,
С. А. КРУТИЛИН,
Л. М. ЛЕОНОВ,
Г. А. СЕМЕНИХИН,
С. В. СМИРНОВ,
П. Ф. СУДАКОВ,
В. А. СУРГАНОВ,
В. Д. ШАПОШНИКОВА,
М. А. ШОЛОХОВ

8

1973



ГОД ИЗДАНИЯ СЕМНАДЦАТЫЙ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 121918, МОСКВА, ГСП-2,
АРБАТ, 20. ТЕЛЕФОНЫ: 291-71-10, 291-72-30



УТРО

Гравюра Е. КУЗОВКИНА

МОСКВА СОВЕТСКАЯ

ИЗ ХРОНИКИ

Январь — март. «Над чем будем работать в 1937 году», — рассказывают в «Правде» директор завода «Динамо», инструментальщик Московского велосипедного завода, руководитель Института металлорежущих станков. Каждый из них увлечен богатыми замыслами: созданием более мощных магистральных электровозов, освоением сложных радиусных калибров, оборудованием автоматических линий станков, которые впоследствии начнут выпускать московские заводы «Красный пролетарий» и имени Серго Орджоникидзе.

Московские автомобилестроители, соревнуясь с горьковчанами, обязались в 1937 году выпустить пять тысяч лимузинов. Готовится встреча представителей двух автомобильных гигантов.

Группа стахановцев московского станкозавода имени Серго Орджоникидзе, зарекомендовавшая себя выпуском продукции только отличного качества, впервые получила право сдавать ее без технического контроля. Каждый из этих рабочих получил индивидуальное клеймо, которое он ставит на изготавливаемой продукции.

Москва январским днем 1937 года. В какой бы уголок новой или старой Москвы мы ни заглянули бы, перед нами предстают картины глубоких социальных преобразований.

Писатель Вл. Лидин ведет свой репортаж с площади имени Горького.

«Мы знали историю этих домов по записям старших наших современников, мы помним далекие переписи Хитрова рынка, в которых некоторые из нас участвовали в качестве счетчиков», — рассказывает писатель. — Это было глухой зимней ночью, и перепись была внезапной, как полицейская облава, чтобы не спугнуть обитателей.

Нам хотелось теперь жактовские списки фамилий заполнить образами живых людей, населяющих ныне это бывшее московское «дно»... Так и мы становились свидетелями того, как все больше и больше облагораживается, принимает новый духовный облик один из самых неприглядных уголков старой Москвы: видим стройку новой школы на площади бывшего Хитрова рынка и новые надстроенные этажи на месте взорванного Кулаковского ночлежного дома. Этажи, заселенные рабочими многих московских заводов. Любуемся новым прекрасным домом Военно-инженерной академии имени Куйбышева, что поднялся на месте сада, принадлежавшего владельцу ночлежки Орлову. Радуемся и высокому зданию медицинского техникума...

Позади бывшего Хитрова рынка — надстроенные этажи Первой счетной механизированной фабрики...».

Хронику «Москва советская» ведет литератор Юрий Юров.

Так день за днем преобразается лицо города. Безвозвратно уходит мрачное прошлое Москвы.

Продолжаются встречи гостящего в Москве известного немецкого писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера с советскими читателями. На вечере в большой аудитории Государственного Политехнического музея писателя сердечно приветствуют группа орденосцев-учащихся Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и работники Первого государственного подшипникового завода. Писатели Лев Никулин, Сергей Третьяков, Виктор Финк и другие рассказывают о творческом пути Лиона Фейхтвангера. Заслуженная артистка Е. Н. Гоголева читает отрывок из его романа «Семья Оппенгейм».

Несколькими днями позже Лион Фейхтвангер выступает по радио. «Нужно обладать черствым сердцем, чтобы не испытывать волнения при виде макета, изображающего будущую Москву», — говорит он.

С моделью новой Москвы, о которой он позднее расскажет в своей книге «Москва 1937 года», — этом отчете о поездке в СССР — писатель мог познакомиться в одном из павильонов постоянной строительной выставки на Фрунзенской набережной. Описание этой модели появилось в печати.

«Особенное внимание привлекает огромная рельефная карта Москвы, — сообщает газета. — Правда, Большой театр на карте — меньше спичечной коробки, а мост метро через Москву-реку — не толще спички. Но зато на карте нанесены все здания, улицы и площади столицы. Каждый москвич может найти здесь дом, в котором живет. Нажимается кнопка — и светящаяся линия обозначает границы будущей Москвы. Другая кнопка — и на карте вырисовываются основные магистрали будущего города. Потом освещаются кольца «А», Садовое, Новобульварное, Парковое, улицы, соединяющие вокзалы, Красная площадь... Еще одна кнопка — и перед посетителями вырастает водная система столицы — спрямление Москвы-реки, Клязьминское водохранилище, Южный и Северный порты, канал, Северное кольцо. Виден водный путь, по которому можно будет объехать вокруг Москвы...»

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет партии принимают решения о строительстве третьей очереди московского метрополитена.

Строительство будет осуществляться закрытым способом с проходкой тоннелей щитами и креплением чугунными тубингами. Под рекой Москвой будут сооружаться подводные тоннели.

Спектаклем «Даиси» Тбилисского государственного театра оперы и балета открылась декада грузинского искусства в Москве. Всеволод Вишневский рассказывает на страницах «Правды»:

«...Москва видела прекрасный театр Руставели. Москва не забудет и ритмически легких, полных движения и света фильмов Грузии. Москва встречала блестящих поэтов этой братской республики. Мы рукоплескали Паоло Яшвили и Тициану Табидзе».

В Доме литераторов состоялась встреча грузинских и русских писателей.

«Для нас впервые по-грузински прозвучал Пушкин и по-русски — Руставели, — писал далее Вс. Вишневский. — Николаем Тихонов, только что вернувшийся с Кавказа, читал свои стихи и переводы, и перед аудиторией сверкал могучий горный край...»

Семнадцатый Всероссийский съезд Советов. В повестке дня — проект Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Встреченный овацией, с докладом выступает Михаил Иванович Калинин.

На Московском автомобильном заводе закончено строительство конвейера для массовой сборки лимузинов, с него сходит пятьдесят пять машин в смену. Проектировали конвейер молодые конструкторы и инженеры завода — выпускники советских высших технических учебных заведений.

Еще одно событие в культурной жизни столицы: закончена реставрация дома, в котором жил и работал В. В. Маяковский. Здесь открывается музей. Его директором назначен поэт Н. Н. Асеев. На страницах «Правды» он рассказывает об экспозициях.

«...Оборудованы три кабинета для работы начинающих писателей. В первом этаже будет большая библиотека, рассчитанная на сорок тысяч томов. К дому пристроено новое здание, предназначенное для читальни... Здесь, в читальном зале, будут также проводиться литературные диспуты и доклады.

В музее Маяковского будут собраны многие, ставшие сейчас редкими экспонаты: «Окна РОСТА», плакаты, фотокопии рукописей и рисунков поэта».

В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка произведений выдающегося русского художника Василия Ивановича Сурикова. Четыре зала. Пятьсот работ. «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Покорение Сибири Ермаком», «Меншиков в Березове» экспонированы в сочетании с этюдами и эскизами, позволяющими проследить процесс создания художником его картин. Внимание многочисленных посетителей выставки привлекла только что найденная неизвестная картина Сурикова «Старик на огоде».

Композитор И. И. Дзержинский закончил работу над оперой «Поднятая целина», которая пойдет на сцене Большого театра. С клавиром оперы композитор позна-

комил работников Центрального комитета комсомола и редакции «Комсомольской правды». В прослушивании принимали участие народный артист республики Самосуд, заслуженный артист республики Мордвинов и художник Вильямс.

«Даже в таком лишенном оркестровых и вокальных красок виде опера произвела чрезвычайно сильное впечатление», — сообщается в газетном отчете.

Москва отмечает столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.

Еще за месяц до столетней годовщины со дня гибели поэта была начата работа по реставрации памятника А. С. Пушкину в Москве. Надо было заменить пушкинские стихи на пьедестале памятника, грубо искаженные царской цензурой.

И вот — полдень, 10 февраля. У памятника А. С. Пушкину собрались на митинг двадцать пять тысяч москвичей и гостей столицы. Глазам собравшихся открываются строки в том виде, какими их написал величайший русский поэт:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...

Торжественное заседание в Большом театре открывает председатель Всесоюзного пушкинского комитета А. С. Бубнов. Выступают представители братских республик. От Пушкинского комитета города Ленина слово берет Николай Тихонов. На русском, казахском, каракалпакском, балкарском и украинском языках исполняются пророческая строфа Пушкина.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

Вечер заканчивается исполнением «Интернационала». Поет объединенный хор в сопровождении оркестра Большого театра.

Академия наук СССР провела пушкинскую сессию, Правление Союза советских писателей — пленум. Вечером, посвященным памяти великого поэта, начинается свою деятельность и созданный в Москве Дом актера. Докладчик о творческом пути А. С. Пушкина — В. В. Вересаев. Экспозиции открывшейся Всесоюзной пушкинской выставки занимают семнадцать больших залов Исторического музея. При входе начертаны слова Максима Горького: «Пушкин для русской литературы такая же величина, как Леонардо да Винчи для европейского искусства».

Имя Пушкина присваивается музею Изобразительных искусств.

Партию и народ постигла тяжелая потеря: не стало Серго Орджоникидзе. Трудящиеся столицы приходят прощаться с ним в Колонный зал Дома союзов, провожают его в последний путь. На Красной площади проходит многолюдный митинг.

На очередном заседании Президиума ЦИК СССР — вручение орденов и медалей

ста пятидесяти награжденным. Председательствующий называет имя поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача. Принимая орден Трудового Красного Знамени, он обращается к Президиуму ЦИК с речью — стихами.

Правительственная комиссия приняла новое задание, а также оборудование для Института физических проблем в Москве. «Правда» информирует об этом читателей: «...Демонстрировались импульсный генератор, создающий чрезвычайно сильные магнитные поля, установки для получения жидкого водорода и жидкого гелия. Впервые был приведен в действие смонтированный гелиевый ожигатель, сконструированный профессором П. Л. Капица. В присутствии членов правительственной комиссии был получен первый жидкий гелий».

Закончено строительство второй очереди Арбатского радиуса метро — от Смоленской площади до Киевского вокзала. Предмет особого восхищения — архитектурное оформление станции «Киевская». Газета «За индустриализацию» публикует очерк Татьяны Тэсс.

«Мы видим не обычный потолок станции, а нечто сияющее, переливающееся, — рассказывает писательница, — все в углублениях, полных яркого света, нечто воздушное и красивое. Два ряда колонн убегают вперед. Последняя колонна видна очень далеко».

Эта станция просторна и длинна. Колонны выложены теплым прозрачным камнем желтых тонов, как бы запомнившим на всю жизнь солнце и сохранившим его под землей... Мы попадаем в мраморный зал. Немногие из нас знали до сих пор, как живописен и красочен может быть мрамор...»

«Без руки, да еще правой, я не нужен ни себе, ни вам. Мне дали двухнедельный отпуск, я уеду в СССР, и там мне вернут руку...»

Так сказал своим фронтовым товарищам тяжелораненный на поле боя молодой командир республиканской армии Испании, гранатометчик Ромоно Диестро.

На родине врачи видели исход сложного перелома руки только в ее ампутации. В Москве Ромоно Диестро оперировал у себя в клинике Николай Нилович Бурденко. Сложнейшая операция увенчалась полным успехом.

«Комсомольская правда» публикует письмо исцеленного героя своему спасителю:

«В госпитале я сказал самому себе, что если и существует в мире наука, которая может спасти меня, то адрес ее только один — СССР. Я приехал сюда и счастлив — нет слов вам рассказать, как счастлив, что не ошибся в этом адресе... Я не забуду вас, товарищ профессор Бурденко...»

В залах Третьяковской галереи открылась выставка народного творчества. Экспонируются многочисленные изделия из дерева, кости, папье-маше.

Апрель — июнь. Два сталевара первого класса. Оба — молодой Геннадий Черепанов и ветеран отечественной металлургии Иван Лысаков — трудятся в мартеновском цехе московского завода «Серп и молот». Их связывает крепкая дружба, творческая взаимопомощь в социалистическом соревновании. В апрельском номере журнала «Стахановец» помещен очерк, рисующий эпизоды дружбы металлургов двух поколений.

«Черепанов, который учится в Металлургическом институте, собирается стать инженером, чаще приходит к Лысакову с новостями,— говорится в очерке.— Но бывает нередко, что Иван Константинович бежит к своему молодому другу».

Геннадию Черепанову принадлежит честь освоения новой марки стали и сокращения сроков выплавки этого металла на три с лишним часа. Лысаков своим богатым производственным опытом существенно дополняет новаторство молодого друга.

Начато строительство телевизионного центра на Шаболовке. В нем будут две студии. Планируемая мощность студии пока скромная: радиус ее действия — двадцать пять — сорок километров. Смотреть передачи смогут жители Москвы и ее окрестностей.

На одном из московских заводов создана карта Советского Союза из драгоценных камней и самоцветов. «По отзывам всех видевших ее, карта является шедевром мозаичного искусства, прекрасным показателем великолепных качеств советских гранильщиков, ювелиров, граверов, географов и художников,— пишет «Рабочая Москва».

Первая флотилия канала Москва — Волга держит курс к столице. Утром 2 мая на Северном речном вокзале собрались тысячи москвичей. На борту теплохода-флагмана флотилии — цвет рабочего класса столицы. Для воздушного салюта поднялись в воздух планеры и самолеты Центрального аэроклуба СССР имени Александра Косарева. Прибытие первой флотилии канала из пробного рейса было ознаменовано митингом.

Соединение Москвы с Волгой стало явью.

Москва на Всемирной выставке в Париже. Советский павильон украшает огромная скульптурная группа скульптора В. И. Мухиной — в едином порыве стремящиеся вперед рабочий и колхозница. В поднятых руках они несут эмблему Советского Союза — серп и молот. Изготовлена

скульптурная группа из нержавеющей стали, выплавленной на московском заводе «Серп и молот».

В пятом зале советского павильона экспонируется макет Московского автомобильного завода после его грандиозной реконструкции, выполненный под руководством архитектора В. А. Веснина. Выставлены и лимузины, выпускаемые московскими автомобилестроителями. На выставке экспонируется рельефная электрифицированная карта трассы канала Москва — Волга. Видно, как волжская вода поступает в огромный бассейн, образуя «Московское море». Наглядно изображен процесс шлюзования. Посетители советского павильона могут также мысленно совершить путешествие по трассам московского метрополитена.

Любовно оформленная полиграфистами «Красного пролетария» книга «Конституция СССР» была удостоена на этой выставке высшей награды — «Гран-при».

Создана полярная научная станция «Северный полюс». Четверка полярников — Иван Дмитриевич Паганин, Эрнст Теодорович Кренкель, Петр Петрович Шишов, Евгений Константинович Федоров остаются для ведения научной работы в ледовом лагере. Отважные завоеватели Северного полюса во главе с начальником экспедиции Отто Юльевичем Шмидтом возвращаются в Москву. Их горячо приветствуют тысячи и тысячи москвичей, собравшихся на аэродроме, на Ленинградском шоссе, на улицах города. Над столицей появляются самолеты, предводительствуемые флагманским кораблем «СССР — Н-170» под управлением Героя Советского Союза М. В. Водопьянова.

Город ликует. Героям рукоплещет вся страна, все прогрессивное человечество...

Общественность столицы оказала радужное гостеприимство участникам декады узбекского искусства в Москве. Выступления артистов музыкального театра, ансамблей Государственной филармонии Узбекистана пользовались неизменным успехом у зрителей. Заключительный концерт в Большом театре вылился в красочный праздник. Всех покорила замечательная танцовщица, народная артистка Узбекской ССР Тамара Ханум.

На первый Всесоюзный съезд советских архитекторов прибыли и зарубежные зодчие из Франции, Чехословакии, Швеции, Норвегии, Дании, США, Бельгии. Закономерный интерес делегатов и гостей вызывают доклады об осуществлении плана реконструкции Москвы. Впереди большая работа по окончательной детализации планировки и застройки города.

Беспосадочный перелет из Москвы в Северную Америку осуществляют Герои Советского Союза Чкалов, Байдуков и Беляков. Самолет «АНТ-25» берет старт со

Щелковского аэродрома на рассвете 18 июня.

Рабочий одного из столичных заводов Павел Никитич Ручкин, участвовавший в сборке мотора для самолета «АНТ-25», уверенно сказал: «За мотор я ручаюсь, а за остальное ручаются другие советские рабочие».

Июль — сентябрь. У семи тысяч юных москвичей остались позади школьные годы. Выпускники собираются на свой праздник в саду «Эрмитаж». Со вступлением на большую жизненную дорогу «именников» поздравляют президент Академии наук СССР В. Л. Комаров, народный комиссар по просвещению А. С. Бубнов, секретари московского городского и областного комитетов комсомола.

Четвертой сессии ЦИК СССР предстоит выполнить почетную и ответственную миссию — обсудить и утвердить избирательный закон социалистического государства. Открывает сессию Михаил Иванович Калинин. Три дня продолжается всестороннее рассмотрение документа, определяющего порядок выборов в Верховный Совет СССР по новой советской Конституции. Принимается он единодушно.

Москвичи на своих митингах с воодушевлением одобряют «Положение о выборах в Верховный Совет СССР». Советский избирательный закон — твердая гарантия проведения подлинно народных выборов в Советы.

Советская музыкальная школа одержала блистательную победу на Международном конкурсе скрипачей имени Изаи в Брюсселе. Среди лауреатов конкурса Давид Ойстрах. «Рабочая Москва» сообщает, что кроме диплома он получил также еще один ценный подарок — собственноручный манускрипт покойного Эжена Изаи. Подпись на рукописи гласит, что этот документ передан семьей Изаи советскому лауреату Давиду Ойстраху, завоевавшему на конкурсе первое место.

Новый воздушный мост перебрасывают из Москвы в Северную Америку Герой Советского Союза М. М. Громов — командир экипажа, майор А. Б. Юмашов — второй пилот, военинженер 3-го ранга С. А. Данилин — штурман. Завоеван мировой рекорд дальности беспосадочного перелета по прямой.

Кстати, радиооборудование самолета было создано на Московском радиозаводе. Оно обеспечило бесперебойную связь легендарных летчиков с нашей страной и Америкой.

Решением правительства и Центрального Комитета партии установлен срок начала эксплуатации канала Москва—Волга: 15 июля 1937 года. Экономическое значение новой водной магистрали огромно. По ка-

налу в Москву пойдет нефть из Баку, рыба — из Астрахани, хлеб — из Поволжья, машины и станки — с заводов Урала. Благодаря каналу водный путь от Москвы до Ленинграда сокращается на тысячу сто километров, от Москвы до Горького — на сто десять километров.

В Большом театре СССР проходит торжественное заседание Моссовета совместно с партийными и общественными организациями столицы. Строителей канала приветствуют делегаты московских предприятий. Ораторы подчеркивают, что старая Москва безвозвратно уходит в прошлое. Рождается новая, социалистическая Москва.

В Московской Государственной консерватории открылась выставка «Минеральные богатства СССР». Карта красочно иллюстрирует работу советских геологических экспедиций и показывает месторождения минералов, разведенных за годы Советской власти. В витринах — образцы каменного угля, железа и руды, меди, олова, мрамора, гипса, калийных солей... Внимание многочисленных посетителей привлекают шлифованные куски яшмы, ляписа-лазури и нефрита, самородки золота, платины, образцы редких металлов. Выставка приурочена к торжественному открытию Семнадцатой сессии Международного геологического конгресса, на который прибыли представители пятидесяти стран.

После президента Академии наук СССР академика В. Л. Комарова выступает старейший геолог, глава советской гравительственной делегации на конгрессе академик В. А. Обручев. Свою речь он посвящает памяти основоположника советской геологии Александра Петровича Карпинского.

В докладе о мировых запасах нефти академик И. М. Губкин сообщил: подсчеты запасов нефти в земных недрах, проведенные советскими учеными по разработанному ими новому методу, свидетельствуют, что на первом месте в мире по нефтяным богатствам стоит СССР. На втором — США.

В Москве еще один вокзал — речной. Он сооружен в Южном порту Москвы-реки, напротив автомобильного завода. Ежедневно от причалов этого порта отправляются пароходы на Уфу и Горький.

В столицу возвращаются трое отважных сынов социалистической родины — Чкалов, Байдуков и Беляков. Они пробыли в Америке больше месяца. Встреча на Белорусском вокзале. Десятки тысяч людей собрались на площади.

— Здравствуй, родная страна! Здравствуй, родная Москва! — начинает свое выступление на митинге Валерий Павлович Чкалов. — Мы очень счастливы и горды тем, что нам первым пришлось проложить новый маршрут, который лежал через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки...

С вокзала герои-летчики в машинах,

утопающих в цветах, направляются в Кремль. На всем пути от Белорусского вокзала до Кремля выстроились сотни тысяч людей.

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца героев принимают члены Центрального Комитета партии и правительства Союза ССР.

Августовские номера столичных газет информируют читателей о техническом прогрессе на московских предприятиях, о совершенствовании технологического процесса. Машиностроительный завод имени Калинина запустил в серийное производство новые модели насосов двойного всасывания для снабжения водой городов, строительства и предприятий. Мраморный завод Метростроя располагает единственной в стране камнеобрабатывающей машиной. Из белого уральского камня она делает колонны для станций второй очереди метро. Метрострой имеет и свой собственный большой комбинат отделочных работ.

«Человек с ружьем». Пьесу драматурга Николая Погодина к близящейся двадцатой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции готовит театр имени Вахтангова. 20 августа актеры, занятые в юбилейном спектакле, посещают Центральный музей В. И. Ленина.

Газета «Советское искусство» рассказывает читателям, с каким чувством ответственности изучает реликвии и документы народный артист СССР Б. В. Шукин, которому поручена в спектакле роль В. И. Ленина. Артист подолгу останавливался около скульптур, изображающих В. И. Ленина. Его внимание особенно привлекла работа покойного скульптора Н. Андреева. В большом кинозале музея вместе со всеми вахтанговцами актер просмотрел на экране уникальные кинокадры, запечатлевшие В. И. Ленина.

После демонстрации фильма Б. В. Шукин сказал: «Особенно хороши кадры — Ленин в Кремле. Хорошо бы нашему театру получить всю ленту ленинского фильма...»

Белорусский вокзал в Москве снова осаждают тысячи москвичей. Поезд доставляет в столицу второй богатырский экипаж — Громова, Юмашева и Данилина, совершивший перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка. Встреча героев вылилась в большое народное торжество.

Ярославское шоссе соединено с Первой Мещанской улицей (ныне Проспект Мира). Осуществлено это посредством Крестовских путепроводов, построенных над полотном Октябрьской железной дороги: один — длиной в сто тридцать два метра, другой — в тридцать восемь. Ширина их — сорок мет-

ров. Таким образом, возник великолепный мост-проспект, первый из десяти мостов, строящихся по плану реконструкции Москвы.

Сентябрь в Москве начинается Пятым советским театральным фестивалем. Премьера — в Большом театре СССР. Выступают мастера национального искусства — русские, украинские, грузинские, узбекские, а также коллективы ансамблей других братских республик.

«Великолепный парад, — описывает открытие театрального фестиваля Юрий Олеша в газете «Советское искусство». — Рядом со мной сидел приехавший на фестиваль французский журналист. Человек из Европы! Иногда он потирал лоб. Морщился. Народное искусство на сцене столичного театра — это было трудно осмыслить.

Человек из Европы! Что он видел прежде, чем оказался у нас? Марширующий Берлин или итальянских солдат, толпящихся на пристани испанского города после выгрузки с пиратского корабля?»

Десять дней длится смотр достижений советского театра за два десятилетия Советской власти. Заканчивается он оперой М. Глинки «Руслан и Людмила» в Большом театре СССР.

Вторая Всесоюзная конференция по изучению физики атомного ядра. Доклады и сообщения показывают, как далеко шагнула вперед отечественная наука в этой области за последние годы. Выделяются научные работы профессора Скобельцына и его коллег, создавших мощную электростатическую установку. С ее помощью можно осуществить расщепление атомного ядра.

Октябрь — декабрь. Состоялся очередной Пленум Центрального Комитета партии. Рассмотрены вопросы предстоящей избирательной кампании по выборам в Верховный Совет СССР. Приняты соответствующие решения.

День выборов в советский парламент назначен постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР на 12 декабря 1937 года. Как и предусмотрено «Положением о выборах в Верховный Совет СССР», избирательная кампания начинается за два месяца до дня выборов.

В Москве создано тринадцать избирательных округов. Развертывают свою работу несколько тысяч избирательных участков. Москвичи пошлют в Верховный Совет четырнадцать депутатов: тринадцать в Совет Союза и одного в Совет Национальностей.

Избирательная кампания принимает все более широкий размах, вовлекает в общественную жизнь страны все новые и новые массы трудящихся столицы. Этой цели служит открывшаяся в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького выставка, посвященная Конституции СССР.

Близится большой праздник — двадцатилетие советского социалистического государства. На башнях Кремля скоро засияют обновленные, теперь уже рубиновые звезды. На Спасской башне реставрированы часы, представляющие собой большую историческую ценность. Полным ходом завершаются последние работы на Москворецком мосту, по которому пройдут многотысячные колонны демонстрантов.

Автомостраль, проложенная по Воробьевым (ныне — Ленинским) горам, соединила Киевский вокзал с Ленинским районом и центр города — с новой юго-западной территорией Москвы. Газеты отмечают, что дорога свяжет выходы автомагистралей Москва — Минск и Москва — Киев, будет способствовать развитию находящихся здесь спортивных баз и учреждений Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Обнов у столицы к двадцатилетию Октября больше, чем когда-либо. Одних только новых многоэтажных жилых домов — пятьдесят. Выросло прекрасное здание Военной академии имени Фрунзе, освобождается от строительных лесов здание театра Красной Армии на площади Коммуны. Преобразилось Садовое кольцо на участке площадь Восстания — Крымская площадь. Покрылись асфальтом Большая Ордынка и площадь Дорогомиловской заставы. Подземные поезда метро начнут свой бег по Покровскому радиусу. Протянулись в Москве десятки километров новых крупных водопроводных магистралей. Появились новые корпуса школ, детских яслей, больниц.

Накануне праздника в Москве открывается новый музей — А. М. Горького. В одиннадцати просторных залах широко и многогранно представлен творческий путь, общественно-политическая и литературно-воспитательная работа великого пролетарского писателя. Вот запись, оставленная народным артистом СССР В. И. Немировичем-Данченко: «С чувством огромной благодарности ко всем работавшим над этим великолепным памятником Горькому, осматриваю я музей и в душе возникают все жгучие, радостные, тревожные и печальные воспоминания о близости к великому человеку и писателю».

В центре столицы появилось новое здание Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Она рассчитана на хранение двенадцати миллионов томов. Завершена и реконструкция Центрального Дома культуры железнодорожников, ставшего ныне одним из прекрасных очагов отдыха и духовного развития москвичей. Реставрирован крупнейший памятник русского национального зодчества — собор Василия Блаженного на Красной площади. Празднично иллюминированы улицы и площади столицы.

На торжественном заседании пленума

Моссовета с участием центральных и московских партийных, советских и профессиональных организаций иностранные рабочие делегации, приехавшие на торжества, приветствуют стахановцев и ударников столицы. По окончании торжественной части пленума демонстрируется новый звуковой фильм «Ленин в Октябре». Созданная на киностудии «Мосфильм» юбилейная картина сразу же завоевала сердца миллионов зрителей.

Впечатляют и юбилейные спектакли московских театров: «На берегу Невы» К. Тренева с Малом театре, «Человек с ружьем» Н. Погодина в театре имени Вахтангова, «Правда» А. Корнейчука в театре Революции. Все они отражают октябрьский штурм капитализма, первые дни новой социалистической эпохи.

Парад и демонстрация на Красной площади красочны и мощны. Проходят вооруженные рабочие Москвы во главе с красногвардейцами — участниками исторических битв 1917 года. Воздух стонет от рева трехсот скоростных самолетов. Величественно проплывает над Красной площадью легендарный самолет Героя Советского Союза М. Громова. Воздушный парад завершается пролетом штурмовой авиационной бригады Военно-воздушной академии, мастерски вычертившей своими машинами на небе — XX СССР.

В разгаре избирательная кампания по выборам в Верховный Совет СССР. Пятьдесят тысяч агитаторов московской партийной организации ежедневно ведут массово-разъяснительную работу среди избирателей столицы. Пятая часть этой армии — беспартийные. Грандиозные предвыборные митинги проходят в избирательных округах столицы. Перед избирателями выступают кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР.

12 декабря москвичи с самого утра являются к избирательным урнам и отдают свои голоса за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных.

Публикуется сообщение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов в Верховный Совет СССР. Среди избранных москвичей мы встречаем имена фрезеровщика И. Гудова, президента Академии наук СССР В. Комарова, метроостроевца Т. Федоровой, учительницы О. Леоновой, машиниста В. Кабанова, народного артиста И. Москвина и других заслуженных людей столицы.

Уходит год. Московская промышленность завершает его досрочным выполнением пятилетнего плана. Трудовую вахту у мартеновской печи номер четыре завода «Серп и молот» несет в канун нового года сталевар Никита Дронников. Он один выплавил в 1937 году двенадцать тысяч тонн стали.

На пашне

РАССКАЗ ТРАКТОРИСТА

— А я, когда пашу, пою!
Особенно в часы рассвета...
И очень —
вкупе и за это —
люблю профессию свою!

Да, не артист я, не поэт...
Но почему не грянуть, если
есть настроение для песни
и... этот... аккомпанемент!

Люблю ямщицкие орать,
захлебываясь от простора:
они на музыку мотора
ложатся лучше, так сказать...

Как грянешь:
«Степь да степь кругом...»,
Польется песнь легко и просто,
и вдруг... И вдруг напомнит остро
тебе о времени другом.

О том безрадостном, о том,
когда твой дед—не то что прадед—
еще лошадкой в поле правил,
вовсю орудуя кнутом.

Под небом —
от холма к холму —
мир не казался деду тесен...
И все же было не до песен
на узкой пашенке ему.

А предо мной — такой простор!
А надо мной — такое небо!..
И «Будем с хлебом, будем с хлебом!»
твердит мне яростный мотор.

Плыву я — желтая стерня
сверкает слева от меня,
и правлю по стерне я.
А справа —
эку красоту
творю я! —
пашня, пласт к пласту,
раскинулась, чернея.

Она парит, как тот пирог,
что только вынут и разрезан...
И не бензином и железом —
землею пахнет ветерок.

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

КОСТЕР

Просторно и вольготно лес возрос.
 Но диво:
 под его зеленой шапкой
 безрадостно и вроде даже зябко,
 как в доме,

предназначенном на снос.

А жизнь и тут, хотя не бьет ключом,
 а все ж — идет...
 С чего же так?
 А просто
 с того, что нет совсем в лесу
 подроста,
 и лес — я это знаю — обречен.

Вот свежие виднеются пеньки
 (а пень ведь — это дерева могила).

А вон лежит сосна — она погибла
 в грозу —
 идут к ней с топорами мужики.

Летит сорока — аж за полверсты
 видать ее: лес реже год от года...
 Вот так и вымрет хвойная порода
 дерев. И в землю вцепятся кусты.

Осинник да ольшаник, поглядишь,
 всю вырубку покроют, как короста...
 А ты,—
 ах, бор сосновый без подроста!
 Ты все шумишь...
 Ты сам себе шумишь.



— Ты что это, Неонила Карповна, заслабла?.. Или соринка в глаз попала?.. Не годится слабость показывать при встрече! Не годится...

Высокий, заметно сутулый человек в распахнутой белой сорочке, без галстука, в лайковых сапогах, припорошенных мелким песочком здешних троп, смуглый от загара, седой, с реденьким прозрачным зачесом почти белых волос, неловко трогал за плечи уткнувшуюся ему в грудь старуху.

— С радости это у меня, касатик! С радости сомлела! — шептала, глотая слова, Карповна, часто моргая.

В темном приношенном платке, не по летней поре надвинутом на глаза, в шитой клетчатой кофте с длинным рукавом, она прижималась щекой к широкой груди гостя, украдкой заглядывала ему в лицо: «Он или не он?.. Вот будет шутка, если обозналась?» Что-то знакомое, но очень дальнее, смутное, как августовский громбк за рекой, слышалось в низком баске пришедшего:

— Горевать, вроде, не о чем пока, а с радости люди не плачут!.. Смеются с радости да водку пьют!

Карповна, наконец, отняла лицо от ослепительно-белой, непривычно скользкой, поблескивающей на солнце сорочки гостя и, вылавливая уголкем платка в морщинах редкие слезинки, призналась, улыбаясь темным, почти беззубым ртом:

— А я вот, дурочка, разревелась! Дай же я тебя, касатик, получше разгляжу-налюбуюсь.

Она чуть отшагнула назад, не шаг даже, меньше, подслеповато уставилась на мужчину, подперев рукой согнутую в локте руку, и все покачивала головой, будто в сомнении. Карповна не могла бы сейчас назвать фамилии этого человека, но, едва взглянув ему в лицо, признала своего. Запомнился куцый и широкий, не мужской нос и темная раздавленная родинка под левым глазом.

— Ведь это ты лежал в левом дальнем углу землянки, рядом с Никитой Егоровым, минером? Вас еще землицей присыпало, когда бомба с самолета упала?

НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

РАССКАЗ

П р о з а

— Какое там присыпало! Еле откопали! — сказал мужчина, снимая с руки пиджак. Он положил пиджак на небольшой дорожный чемоданчик, опущенный у ног.

Став по стойке смирно, отрапортовал:

— Товарищ партизанский хлебопекарь Неонила Карповна Шерстобитова! Бывший пулеметчик четвертой партизанской бригады имени Щорса, сейчас генерал-майор в отставке Иван Рязанов прибыл к вам для личного свидания!..

Карповна всплеснула руками, охнула и снова ткнулась лицом в грудь пришедшего:

— Рязанов! Ваня Рязанов!.. Я так и подумала — Рязанов это! А сказывали... — Она не договорила, вдруг омрачившись, пугаясь непродуманной мысли. — Ну, заходи, заходи, Ваня, в дом... Ты уж меня прости, старую, что я не по-городскому встречаю, не как генерала... А признаться по совести, не довелось и видеть живого генерала. Первый ты ко мне в таком чине заявился... Прямо не верится, вот оказия!

Они поднялись на крыльцо. Рязанов огляделся. Все здесь ему, прожившему долгие годы в иной обстановке, изрядно подзабытому деревеньку Посух, куда не однажды ходил в разведку, сейчас было непривычно и даже незнакомо. Бревенчатый дом Шерстобитовых запомнился Рязанову крепким, свежим и высоким. Может, потому выделялся так этот дом на свороте от реки, что выше остальных поднималась над ним красная кирпичная труба. Сейчас дом осел, срубленные в лапу углы потемнели, выкрошились. От всего дома веяло ветхостью, как и от хозяйки. Карповна будто чувствовала это, угадывала мысли гостя. С виноватым видом застигнутой врасплох нерадивой хозяйки она шныряла по избе, хваталась за что попало, приговаривая:

— Ты уж извини меня, Ванюша... Не обессудь старую...

Рязанов присел на лавку у стола, огладил повлажневшую от летней жары и волнения прическу. Вспыхнувшая на лице Рязанова еще на подходе к околице Посуха улыбка не гасла теперь, словно ее подогревали изнутри. Подняв улыбающееся, широкое в улыбке лицо, гость смотрел на матицу потолка, затем в уголок над печью, повел глазом на кусок стены у входа, утыканный крупными потемневшими гвоздями. И только когда мятущаяся Карповна, пытаясь навести порядок в доме, сорвала с края посудной полки клочок травы, издали смахивающий на паутину, Рязанов перестал улыбаться, глаза его насторожились, выразили испуг.

— Да ладно тебе, Неонила Карповна! Перестань бегать, день еще не кончается... Посиди со мной, присядь.

Карповна, хрустя сухой травкой, поглядывая, куда бы ее сунуть подалее с глаз Рязанова, подошла, опустилась на лавку. Рязанов протянул руку:

— Что это у тебя? Дай-ка посмотреть.

Карповна смутилась, неохотно отдавая сломанные шершавые и почти безлистые стеблинки:

— Я уже и не разберу толком... Мятлик небось. По запаху точно он, но может, и другая какая травка. — Попеняла себе, вздохнув: — Все собираюсь обелить избу, выгresti сор из закутков, да недосуг... И упасть боюсь ненароком с табуретки. А внуки редко навещают, редко.

Она принялась вспоминать внуков, называя их поименно, сбиваясь: от Егора Виктор средний или от Петра младший? Закончила восклицанием, что Валера, который учится в городе по технической специальности и приезжает напилить дров, но больше насаета по берегу речки с удочкой, не внук ей, а правнук, сынов внук... Егорова сына первенец...

— Зажилась я на белом свете, надоела всем! — пришла к неожиданному выводу Карповна. — Вот и ты небось не верил уже, что жива... Не верил же, скажи по правде?

Рязанову было трудно признаться в этом, но и врать уважаемому человеку он не решался. Смущаясь такой прямоотой разговора, он молчал, больше слушал, заново привыкал к дорогому для него голосу партизанской кормилицы Карповны.

— Годы никого не щадят! — вздохнул Рязанов, тронув рукой редкую прическу, словно пожаловался. Но Карповна поняла эти слова по своему.

Эту женщину и в памятные Рязанову времена, около тридцати лет тому назад, отличал от других партизанок возраст. Заматерелые в боях лесные жители ее и тогда называли мамашей. Она воспринимала это как должное. Она и сейчас отнеслась без обиды к словам Рязанова о возрасте, она гордилась своей древностью, живучестью.

Все считают, что Карповны нет в живых, что ей давно пора, а она все бегаёт, хлопочет, молодым на удивление, ровесникам на зависть. Не только по земле ходит, небо коптит в одиночку, в надобности другим оказывается. И не одним своим, кто любит подчас из-за родства, по обязанности, но и дальним, совсем вроде бы чужим... Нет-нет да и спросят обо мне, окликнут ненароком, сами заговорят у крыльца или с кем из знакомых привет перекажут... Помнят люди, помнят!..

Многое и сама она помнила. Путала — не без того! — фамилии госпитальных, иных называла лишь по именам, больше — по военной профессии:

— Минер Василий, высокий такой, в рыжих сапогах фрицевских?.. Кланька из Волоховки, что за коровами ухаживала? Ента самая, черненькая, что на аппарате в Москву передавала, не вспомню, как ее...

— Нина Кандыбина, десантница, — не сразу подсказывал Рязанов. Иногда он и сам с трудом припоминал фамилии соратников по войне за линией фронта.

Темноволосую, со строгим и ясным взглядом радистку Кандыбину он хорошо помнил, не мог забыть, не хотел забывать. Это из-за нее, еще не прибывшей в отряд, лишь известившей о скором вылете с Большой земли, они с Василием Рязских схлопотали по выговору, а Рязских схватил перед тем осколочное ранение в лопатку. Вместе с минером Иван Рязанов решился на дерзкую и глупую притом вылазку: добыть у оккупантов для московской радистки простыню... С эдаким шиком хотели встретить первую гостью.

«Мамаше», испекавшей для партизан хлеб, не обязательно было поминать, где и как получали бойцы ранения, не полагалось проявлять излишнего любопытства хотя бы потому, что военный объект ее размещался не на партизанском стане, а в самом что ни на есть логове карателей, в поселке Посух, со штабом. Дом Шерстобитовых выделялся на фоне летней зелени, и тем более среди зимних сугробов красным цветом трубы, похожей на флаг. Бог знает откуда привез покойный Демьян, умерший еще до войны, кирпича такого цвета и закалки. Кирпича не достало на всю печь, хватило лишь до печурок, а там Демьян перестал класть из привозного, выложив красным своды печи и под. Изощрялся все-таки блеклым, здешним, оставшимся от прежней печи. И лишь под конец вспомнил о кучечке красного, когда вел трубу через чердак...

— Труба — не карош! — морщился всякий раз лейтенант Фогель, приближаясь к околице поселка и тыча рукой в сторону дома Шерстобитовых. — Труба — есть уникам ориентир... партизан!

Из лесу иногда постреливал вдоль улицы единственный миномет, и бережливый офицер этот, полагавший, что минометчики охотятся за его персоной, перенес штаб-квартиру на другой край поселка, подальше от красной трубы, из которой вдобавок чаще, чем из иных сооружений такого типа, валил пахучий дымок. Однажды Фогель ввергся в дом Нонины Карповны так неожиданно, рывком взбежал на крыльцо, словно

с обыском пришел. Что уж ему понадобилось в доме пожилой женщины? Может, пришел распорядиться насчет завтрашних работ в поле, но, вдохнув ароматного запаха, заполонившего дом и сенцы, Фогель остановился у порога, округлив глаза и рот:

— О-о!.. Прима!.. Уникум!

Фогель знал полтора десятка русских слов. Этого запаса ему не хватало, чтобы расспросить, почему так пахнут, так щекочут ноздри темные круглые буханки, разложенные на длинном полотенце вдоль стены. Лейтенант тыкал пальцем в буханки, произнося с различными оттенками одно и то же:

— Клеп?.. То есть клеп?

Неонила Карповна онемела, не знала, что немцу от нее нужно, как отвечать. Она только что сняла с пода, застланного капустным листом, всю выпечку, восемь буханок. Пять успела опустить в подпол, вернула там в редюжки, притрусила сверху соломой. Три оставшиеся, не лучшие — подскребушки, лежали на лавке, источая дразнящий дух. Они были коричневыми, из ржаной муки, разбавленной мятой картошкой. Сдабривать пришлось отваром из листьев мятлика лесного, кашки клеверной белой и медуницы... Смесь трав, душистый букет запахов в хлебе был фамильным секретом Шерстобитовых, тайной, которую Неонила Карповна готова была беречь от чужих глаз с такой же непреклонностью, как если бы ей пришлось отвечать на вопрос, кому предназначался хлеб. И темного хлеба, что твой отвал земли от лемеха, напичканного толчеными листьями, лебедой, ничем не пахнущего, немного, будто камень, в поселке ни у кого не имелось... А тут целых три буханки!.. На одну-то старуху в доме!

Но Фогель, решительно жестикулируя, хватая воздух ноздрями, прищелкивая языком, требовал от хозяйки дома не объяснения, кому пойдет хлеб, а чего-то иного.

— Ворум зи ист никс вайс? Дас шварц клеп?

Он выкрикивал еще и еще что-то, заглядывая в опустевшую печь. В потоке незнакомых слов мелькнуло одно, слышанное раньше от фельдшерицы Леонтьевны: «...рецепт». Карповна облегченно вздохнула. Она принесла из кладовки небольшую дежку с остатками теста, на глазах у немца истолкла сбереженные в чугушке две картофелины, сорвала с потолка пучок блеклой травы, какой под руки попался, опустила в ступу... Через минуту горстка месива из муки, травы и картошки лежала на краю стола перед Фогелем. Лейтенант насупился, ткнул пальцем в тесто, затем понюхал поочередно сырой хлеб и испеченный, проговорил уличающе-грозно:

— Но, но! То есть уникам!..— Он кивнул на остывающие буханки.— А то,— указал на тесто,— шайзе... Тьфу!

— Пан! — разъяснила Неонила Карповна.— Тесто надо в печь, на огонь...

Она развела руками, дивясь непонятливости коменданта. Фогель метнулся к двери. Он унес обиду на хозяйку и полбуханки пахучего чуда. Вскоре прибежал староста Ефим Кулагин. Притворив дверь, кутая заросшее лицо в воротник полушубка, Кулагин тревожно сказал:

— Велено спросить, не сможешь ли ты, Нила, печь ему такой же пахучий хлеб, только из белой муки?

— Белены бы ему в корм, проклятому! — сорвалось у Карповны.

Кулагин тут же остепенил пекарку:

— И не подумай, Нила, если придется-таки печь!.. Ты мне своим норовом все дело со снабжением партизан из-за одного офицеришки спортишь... Фогеля я приберу и сам, когда время подоспеет. Говори толком, берешься или нет? Какая бы ни была приправа, хлеб должен оставаться белым! Уразумела?

— Как велишь...

— Приказывать не смею,— рассудил озабоченный Кулагин, теребя редкую сваявшуюся бороденку.— Угодишь — не отвяжется, еще и стражу к дому приставит. Не потрафишь — трубу снесет со злости, а то и выпороть прикажет.

Карповна усмехнулась лукаво:

— Я цветов щерицы болотной подбавлю и мяты немного...

— Что будет? — пожелал уточнений староста.

— Разродится не сразу, когда приспичит, только и беды! — с досадой ответствовала Шерстобитова.— Подружка моя, Настька, своего свекра-кобелягу так казнила. По три часа в отхожем месте просиживал, не знал с чего.

— Ха-ха-ха! — запрокинув голову, тряс бороденкой Кулагин.— Ну и бабы! Откуда и беды ждать мужику — не узнаешь.

Хлеб домашней выпечки Фогелю приглянулся. Угощал деревенским трофеем гебитс-комиссара Вольке, хвастался привезти в фатерлянд русиш рецепт пахучего хлеба. Вскоре, однако, занемог, простудившись в неутепленном русском клозете... На место Фогеля прислали штурмфюрера Фишмана, еще более лютого и осторожного, предпочитавшего еду германского производства всяким русским сдобам. Кто-то из посухцев догляделся: на аккуратном, упакованном в промасленную бумагу батоне Фишмана, каменно-неприступном снаружи и сыпучем, как спрессованные опилки, внутри, стоит дата выпечки: «1934». Хлеб тот готовился оккупантами впрок, задолго до начала войны, как готовились снаряды. «Подумать только! — рассуждали в поселке.— Фашисты едят хлеб десятилетней давности. А из нынешней русской муки пекут небось для новой войны... Сколько же им воевать?..»

Не перенесла Карповна таких разговоров о диковинном немецком хлебе, пошла к денщику комендантову, выменяла за три яйца кусочек германского припаса. Денщик Янгель отпилил для нее от квадратного батона длинным ножом с зубцами — простой нож не брал... Отколупнула кусочек, растерла между пальцами, понюхала, в рот положила... Тут же выплюнула, ругая себя за любопытство:

— Чем такую шайзу есть, лучше нашей клеверицей с толченой пшеницей... Одним духом, знамо дело, сыт не будешь, но продержаться можно долго!.. Не выиграют немцы войны на своем хлебе, а наш им поперек горла уже стал!

Посмеялся Ефим у Карповны, а в глазах тоска-грусть. Давно его смеху в поселке не слышали. И ходит — голова вниз, и говорит насыпясь, будто не своим голосом. Вроде того, что след свой ищет, потерянный, запутанный в дебрях житейских. За два последних года постарел на все двадцать лет, согнулся, деду впору... А ему ведь и сорока еще нет!.. У бойца, который с оружием в руках в атаку ходит, судьба иная: одолел врага — герой, победитель; сплеховал, уступил в меткости и сноровке недругу — прими смерть или рану на виду у остального воинства. А на миру, говорят, и смерть красна... Здесь же не знаешь, откуда пули ждуть. Фишман чуть что выхватывает пистолет, тычет в лицо: «Фауль ди банде!.. Вот в этом пистолете и бог, и закон, и приказ фюрера!.. Идите исполняйте, и чтобы мне все было как следует!.. Я знаю вас, русских!» Но если и не на Кулагина кричит, на другого — не легче Кулагину видеть и слышать все это. Иной раз не просто вызволить попавшего в беду односельчанина. Вызволишь одного — к другому не поспеешь... Того и гляди свои порешат под горячую руку. Не одни посухские и суземские мужчины в лесах. Случается: нагрянут дальние отряды при переходе через пойму Сева. И первым делом: «Где полицаи да староста?» Полицаев к стенке, а старосту на осиновый сук.

Давно просит Кулагин смены у партизан, боится сорваться, бро-

ситься на коменданта подчас хочется или на кого-нибудь из сановных инспекторов рейха... Понимают там, в лесу, сочувствуют, но замены не шлют. Покамест доверяют оккупанты, нужен им посредник между пришлыми властями и населением. Нужен и партизанам свой человек в Посухе! Всякие сложности берет на себя Кулагин. Насчет хлеба и то приказал Карповне: допытываться вдруг станут, кому хлеб, говори — старосте Кулагину! И ни слова больше!.. Да только Карповна давно решила не прятаться за Ефима. Про себя она наметила не упоминать имени Кулагина, будь что... Если уж про хлеб ни слова, так уж совсем молчать...

Встретятся Карповна с Кулагиным будто невзначай на улице, обронят под ноги слово-другое, а то и молчком разойдутся, посмотрев друг другу в глаза. По глазам все понятно: «Продолжай, действуй» — «Да действую же!» Вслух попросит:

— Дровец привезите, пан начальник!

Тащут дрова, несут — где только добывают! — муку, соль...

С утра Карповна старательно выпаривает дежу. Не ту, махонькую, что показывала Фогелю. Емкая, присадистая, из дубовой клепки, с тремя обручами, стоит фамильная дежа как барыня в красном углу под божницей. Сработана еще мастеровым Демьяном. Раз и другой окатит хозяйка днище дежи варом, протрет чистой тряпичей каждую клепку. Затем устелет кадку мхом боровым, прогретым на печи, таящим тепло и в студеные месяцы. В мох и опустит пять, а то и больше хлебов, завернутых в чистую холстину. Мхом же и обложит, а сверху прикроет дежку глубокой миской с бельем. Приладит все это на санки и айда на околицу, к кринице. Другой раз Федьку, племяша Ефима, пособить кликнет. Ниже криницы — лунка, прорубь... Долго бьет-колотит Карповна вальком сорочки, половицы на краю проруби. Хлопает валец по мокрой тряпке, за версту слышно. И обратно с такой же кадкой по-темному к дому. С такой же, да не с той! Та, с хлебом, осталась у криницы. Всегда там у посухцев кадка: путнику наскоро горло смочить; женщине на сносях неудобно в глубокую выемку, продолбленную водой, с ведром наклоняться — из кадки зачерпнет. А другая — дольет, не поленится. Пока Карповна с мальчонкой доберутся в сумерках домой, хлеба уже нет у криницы. Хлебушек в лесу, еще тепленький!

Приходили за хлебом и сами партизаны. Не к Шерстобитовым шли, не под кровлю с трубой-флагом. Останавливались у соседей, Хоменковых, в овине. И тогда Карповна, сунув за отворот шубейки одну или две буханки, шла через калитку к Хоменковым, и те уже сами, из рук в руки, передавали партизанам. А она за новой поклажей к себе в подполье.

Когда отряд перерос сам себя, превратился в бригаду, поджаристой продукции Карповны на всех бойцов не хватало. Впрочем, и прежде хлеба ели не вдоволь. Кое-кто прилачился печь лепешки на жести в землянках. Терли в гильзах зерно на кутью. Случалось и вовсе подтягивать животы. Чтобы не возникло обиды у тех, кто в дозоре и при дележе пахучего дара Карповны оказался бы обделен, командир бригады Андрей Засекин распорядился передавать всю выпечку в партизанский лазарет.

Нашлись фантазеры, вызвались было соорудить в глухомани точно такой агрегат, как у Карповны в поселке. Женщина рада была переселиться поближе к потребителям хлеба, да и с дровами там повольнее. Но в кругу подрывников и автоматчиков, между пожилых мужчин, ведавших всякими хозяйственными делами бригады, не отыскалось человека, способного сложить точно такую печь, которую оставил по себе как память не дотянувший до партизанских времен Демьян Шерстобитов. За него воевала теперь печь с красной трубой, не знавшая замены. По-

спорив, нынешние умельцы решили, что вся загвоздка в красных кирпичах, не остывающих почти полвека на ветрах и морозах.

А Карповна, узнав, что ее коврижки, будто некую драгоценность, вручают лишь тем, кто полил землю кровью, обморозился, не смея выдать себя в секрете, еще пуще колготилась над хлебами, примеряясь, как бы ей обернуться в своем деле получше, чем сдобрить замесы, чтобы потерявшему много крови скорее вернуть силу, впавшему в беспамятство понизить жар в теле... Крадучись от чужого глаза, зная здешние тропы не хуже партизанских связных, она шла к лесу тропой хлебоносцев, часами сидела в землянке, помогая тем, кому невмоготу от боли.

— Помнишь, Карповна, как мы с тобой познакомились? — спросил Рязанов, прервав ее воспоминания о дежурстве в госпитальной землянке.

— Напужал ты меня тогда! — с напускной обидой упрекнула старуха. — Уж больно суров ты, Ваня, когда с ружьем!

— Служба! — объяснил Рязанов.

Они сидели теперь за столом, чуть отодвинутым от стены, накрытым льняной скатертью, слежавшейся в сундуке от редкого употребления. Два граненых стакана, наполовину с коньяком, две тарелки с крупно нарезанной желтоватой солониной да выщербленная по краю деревянная миска с облупившейся давней росписью. В ней Карповна наготовила салата из свежих огурцов и помидоров, посыпав крупно, как градины, солью. Разговаривая, Карповна поглядывала на плиту, где, погромыхивая алюминиевой крышкой, дрожал под напором огня чугунок с картошкой. Никакая иная закуска не заменит горячей картошки в деревенском доме...

Стаканы налиты, но ни генерал Рязанов, ни древняя Шерстобитова не спешат пригубить спиртное, хотя тост уже прозвучал не раз: за здоровье хозяйки, за победу над оккупантами, в память о былом... Назревал еще один тост, но Карповна не решалась пока говорить о нем, ждала. Она сидела в новом штапельном платке, в белом переднике, поглядывая на плиту, определяя по запаху, когда дойдет, начнет рыхло разваливаться в чугунок картошка, отдаст сок... Ждала, когда отхлынут, отойдут немного воспоминания, отпустит душу грусть по ушедшим...

— Нагнал страху на старую, хоть домой ворочайся! — повторила Карповна, берясь за стакан.

Она пробралась тогда тропинкой вдоль Сева до крутого поворота реки, где река изгибается в крутое полукольцо, вторгаясь в буерак. Дальше Карповна шла заснеженным логом, тащила тяжелые санки с хворостом к дубняку, к урочищу. И когда уже совсем перестала бояться окрика сзади, выстрела часовых от деревни, из сугроба навстречу ей, не в том месте, где прежде, а слева от тропы заколыхалась над сугробом папаха, прозвучал суровый голос:

— Эй, гражданка!.. Сюда нельзя!.. Поворачивай к речке... Вернись, говорю, а то стрельну!

Молодой и показавшийся Карповне рослым парень шагнул из-за сдвоенного комля березы, служившего ему бойницей. Широким шарфом парень был закутан до носа и теперь торопливо сдвигал одной рукой шарф, освобождая рот, чтобы прокричать что-то еще более грозное. В другой руке он держал короткое, с толстым стволом ружье, которым водил, указывая женщине дорогу обратно в лог.

Карповна остановилась, дыша паром, как лошадь.

— А ты, видно, ненашенский, парень, что своих не узнаешь?

Секретчик еще больше насупился, свел в стрелку широкие брови, тронутые инеем.

— Проваливай, бабка! — распорядился он. — Сюда нельзя!.. Война.

— Мне к Андрюшке, сынок! — заявила Карповна просительно, не трогаясь с места.

— К какому еще Андрюшке? — возмутился боец. — Здесь нет никаких Андрюшек.

— Да к Андрею Тихоновичу я! Какой ты недогадливый!

Партизан на миг опешил, поглядел через плечо на завал, вздыбившийся за спиной продолговатым сугробом. И вдруг потребовал так, как, быть может, полагалось в самом начале их разговора:

— Пароль?

Карповна знала, что это такое. Иногда связные шепотком передавали ей секретное слово, если вожак отряда сам вызывал ее в штаб, этим словом давали о себе знать ее провожатые. Но это было уже давно, ни пароля нынешнего, ни того даже, что был в действии на минувшей неделе, Карповна не знала. Ей оставалось лишь повиноваться приказу, спуститься со взлобка, заметного и от соседней деревни и от леса, не торчать на открытом, иссеченном пулями месте долго. И тогда она сказала слово, могущее заменить ей пароль:

— Мамаша я.. Небось слышали?

Брови часового взмыли вверх, в глазах заиграла теплика:

— А чем вы докажете?— спросил он, обращаясь к ней на вы.

Карповна опустила на снег веревку санок, приблизилась и подала ему кулабушек хлеба, хранившийся за отворотом шубейки. Завернутый в тряпицу с кусочком сала, хлеб еще не совсем остыл. Она взяла этот харч себе на случай, если задержится в лесу.

— Коль пробовал мой хлеб, то признаешь!— сказала женщина с надеждой.

Парень не откусил кулабушка, не испытал его на вкус, постеснялся, быть может. Он лишь принял хлеб, сняв рукавицу, и понюхал. На лице его расплылась улыбка. Он свистнул, то ли от радостного удивления, то ли так полагалось между соседями в секрете. На свист вышел из-за завала коренастый мужчина в лаптях и бушлате, подпоясанный ремнем. Он молча поднял веревочку от саней, взял Карповну под руку и повел в глубь леса. Это был Мишка Козырев, крестник Ефима Кулагина. В одном классе Мишка учился со старшим сыном Петра Иваном, считай, на одном подворье и росли с внуком Карповны..

— А кулабушек-то мне тогда запомнился!— воскликнул генерал, опять притрагиваясь своим стаканом к стакану Карповны.— Лучше всякого пароля сработал!

Они посмеялись, и Карповна на этот раз глотнула коньяку, кинулась к плите, принялась выкладывать разваристую картошку на сковороду с поджаренным луком. В комнате еще сильнее запахло. Но Рязанов заволновался, встал со скамьи не от запаха. Он уставился на сковородку, дивясь бережливости хозяйки..

С тяжелой этой сковороды, прокопченной и промасленной настолько, что на ней при необходимости можно было жарить и печь уже без масла, не однажды перестоявшей в печи, посуды, падавшей на пол, выщербленной с одного края, большой, как шляпа баштанника, рассчитанной на семейство в три поколения, с несравненной по выслуге лет и почти легендарной сковороды этой Рязанову уже приходилось угощаться.

Хлеба тогда не выдавали больше недели. Никакого. Не могли добыть муки, сидели в окружении. Карповна варила чугунок картошки, мяла, сдабривала козьим молоком. Выкладывала толченку на сковороду горой, опять смачивала молоком с добавлением куриного яйца, которое всегда у нее находилось. Лоснящуюся, влажную картофельную горку она бережно заносила в заустье на искрящиеся угли.

Притомленная в вольном духу толченка подергивалась золотистой коркой, превращалась в праздничный каравай. Повод для торжества находился. Возле такого каравая собрались тогда восемь подрывников. Они были измотанными, выморенными до крайности. Двенадцать километров от железной дороги, где еще дымились остатки гитлеровского

эшелона, они бежали и ползли по глубокому снегу, залегали снова, отстреливаясь... У карателей была собака... Матерый, чудовищной хватки зверь...

Федор Мильчаков ввалился в дом Карповны с перебинтованной рукой, Василия Ряжских почти наголо раздела разъяренная овчарка. Подрывник растерялся поначалу и орудовал карабином, словно палкой, как отбивался от сатанеющего зверья в детстве. И лишь потом, увидев бегущего за овчаркой собаководом, повернул карабин стволом вперед, сразил автоматчика пулей, а в собаку выпустил остаток обоймы, все еще не веря, что тварь эта валяется бездыханной...

Восемь замороженных бессонной вьюжной ночью, раненных, искусанных собакой, счастливых своей удачей партизан упивались в доме под красной трубой картошкой, сохранившей за плотной корочкой ароматное тепло. Ели с козьим молоком вприхлеб. Не было и соли. Но кому из сельских не известно, что притомленная в жару картошка, пока горячая, не кажется такой уж недосоленной?..

— Ну, мамаша,— сказал, поднявшись из-за стола, старший команды Ряжских,— приласкала ты нас сегодня как по заказу!.. Большей награды за опрокинутый эшелон с гитлерюгами нам и не требовалось.

— Вырастал на картошке,— тихо сознался Мильчаков,— а такой еда не привелось.— Он обнял Карповну и поцеловал по-сыновьи.

Женщина приложила к его ране какой-то широкий лист, смоченный в кипятке, завязала руку.

Муки раздобыли через месяц, не раньше. Появилась и соль. Она прибыла к партизанам по воздуху. Доставили ее вместе со взрывчаткой. Бросали без парашюта. Кому-то там, в самолете, показалось, что мешки с толом и солью лучше связать, чтобы им дружнее падалось, чтобы партизан, обнаруживший один мешок, тут же увидел и другой... По тому времени соль, как и взрывчатка, считалась самым необходимым подарком с Большой земли. Так и в радиограмме Нина Кандыбина отступала: «Помогите взрывчаткой и солью...»

Мешки угодили в мерзлую сукозатую крону и, разорванные сучьями, смешали содержимое в одну кучу. Партизаны сортировали эти бесценные дары по крупице. Возились, пока было время, пока верили в успех. Отчасти эта непредвиденная операция им удалась. Но лишь отчасти. То, что именовалось толом, поблескивало крупными соли и могло не взорваться в роковой час. Куча соли, несмотря на аккуратность сортировщиков, была скорее желтой, чем серой или белой. Эту желтоватую смесь с преобладанием соли и доставил в дом с красной трубой минер Ряжских. Пряча виноватую улыбку в щетинистые, не очень отросшие усы, он предупредил:

— Мамаша! Соль эта — особая, военная... Если твои коврижки от нее не разлетятся в печи, то не скупись на посол, действуй смело... Партизанские желудки все выдержат...

Строгая к таким шуткам Карповна ничего не ответила. Пока Ряжских пил молоко и игрался с козленком, затынутым по холодной поре в избу, женщина вывалила из мешка пригоршню сердитой соли на стол, села с ней поближе к окну и принялась выколупывать подозрительные желтинки. Набрала со столовую ложку. И когда ложка наполнилась желтым мусорком, Карповна понесла этот мусорок к лохани. Не донесла. Житейская мудрость подсказала ей: ложка обыкновенной соли, мирной, когда ее несли к чугунок с кипящим варевом, была потяжелее, чем соль военная, как назвал ее Ряжских сейчас... На глазах изумленного взрывника женщина смахнула попорченную толом соль в глубокую черепушку с водой, осторожно помешала. Так промывают домохозяйки любую крупу, прежде чем отправить ее в кастрюлю. Тол всплыл на поверхность, навсегда освободившись от вынужденного соседства с солью, возвратив и ей первозданную прелесть.

— Желтое... заберешь обратно, что ли?— спросила Карповна.

Ряжских хохотал, взявшись за живот. Они тут же перемыли весь принесенный припас.

Карповна получила благодарность от командира бригады за находчивость. Отмечали ее помощь партизанам в одном приказе об участниках дерзкой вылазки мстителей к мосту через реку Нерусу.

С тех пор и нередко, когда Андрей Засекин ставил нелегкое задание, требовавшее не только отваги, но и обдумки, он любил подзадорить свою команду: «Эх, Неонилу Карповну бы сюда! Уж она-то сообразила бы!»

А Карповна появилась и сама у землянок. Она приходила в тот день и, случалось, час, когда в госпитальную землянку вместе с тоскливым воем поземки или одновременно с партией новых раненых поползала тревога-тоска... Вьюга заметает прежние тропы — хорошо. Зато по свежему насту заметнее следы. Много раненых — сорвалась крупная операция... Нет хлеба и соли — опять смыкаются клещи карателей...

Выла поземка и день и другой, навевала грусть. Лютей поземки петляли между топчанами слухи. Человек больной больше здорового думает. У него на эти штуки избыток свободного времени. Плохо, когда скованный немощью боец повторяет за другими невеселую весть-догадку. Может, и говорит-то он досадные слова, чтобы расстаться с ними, услышать нечто иное, ободряющее... Хуже, когда нет желания говорить, а думы сами лезут в голову под изнуряющий вой ветра: «Скоро ли кончится и чем кончится осада? Удастся ли снабженцам выкрутиться с удовольствием до смены погоды?.. Возьмут или не возьмут с собой раненых, когда объявят приказ штаба о переходе в Хинельские леса?»

В такие дни раненому не терпится поскорее встать на ноги, пусть не совсем оздороветь, но смочь подняться, идти... Самому идти, опираясь на карабин, на палицу, на плечо друга. Идти, потому что с каждым шагом ближе победа, скорее радость слияния с более мощным соседним отрядом, счастье братания с регулярными частями Красной Армии... Трудно во вражеском тылу! Во сто раз горше с перебитой ногой или рукой, с пустым желудком вдобавок! При такой беде боец любой помощи рад, любой опорой... А опора — вот она, совсем близко, с порожек землянки дает о себе знать материнским голосом:

— Вечер добрый, соколики!.. Как вы тут живете-воюете?

— Карповна пришла! — звучит возглас, как команда. Кто-то, оказавшись попроворнее, подхватывается на ноги, помогает Карповне развести углы промерзшей шали, берет из рук кошелку, ставит на нары, поближе к коптилке. Сноровистее других оказался Петя Еремин, из команды Ряжских. В этом темнобровом, исхудалом парнишке сидело шесть минных осколков. Левая рука и сейчас висит — раздробило лопатку. Кость плохо срастается, Петя стонет по ночам, молчит часами, уставившись в низкий плетеный потолок землянки. Но сейчас его словно подменили: Петя шутит, колготится вокруг Карповны, помогает ей одной рукой расстегнуть примерзшие к шубейке клепушки, которыми Карповна заменяет недостающие на одежде пуговицы.

С нар сыплется в радостном беспорядке:

— Здравствуйте, мамаша!

— Рады тебе, Карповна!

— Как оно там, на воле?

Карповна не спеша разматывает слежавшийся вокруг шеи платок.

— Вся воля нынче — в Москве, соколики!.. Да вот в лесах, вами отвоеванных.. Как вспомним про волю, на лес глядим!

Карповна говорит, говорит, сама не меньше бойцов обрадованная.

Она неспешно стягивает с кошелки покрывало, одаривает партизан темными, с неостывшим печным запахом ржаными кулабушками, блинами, кукурузными лепешками. Ей приятно видеть: перед тем как уго-

щаться подарком, бойцы жадно вдыхают полузабытые домашние запахи, разглядывают трещинки на суровом хлебе военной поры. Вспоминают, наверное, морщины на лице матери, думают о пережитом... Один из госпитальных, Борис Тепляков, забинтованный так, что сквозь белые полосы марли проглядывают лишь заостренный нос и полноватые девичьи губы, почувствовав теплоту хлеба, прижав крохотную коврижку размером с ладонь к груди, затем спрятал ее под шинель, служившую ему одеялом.

— Подержи, сынок, хлебушко на груди, нюхай крепче! — говорит Карповна знающе. — Дух от хлеба пользительный... А ноне я его на сухотничке да камчужнике запаривала. Бодрость от такого хлеба в теле и дыханию способнее.

Рязанов вспомнил сейчас: с дальних нар из-под лохматого полубубка поднял голову, надсадно кашляя и пытаясь что-то сказать, подрывник Чепурной, сильно застудивший грудь. Карповна кинулась к нему, выхватив из кошелки литровую банку с коричневатой, похожей на вино жидкостью.

— Не позабыла о тебе, соколик!.. Липы, липовых цветов наварила!

Распорядительная гостья потребовала у дежурного по госпиталю жестяную посудину и, получив в свое пользование трофейный котелок, подогрела на плите содержимое бутылки. Чепурной сел на топчан, зажал котелок между колен. Покачиваясь от слабости, потея, хлебал по глотку. Карповна села рядом, держала его под локоток, приговаривала:

— С медком лучше бы вышло, да супостаты порешили пасеку. Но ничего, сынок. И без меда липа хороша... Теперь укутайся с головой. Пропотеешь — взбодрись.

Не раз и не два пришлось Карповне носить отвары Сергею Чепурному, южанину из-под Джанкоя, не привыкшему к здешним холодам. И ромашку заваривала, дышать велела над кувшином, и душицу, сорванную в редколесье, и липовый цвет пить велела.

— А Чепурной-то пересилил болезнь! — сказал Рязанов. — В Венгрии как-то встретились... Танкист... Еще госпитальных неделек хватить пришлось, в танке горел... А тебя, Неонила Карповна, и там вспомнил.

Карповна чуть заметно кивнула, принимая эту весть.

— Так оно и должно было случиться. Изгонять простуду — привычная забота женщины на селе. Главное — не упустить время... Первое дело — банька, конечно... Если попариться вовремя, пивком заправить желудок да хлебнуть липы с медком, как рукой снимет...

Сказав это, Карповна задумалась. Рядом с Чепурным она часто видела радистку Нину... Не радостны ее думы о чернявенькой шустрой радистке...

— Линию переходить стали... — тихо заговорила она. — И ты с Андреем пошел в начале колонны, вы успели проскочить на ту сторону насыпи. А нас заметили. Когда ребята из отряда Скворцова Василия к насыпи с повозками подошли, немец, будто спросыпу, как вдарит по полотну, как осветит линию!.. Господи! Откуда что и взялось?!

Сама же Карповна и поясняет:

— Линию разобрали, паровоз с рельсов сошел, а под откос не свалился. Решили не трогать эшелон. Думали, пока провозятся с рельсами, мы на другой стороне полотна очутимся... А паровоз-то цел, даже фонарь расколотить не догадались, забыли про то, что на паровозе свет... Засветили немцы фонарь — и вдарили по видному.

— Мы слышали стрельбу от эшелона... — ронял слова Рязанов, как бы продолжая рассказ Карповны. — Вернуться головной колонне было уже поздно!

— Поздно, поздно! — согласилась Карповна. — Да и Скворцов ракету дал, чтобы не возвращались. Сами решили отбиваться... Упала Ни-

ночка наша, бедолаха... Первой закричала. Кровь так и хлещет, так и хлещет... Врач посмотрел: перелом голени!

До Подгородней Слободы вдоль речки несли — крепилась, голу-бушка. А как в избу их, четверых раненых, к фельдшернице Марковне доставили, бредить стала... Доктор-то наш партизанский, Сергей Евгеньевич, одно толкует: «Ампутировать будем!» Стыдить пробовала: «Очумел ты, что ли? Заучился в институтах или в лесу озверел?.. Девке восемнадцать — и без ноги?! Ни рук, ни ног не чувствует — сомлела!» «Может, и лучше, — говорит, — спасать, пока в беспомощности...» Молодой, а правду чувал. Если бы тогда нас, дурах, не послушался, живой Нина осталась бы!.. Пришла в память, а он к ней с тем же: «Придется ампутировать!..» Девка в слезы: «Не дамся! Жених от такой откажется!..» Господи! О женихе ли думать при такой беде! Душу спасай, говорю, а женихи найдутся... Плачет, бедняжка, слезы такие крупные, частые... С ногой, думаю, прощается... И доктор терзается. Осмотрел рану еще раз, платком лоб и лицо вытер. Не ей, нам у порога сказал: «Какую красоту, изверги, загубили!» Она возьми да услышь слова эти... «Не дамся ногу отнимать! Лучше смерть, чем жить калекой одинокой!.. В Москву хочу, там мама, там знакомые доктора!» Запросили Москву. И вроде бы посулили помощь. Сказали: самолет в ваши края уже отправлен. Ждем-ждем, нет самолета. Сбили по дороге или заблудился, может, и не нашел нашей поляны. И такое случилось... Еще день прошел. Слабеть Нина стала, голос еле слышен. Тут я принялась толковать с нею по-своему, по-бабьи:

— Смирись, доченька!.. В Москве зазорно будет с одной-то ногой — не велика печаль. Была бы голова целой. У меня поселишься, за дочь приму. Проведешь свою радиву над хатой, детишек будешь грамоте учить, до школы два шага. И замуж тебя выдам — рука у меня насчет этого легкая...

Улыбнулась чуточку, а под глазами сине.

— Какая вы хорошая, Карповна... Вы как мама...

О матери вспомнила, снова зашлась плачем: «Нет, нет!.. Не дамся резать!.. Домой отправляйте!..» Улетела ночью... Только и видели! А потом свои же передавали: скончалась...

Карповна с легким укором выговорила примолкшему, ушедшему в воспоминания генералу:

— Не ты ли ей женихом доводился, рыжий? Все около штаба крутился, железки ей всякие подносил. На сосну с метелкой лазал...

— Скорблю о Нине до сих пор, — сознался Рязанов. — Но сердце Нины принадлежало другому... Вместе с тем парнем они курсы по радиоделу кончали. Должны были разом и в леса Орловские лететь, но что-то там по военной поре вышло не так...

Рязанов уронил голову, досказал затаенное:

— Жалко, что без меня все это случилось. Может, и удалось бы ее уговорить насчет ампутации. Не жених я, просто ровесник... А ровесники друг другу лучше верят... Эх, сколько людей ушло от нас, каких людей!

Рязанов поднялся, отошел к окну, долго рылся в кармане пиджака, нащупывая таблетки. Швырнул в рот сразу две.

Оглядывая его располневшую, плотную и будто привядшую от полноты фигуру, Карповна подумала вслух:

— Не тот ты, парень, стал... Не тот! Вот тогда ты больше на генерала похож был!

Остаток дня Рязанов и Карповна провели порознь. Старуха, взвалив расштанную кособокую кошелку на плечо, подалась к выпасам за скотными дворами. Ушла рвать крапиву — из закуты, пока они беседовали, подавала голос свинья Машка...

— Пора худобу кормить! — сказала Карповна, выйдя в сени.

Рязанов прошел огородами к реке, оглядел с обрывистого берега пойму, пытался найти в кустах калины место, где не однажды причаливал лодку, наезжая за хлебом, а то и перебегал через Сев по молодому льду. Многие в заречных лугах, в пойме переменялось. Обмелела, стала спокойнее река. Выщербился перевезенный на центральную усадьбу избами весь Посух...

Рязанов не решился сразу по приезде выкладывать Шерстобитовой свой план, свои надежды. А приехал он не только повидаться с дорогими сердцу местами. Многие и сам Рязанов успел запомнить. Не отлетела лишь легенда о целебном хлебе, родившаяся в землянке партизанского госпиталя. Взял да и похвалился Рязанов однажды среди отставников: есть, мол, такая гражданочка — хлебом лечит!.. Такой у нее, знаете, особый хлеб!..

Какими уж красками расписывал в кругу бывалых людей Рязанов хлеб партизанских лет, а заодно и сноровку умелицы Карповны, и самому не вспомнить. Только разворошил любопытство. Загорелись вояки, повидавшие всяких див:

— Добудь коврижку партизанского хлеба!..

Легко сказать: добудь!.. Жива ли мастерица? Не в молодой поре видеть приходилось Карповну. Уже тогда внуки у нее имелись.

«Жива! Жива!» — твердил обрадованно Рязанов, бродя вдоль реки. Затея с коврижкой казалась ему теперь пустой, никчемной. Стыдно даже сказать будет такому пожилому и серьезному человеку, как Неонила Карповна, о том, что где-то досужие мужчины спорят о ней, о ее крестьянском ремесле. Рязанов и тогда не очень-то верил в целебность хлеба, хотя и повторял эту легенду вслед за другими. Но кое-чему в этом смысле и сам был свидетель. Своими руками принимал «пароль» Карповны в виде сдобной коврижки.

Не видел Рязанов ничего плохого и в том, что раненые бойцы верят в целебный хлеб, верят в Карповну, в то верят, что на войне, в тяжелой сшибке с осатаневшим врагом, все важно: и новое оружие, и бывший военный опыт, и древнее искусство врачевания, когда смерть рядом, а современные клиники и госпитали далеко, за линией фронта... И слово душевное лечит, если оно вовремя сказано, если сказано мудрым, бывалым человеком с желанием помочь...

Обрадованный встрече с Карповной, торжествуя от сознания того, что ему и самому удалось уцелеть в войну и привелось вот свидеться с дорогим человеком, испытывая благодарность судьбе за эту радость, Рязанов поклялся не намекать о хлебе. «Что ни говори, а встреча с живым человеком лучше любого сувенира!» Он видел, не мог не видеть, что и сама Карповна питается хлебом, купленным в магазине. Хозяйка ловко нарезала хлеб потемневшим самодельным ножом с деревянной ручкой, складывала в тарелке горкой. Хлеб был не белый и не черный, но вкусный, тот самый, который в столице зовут орловским. Другого не имелось, или старуха не любила другого. Во всяком случае хлеб был не домашней выпечки, а «казенный», как говорят в здешних селах. Похоже, Карповна сама не замечала разницы, а может, она никогда не была прихотлива к хлебу, любому, лишь бы это был хлеб... Потчужа гостя, Карповна пододвинула к нему тарелку с ломтями, а себе взяла лишь один кусок, не самый крупный, срезала с него едва пригоревшую корочку. О зубах спросила генерала запросто, будто сама пребывала в высшем чине:

— Зубы-то у тебя все целы?

— Не все, но еще есть, держатся, — ответил Рязанов и показал в улыбке верхний рядок — целый. Нижний припрятал. Не сетовать же ему на здоровье перед старухой, которая прожила почти вдвое больше

ни разу не охнула в его присутствии, даже рюмочку пригубить не отказалась в честь его приезда.

— А я не сберегла свои,— ответила Карповна нехотя.— Чужими, протезными, есть не умею, а своих нет... Все раздала.

Она не сказала, кому раздала. Но такое не требует разъяснения. Детям ли, внукам, жизни нелегкой отдала... Горькой, бесхлебной поре. Не все ли равно. Раздала!.. Человек этот имеет право так говорить о себе. Была молодость, был задор, был рядок белоснежных зубов за полыхающими маковым цветом губами. Всю жизнь Карповна работала, это было ее главное занятие. Так жили отцы и матери. И отдыхала тоже, не переставая что-нибудь делать. Делала больше для других, чем для себя самой. Потому и вышло под конец, что люди, другие, и побольше ее имеют и получше живут. Но она ни о чем не пожалела, ни на что не посетовала при госте. Умолчала о своих болях. Попеняла... на зубы, да и то самой себе: не уберегла!.. А теперь приходится обрезать хлеб, отделять от мякоти поджаристую корочку.

Рязанов с самого начала старался ничем не выдать своих желаний, но Карповна заметила: гость, войдя в избу, задержал взгляд на остывшей, давно нетопленной печи; взяв с тарелки здешний, магазинный хлеб, посмотрел на ломоть будто с недоверием, а надкусив, хотел было спросить у хозяйки что-то, но спросил лишь глазами. Высказать не решился, начал жевать — медленно, с опаской, будто не того угощения ждал.

Карповна уловила это его недовольство или растерянность, но истолковала по-своему:

— Прогорк хлебушко... На перекаленную жаровню маслом брызнули.

Рязанов уже не смог умолчать о том, что его волновало, тревожило.

— А мне нравится такой, с запашком... Молоко, бывало, пригорит в кринке... Сестренка запаха не переносила, а мне в самый раз, по вкусу.

Он вспомнил и еще о чем-то домашнем, но Карповна, взмахнув рукой, в которой крепко держалась обглоданная корочка, заговорила сурово, словно борясь с непрошеными мыслями:

— Чего бога гневить — живем с хлебом!.. Недород случится, все равно возют... Федька-то Кулагин — помнишь такого? — санки мне к кринице возил... Нашенский, из Посуха. За старшего теперь на пекарне. И машина при нем, крытая. Иной раз вместе с хлебовозкой прикатит зав. Сестра у него тут замужем. Бабы в оборот Федьку возьмут, по-свойски. Для дальних он пусть инженер с дипломом, а нам свой малый да и только! Вот каким голомазиком помним... Пока довезут по неровной дороге, какой-нибудь батон, глядишь, примнется, облупится, что яйцо переваренное. Смехота! Федька давно в начальниках ходит, к бабьему крику привычный. Свои и побьют, не то что отругают, на пользу. Слушает — слушает, а соглашается не сразу, пересилить норовит самых горластых. И рассуждает по-ученому: на машину грехи свои валит.

— Теперь, граждане, с хлебом машины управляются. Без вмешательства человека. Рад бы поправить, да руки короткие.

И руки, шельмец, вытянет, чтобы показать, какие они у него чистые, как бумага, белые. Но баб не переговоришь. Мы, кричат, тебя пять годов в пищевом институте учили зачем? Да других у этих машин учили столько же! Чтобы тестяным хлебом давиться? Исправляй свои непутевые машины, если в них загвоздка, или мы тебя самого исправлять будем, коль ты в нашей деревне родился и между нами ума-разума набирался. Нашу деревню упоминаешь в анкетах, значит, и мы за тебя отвечаем...

Федька краснеет, а не сдается. Шустрый стал! В коммерцию ударился.

— Дорогие землячки! — кричит, на крыло автобуса стал. — Не все разом... Давайте сначала самую старшую выслушаем. Уж она-то в хлебе толк ведает! Говори, Карповна. От тебя любой попрек — наука!

Мне по нутру, что вспомнил обо мне Федька, попавшись на горячем. Однако оборонять его от баб не берусь. И сама веду речь туда же: «А что, — спрашиваю, — эта самая хлебная машина... Она такая, что ей ни удержу, ни окороту нельзя дать, когда задвигается? Как молотидка работает?»

— Нет, почему же? — разъясняет Федька. — Можно нажать кнопку, остановить и в процессе запаривания, и при раскладке в формы.

— И при замесе можно? И на палец теста взять доступно?

Федька осклабился:

— В том-то и дело, что пальцем притрагиваться нельзя! Но если к тому дело дойдет, пробу снять позволим.

— Есть, говорю, к тому дело. Машине твоей, недотроге, в зубы заглянуть хочется. Ревность у меня к ней появилась. Потому как она меня без работы оставила, а дела своего толком не знает.

Орут, хохочут кругом. И шофер хлебовозки из кабины, веселый, выглядывает:

— Садись, мамаша, в кабину!

Села. Не этим разом, другим. Когда с сердцем себя получше почувствовала. Исполкомовский «козлик» напротив избы остановился. Председатель на сенокосы пожаловал. Узнал, что я по части хлеба в район собралась, возрадовался. «Мы вас, говорит, Карповна, можем в постоянную комиссию ввести, контроль наводить за хлебом. Помним, говорит, прежние времена, не подвели партизан с хлебом». Просил позвонить с хлебозавода. Да где там звонить? И так от всяких шумов да звонов голова кругом пошла. Правду сказывал Федька: машинная круговерть в пекарне этой да и только. Мука сама по себе в чаны сыплется, сама водой заливается, смешивается. И огня в печке не видать, только жаром пышет... Хорошо, думаю, хоть такой хлебушко в рундук выскакивает! Где уж тут за каждой буханкой доглядишь, если хлебом, как из пулемета, выстреливает. И все же я попросила, когда осмелилась, придержать машину и зачерпнуть мне тестца ковшиком. На язык взяла — тут же недобор почувяла.

— Ну как? — торопит Федька. — Чего, Карповна, морщишься? Нашла причину?

— Не за тем долго собиралась, чтобы попусту дорогу топтать, — говорю. — Сам ты, если не запомнила, парень крещеный, а вот хлебушко у тебя некрещеным в печь идет...

Закатился, дурень, смехом, аж кадык запрокинулся. Смешливы все в роду Кулагиных. Думал, пошутим и разоидемся с миром. Но не тут-то было. Велела в кабинет завести, чтобы с глазу на глаз погломонить, по-свойски. Так оно и вышло.

— Деда Демьяна Шерстобитова помнишь? — говорю Федьке.

— А как же, — отвечает, — свистульки нам из глины лепил. Такие голосистые.

— Не только свистулками был красен Демьян! Но и за свистульки спасибо... А его родителя, Родиона Евстафьича, не застал в живых? Не застал, выходит... Старшие-то, кто жив, Родиона за хлеб в деревне почитали. Не пек он, сеял удачливо, урожай чуял. И в печеном толк знал. Дед Родион, царствие ему небесное, тебе, Феденька, в точности помог бы определить, где твои машины маху дают, в чем не тянут. Тот, бывалыча, только в рот возьмет, хлебушко языком с боку на бок перевалят, и брови в стрелку:

— Что-то ныне хлебец не тот? Ай дежу не перекрестили?

Федька Кулагин засопел обидчиво, будто мальчишка, брякнул не-впопад:

— Такой набожный свекор? Дежу крестить?

— В бога не ругался, разъясню, а по верхним этажам крепким словом прохаживался, коли хлебом не угодишь. Мог и краюхой по хребтине съездить, если неуважение к хлебу замечал...

— Да,— продолжала вспоминать Карповна,— семейка сложилась восемнадцать ртов: Родион с бабкой Настеной, трое сынов женатых с невестками, да две девки на выданье... и у каждого из молодых пар деток по полкороба... А дела всем хватало—большим и малым. Наработаются, только успевай миски на столе менять. Мы, невестки, так и дежурили у печи поочередно, почитай, сутками: людям приварку наготовишь, берешься кормить скотину, отбыл очередь по разу, заходишься по второму.... Работнички полевые разбредутся по углам спать, а ты корпишь над хлебами. То Надька у дежи, то Елизавета, то мой черед. Дежа семипудовая, не в обхват. Месишь, месишь, бывало, семь потов из тебя вон. Не вздышишься, пока каждый комочек муки выловишь, разомнешь. Замес кончила—обвязать дежу полагается, на теплое поставить, чтобы, значит, дошло оно окончательно. Ставили вдвоем, мужа будила. Еле вздвинем на печь, на теплое место. Вот тут как раз время крестить приспевает. И сама, умаявшись, крестишься, чтобы не проспать хлебы, и дежу не один раз троеперстием обведешь. Не дай бог дойдут хлеба плохо, перестоят тесто, через край попрут! Вкусного хлеба не жди. Старик оплошки не упустит! Осрамит при муже и детях. Борщ пересолишь, каша подгорит в заустье—молча будет жевать, стерпит, а о хлебе не смолчит. Хвала ему, честному Родиону,—мне меньше других доставалось за хлеб, чем Надьке или Лизавете. Иной раз свекор перед севом ли, жнитвом, загодя речь поведет в застолье: «Хоть и нужна мне Неонила на боронованье—Вороняя ее хорошо слушается,—но, видно, стоять тебе, невестушка, всю неделю у печи... Без доброго хлебушка не управимся за время с полем, ослабнем». Барана режем к жнивам, кочетку голову напрочь. Свекру это все будто не в счет. Об иной еде редко с таким уважением толковал, как о хлебе.

Послушаешь такой наказ: сердцу мило, а хребтина заноеет. Всплакнешь в кутке. Я ведь и поле любила, не так убивалась на жнивье, на току, как возле печи! Уважать хлеб зато научилась я у свекора, царство ему небесное! И уж страшнее слов его не было, когда ненароком грянет баском, да лохматой бровью поведет: «Опять хлеб некрещеный к столу подаете?!»

Обсказала я это все Федору Кулагину в его начальственном кабинете, вспомнила бывальщину меж иными разговорами, а он возьми и задумайся. Пятерню в свой чуб запустил.

— Крестить, говоришь, Карповна хлебушко полагается?

— Выдержать надо,—отвечаю,—хоть маненько тесто после замесов. Вроде бы дать ему дух перевести, устояться... А ты сразу в печь гонишь!

— А план кто будет выполнять?.. График у меня!

— У хлеба тоже план есть,—толкую.—Машине, ей небось все равно. Заставь пораньше замесить. А после роздых дай тесту...

Долго мы толковали с Федькой. Что-то он даже на бумаге записал из моих речений, хоть и хмурился, будто тестяную корочку жевал... Не знаю уж с чего, только хлебушко лучше пошел у Федьки с тех пор.

Карповна вздохнула легонечко, повела глазом по избе, спохватилась:

— Что-то мы так поздно заговорились, служивый? Вечерять пора—да на боковую... В избе ляжешь, Ваня?.. Или?..

Она не договорила. Рязанов понял ее, кивнул головой согласно, улыбнулся, и в улыбке той Карповна уловила воспоминание о прежней

поре, когда с тремя своими сверстниками Рязанов-разведчик скрывался у Шерстобитовых на сеновале.

Пока Рязанов разглядывал на стене избы давние и новые фотокарточки, узнавая на них кое-кого из знакомых и просто догадываясь, пытаясь отгадать по скуластым лицам, серым, с темнинкой глазам, кто бы это мог быть из Шерстобитовых, Карповна приготовила ему ночлег в сенном сарае, достав для дорогого гостя совсем новую простыню.

Есть на ночь Рязанов не стал, отказался, утолив жажду кружкой парного молока. Забравшись на сеновал, он вроде бы задремал сразу, ударился в грезы, предчувствуя близкий сон. Но уснуть долго не мог, мешали прилетевшие издали запахи свежей привядшей луговой травы, а вместе с ними воспоминания о прошлом, которое, оказывается, всегда жило здесь вместе с этими запахами, вместе с глуховатым расплывчатым говорком Карповны. Жило и словно ожидало встречи с ним.

Мешала радость самой встречи.

Сквозь дрему и воспоминания о былом он раз или два улавливал осторожные шаги Карповны по двору. Хозяйка приближалась к сеновалу, будто хотела спросить о чем-то, но не решалась и отходила прочь. К своей бессоннице, к своим делам. Затем Рязанову показалось, что вдруг потянуло печным дымком и еще какими-то запахами, и уже под эти запахи, смешанные с сонным дыханием трав, он уснул крепко, как случалось давно, в молодые лета.

Уехал он на другой день с коврижкой домашнего хлеба, которую испекла ему Карповна по всем правилам партизанского искусства в духовке.



БОРИС БОБЫЛЕВ

Ивану Ивановичу Шаталову

Ярославна

Встрепенулась лесная опушка —
Ветер крылья ветвей распустил.
И вечерняя песня кукушки
Мне напомнила древний Путивль.

А кукушка скорбит о недавнем.
В песне — дальняя боль и печаль.
Словно плачет опять Ярославна,
Заклиная ковыльную даль.

Ветер стих.
Только, сердце тревожа,
Как живая,
Встает из былин
Ярославна,
С которою схожа
И вдова
Космонавта-Один.

Ботик

— Россия началась с Петра?
— Была и до Петра Россия!
Великодушна и добра
В года благие и лихие.

Каких не видели знамен
Ее поля — и жатв, и брани,
Каких не слышали имен
Ее Полтавы и Рязани?

И все ж,
В музей придя вчера,
Я смыслом новым
Жизнь наполнил:
Мне
Ботик парусный Петра
Корабль Гагарина
Напомнил.

• • •

По утрам,
Когда росу зернистую
Нерестит
В заливе трав рассвет,
Петухи горланят голосистые,

ИЗ ПОЭТИЧЕ- СКИХ ТЕТРАДЕЙ

Словно нет
Радаров и ракет.

Словно мир
Живет одной деревнею,

Где вражда —
Страшнее всех грехов...
Лишь рассвет
Над полем и деревьями
Выпускает красных петухов.

НИКОЛАЙ ГОРОХОВ

Руки

...Вот лежат эти руки
на острых коленях.
Устали они.
Тихо жилы гудят.
Так жизнь добывают
во мраке коренья —
Поэтому листья
свежо
шелестят.
Руки, как корни, корявы и плотны.
И видно,
С крестьянской сноровкой не зря
Схлестнулись
бурлак и восторженный плотник
В этом крутом человеке
Эрзя...
Руки, узнавшие радость и горе,
Не истребимые градом обид,—
Жизнь превращает
в двужильные корни
Прекрасного древа Труда и Любви.

Под Курском

Вот хожу я по лугу —
этим местам не известный,
Но разглядевший
старые шрамы земли.
И вздыхает земля,
будто делятся тихой вестью
Те,
что за землю
в землю
тут полегли.
И оттуда,
из тьмы, дорогою долгой,
на ощупь,

Этот синий цветок
шел на полосочку дня,—
Это чьи-то глаза прорастают
сквозь теплую толщу,
И слепят любопытством,
своей синевою дразня.
Вот качаются травы...
Наливаясь, гуляет по склонам
Этих трав молодых
хмельная, тугая волна —
Это долгие думы,
добрые цветом зеленым,
Тех,
что с земли
в землю война погребла...
(«...Но,— раз полюбив,
Не можем мы с жизнью расстаться.
Мы приемлем —
и мертвые —
радость ее и беду...
Потому наши думы
зеленой травой прорастают.
И качаются травы,
полные медленных дум...»)
Разве может планета
нелепо свихнуться и кануть,
Если из мрака
за нами следя, за людьми,
Тянутся к свету деревья
ветвями-руками
И смотрят цветы —
мудрейшие дети Земли?
Если горькой порой,
посреди молодой луговины,
Вдруг почувствуешь ты чей-то
невидимый взгляд,—
Это смотрят
в тебя тихо земные глубины —
Очи Земли
пристально в душу глядят...
Нам верит природа.
Доверчивы души деревьев.
И ты, человек,
вот этой былинке внемли —
Не обмани ты
высшего в мире доверья
Многострадальной,
единственной нашей Земли...

СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН

• • •

Когда от нас уходят милые,
а мы их удержать не в силах,
нам остаются фотографии
да в окнах синие потемки.

И мы смиряемся с утратами,
наверно, лучшего не стоим,—
и нас охватывает пригород
своим покоем глубочайшим.

И вспоминается, что ранее
бывало тяжелей и хуже,
но все, что нас смертельно ранило,
теперь не мучает нисколько.

Плохого будто бы и не было,
лишь истинное нам осталось:
и грусть, и нежность, и доверие,
и шум шоссе, и шум деревьев.

Пусть порою боль напрасная
тебя встревожит на мгновенье.
Любовь, неправдой омраченная,
уже любовью быть не может.

И так всегда — один-два месяца,
один-два года, может статься,
спасают от тоски отчаянной
друзья, раздумья и природа...

Ведь как бы горько ты ни маялся,
но скоро лес прозрачным станет
и мятою пропахнут сумерки
над полем и над новостройкой.

А все сомнения рассеются,—
не зря, спокойствие даруя,
нам остаются фотографии
и наши нежные надежды...

• • •

Очнуться от долгой беды,
как выписаться из больницы:
сознание прояснится
и сорваны к черту бинты...

Все — внове. Неужто ты мог,
блуждая в душевном тумане,
забыть, как витает дымок
над лесом и над домами...

А что? Ведь любая беда
чернит очертания мира,
как временная слепота
иль черные чьи-то чернила.

Быть может, плохое письмо
иль опыт любви неудачной
поставят клеймо, как бельмо,
на мир, спозаранку прозрачный.

И он — омрачен, омрачен,
и не перечить червоточин,
когда ты почти ни на чем
внимание сосредоточил...

Но все же очнулся, в душе
все мелочи уравновесил
и вот — беспечален уже
и даже немножечко весел.

Прекраснее, может, и нет,
чем белою хрустнуть страницей
и встретить морозный рассвет,
здороваясь с тихой птицей.

Заметить — на стеклах следы
оставила вьюга ночная...
Я заново жить начинаю —
очнулся от долгой беды!

РАИСА РОМАНОВА*На речке Воре*

На Воре, на маленькой Воре
Туман поглотил берега...

На счастье ли нам иль на горе
Так радость была коротка?..

Мгновенно промчалась, растаяв,
Семья лебедей ввечеру,
Но самый красивый из стаи
Нам сбросил с тобой по перу.

Согрейся, немного согрейся...
Еще ты сегодня со мной.
...Уходят перила, как рельсы.
Кончается мост навесной.

Работа

Шуршат в июле,
Солоны и пряны,
Дожди
На свежескошенном
Жнивье,
А по утрам
Снимаются туманы
И нехотя плывут
В небытие.
...Я рву траву
Забористо и спешно,

И перевясла
Вмиг вяжу змею,
И все оттенки
Солнечного спектра
Я на ладонях мокрых
Узнаю.
И под вязанкой
Плечи затекают,
И меньше угол —
Меж землей и мной,
Но мне известно:
Тяжесть вот такая
Не отягчает вовсе
Шар земной.

ЛАРИСА РУМАРЧУК

Натюрморт

Если бы я была художником,
я не стала бы рисовать
цветы в вазе,
поставленные кем-то
с милой небрежностью,
так,
чтобы один цветок как бы нечаянно
обязательно упал
и остался лежать рядом с вазой.
Я бы лучше нарисовала
тарелку дымящихся зеленых щей
из молодой крапивы или щавеля.
Тарелку густого,
буро-зеленого отвара.
А посредине
огромное,
овальное, как старинные медальоны,
белое и плотное,
наполовину затонувшее
в этом зеленом море
и вытеснившее его своей тяжестью
на самые края с голубой каймой —
яйцо, сваренное вкрутую.
Я бы назвала эту картину «Лето».

Хочется счастья женщине

Хочется счастье женщине.
Женщине счастья хочется.
И вот она покупает
дешевенькое кольцо.
Ночью не досыпает,
Павой плывет по площади.
О, не пройдите мимо,
заметьте ее в толпе.

Хочется счастья женщине,
а счастье куда-то прячется.
И вот уж она, смелая,
его у другой крадет.
О, не судите женщину,
простите ее удачу ей.
Придите на этот праздник,
когда она позовет.
Хочется счастья женщине.
Встретится ли, не встретится?
Навеки в душе останется
или опять обманет?
А эта земля все крутится,
а эта земля все вертится
с нею, такую маленькой,
как раковина в океане.

Какой волной ее вынесёт
на берег, пригретый солнцем?

Какою волною смоем,
песком занесет на дне?
Люди, простите женщине

все ее прегрешения.
Ведь жизнь ее — это сражение
на нелегкой войне.

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

• • •

А музыка была до нас.
И если зазвучала —
одна душа в ночи сейчас
другую повстречала.
Так натываются впотьмах
на оголенный провод.

Виток судьбы — в твоих руках.
А музыка лишь повод.
Так тело рассветает в снах
и рвет силлок паучий.
И плоть твоя — о двух крылах.
А музыка лишь случай.
Так водят звездный хоровод
на волосок от рая,
так Лету переходят вброд
и гибнут, воскресая.
А музыка находит час
и с первых дней творенья
уравновешивает в нас
земное тяготенье.

ТАТЬЯНА ШУБИНА

Деревянная баллада

*Граду Калинину
посвящается*

У деревянных домов
былинные, темные лики,
что писаны солнцем
на синих холстах русских рек.
И тайны свои,
и свои вековые реликвии,
и в вымытых стеклах
неспешный облачный бег.
И в каждом бревне,
как в нечитанном свитке,
СУДЬБИНА.
Ведь бытность деревьев
никак не дано им забыть.
Как рвали верхушками
туч синевелых перину
и расходилась по небу
холодная крупная зыбь.

А только весна,
как преддверием почек томимы,
чуть тронешь,
и пульсом в ладони они отзовутся,
как будто бы в них
часовые заложены мины,
и близок тот час,
когда бревна листвою взорвутся.
То память деревьев.
А память домов не беднее,
почти одна треть их
стояла уже при Петре,
крестьянские войны знавала,
слыхала про Нея.
И Пушкина сани
въезжали сюда в декабре.
И в рамках оконных,
не хуже, чем в галерее,
висели, как луны,
объемные лица купчих.
А в те, что поуже,
пониже и покривее,
глядели работные люди,
усталые прачки,
ткачи.
Вот их-то мечты обрели свою плоть
в наши годы,
а дом деревянный,
что мохом столетий пророс,

на карте летящего,
 светлого,
 чистого города
 однажды пометят
 крестиком синим на «снос».
 И будет не грустно,
 и будет, наверное, весело,
 и выгнется небо
 для новых домов-корпусов...
 и только потертая,
 старая, черная лестница
 вдруг вспомнит шаги всех восьми
 поколений
 жильцов...

• • •

*В Белоруссии во время Великой Оте-
 чественной войны погиб каждый чет-
 вертый.*

Минск. Музей Великой Отечественной
 войны

А на Хатыни — колокола, колокола...
 А на Хатыни — ни двора, ни кола,
 А на Хатыни — ни добра, ни зла —
 лишь одна ЗОЛА...
 А в тот день на исходе марта
 так безумно кричали матери,
 и губами белее марли
 целовали младенцев матовых.
 Но уже раздвигало доски,
 пламя лапами, как из воска,
 и сестер заслоняли подростки —
 мальчуганы по-дедовски рослые.
 Я закрю ладонями уши,
 Не хочу!
 Не могу я слушать,
 как трещат,
 как трещат в огне кости
 семидневного Кости.
 И глаза на меня тоже рошчат,
 их пугает та жуткая роща,
 где весной из березовых почек,
 как из прошлого скорбная почта,
 вырастают глаза сожженных,
 как с рублевской сняты иконы...
 Там, где было страшное пекло,
 из людского кричащего пепла
 гребешками, по-мартовски нежными,
 поднимают землю подснежники.
 Их не рвут!
 Их обходят, сняв шапки,
 и земля качается шатко...
 Ты Большая Хатынь,
 Белоруссия!
 И кричат в небе дикие гуси,
 будто стонут сто тысяч органов...
 Похоронно лежит красный мрамор,

а под ним —
 уж который вот год? —
 лежат 205 тысяч шестьсот...
 Это только
 ОДИН ТРОСТЕНЕЦ...
 Трава к солнцу растет —
 ИЗ СЕРДЕЦ...

Живая история

«99—22»!

Самосвал с первым кубом бетона
 И, стихнув, опали слова,
 оказавшись на миг вне закона.
 Тишина голубела внутри,
 чтоб взорваться исконным: УРА!
 Едва с номером «...—23»
 появился второй его брат.
 Он парил над толпой, синий «ЗИЛ»,
 будто только спускался с небес,
 где на облаке водрузил
 красный лозунг:

«Второй Днепрогэс»!
 Сыскать в жизни минут таких
 много ли?
 Чтобы прямо вот ТУТ,

 в этот час
 вы глазами грядущее трогали
 и оно бы смотрело на вас.
 Прямо в душу, сорвав с нее ставни,
 прямо в яблочко каждого Я.
 Вот тогда-то глубинно и странно
 ощущаешь всю суть бытия.
 Понимаешь, что врос пуповиной
 в эту землю, родную по крови.
 И подкова гигантской плотины —
 гимн живым и погибшим героям.
 Шли машины,
 и тут — я не скрою —
 показалось, что, сдвинув ряды,
 все строители Днепростроя
 встали здесь, у декабрьской воды.
 И не рядят, кому было легче:
 вкус-то пота, вовек он — один.
 И мы все — от подметок по плечи —
 вбиты в жизнь, как железный клин.
 И уж держим, как цепко мы держим,
 духом молоды, телом молоды...
 И чтоб вышибить наши надежды —
 не найдется нигде в мире молота.
 Мы не ломкие, мы не плавкие,
 не канючные в потном деле.
 Ведь у нас Корчагины Павки
 в родословном числятся древе.

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

• • •

Много снега — много хлеба.
Народная пословица

Смена кончена.

Взлетели
мы в клетки навстречу дня.
И тогда проснулась в теле
вся усталость у меня.
Ослеплен был белизною
я, подземный человек:
снег лежал передо мною,
за ночь выпал этот снег.
Веки сонные смежая,
думал я, что на земле
новый праздник урожая...
Слава доблестной зиме!
Небо, не пропало чтобы
столь отборное зерно,
намело муки

сугробы
и просеяло само.
На людей зима похожа,—
как ее не уважать? —
думает, как мы,

про то же:
про грядущий урожай.
Помни поговорку,

где бы
ты ее ни услышал:
«Много снега — много хлеба...»
Слава выпавшим снегам!
И забыл свою усталость
я, подземный человек.
Нелегко нам соль досталась...
Я шагал, и мне казалось,
перемешан с солью

снег.
Соль валила прямо с неба,
Соль кружила на ветру...
«Много соли — много хлеба»,—
это я вам говорю.

• • •

Всяк,
кто рот на мой край разевал,
тот давился каленым железом...
А болтали, что наша земля
Только бульбой богата да лесом.

СТИХИ

Как мы думать когда-то могли,
простодушные и поныне,
что нет в недрах родимой земли
нефти,
соли,
угля —
и в помине...

На земле,
где открыт был беде
каждый самый затерянный угол,
где леса каменели — и те —
с горя, диво ли — каменный уголь!

Кровью полита эта земля.
Кровь по капле собирая и пряча,
она труд свой вершила не зря:
ради нефти — горючей, горячей.

Хлебосольны мы.
В нашей семье
нет почета раздору и ссоре...
Любим труд. И на этой земле
да чтоб не было хлеба и соли?!

• • •

Как только наступит
полдень впотьмах
и полдник
начнут под землей шахтеры,—

металл,
кузнецы,
не куйте в цехах,
не нагружайте машин,
шоферы!

Строители мощных плотин и мостов,
работайте так —
словно смену вы спали,
чтобы с земных вековых пластов
пылинки
на хлеб
под землей не попали.

Подземные боги
наделены
особою статью,
что так им пристала,
сидят, розоватую соль со стены
привычным движением
сыплют на сало...

Ты им пожелай аппетита, друг,
доставка вдосталь, воздуха вволю.
Они нам подносят
на тысячах рук

Землю,
буханку огромную с солью.

Перевод Риммы КАЗАКОВОЙ

АНАТОЛИЙ ГРЕЧАНИКОВ

На Полесье

Сквозь века на Полесье звенят неустанно,
Словно колокол древний, седые курганы.

То тревожным набатом, то тихо, как сон,
Над землею плывет их торжественный звон.

На Полесье курганов — словно в роще грибов.
Много в селах детей, мало в них стариков.

И над ними, как в детстве, звенит неустанно
Задумчивый голос седого кургана.

В этом древнем напеве мне слышится речь:
«Волю трудно добыть, но труднее сберечь.»

Никогда я, Полесье, не буду батрачкой,
Если сон ваш не станет глубокою спячкой...»

И гордо плывет журавлиною ранью:
«День добрый, потомки!
День добрый, земляне!

И пусть этот день вам страдой будет летней,
И для вашего сердца — печалью последней!»

День уйдет на покой. Тихо звон растворится.
На закате Полесье пропахнет живицей.

И бессонно глядят нам в лицо сквозь туманы —
Курганы, курганы, курганы...

Красные кони

Красные кони бродят ночами по травам степным.
Призывно горят они теплыми огоньками.
Роса оседает на гривы туманом седым.
Небо над ними — дугою, звёзды — бубенцами.
Никому не поймать их. Гостинцем никто не приманит.
Как ласточки, уши трепещут, а очи — печальны.
Красные кони. И черные тени курганов.
И птицы ночные в межзвёздном тревожном молчанье.
У каждого конь свой: красный, иль белый, иль черный,
Кто ведает, где он? Кто скажет, какая у доброго масть?
Рано иль поздно, придет он, твой конь нареченный,
Только тебе уже к гриве его не припасть.
Будет он ржать и копытами бить ошалело.
Даже если забыл ты его — он придет к тебе сам.
Ночь и красные кони. А может быть, небо осело,
Тучи на выпас пустивши,
Припало в истоме к лугам.

СЕРГЕЙ ГРАХОВСКИЙ

И сердце не занует без тревоги,
Без доброты нельзя в глухую ночь
Найти в потемках верную дорогу,
Чтоб человеку
в трудный час помочь.

Сердце

К нам счастье
не приходит без причины,
Без мужества не выстоит боец,
Без горя не прорежутся морщины,
Без веры не затянется рубец.

И если всё изведаль,
вплоть до смерти,
И всё ж сумел душой не охладеть,—
Не бойся, что болит порою сердце,
На то оно и сердце, чтоб болеть.

*Перевод
Елены НАДЕИНОЙ*

ИВАН КОЛЕСНИК

• • •

Сыну Павлику

Гремит салют.
Дрожать не надо,
Малыш,
Хоть вспышкам нет числа.
Ведь не такая канонада
Мир сокрушала и трясла,
Я вздрогнул от другой тревоги,
Тебе которой не понять.
Бойцам, убитым у дороги,
Уже ко времени не встать,
Не рассказать мечты и беды,

Не выйти снова на большак.
О, как гремит салют Победы,
Как разрывается в ушах.
Родился ты на утре ясном,
Когда умолк военный гром.
Тревожный блеск ракет угаснул
Над выжженным дотла селом.
Ты вдоволь ешь,
Живешь под кровом.
Но жмешься к матери, дрожа.
Знать, гром войны
С отцовской кровью
Проник и в сердце малыша.
Да, пережито злое лихо,
И села встали на золе.
Пусть в память мертвых
Будет тихо
На зеленеющей земле.

Перевод В. Л. Кострова

«Роса выпадает на каждую травинку»

Я трудилась над статьей для журнала «Огонек», когда раздались сразу два звонка. Я заметалась между дверью и телефоном.

На пороге стоял Туку, старинный друг нашего дома. На телефонном проводе была Москва. Журнал «Наш современник» просил написать статью о женщине Дагестана. Моя героиня должна быть и передовой работницей, и многодетной матерью, и общественницей. Словом, желаний было много, а времени мало. Но отказаться я не могла.

— Что случилось, дочка? Чем ты так озабочена? — спросил Туку, снимая с головы серую каракулевую папаху.

— Да ничего особенно, Туку-даци¹. Вот, просят написать статью.

— Очень хорошо, — одобрил Туку. — Пиши. — Он зацокал губами, явно гордясь мной.

— Пиши... — вздохнула я. — А когда?.. Знаешь, я все время кому-нибудь что-то должна. Только расплачусь, думаю, теперь вздохну свободно, как новый долг. Сегодня выступление в Доме культуры Каспийска, завтра в школе № 2. То женсовет республики, то родительское собрание. То звонок из радиокomiteта, то дни рождения знакомых...

— Это же замечательно! — воскликнул Туку. — Сознать себя нужным человеком. И ты все это сделаешь, поверь мне. Но только... после свадьбы.

— Золотой или серебряной? — засмеялась я.

— Самой обыкновенной. — Туку, удобно устроившись на диване, хитро следил за мной, не спеша с объяснениями. Он определенно готовил мне сюрприз и теперь сладко предчувствовал мое удивление.

— Внучка моя Патимат выходит замуж, — наконец объявил он.

— Что тут такого? — ничуть не удивилась я. — На то она и девушка.

— Я за тобой пришел. Собирайся. Едем в аул, — наконец сказал Туку.

Так вот он, его «сюрприз»!

— Спасибо, Туку, но как я могу поехать? Ты же видишь... — И я беспомощно развела руками. — А теперь еще надо искать героиню для статьи.

¹ Уважительное обращение.

ФАЗУ АЛИЕВА

СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ КОСИЧЕК НЕВЕСТЫ

РОМАН

Книга первая

Перевод с аварского
Ларисы РУМАРЧУК

П р о з а

— Смотрю я на тебя, доченька. Все-то ты спешишь. Можно подумать, что мир держится на тебе.

— Туку-даци, ты же сам видишь...— смутилась я.

— Когда ты последний раз была в ауле? — спросил Туку, не обращая внимания на мои слова.— Три года назад, говоришь? Стыдно, доченька, стыдно. Копошишься здесь, суетишься... И где искать героиню для твоей статьи, как не в ауле? Ведь женская судьба у нас может стать книгой... Роса-то падает на каждую травинку...

— Все! Еду! — вдруг сразу решила я.

— Вот и правильно,— обрадовался Туку.— Выпьешь один рог моей бузы — море станет по колено. А женщины... да я тебе таких героинь найду...

И вот мы едем в «газике». Здесь очень тесно — я не одна приглашена из города на свадьбу. Мы поднимаемся в облака. Внизу, под колесами, ключьями висит туман. А там, на дне пропасти, бешено ударяясь о скалы, горная река пробивает себе дорогу к морю.

Я все еще перебирала свои городские дела, все еще не освободилась от них, когда жена Туку подтолкнула меня локтем.

— Знаешь, Фазу, о чем я сейчас думала? — спросила она, вытирая платком глаза, которые от прожитых лет потеряли и цвет и блеск.— Как все изменилось в горах. Слыханное ли дело, чтобы дедушка приглашал гостей на свадьбу внучки? Когда моя старшая дочь выходила замуж, все близкие мужчины нашего рода уехали из аула и вернулись только после свадьбы.

— А разве раньше ты поехала бы в город на защиту диссертации своей дочери? — вступил в разговор и Туку.

— Знаешь, что я вспомнила,— улыбнулась своим мыслям его жена.— Мама рассказывала о своей свадьбе. Жениха своего она ни разу не видела. На свадьбе мужчины и женщины сидели в разных комнатах, а невеста еще и с закрытым лицом. Ночью в темноте она его не разглядела, а утром он ушел. В полдень на гумне, когда все плясали и веселились, она спросила подругу: «Кто этот красавец, он так хорошо танцует?» «Да это же твой муж»,— расхохоталась подруга.

Чем выше мы поднимались в горы, тем холоднее становился воздух. Острый как бритва, он проникал во все щели нашего «газика». Я поежилась. Туку заметил это и предложил мне бурку. Я сразу потонула в ее уютном тепле. Бурка кисло пахла овчиной, и запах этот, такой знакомый, грустно и сладко напоминал мне детство. Захотелось спать.

— Ты что, Туку-даци, и в машину бурку кладешь, как на коня? — невозможная дремота, спросила я.

— Да, доченька, с буркой я никогда не расстаюсь. Это складной дом горца. Машина — она и есть машина. Она человеческого языка не понимает. То мотор забарахлит, то застрянет где, заупрямится, хуже осла. Вот тогда-то закутаешься в бурку и спишь себе, словно у печки... Да, Фазу, ты, кажется, хотела подняться в гору пешком?

— Пойдем, Туку-даци?

— Вот что,— обратился Туку к остальным.— Пусть аллах даст нам силы. Мы с Фазу поднимемся на гору, а вы поезжайте.— И он кивнул шоферу, чтобы тот остановил машину.

Шофер посмотрел на звезды, далеко мерцающие в темном небе, на слабый силуэт горы, на меня, закутанную в бурку, вздохнул и ничего не сказал. Он знал, что уговаривать Туку бесполезно. Стояла поздняя августовская ночь. Небо без единой тучки было осыпано золотыми звездами. Казалось, поднимись еще немного, привстань на уступе скалы, протяни руку — и горячая звезда обожжет ладонь.

Мы поднимались все выше и выше. Подъем, казавшийся снизу не слишком крутым и долгим, теперь, на половине пути, заставлял учащать

дыхание. Ломило в пояснице. Подкашивались ноги. А дороге не видно было конца. Чем дальше мы шли, тем явственнее отдалялась вершина. Наши спутники, наверное, уже давно приехали на своем «газике», сидят теперь у теплых очагов и едят хинкал. Я живо представила себе херч, полный хинкала и свежего вареного мяса. Острый запах чеснока защекотал ноздри. Я остановилась.

— Что, устала? — повернулся ко мне Туку, посмеиваясь.

— Да не очень, — решила я не сдаваться.

Но Туку не проведешь.

— Это гордость говорит в тебе. А ведь горянки легко поднимаются в эту гору, да еще с тяжелой ношей за спиной.

— А я что, не горянка?

— Горянка-то горянка, — не спеша проговорил Туку, — да только не настоящая. Ты городом изнежена. Сидите там у телефона, какие-то бумаги подписываете да деньги за это получаете. А в горах все достается потом... Ну, ну, не отставай...

И Туку стал подниматься еще быстрее. Движения его были легкими, пружинистыми. Разве скажешь, что ему за шестьдесят? Я старалась не показать ему усталость и упрямо поднималась следом за ним.

Когда мы перевалили гору и стали спускаться к аулу, уже занялась заря. Над ее лучами таял, рассеивался туман, открывая зеленые низины. И гора уже не казалась мрачной, неприступной крепостью. И все же, оглянувшись назад, я удивилась: неужели мы только что прошли этот путь?

В последние годы я всегда летала в аул самолетом. А из окна самолета мой маленький Дагестан кажется застывшим морем, словно разбушевавшаяся стихия остановилась вдруг, окаменев. Но ступи с самолета на траву лужайки — и аромат полевых цветов обовьет, опьянит тебя. В лицо ударит ни с чем не сравнимый горный воздух. И ты сразу забудешь о том, что видел с высоты. Усталости как не бывало. словно в жаркий, утомительный день ты принял прохладный душ.

Иди в аул пешком. Под ногами твердая, утоптанная земля. Зигзагами вьется горная тропинка меж лугов с высокой травой и неброскими цветами, меж камней и скал, мимо рек и родников. Вьется со знанием дела, то поднимая, то опуская путника, молчаливо храня его тайны.

Тропинка, утоптанная тысячами ног, тысячами копыт, обильно политая кровью, израненная пулями, исколотая кинжалами. Доверься ей — и она проведет тебя по всем своим поворотам, отводя от пропасти, от колючих кустов, от острых скал.

— Ну как, не жалеешь, что поехала? — спрашивает Туку, увидев, что я глазу рукой серый камень у бьющего родника.

— Я словно заново родилась!

— Туку-даци знает, что делает. Все эти камни священные. Слушай, что я тебе расскажу. Как-то перед войной приехали к нам двое больших ученых, все искали старинные вещи. А я водил их по горам и знакомил с нашими легендами. Ходили они, каждый камень ощупывали. А один из ученых, такой бородатый старик, ставил карандашом кресты на камнях.

— Зачем это? — спрашиваю.

— Камень для музея, — отвечает бородатый.

Я ничего не сказал, только усмехнулся.

А когда через несколько дней мы возвращались в аул, бородатый и говорит:

— Теперь только я понял твою усмешку.

— Что же ты понял? — спрашиваю я.

— А то, — отвечает бородатый, — что у вас тут каждый камень музейный.

Рассказывая, Туку заметил, что я вытащила записную книжку.

— Для статьи? — спросил он хитро.

— Там поглядим, — ответила я уклончиво. — Ты же сам учил: не кипятить воду, пока не убит заяц.

— Очень уж маленькая твоя записная книжка, — заметил Туку.

— Я буду счастлива, если и она заполнится.

— Посмотрим! Я тоже не хочу забивать твои хурджины ветрами обещаний. Взгляни. — И он показал рукой в небо.

Там, словно отколовшаяся от горы, возвышалась скала, отвесная, как стена дома, и по ее крутизне до самого верха поднимались вбитые в камень колья.

— Можешь по ним подняться? — спросил Туку.

— Шутишь! — воскликнула я.

— Почему? Посмотри, как равномерно вбиты деревянные колья. Это сделала человеческая рука... Не сказку я тебе собираюсь рассказать, не легенду поведать, а быль.

Лицо Туку посуровело. Он поднял свою поседевшую голову; она чем-то напоминала эту снежную вершину. Глаза его утратили свое обычное мягкое выражение. Они стали блестящими и жесткими. Я проследила за его взглядом. И от вида этой крутизны, и острых хребтов, и синевы в просветах между ними, и валунов, отполированных веками, и всего этого дикого, первозданного, будто только что сотворенного мира у меня захватило дух.

Кое-где горы разрезаны с вершин до основания как острой бритвой. Узкие тропинки, темные коридоры, глухие извилины лабиринтов, где и в солнечный полдень стоит полумрак, делают эти горы еще более зловещими и прекрасными, словно они клад вековечных тайн. Ни куста, ни травинки. Гигантский хаос голых камней.

Закинешь голову до ломоты в шее: чем дольше смотришь, тем выше и дальше уходят острые пики утесов. Голые, отполированные льдами. Ни кустика, ни деревца, ни человека. Лишь мелькнет на крутизне распластанная тень горного орла.

Калым

Однажды утром на одной из вершин можно было разглядеть человека.

Серая лохматая папаха и одетая наизнанку шуба из бараньей кожи делали его похожим на эти черные скалы. Наверное, издали он и казался камнем, окутанным, как все вокруг, серым туманом раннего утра. Он стоял неподвижно и смотрел на аул, казавшийся отсюда тоже камнем, большим белым камнем, который во время обвала откололся от скалы и, летя вниз, вдруг застыл над пропастью.

Так и остался бы этот аул в сознании проезжающего мимо путника как один из камней в этой каменной стране, если бы не дым из труб. Теплый дым человеческого жилья. Он аккуратно клубился над каждой глиняной крышей, напоминая о домовитости, о семье, о неумолчном и хлопотливом бурлении жизни.

Человек, отважившийся подняться на орлиную высоту, стоял неподвижно. Он размышлял. Там, внизу, был его дом, но среди многих дымов мог ли он отличить дым своего очага?

Вдруг взгляд упал на бурдюк. Человек сдвинул брови. Чем-то опечалил его этот кожаный мешок, притулившийся у ног.

Рассеялся туман. Заголубело небо. Легкое подрагивание воздуха говорило о чистоте и свежести наступающего дня. В расщелинах скал стояли черные тени. И туда проникли солнечные лучи. Только на дне самого глубокого ущелья застряла маленькая тучка.

«Что этой скале до того, что сегодня так солнечно, если в сердце ее туча?» — сказал человек самому себе и вздохнул. Не спеша он нагнулся над бурдюком, поднял его, почти не почувствовав тяжести. А ведь еще три дня назад он с трудом волочил бурдюк за собой, так он был тяжел. «Неужели еще кто-то осмелился подняться туда», — подумал человек и поднял голову. Голые скалы смотрели на него в суровом молчании. Казалось, они знали причину, но не хотели открыть ее человеку. Еще три дня назад эти самые скалы были его спасением, его большой удачей. А теперь...

И Муса вспомнил тот день, когда судьба улыбнулась ему. Недаром умные люди говорят, что в жизни все перемешано: радость вдруг оборачивается горем, а то, глядишь, и горе — радостью.

Все началось с пропажи козы. Козы с двумя козлятами. Коза-то у Мусы была единственная, а детей — словно семь цветков на одной нитке. И все мал мала меньше. Только старшей, Кумсият, стукнуло шестнадцать. Бывало, сидит она на полу, на коленях у нее спят два брата, а третий в люльке, она его свободной рукой молоком поит из рога, а четвертый брат на спине висит, руками за нее держится. Муса с женой Рукият от темна до темна на чужом поле спины гнут, а к люльке воловий рог привязан с овечьим соском. А в рог молоко налито. Старший младшего выхаживал. Так и росли.

И вдруг пропала коза. Двое суток ходил Муса по горам. Все ущелья облазил, одежду изодрал, поднимался на такую высоту, куда козе и не допрыгнуть. Все думал, а вдруг? Но, наверное, ее кости уже лежат где-нибудь на дне пропасти. Другой бы сам следом за козой в пропасть полетел. Но не Муса. Род Мусы славился отчаянной храбростью да ловкостью.

На рассвете третьего дня, уже потеряв всякую надежду отыскать козу, в одном ущелье, повисшем на головокружительной высоте, Муса неожиданно набрел на ульи диких пчел. Это было целое богатство.

Он задохнулся от дурманящего запаха меда. Видно, никогда рука человека не погружалась в эту золотую липкую массу. Меда было так много, что его хватило бы на весь аул. Был он затвердевший, старый, словно слитки драгоценного металла. И чуть покрытый корочкой. И совсем свежий, прозрачный, льющийся как молодое виноградное вино.

Муса не заметил, как воздух в пещере наполнился жужжанием и потемнел, — словно грозовая туча, налетели пчелы. Они впивались ему в нос, в губы, в руки, которые жадно отламывали свежие хрустящие соты и совали их в карманы.

Когда с карманами, полными душистого меда, он пришел домой, жена не узнала его, так он был искусан. Но заплывшие глаза светились счастьем.

Муса поделился с женой радостью, но она, оттолкнув соты, закричала, плача: «Не нужен мне этот мед. О аллах, мой муж привязал к шее саван и опустил одну ногу в могилу». Муса только отмахнулся от нее. Даже эти вопли не могли заглушить его радости.

На другой день он выстругал деревянные колья и вбил их в отвесную стену скалы, чтобы легче было карабкаться.

С тех пор как муж повадился за медом диких пчел, Рукият потеряла покой. По ночам она выходила на крыльцо и со страхом и надеждой смотрела в темное небо, где слабо чернели горы. Она вздрагивала, когда раздавался крик совы или гулко и долго скатывался в пропасть малый камешек. А когда из темноты доносились тяжелые шаги мужа, бросалась к нему со слезами. Она принимала у него бурдюк, полный меда, кормила его, словно он пришел с полевых работ, смотрела на его осунувшееся, помолодевшее лицо и... на миг забывала о своем страхе. А потом они ложились рядом и начинали подсчитывать, сколько денег они выручат

за проданный мед и что справят на эти деньги. Рукият продавала мед на рынке или выменивала на другие товары.

Понемногу семья начала выбиваться из нужды. Они сделали большое крыльцо к дому, поставили новые ворота, купили осла, приделали ребятишек, а старшая, Кумсият, получила шелковые парчовые обновы.

Хоть Рукият и не могла избавиться от страха за мужа, все же достаток и ее помолодил. Теперь, когда она, навьючив осла, вела его на базар, многие соседки бросали на нее завистливые взгляды.

Степенным стал и Муса. Он купил себе новую папаху из меха молодой овцы и вечерами любил посидеть у ворот, раскуривая кальян.

Но больше всех радовалась Кумсият. В парчовом юбка, о котором она прежде не смела и мечтать, она сразу превратилась из заморенного подростка в цветущую девушку. Даже бледность — признак голодного детства не портила ее.

В тот день в ауле играли свадьбу, и Кумсият впервые отпустили из дому одну, без матери. Когда, нарядившись, она выбежала на крыльцо, Рукият так и ахнула. «Посмотри-ка, отец, какова наша Кумсият», — закричала она, любуясь дочерью.

Муса поднялся с лавочки, где он сидел затаившись кальяном, и подошел к ним.

— Девушка как девушка, — сказал он ворчливо. Но Рукият по глазам поняла, что он гордится дочерью. А поняв, решила, что сейчас самый подходящий момент заговорить о свадьбе Кумсият.

— Уже третий день у нас висят хурджины, которые принесла Таибат, мать Османа. А хлеб так и лежит нетронутым. Надо же наконец решить вопрос, — начала она.

— А я и не собираюсь его трогать, — отрезал Муса, не глядя на жену, и снова затаился кальяном.

— Честь твоей голове, Муса. Но умный человек не выпустит из рук орла, чтобы потом поймать воробья.

— Куда скачешь, — рассердился Муса. — Такое дело на лету не решают. Недаром горцы говорят: решил жениться — у ста людей спроси совета. Да и рано еще Кумсият...

— Почему говоришь, рано, — вскипела Рукият. — Сам же твердил, что девушку нужно выдавать замуж тогда, когда она устоит при ударе папай.

— Ладно, — сдался Муса. — Положим, я готов выдать замуж дочь, но только не за Османа. Не хочу соединять сгоревшее ущелье и голые скалы. И только начали мы выбиваться из нужды. А что ее ждет в доме Таибат. Опять нужда.

С этими словами он пошел в дом, давая понять, что разговор окончен. Но Рукият бросилась за ним:

— И море любит дождь, Муса. Богатый человек не станет свататься к нашей дочери.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Муса уязвленно, он не любил, когда ему напоминали о его недавней бедности.

Не успел он договорить, как со скрипом открылись ворота и появилась Таибат. Рукият бросила тревожный взгляд на хурджины, потом на мужа.

— Может, хоть сломать хлеб, — успела она шепнуть мужу.

— Нет, — сурово отрезал Муса.

— Ой, соседи, — говорила между тем Таибат, подходя к ним, — слышали, какое несчастье свалилось на Хасбулата?

— Что такое? — забеспокоилась Рукият.

— Корова вчера отстала от стада, и они целую ночь ее искали, а утром в глухом ущелье нашли ножки да рожки.

— О аллах, — запричитала и Рукият, ударив рукой о колено, — где

тонко, там и рвется. Что же они теперь будут делать, как прокормят десять ртов?

— Не знаю. Я так расстроилась,— вздохнула Таибат, а глаза ее так и бегали по хурджинам.

— Рукият, отнеси им меду, раз такое дело,— вмешался Муса.

— А что же я отдам за одеяло? — вырвалось у жены.

— До сих пор твои дети спали под дырявым одеялом, и еще поспят,— ответил Муса.— Нет более богатого человека, чем бедняк, если он умеет довольствоваться тем, что имеет.

— Твоя правда, Муса. Все им что-нибудь несут. И я отнесла масло, приготовленное для базара. Может, наберет и на корову.— Говоря так, Таибат сняла с гвоздя хурджину и пошла к воротам. Следом за ней шла Рукият. Глаза ее смотрели вниз. Все было так, как положено по адату. Ни в чем не нарушила она древний закон аула. И все же Рукият чувствовала себя виноватой. «Вот придет Таибат домой, найдет в хурджинах нетронутый хлеб и расстроится. Можно же было хотя бы сломать»,— размышляла Рукият, сердясь на упрямство мужа.

Согласно адату, сватовство проходило так. Мать парня пекла вкусный сдобный хлеб. Завернув в чистый платок, она клала его в хурджину и несла в дом девушки, приглянувшейся ее сыну. Там она заводила разговор о сенокосе, о корове, о разных домашних делах — только не о свадьбе — и как бы невзначай вешала хурджину на видное место. Через три дня она приходила снова. И опять шел оживленный разговор о житейских мелочах. А уходя, она как бы между прочим забирала свои хурджину. По дороге домой шла степенно, ничем не выдавая своего нетерпения и, только переступив порог дома, с волнением совала руку в хурджину, торопливо развязывала платок. Если там лежал другой хлеб взамен принесенного, значит, предложение принято и сватовство состоялось. Тут уж пора готовить подарки, резать баранов, варить бузу... Если же она брала в руки свою остывшую буханку, значит, надо запрятать в сундук подарки, приготовленные для невесты и ее родителей. Есть еще и третий вариант. Если хлеб в хурджине надломан — значит родители подозревают, посоветуются.

Таибат получила обратно свой хлеб целым. Значит, отказ окончательный. И ни Муса, ни Рукият не подумали о том, огорчится ли их дочь, хочет ли она этой свадьбы. Они даже не спросили ее. Так было принято по законам адата. Судьбу девушки решали за нее ее родители.

...А Кумсият между тем давно любила Османа.

Это началось в один из ясных дней прошлого лета, когда пятнадцатилетняя Кумсият стирала на речке белье. Был жаркий полдень. Казалось, от духоты обвисли ветки деревьев, пожухли и пожелтели травы, устали петь птицы, даже река медленно катила волны. Только жаворонки счастливо заливались в блеклом, выцветшем небе, словно им жара нипочем.

Кумсият расположилась на большом камне, выступающем из воды. Он был гладкий и скользкий, отполированный водой. Она окунула руки в речку, и сразу стало легче. Девушка закатала подол ситцевого платья, выбросила из таза старые одеяла, одежонку братьев. Намочив все это в речке, разбросала по камню и стала бить руками и топтать ногами. Склонясь над водой, Кумсият видела свое отражение: длинные худые ноги, тонкие руки с голубыми ручьями вен, бледное сосредоточенное лицо. Когда она окунала одежду в реку, вода сразу мутнела и отражение исчезало, а потом появлялось снова. Эта игра забавляла Кумсият, а холодные брызги освежали. На берегу весело пестрела одежда, разложенная для сушки. Она уже полоскала последнее одеяло, как вдруг ноги ее коснулось что-то мягкое и шершавое. От неожиданности она вскрикнула и подпрыгнула на камне. А подпрыгнув, поскользнулась и упала в реку.

Кумсият никогда не купалась в реке — только дома в медном тазу.

От страха она стала кричать и барахтаться в воде. Но в следующую минуту чья-то сильная рука больно схватила ее за косы и бросила на берег.

Несчастная, мокрая, стуча зубами от холода и пережитого волнения, Кумсият камнем лежала на берегу. А когда, очнувшись, села, разлепив глаза, то первое, что она увидела, было пестрое стадо телят, пришедших на водопой. Значит, она испугалась теленка, лизнувшего ей ногу.

Вдруг она услышала над собой громкий смех. Рядом стоял пастух Осман и хохотал.

— Чего ты так испугалась? Телята же не кусаются,— с трудом проговорил он сквозь смех.

— А я и не думала пугаться,— сказала Кумсият обиженно, выжимая воду из длинных кос. Она злилась на этого парня, который так некстати притащился сюда со своими телятами, а теперь еще насмеяется над ней.

— Знаешь, какие у меня телята,— сказал Осман миролюбиво.— Они даже танцевать умеют. Не веришь? — И он вытащил из кармана галифе свирель. Кумсият заметила, какие выцветшие у него галифе, какая золотая рубашка. Ей стало жаль парня. Только зачем он хвалится? Разве телята могут танцевать?

Осман между тем поднес свирель ко рту. И Кумсият перевела глаза на его лицо. Оно было черным от загара и, быть может, оттого казалось грубым, словно сделанным из чугуна. Девушка молча рассматривала его: лохматые сросшиеся брови, глубокий шрам на искривленном носу. Интересно, в какой драке он повредил нос? Твердые бугры мозолей на руках. В негнущихся пальцах так беспомощно зажата свирель. Парень был некрасив. Но вот он прижал свирель ко рту. И тонкие звуки всколыхнули воздух. Телята насторожились, подняли головы. Их добродушные морды повернулись к пастуху. Расплескивая воду, они вышли на берег и, обступив Османа, стали крутиться вокруг него. Это было похоже на танец, и Кумсият, очарованная, переводила глаза то на телят, то на Османа. Как преобразилось его лицо! Глаза, которые прежде были и незаметны под густыми, слишком густыми бровями, мягко светились. Каждая морщинка, каждая складочка на этом лице, задубевшем от солнца и ветра, дышала добротой и покоем...

Кумсият давно знала пастуха Османа. В маленьком ауле, где они родились и выросли, они сталкивались каждый день, а то и несколько раз на дню. Особенно летом, когда вся жизнь сосредоточена под открытым небом. Но сейчас ей казалось, что она видит этого человека впервые. И она вдруг застеснялась своего мокрого платья, которое облепило ее, и одергивая подол, смущаясь возникшим молчанием, сказала:

— Какие у тебя телята... хорошие.

— Ну вот. А ты испугалась,— просто ответил Осман, отнимая от губ свирель, и она увидела, как кровь медленно приливает к побелевшим губам.

— Они у меня музыкальные.— И он с гордостью посмотрел на свое пестрое стадо, оно тянулось к свирели, как к охапке сена.— Видишь, просят, чтобы сыграл. А ты любишь музыку?

— Может, не так, как твои телята, но все-таки люблю,— пошутила Кумсият.

...Уже солнце окунуло за гору половину своего горячего каравая, когда Кумсият возвращалась домой. Закатные лучи золотили ее медный таз, она держала его над головой, не ощущая тяжести. Грустная песня свирели, доносившаяся из-за холма за рекой, провожала ее. Но Кумсият не было грустно. Наоборот, в сердце ее поселилась тихая, ясная радость.

На другой день она собрала кучу вещей и опять пошла к реке. И странно, совсем по-другому стиралось ей сегодня. Хотя солнце, вставшее в зените, жгло, как и вчера, Кумсият не замечала этого. И тяжелые ворохи одежды, которые прежде она с трудом ворочала, казались ей легкими, как пушинки. Она окунала в воду одежду, полоскала, скручи-

вала, а ее сердце, даже ее склоненная спина прислушивались к звукам полдня. Но это были тихие звуки струящейся воды, высокий звон жаворонков, шлепанье мокрого белья о камень. И вдруг к этим привычным звукам, заглушая их, прибавился другой, от которого что-то сжалось внутри сладко и больно.

То пела свирель. А следом за ней появились и телята. Рыжие и пятнистые, они окружили девушку теплым живым кольцом, неуклюже тычась ей в подол мокрыми мордами. И она гладила их, ощущая их шершавые языки на своих коленях. А затем из-за холма показался и сам Осман. Он сменил мелодию, и телята бросились к нему, а потом снова к Кумсият, и опять к нему...

— Ты их совсем замучил, — сказала девушка, когда он подошел поближе. Сегодня он показался ей красивым, не таким, как вчера. Ее внимательные глаза сразу охватили и синий бязевый костюм, и до блеска выбритую голову. Так принято в ауле, чтобы девушка ходила с косами, а мужчина бритым. Солнечные лучи, касаясь его головы, отскакивали от нее солнечными зайчиками.

— Твоей матери и зеркало не понадобится, — засмеялась Кумсият, нежно глядя на него. Смех ее не был насмешливым, но Осман почему-то помрачнел. Проговорил смущенно:

— Я ведь не для матери побрился. Такой красивой, как ты, нужно всегда иметь с собой зеркало.

— А я красивая? — лукаво переспросила девушка.

— А ты разве не смотришься в зеркало?

— У нас и зеркала нет.

И оба засмеялись, сами не зная чему.

Сияло солнце, в дымке голубели горы, дремали на берегу телята, разморенные полднем. Над ними вились оводы. Телята лениво встряхивались, отгоняя их хвостами. Текла река. Текла беседа — ни о чем, но самая главная в жизни. Медленно текло медовое лето.

С тех пор Осман и Кумсият не стовариваясь почти каждый день встречались на берегу. Когда же пастух уходил на дальние пастбища и они не могли увидеться, она находила на камне пучок горных цветов. А взамен оставляла то веточку, то горсть речных камешков...

И вот наконец настал день, когда мать Османа принесла в их дом хурджины с хлебом. Для Мусы и Рукият это было неожиданностью, а для Кумсият надеждой на счастье. Еще до того дня, просыпаясь утром, она выбегала на крыльцо и смотрела, не висят ли хурджины на столбе. А когда однажды, придя с поля, увидела их, сердце ее так и замерло. Но тут же радость сменилась тревогой. А вдруг родители не примут хлеб, не заменят его своим? Она стала следить за каждым движением матери. Когда та выходила на крыльцо, Кумсият прилипала к окну: не берет ли мать хлеб из хурджинов, оставленных Таибат? Но мать каждый раз проходила мимо.

По ночам Кумсият вскакивала с постели и, дрожащая, при свете луны пробиралась на крыльцо, чтобы заглянуть в хурджины. Но в руках ее, освещенных бледным светом кривого месяца, был все тот же ситцевый платочек в мелкий горошек. Развязав его, она находила тот же круглый мягкий хлеб с нежной румяной корочкой. Ей хотелось закричать от бессилия. Но она молча заворачивала хлеб обратно в косынку и завязывала крест-накрест узлы.

На третий день, поняв наконец, что родители и не думают трогать хлеб, Кумсият не выдержала.

— Мама, а мы не будем печь сегодня хлеб? — спросила она, опустив глаза в землю. — Сегодня Асият топит жаровню.

И такая мольба прозвучала в ее голосе, что Рукият сразу все поняла.

— Я еще вчера хотела печь хлеб, доченька, да вот отец что-то против, — сказала она и пошла в комнату.

Сквозь приоткрытую дверь Кумсият слышала их разговор.

— Честь твоей голове, Муса. Но, кажется, и Осман по сердцу нашей дочери. Давай я заменю хлеб.

— Я не отдам дочь за человека, который не в состоянии заплатить за нее даже маленький калым! — закричал Муса.

Больше Кумсият не стала слушать. Она схватила кувшин и бросилась к реке. Там, сев на камень, где она, полоская одежду, встретила Османа, она дала волю слезам. Шел снег. Дул порывистый ветер, подгоняя волны. Османа не было рядом. Его телята давно выросли, а новые еще не родились. И теперь каждый день он работал по найму то у одного, то у другого богача.

Но кончился этот день и эта зима. Снова наступила весна, а за ней лето. И снова вышел на берег Осман со своими новыми телятами. И так же неуклюже они тыкались в колени Кумсият. Только все печальнее играла свирель.

Кумсият стала суеверной. Кто-то сказал ей, что человек, поглядевший, как распускается цветок, получит исполнение желаний. И вот в одну теплую ночь, дождавшись, пока в доме уснут, Кумсият вышла за ворота. Она никогда не была на улице в такой поздний час, и знакомая дорога к подножию гор казалась ей пугающе чужой. Она вздрагивала от шороха ветки, от игры теней... На поляне она опустилась на траву и, выбрав нераскрытый бутон на тонком стебле, стала смотреть на него не мигая. Но лепестки крепко спали, прижавшись друг к другу. Они были похожи на сомкнутые веки. Небо посветлело, с гор потянуло холодом. Пора было возвращаться: ведь скоро погонят стада на пастбище и увидят ее. Пять ночей дежурила она возле цветка, но, видно, природа прячет от людей свои таинства.

Однажды на берегу Осман подошел к ней и сказал:

— Кумсият, я же не виноват, что беден. Если бы весь мир принадлежал мне, я бы подарил его тебе. Но у меня нет ничего... А твой отец ищет для тебя богатого жениха.

Кумсият заплакала и убежала. Как она ненавидела сейчас свой дом с новыми добротными воротами, с новым хлевом, где блеяли три сытые козы. Как ей хотелось туда, в покосившийся домишко Османа, притулившийся на краю аула.

Дома Рукият выкладывала из бурдюка мед и разливала его в глиняные кувшины, приготовленные для базара.

— Мед сладкий, но горькой он сделал мою жизнь, — пожаловалась Рукият дочери. — Сегодня отец вернулся на рассвете. Я уж думала, мы не увидим его больше. И в такую темную ночь рискнул...

— Что ты, мама, обойдется, — успокоила ее Кумсият.

— Ой, доченька, ты не знаешь, какая это опасность. Одно неверное движение... Скала эта такая высокая, даже орлы не всегда залетают туда. Если бы это было легко, разве мед лежал бы там. Кроме твоего отчаянного отца, никто не отваживается. Жизнь-то дороже меда...

«Вот бы Осману рискнуть... Продал бы мед, купил калым», — неожиданно мелькнуло у Кумсият.

Весь этот день Кумсият — и когда помогала матери по хозяйству, и когда сидела за ужином, и когда разбирала постель, — все думала о меде и об Османе. Ночью она несколько раз вставала и подходила к окну. Аул был залит молочным светом луны. Там, за последними крышами, вырисовывались горы, строгие и суровые. И, сама не зная зачем, она вышла из дома. Ноги сами привели ее к той скале, на которую каждую ночь, рискуя жизнью, поднимался отец, чтобы принести домой полный бурдюк меда. Закинув голову, она долго стояла у подножия и смотрела туда, где на остром пике повис шарик луны.

Вдруг на выступе скалы, где переливались звезды, появилась черная точка. «Орел», — мелькнуло в голове Кумсият. Но точка стала спускаться

ся. Ее движения не были свободными и легкими движениями птицы. Была в них скованность и осторожность. Неужели человек?..

Кумсият спряталась за большим камнем и стала наблюдать. Когда человек, спрыгнув с последнего уступа, поравнялся с камнем, Кумсият узнала отца. Он опустил на землю бурдюк, вытер пот со лба и, подняв руки к небу, прочитал молитву.

До слуха Кумсият донеслись слова: «Слава тебе, аллах, за то, что и сегодня я вернусь домой живым и здоровым».

Сердце у Кумсият сжалось. Ей хотелось подбежать к отцу, погладить его обросшее лицо. Муса сел на камень, закурил. Лицо его блестело от пота. Покурив, он бросил папиросу, размял окуроч ногой и, тяжело ступая, пошел в сторону аула.

Когда фигура отца расплылась, растаяла вдали, Кумсият вышла из-за камня. Она увидела деревянные колья, вбитые в скалу, и ступила на самую нижнюю ступеньку, а затем на вторую, на третью...

Незаметно для себя она поднималась все выше и выше. Рассвело. Кумсият взглянула вниз, чтобы определить, далеко ли земля... Перед глазами поплыли круги, к горлу подступила тошнота, а руки стали как ватные, готовые разжаться.

Там, внизу, чернела бездонная пропасть. Оказывается, Кумсият поднялась почти до середины скалы. Оторвав глаза от пропасти, она взяла себя в руки и стала медленно спускаться. «Только не спешить», — говорила она себе, нащупывая ногой нижний кол. Иногда нога соскальзывала, и тогда Кумсият с трудом удерживалась, чтобы не упасть. Так, постепенно, она добралась до подножия. «Ни за что больше не приду сюда», — решила она, возвращаясь домой.

Но прошло несколько ночей, и Кумсият снова почувствовала тягу в горы. И снова, сжав зубы, она карабкалась туда и, не достигнув вершины, спускалась на землю. Лишь на четвертую ночь она достигла пещеры, где трудились пчелы, создавая свое богатство. Кумсият увидела топор и щипцы, оставленные здесь отцом. Увидела свежий надлом в скалах и поняла, что именно здесь отец брал мед.

В эту ночь Кумсият вернулась домой ни с чем. Но зато в следующую, дождавшись, когда уйдет отец, она поднялась в пещеру и, наполнив медом бурдюк, укрепила его за спиной.

Еще не рассвело, когда она вернулась в аул. Долго стояла Кумсият у ворот своего дома, не зная, что ей делать с медом. Домой взять нельзя — родители сразу догадаются. «Отнесу-ка к Таибат», — решила она наконец. Мать Османа еще спала, и девушка не стала будить ее. А только положила на крыльцо бурдюк с медом.

Утром как ни в чем не бывало Кумсият пошла на родник за водой. Она знала, что в этот ранний час Таибат тоже ходит к роднику, и стала ждать ее. С тех пор как Муса и Рукият вернули ей нетронутый хлеб, Таибат избегала девушку. Вот и сейчас, увидев Кумсият, она отвернулась. Но Кумсият сказала ласково:

— Тетя Таибат, дай-ка я наполню твой кувшин.— И стала черпать воду.

Кумсият наполнила и свой кувшин. Поставив его на плечо, она двинулась по тропинке следом за Таибат. Ей хотелось поделиться с матерью Османа своим замыслом, но она не знала, как начать разговор. Таибат тоже хотелось сказать девушке, что она ни в чем не винит ее, но слова не шли с языка. Так молча дошли они до дома Таибат, и Кумсият выпалила:

— Тетя Таибат, вы нашли на крыльце мед?

— Нашла, золотце мое. Это... это ты принесла? — вскрикнула она.

— Никому не говорите, даже Осману, — зашептала Кумсият.— Я буду приносить мед каждую ночь. Купите на это калым для невесты Османа.— И девушка покраснела.

— Кумсият, мечта моя. Где же ты его берешь? — обняла ее Таибат.

— Никому не говорите. Ни одному человеку, — горячо шептала Кумсият. — Отец с матерью не должны знать.

— Ты так любишь моего сына, — проговорила Таибат, отстраняя ее и любуясь ею. — А он, Осман, белому свету не рад без тебя...

Кумсият вспыхнула и побежала прочь. Но Таибат, задыхаясь, догнала ее. Лицо у нее посерело, губы дрожали. Она преградила ей дорогу и резко схватила за руку:

— Кумсият, ты мне скажи, откуда ты берешь мед, если даже отец с матерью не знают этого. Уж не крадешь ли ты у них?.. Смысл твоих слов только сейчас дошел до меня.

— Нет, тетя Таибат, я не краду, — усмехнулась Кумсият. — Клянусь вам!

— Тогда, значит?.. Неужели ты добываешь его, как отец?

— Не бойся за меня, тетя Таибат.

— Это не мед, а кровь, — закричала Таибат, все сильнее сжимая ее руку. — Поклянись, что ты никогда больше этого не сделаешь. Аллах поможет моему сыну. Он тоже не сидит сложа руки. Каждую ночь он режет скалу на камень для дома Саху. Зачем нам деньги, если тебя не будет. — Она заплакала.

Кумсият и сама испугалась того, что она делает. Перед глазами встала пропасть, в которой не видно дна. Но тут же она подумала об Османе. «...Каждую ночь режет скалу на камень для дома Саху...»

...Теперь Кумсият каждую ночь добывала мед и относила его Таибат, а та сбывала мед в соседних аулах. Каждый раз, получая деньги, девушка в мыслях видела тот день, когда она встретится с Османом у реки и вручит ему толстую пачку. Ждать осталось совсем немного.

Однажды Муса вернулся домой угрюмый. Таинственно уменьшался мед. Сегодня он еле наполнил бурдюк.

На следующий день, только за вечерело, Муса вышел из дома. Он шел к скале с твердым решением не возвращаться, пока не увидит собственными глазами этого храбреца вора.

Дойдя до подножия, он не стал подниматься вверх, как обычно, а спрятался за большим камнем. Кисет, который он дома наполнил табаком, давно опустел. Муса то вставал, обходил камень, то сидел, считая звезды. А вор все не появлялся. «Какое я имею право запрещать кому-то делать то, что делаю сам, может, у него даже больше голодных ртов», — подумал Муса и не заметил, как уснул.

Проснулся он от крика совы. Скала была по-прежнему освещена лунной. Видимо, спал он недолго. «Пойти, что ли, домой? Хватит здесь торчать», — сонно подумал Муса. И тут он увидел серую точку, которая поднялась уже довольно высоко. Муса понял, что он упустил самое главное и на таком расстоянии ему, конечно, не разглядеть своего соперника. Кто-то смело, легче и быстрее, чем это делал он, поднимался наверх, к медовой пещере.

Муса был поражен. То ли от растерянности, то ли от желания поскорее узнать, что это, он закричал: «Эге-гей. Откликнись! Кто там?..»

Но серая точка камнем полетела в пропасть. «Э-э-э, откликнись...» — повторяло эхо, когда Муса, в отчаянии, кусая губы, срываясь, падая и снова вставая, стал на ощупь спускаться в пропасть. Рев бушующей реки заглушил гром его сердца.

«Старый дурак, это я напугал его. Да я же убийца», — казнил он себя.

Камни скользили под ногами. Руки судорожно цеплялись за выступы скал. Вот наконец и река. Поблуднели звезды. Муса уже хотел возвращаться в аул, как вдруг в сером свете раннего утра он разглядел шелковый чохто¹. Зацепившись за выступ скалы, он развевался на ветру. Что-

¹ Чохто — головной убор.

то горячее прошло по телу Мусы, ноги окаменели, язык стал деревянным. Почти машинально он шагнул вперед и вскрикнул: за выступом скалы, разбросав руки, лежала его мертвая дочь Кумсият. В одной руке она еще сжимала бурдюк, пахнувший до истомы душистым медом.

— Неужели погибла? — вскрикнула я.

Туку хотел идти дальше, но я не могла оторвать взгляда от той скалы и, уходя, все оглядывалась и оглядывалась на нее. Какой-то камешек хрустнул под ногой, и я вздрогнула от этого звука. За поворотом я присела на валун и записала в своей книжке: «Калым».

...Вот и показался вдали мой аул Гинигутли. Всюду камень, камень и камень. Словно кто-то небрежной рукой разбросал дома по каменному подолу скалы. С непривычки страшно смотреть на эти огромные глыбы, повисшие над крышами верхнего аула.

Сколько лет моему аулу?

Не знаю. Но три больших кладбища перед ним занимают больше места, чем сам аул. И холодных надмогильных камней здесь больше, чем труб над крышами.

Сколько разных легенд о рождении моего аула рассказывала мне бабушка. Особенно запомнилась одна.

Когда-то на том месте, где сейчас среди камней лепятся сакли, была долина с высокой и сочной травой. Эти райские луга пестрели всеми цветами земли. Их сладкий аромат ветер разносил в другие края, другие страны. Вовсю заливались диковинные птицы. В синем небе свободно парили орлы. И ясные родники, похожие своей прозрачностью на весенний рассвет, журчали напевно.

Но все равно эта безлюдная долина казалась печальной и одинокой, потому что никогда здесь не ступала нога человека. Трава не знала, для чего она растет. Цветы не понимали, для кого им раскрывать лепестки. Родникам некого было радовать. А реки не знали, к чему им стремиться и куда направить свой бег.

Сколько лет пролежала бы эта долина в оцепенении, неизвестно. Но только однажды тяжело заболел сын богача, жившего на другом краю земли, за тридевять гор отсюда. Чего только не делал отец, чтобы вылечить своего сына, каких только лекарей не приглашал. Но все было напрасно. Сын таял с каждым часом. И тогда отец велел положить сына на арбу и везти его по всей земле. Быть может, где-нибудь найдется такое место, где его сыну станет легче дышать. Едут они день, едут месяц, а сыну все хуже и хуже. Так доехали они до той цветущей долины и остановились на ночлег. Напились воды из родника и уснули среди цветов и трав. А наутро сын разбудил отца словами: «Гени ке» («Дай грушу»). Обрадованный отец сорвал с дерева грушу и протянул сыну. Тот с жадностью съел ее.

А вокруг бежали ручьи, цвели цветы, деревья клонились к земле тяжелыми плодами. И десятки прозрачных родников во все глаза смотрели на первых в этом краю людей.

Даже старый отец почувствовал себя молодым. А сын его на девятый день встал и без чужой помощи дошел до родника и склонился над ним. Скоро он сам стал находить пчелиные гнезда, ломал руками соты и пил, пил, этот солнечный мед, смешанный с комочками воска...

Отец, недолго думая, ударил киркой о землю. И стук молотка по камню разбудил печальную долину.

Засияли травы, став еще зеленее, весело и задорно побежали ручьи. И цветы потянулись к человеку. Теперь они знали, ради чего живут. А родниковая вода стала еще прозрачнее; человек не мог обойтись без нее и получаса. И орел, распластав крылья, поднялся на небывалую высоту, потому что он со своей орлиной зоркостью видел, как, закинув голову, за его полетом следит человек.

Так и родился мой аул. И назвали его Гинигутли, по первым словам больного: «Гени ке» — «Дай грушу».

От этих людей произошла и я. Я, рожденная без моего ведома. И разве не странно, что человек приходит в мир случайно, не имея на то своего желания, не прикладывая к тому своего труда.

Как хорошо вдруг оказаться рожденной. Вдруг стать такой богатой, владеть сразу всем: светом, солнцем, землей, деревьями, горами, родниками. Я родилась в первый месяц зимы, когда во льду, как в клещах, были зажаты реки, горы нахлобучили на себя снежные шапки, а в утепленных кладовых замерзали даже головки выносливого чеснока. Ветер наносил сугробы, перебрасывая снег с одной плоской крыши на другую.

В маленькой сакле, что выросла в снег и оттого казалась еще меньше, однажды на рассвете раздался мой первый крик.

«Какая горластая девчонка», — сказала соседка, приняв меня на руки.

Ради меня девять горянок по девяти горным тропинкам отправились к девяти родникам, чтобы принести в кувшинах воду, в которой меня искупают впервые в жизни.

Не оттого я плакала, что мне было холодно в ледяной воде. А оттого, что радовалась встрече с земными делами. Я впитывала свежесть родников и жар солнечных лучей.

И, с крыши на крышу передавая радостную весть о моем рождении, все женщины аула пришли к нашему порогу с подарками. Потому что нет большей радости для маленького селения, чем рождение нового человека.

А уходили они, унося на губах сладость меда, нежность урбеча, аромат невянущего лета...

Мне хотелось скорее вырасти, чтобы обежать все эти горы, которые синели передо мной, и эти пастбища, и все крутые и путаные тропинки... Потому на восьмом месяце от роду я отказалась от бабушкиной опоры, и от материнской опоры, и от отцовской опоры. И сразу же упала лицом вниз. Как больно было разбитому носу! Как страшно увидеть на земле темные капли крови! Все равно пойду! Руки вразлет. Отрываю от земли ногу. Она тяжелая, словно на ней лежит кусок скалы. А какая длинная дорога от нашего очага до порога! Такой длинной и трудной дороги никогда больше не было в моей жизни. Но вот меня подбрасывают к потолку, обцеловывают, передают из рук в руки. Сколько переполоху!

А небо мое голубое-голубое. Все вокруг залито синевой. Я нетерпелива. Я все хочу делать сама. Во мне две крови, и обе крестьянские. Отец мой из коренной крестьянской семьи. Про мужчин его рода говорят: «Они такие, что рука достает до неба и зажигает кальян о звезду. Они такие пахари, что за их плугом борозда всегда глубока». Мать моя тоже крестьянка. Про женщин ее рода говорят: «Они и в огне не горят, и в воде не тонут».

Меня назвали по имени моей прабабушки. Фазу — это Жар-птица. А Жар-птица должна летать.

Я бегаю и вдыхаю свежесть весны, восторги лета, щедрость осени и суровость зимы. Я уже давно одна хожу за ворота. Я умею отличать нашего теленка от соседского. А мой ягненок бежит за мной к реке и берет хлеб с моей ладони.

Я уже знаю, что если наша рябая курица не бросается на зов моей матери, значит, она сидит на яйцах. Греет. Чтобы вылупились цыплята. А цыплята очень красивые. Стоит курице позвать: «Кук! кук!», как за ней катятся желтые пушистые шарики.

И вот однажды я слышала, как бабушка сказала матери: «Уже вылупился один. Я пошла на мельницу, а ты присмотри за ним».

Я потеряла покой. За столом вертелась, словно под меня подложили ежика. Но и маленьким иногда везет. Маму куда-то позвала звеньевая.

Я осталась одна и тут же побежала в сарай. Там в темном углу в мягком гнезде из сена сидела гордая и неприступная курица. Она злобно кричала: «Кук-кук!» И вдруг под ее растопыренным крылом зашевелился желтый комочек. Я протянула руку, чтобы взять его. Но курица взбросилась и, подняв крылья, бросилась на меня. Тогда я схитрила. Насыпала зерен, и курица не выдержала, сорвалась с места. А за ней выкатился и желтый шарик. И тут я увидела, что второе яйцо расколосось надвое и из него вылез цыпленок. Правда, сначала он долго барахтался, пытаясь стряхнуть с себя скорлупу. Я поняла, что нужно помочь слабым цыплятам, и начала разбивать одно яйцо за другим. Как радовались они, как легко встряхивали мокрыми головками. Вот и последнее яйцо. Тут как раз появилась бабушка.

— Бабушка, бабушка! — закричала я. — У нас родились все цыплята!

Но бабушка почему не обрадовалась. Кажется, она даже испугалась. И быстро-быстро побежала в сарай.

— Бабабай! — вскрикнула она, ударяя рукой по колену. — Ты же убила всех цыплят! Всех до единого. О аллах, прости несмышленого ребенка. — И бабушка подняла руки к небу.

— Я хотела, я думала... — заплакала я, глядя на безжизненно повисшие головки.

— Речка, которая спешит, не попадает к морю. Все живое должно родиться в свой срок, — проговорила бабушка.

Несколько дней женщины, встречая меня на улице, останавливались: «Фазу, приходи помочь нашим цыплятам». При этом они громко смеялись. У меня же комок застревал в горле. Я видела, что у всех на зов «кук-кук» за курицей бежало много цыплят. А наша рябая курочка с красным гребешком грустно ходила по двору с двумя цыплятами.

В моем мире, который был залит только синевой, появилась черная тучка, маленькая, как мушка.

Но в глазах всех людей, которые смотрели на меня, светилося солнце, и оттого, что солнца было так много, мне было тепло в метель и зимнюю стужу.

Ягненок, что всегда бежал за мной и брал хлеб из моей руки, однажды потерялся. А на третий день отец у потухшего костра в маленькой пещере нашел его рожки.

Я слышала разговоры матери и отца. «Может быть, этот». «Нет, этот не мог. Скорее всего тот, который...» «А ты не думаешь, что это мог сделать...» Назывались и отвергались разные имена.

Бабушка рассердилась: «Хватит подозревать людей. Говорят, тот, кто крадет, совершает один грех. А тот, у кого крадут, сто грехов, потому что он подозревает сто невинных».

С того дня, как кто-то зарезал моего ягненка и съел его, оставив только загнутые рожки, я долго не видела солнца в глазах людей.

...Еще и не показались вдали плоские крыши аула, как из-за поворота выкатилась толпа встречающих. Сначала я услышала возбужденные голоса и взрывы смеха, а потом появились и они сами: подвыпившие мужчины, потерявшие свою строгость и неприступность, шумливые, как водопад, женщины и, конечно же, ребятишки... Они чертенятами скакали вокруг, и взрослые не обращали на них никакого внимания. Первой ко мне бросилась моя тетя Умужат:

— Доченька, тепло моей души, солнце, освещающее день! Какое счастье, что ты здесь. Я так боялась, что тебе придется поехать в чужое государство или в Москву на большое собрание. — И тетя гордо взглянула на собравшихся, как бы говоря: вот, смотрите, кто из вас может похвастаться такой племянницей.

Обнимая меня, тетя говорила без умолку:

— Ой, бедняжка Шумайсат. Она ведь сегодня вылетела на самолете

к тебе. Так соскучилась, даже не захотела остаться на свадьбу... А ты, оказывается, здесь. Вай, как она огорчится.

В это время к нам подбежал подвыпивший отец невесты и потащил в свой дом. Я удивилась, потому что по обычаю гор не принято было, чтобы невеста уходила к мужу из дома отца. За два-три дня до свадьбы ее перевозили к какой-нибудь родственнице, и уже оттуда — в дом жениха.

— Что, не ожидала? — подмигнул мне Туку, как бы угадав мои мысли.

Отчего так весел отец невесты? Ведь еще недавно человек, у которого было хоть десять дочерей, считался бездетным.

В доме Туку все дышало торжественностью. Его внука Патимат, только что окончившая медицинский институт в Махачкале, выходила замуж за будущего агронома Шарафуддина. Уже все было готово, ждали только нас, чтобы всем вместе идти в сельсовет, где жених с невестой должны зарегистрироваться.

Патимат с открытым молодым лицом, сияющим счастьем! Юные лица ее подруг! Загорелый, немного смущенный жених! Цветы на веранде, на подоконниках, на столах, расставленных во дворе! Народ, высыпавший на крыши! И дивный, чистый и прозрачный, как горный воздух, голос моей любимой певицы, заслуженной артистки РСФСР, которую почему-то все звали не по имени, а по ее прозвищу — Крапива!

Сначала я подумала, что это играет пластинка. Но во дворе Туку я увидела саму актрису.

— Как поет! — шепнул мне Туку. — Ее песня и змею из норки выманит. — Я хотела спросить, как случилось, что она здесь, но в это время на белом крыльце показались новобрачные, и все веселой и гулкой толпой двинулись в сельсовет.

А потом было все то, что я помнила с детства и так часто видела в своих городских снах: и лезгинка на коврах, расстеленных во дворе, и блеск кинжалов, зажатых в зубах во время танца, и звон монет, летящих с крыши, и буза, от которой влюбляешься в мир. И, конечно же, звуки зурны и барабана...

Когда я, уставшая, доплелась до дома тети Умужат, она встретила меня упреками: мол, я поступила неправильно, отправившись сразу на свадьбу. Ведь за то время, что я не была в ауле, умерла Патимат, и первым делом мне нужно было навестить ее родных.

Я смутилась и покраснела от этого упрека. Ведь покойная Патимат — жена Гаджи, которого я так любила в детстве. Сколько я его помню, он всегда был старым, зимой и летом одет в шубу из овечьих шкур, на голове огромная папаха, наверное сшитая из двух шкур. На шубу, как пенистый водопад, спадала борода, густая, без единого черного волоска.

Дедушка Гаджи четыре колхозные мельницы содержал в полном порядке. В других аулах надо было самому следить, как мелется мука, какой получается помол, крупный или мелкий.

А тут только привези мешки, скинь с арбы и скажи:

— Дядя Гаджи, когда приходиться?

— Какую ты любишь муку? — спросит Гаджи. — Мелко помолотую или среднюю?

— Это у меня бобы, значит, надо мелко помолоть.

Дедушка Гаджи прищурит один глаз, помолчит, будто прислушивается к гулу мельницы и скажет: «Приходи послезавтра».

А когда приедешь за готовыми мешками, Гаджи скажет так:

— Доченька, вон там в углу у меня мешок. В него я сыпая ту муку, что нахожу под жерновами, когда подметаю пол. Я боюсь греха, потому не сыпая ее ни в чьи мешки, ведь от каждого остается по щепотке. Я сыплю эту муку в свой мешок. Когда он наполнился, отвожу в дом сирот.

— Пусть эта мука пойдет им на здоровье, — скажешь ты. — А Гаджи

уже выносит твои мешки, кладет их на спину осла, привязывает покрепче и говорит-говорит...

— Знаешь, доченька, самый большой грех — это тот, который связан с землей и хлебом. Вот ты идешь по чужой делянке, дойдя до межи, сними обувь и вытряхни оттуда крупинки земли. А то, допустим, на этой крупинке вырастет стебелек, даст колос, созреет зерно, опять попадет в землю, от него пойдут новые колосья. А выходит, что это все не твое. А то, что взято у других, никогда не приносит счастья. Вот до каких размеров вырастает грех! А началось все с пустяка... А еще я тебе скажу, доченька, некоторые, не боясь греха, тянут руку к колхозному добру. Думают, раз общее — значит можно. Но, скажу я тебе, лучше украсть у одного человека, чем у колхоза. Потому что, если ты раскаешься, знаешь, кому вернуть. А у колхозного хлеба столько хозяев, сколько человек работает в колхозе.

При этом дедушка Гаджи тяжело вздыхал, и вздох этот словно говорил: «Жаль, что не все понимают это».

Ты уже собираешься сказать своему ослику: «Ха», — чтобы он медленно и лениво стал подниматься по тропинке, как Гаджи окликает тебя:

— Доченька, пусть от твоего чистого сердца будет та мука, что застряла в моей бороде. Очень уж она у меня длинная. Сколько раз я собирался из-за этого сбрить бороду. Но, думаю, в старости, когда одной ногой в могиле, а другой на земле, без бороды как-то нехорошо...

— Что ты, дедушка Гаджи, пусть хоть целая мерка муки останется в твоей бороде. — И ты уходишь с мельницы с добрым и грустным чувством и начинаешь думать не только о жизни, но, что бывает в молодости редко, и о смерти. Но от этих мыслей не становится страшно. Ты идешь по тропинке следом за осликом и как бы сливаешься с этой дорогой, где земля меньше, чем камешков, с этим закатым солнцем, что нежно пригревает спину. И покой, разлитый вокруг, мягко берет тебя в свои волны.

Сколько я себя помню, Гаджи всегда был старым. Воткнув в землю посох и опираясь о него обеими руками, он сидел на ограде кладбища и, вынимая из длинных рукавов шубы то зеленый стручок бобов, то кукурузу, раздавал нам, детворе.

Разинув рты, мы часами слушали его рассказы. Из-за одной такой истории я даже чуть не погибла.

Случилось так, что в нашем ауле появился павлин. Привез его один горец для своего сына. Когда птица распускала хвост, мы умирали от восторга.

Однажды всей гурьбой отправились смотреть на павлина, и дедушка Гаджи пошел с нами. Долго любовался он птицей, прищурился то одним, то другой глаз, осматривал ее и, наконец, сказал:

— Это, дети мои, радуга, которую небеса положили ему на хвост.

— Значит, радуги больше не будет в небе? — воскликнула я.

— Будет! Почему нет? Чем больше хорошего отдаешь другим, тем больше остается тебе, — не спеша пояснил дедушка Гаджи. — Видишь, как гордо птица расправляет свой хвост. Значит, она заслужила свою красоту.

— А как можно заслужить? — не отставала я.

— Пойдемте отсюда, — недовольно сказал дедушка Гаджи. — Пусть птица отдохнет. Видите, она устала держать хвост распушенным. А сложить его при вас не может. Она не хочет, чтобы вы видели ее некрасивой.

И Гаджи отвел нас на свое любимое место, на кладбище, присел на камень, воткнул в землю посох и уставился вдаль.

— Говорят, в одном цветущем саду было очень много разных птиц. Деревья цвели, заливая все вокруг ароматом. Птицы пели, стараясь перешеголять друг друга. Так красиво и спокойно было вокруг: ни тучки, ни ветерка. Не качались ветки, не дрожали листья... Но вдруг небо заволкло свинцовыми тучами. Раскат грома потряс землю. И первые тяже-

лые капли упали на деревья. Птицы попрятались кто куда. И дождь обернулся градом.

Только один павлин как сидел на ветке цветущего дерева, так и остался там. Он как можно шире распустил свой хвост, прикрыв от града эти цветы своими перьями, как зонтом.

А цветущий сад как бы растаял в густой пелене ливня. Раскаты грома перемежались с грохотом ревущих потоков воды. Склоны гор и трава долин словно покрылись снегом.

Но замер вдали последний раскат грома, взвилась и осела последняя поземка града, стих ветер. Исчезли, словно растаяли, тучи. И, разделяя пополам небесный свод, в голубом дымящемся светлом небе встала семицветная красавица-радуга. Она увидела смелого павлина, взерошенного и мокрого, он сидел на ветке, распушив израненный хвост, и, как сверкающую ленту, бросила на него кусочек своей семицветной дуги.

Птицы, увидев, что гроза миновала и небо снова стало голубым, вылетели из своих укрытий и весело защебетали. Но некуда им было пристать, потому что ветки стояли голые, поломанные, топорща корявые сучки, словно раны. Птицы посмотрели вниз на землю и увидели, что все листья и лепестки, жалкие и помятые, лежат в воде... И только одно дерево, на котором сидел павлин, цвело, как прежде...

И вот однажды, как в рассказе дедушки Гаджи, среди ясного дня налетел ветер, мгновенно потемнело небо, на дороге заклубилась пыль. И я услышала тревожные крики женщин: «Град, град! Он побьет хлеба!»

И уже бабушка, притащив на крышу таз с золой, бросала пригоршни золы навстречу граду. И уже на соседней крыше блеснула серая сталь кинжала. И уже с громким стуком ударился о камень топор, брошенный кем-то на улицу. С каждой крыши летели старинные серебряные монеты с дыркой посередине.

Но град не испугался ни топора, ни обнаженного клинка, ни золы, ни монет.

Дробь града о крыши смешалась с воплями женщин.

А я вдруг вспомнила дерево, что росло на берегу реки. Это было единственное персиковое дерево в нашем ауле. Еще позавчера, когда я возвращалась с родника, оно цвело розовым облаком.

Босая, в сарафане, я побежала со двора. Твердые дробинки града хлестали мне ноги. Но я бежала туда, к дереву.

Вот оно! Но почему его ствол наполовину затоплен водой? Ведь оно стояло на берегу и даже на бугорке? Мощный мутный поток — разве это наша река? Мне страшно, я хочу убежать. Но мысль о радуге останавливает меня. Небо подарит мне радугу, как павлину. Тут я вовремя вспоминаю, что у людей не бывает хвоста. Значит, радуга упадет на мои косы. Они станут переливаться всеми цветами. И все девочки будут завидовать мне. Мысль о радуге так вдохновляет меня, что я бесстрашно ступаю в мутный поток и, осторожно нащупывая дно, пробираюсь к стволу, а затем взбираюсь на дерево. И вот я на прочной толстой ветке. Я поднимаю руки, как крылья, растягиваю прилипший к ногам сарафан и прикрываю им цветы.

А гроза все сильнее. То ли порывы ветра, то ли потоки воды начинают раскачивать дерево. Последнее, что я помню, — это водяной накат, который, бушует, быстро приближается и наконец захлестывает меня с головой. Я пытаюсь уцепиться за ствол и вместе с ним лечу куда-то...

Как мне потом рассказывали, меня спас путник, проезжавший мимо, и на седле своего коня привез в аул. Я не знаю этого человека, никогда не видела его лица, потому что, когда он вытащил меня из воды, я была без сознания. Но ему я обязана тем, что живу. Я помню об этом.

Много дней и ночей я провалялась в жару. Потом мне говорили, что если бы не Зоя Федоровна, врач из районного центра, я бы ни за что

не выжила. Значит, и ей я обязана своим спасением. Сколько на свете людей, которые в разные моменты жизни не дали мне умереть!

Первое, что я спросила, очнувшись:

— Бабушка, на моей голове горит радуга?

— Горит, горит, моя ненаглядная! Ты сама у нас — радуга.

Встав с постели и поглядевшись в осколок мутного зеркала, я не увидела на своих косах никаких признаков семицветной радуги-дуги. Но эта печаль была ничто в сравнении с тем отчаянием, которое я испытала, когда на месте персикового дерева увидела только глубокую яму.

— Не плачь, доченька, — утешал меня Гаджи.

Он выскреб из ямы немного земли, обнажив нити корней.

— Видишь, здесь остались корни, как перерезанные жилки. Дерево очень любило землю, крепко за нее держалось, и река хоть и сильно разбушевала, не смогла вырвать все корни. Да... — Гаджи вздохнул. — Вся жизнь оно дарило людям плоды, укрывало их от зноя. Если бы хоть десятая часть тех людей, что пользовались его добротой и щедростью, пришли к нему на помощь, оно бы не погибло.

— Но ведь я пришла, дядя Гаджи, — всхлипнула я.

Гаджи положил руку на мою голову:

— Ты еще маленькая. Природа не могла спасти дерева: пробил его час. Но она считала несправедливым убить и тебя вместе с ним. И потому послала тебе на помощь этого путника.

Я смотрела на Гаджи во все глаза. Множество вопросов вертелось у меня на языке, но я почему-то не решалась их задать.

— Давай в память о том дереве посадим здесь несколько персиковых косточек. Вот и вырастет не одно, а много деревьев.

И мы, выкопав маленькие ямки, посадили туда персиковые косточки.

Мы вместе возвращались в аул. Гаджи вел меня за руку. Время от времени он останавливался и тер грудь: у него перехватывало дыхание.

Расстались мы с ним у его ворот. Он несколько раз провел рукой по моим волосам и ушел.

На другой день его не стало.

Вокруг его дома теснился народ. А на кладбище несколько молодых мужчин уже рыли могилу.

Никто не плакал, потому что смерть старого человека считалась естественной и было грешно оплакивать его. Я протиснулась сквозь толпу.

И люди расступились, пропуская меня. Я спокойно подошла ближе. Патимат подтолкнула меня. И тогда я нагнулась и поцеловала холодное лицо. И вдруг поняла, что никогда больше не увижу Гаджи — ни на мельнице, ни у ворот, ни на каменной ограде кладбища, где, опершись о посох, он любил рассказывать нам всякие истории...

И тогда я закричала. Все испуганно обернулись ко мне. Кто-то сказал: «Уведите ребенка. Рано еще ей...» Кто-то подтолкнул меня к матери. Но я не хотела уходить, я вырывалась, царапалась и даже, кажется, пыталась укусить мать.

Это была первая смерть, которую я видела своими глазами. С этого дня я стала старше. Я узнала, что в мире не только рождаются, но и умирают.

А теперь нет и Патимат. В прошлый раз, когда я приезжала в аул, она была здоровой и совсем бодрой...

В жизни все перемешано: горе и радость, смерть и рождение, поминки и свадьбы...

Свадьбы, как известно, одним днем не кончаются. Не успели мы с Таибат задремать, как пришли от Туку приглашать нас к столу. Хотя бессонная ночь и давала себя знать, пришлось тут же подняться.

Накрапывал дождь, и столы со двора перенесли на большую веранду. Конечно, мужчины и женщины сидели вместе, а невеста рядом с женихом. Туку все суетился, и кто-то спросил его:

— Туку-даци, почему ты не садишься? Вот же место.

Туку хитро подмигнул и, покосившись на сидящую жену, сказал:

— Дорогой, не могу же я садиться, пока жена не пригласила.

— И правильно,— расхохоталась Таибат.— Долго мы перед вами стояли. Теперь на нашей улице праздник.

— Шутки шутками,— вмешался в разговор старый Али Курбан.— А здорово они нас обвели. Теперь не женщин от мужчин надо защищать, а мужчин от женщин.

«Конечно, это шутка. А все-таки мир перевернулся,— думала я.— Неужели были такие времена, когда под словом «джамаат»¹ подразумевались только мужчины, когда адат запрещал женщине участвовать в сходе. Если ей приходилось быть свидетелем, то показания четырех женщин засчитывались за одно показание мужчины. По обычаю, жена не имела права произносить имя мужа. Если мужчина входил в дом со словами «Асалам алейкум», то женщина не имела права ответить ему приветствием».

Мои мысли прервал голос старого Али Курбана. Услышав свое имя, я насторожилась, мне передавали большой бычий рог.

— Что вы, что вы! — испугалась я.— Какой из меня тамада?..

— Во всем вы, женщины, можете состязаться с мужчинами. Поглядим, как ты тут справишься,— подмигнул мне Туку.

Все смотрели на меня, и я ощутила в своих руках прикосновение рога, покрытого каплями влаги. Отказываться было поздно.

— Ну, давайте попробую,— нерешительно промямлила я и встала. Кто сам побывал на горских свадьбах, кто танцевал задорную лезгинку, кто разрывал руками свежее, ароматное, пахнущее дымком мясо, кто слышал, как состязаются за столом в остроумии, тот знает, что такое горская свадьба.

Многое изменилось в ауле. Но это был, наверное, единственный случай, когда мужчина за свадебным столом уступил свою власть женщине. Колени у меня дрожали, но рука с рогом кипящей бузы была победно поднята.

«Нет, я не ударю лицом в грязь»,— думала я, мучительно вспоминая все свадьбы, на которых я бывала, и что там говорил тамада.

— Друзья! — наконец произнесла я, и свадебный стол, и внимательные, сочувственные глаза женщин и насмешливые — мужчин поплыли у меня перед глазами.— Друзья! — повторила я и откашлялась.— Вот у меня в руках бычий рог. В старину говорили, что земля держится на рогах быка. И это не случайно. Разве не на быках наши предки пахали землю? Бычий рог! Не раз он давал отпор врагу... Теперь я держу его в своих руках. Он наполнен красным вином. В нем сок земли и жар солнца. Пусть это вино вливается в молодых задором и красотой, в старых — молодостью и энергией. Юноши! Пусть каждый глоток вина даст вам силу молодого быка и хмельное веселье спелого винограда. Пусть каждый знает, что земля держится на нем. Один неверный шаг — и она потеряет равновесие. Выпьем до дна!

С этими словами я запрокинула рог, одним дыханием осушила его и, перевернув, поставила на стол.

И все мужчины, которые были за столом, последовали моему примеру. Я искоса взглянула на Туку и поняла, что он доволен мной. За столом воцарилось молчание — все ели.

Время пролетело так незаметно, что мы все удивились, когда кто-то трижды кукарекнул петухом. Это был сигнал, что невесте пора отправиться в дом жениха.

Последнее слово я предоставила Туку. Я очень волновалась: ведь он должен оценить меня, как тамаду.

¹ Аульчане.

Я смотрела на него, но лицо его, замкнутое и суровое, ничего не выражало.

— Друзья, — наконец сказал он. — Я никогда не забуду эту свадьбу. Не только потому, что выходит замуж моя любимая внучка, но и потому, что сегодня впервые тамадой была женщина. — Он посмотрел в мою сторону. Я замерла. — И она блестяще справилась с этой ролью. А теперь я хочу выпить за всех женщин.

За столом зашумели, задвигались стулья и табуретки. Свадебный ужин окончился.

Я прошла в комнату, где подруги Патимат хлопотали вокруг нее, придирчиво осматривая ее туалет.

— Что теперь за невесты, — заметила, входя, Таибат. — Как подстриженные барашки. Провел расческой — и готово. Ни красоты, ни величавости. А раньше, бывало, будили невесту на заре и до полуночи заплетали ей косы.

— Из-за кос можно и жениха потерять, — засмеялась Патимат, кружась перед зеркалом.

— Не потеряете. Вы нынче такие бойкие, в любую стену забьетесь, как острый гвоздь, — покачала головой Таибат.

— А правда, что Сафражат уступила жениха своей подруге Багисултан? — поинтересовалась Патимат.

— А ты спроси у самой Багисултан, — ответила ей Таибат.

— Ой, опять кукарекают, — вскрикнула Патимат. — А я же еще не готова.

...Когда невеста с подругами ушла в дом жениха, я осталась здесь с родственниками Патимат, так как не принято было тамаде, как и родителям невесты, в первый же вечер идти в дом жениха. Я осталась ночевать в доме Туку. Когда мы уже легли спать, я вдруг вспомнила разговор о косичках невесты, из-за которых она потеряла жениха, и спросила, как это могло случиться. Вот что рассказала мне Таибат.

Сто пятьдесят семь косичек невесты

Эта ночь была короче всех зимних ночей. А за ней наступила среда. На этот день была назначена свадьба.

Ночь на четверг считается в ауле везучей, и потому все стараются, чтобы брачная ночь выпала на нее.

Праздничное оживление в ауле. В каждом доме — радостное ожидание веселья. Грустят только три человека, и среди них — сама невеста. Ее разбудили на рассвете, когда утренняя заря еще сияла на небосводе. Нужно успеть до свадьбы заплести невесте множество косичек. Чем их больше, тем красивее и наряднее невеста.

Мастерицей заплетать косы с давних времен считалась старуха Ашакадо. Еще с молодости прославилась она своим искусством. А все потому, что было у нее двенадцать младших сестер.

Не знаю, кто и когда придумал этот обряд, но только он прочно укоренился в горах.

Далеко за полночь, когда отзвенят, отвеселятся зурна и барабан, толпа гостей приводит жениха к невесте. Но не думайте, что он сразу же откроет желанную дверь и увидит ту, к которой стремился. У ворот со смехом и гомоном ему преградят дорогу веселые захмелевшие парни. И один из них протянет жениху кожаную веревку, завязанную девятью узлами. Чем быстрее развяжет узлы, тем больше получит похвал. Значит он сумеет быть главой семьи и достойно управлять своим маленьким государством.

Но и теперь он не может обнять свою нареченную. Он должен еще

сосчитать косички на голове невесты. Если ошибется, придется ему ночевать одному. А в следующую ночь нечнется все сначала.

Когда Сафражат пригласила заплетать косы не мастерицу Ашакадо, а свою закадычную подругу Багисултан, все очень удивились. Затаив дыхание смотрели, как Багисултан колдует над волосами невесты. Никто не знал, почему Сафражат доверила столь важное дело своей неопытной подруге.

А между тем незадолго до свадьбы между ними произошел такой разговор.

— Поздравляю тебя,— сказала Багисултан подруге, когда они шли к роднику за водой.

— С чем? — удивилась Сафражат.

— Не притворяйся! Ты же засватана за Мурадбека, и скоро ваша свадьба.

— Первый раз слышу,— еще больше удивилась Сафражат. И вспомнила, как внимательны к ней были родители Мурадбека, когда они все вместе работали в поле. Но сам Мурадбек даже ни разу не взглянул на нее. Тут Сафражат заметила, что ее задорная подруга скучна сегодня, и сказала:

— Багисултан, если и вправду у меня свадьба, так почему у тебя поминки?

— Если он женится на тебе, я брошусь в реку,— вдруг выпалила девушка и убежала.

Сафражат, раскрыв рот, удивленно смотрела ей вслед. Ведь она и знать не знала, что ее лучшая подруга давно влюблена в Мурадбека.

А случилось это в один печальный осенний день, когда у Багисултан пропал ее единственный теленок. Этого теленка подарила ей сама Сафражат, вывалила из подола на середину комнаты, к великой радости ребятшек, которые тут же стали плясать вокруг него, а потом тайком от родителей носила ему теплое молоко в бутылочке. Багисултан сама кормила теленка, и он так привязался к ней, что как собачка бегал за ней повсюду. Но когда подросли хлеба, она уже не могла брать его с собой в поле, и пришлось отдать теленка в стадо. Каждый вечер она встречала его у ворот, и он, смешно растопырив ноги, бросался к ней и неуклюже тыкался лбом ей в колени.

И вот однажды теленок не вернулся. Пастух сказал, что проводил теленка до аула, а дальше, мол, он не отвечает. Но Багисултан хорошо знала своего теленка: если бы его пригнали в аул, он бы не прошел мимо ворот. Она искала теленка всюду, но его нигде не было.

Проходя по маленькому мостику через быструю горную речку, она услышала за спиной шаги и оглянулась.

Это был Мурадбек, и он нес на руках ее теленка.

— Мертвый? — вскрикнула Багисултан.

— Живой,— ответил Мурадбек.— Да вот передние ноги перебиты. Я нашел его у подножия слепого ущелья. По этим колокольчикам на шее я догадался, что это твой теленок...

Багисултан, даже не поблагодарив Мурадбека, выхватила у него теленка и стала его гладить, называя нежными именами. А теленок поднял голову и, глядя на нее добрыми, затуманенными болью глазами, лизнул ей руку. Мурадбек не сводил с них глаз. Первый раз в жизни он слышал, чтобы со скотиной разговаривали как с человеком. У них в хозяйстве было много и коров и телят, но никто никогда не обращался с ними так, словно они понимают человеческий язык. Растрогавшись, он проводил Багисултан до дома и долго еще стоял у них на крыльце, пока ее отец прилаживал к переломанным ногам теленка доску, обитую войлоком.

На другое утро Багисултан вышла на крыльцо и ахнула. Во дворе

на слабых длинных ногах стоял теленок, точь-в-точь как прежний, только с белой звездочкой на лбу, а возле него Мурадбек.

— Вот,— сказал он смущенно.— Люби его так же, как того...

Родители Мурадбека славились жадностью, и потому Багисултан очень удивилась подарку.

Почувствовав, как кровь прилила к щекам и что-то горячее захлестнуло сердце, она опустила на корточки и стала гладить белую звездочку. На Мурадбека она не смела и взглянуть. Поднялась она, только когда он ушел.

Прежде она не замечала Мурадбека, не знала, строен он или сутул и какие у него глаза. Теперь же, завидев в поле его широкую спину, она ловила себя на странной мысли, что ей хочется подойти и прижаться к этой спине. Ночами ей не спалось. Втайне, боясь себе признаться в этом, она ждала сватов. Хотя и знала, что родители Мурадбека, богатые и чванливые люди, вряд ли допустят это. Но то, что подсказывал разум, отвергало сердце. И Багисултан ждала. Ждала до тех пор, пока однажды, как гром среди ясного неба, не обрушилась на нее весть о свадьбе. И надо же было случиться, чтобы невестой его стала лучшая подруга Багисултан.

Худенькая, как подросток, молчаливая Сафражат еще не проснулась для любви. Сердце ее молчало. Но зато она была единственной дочерью состоятельных родителей.

Багисултан теперь избегала Мурадбека. Но как-то, когда она возвращалась с гор с корзиной кизяка, он преградил ей дорогу. Багисултан вспыхнула и хотела убежать, но он больно схватил ее за руку. Она опустила голову, но он поднял ее подбородок и сказал:

— Багисултан, не прячься от меня. Я ни в чем не виноват. Это воля родителей. Пусть берут ее в дом, я все равно с ней жить не стану. Я люблю только тебя.

Багисултан вырвала руку и убежала.

И все-таки светлее стало у нее на сердце. «Он любит меня, он хочет быть со мной»,— радостно думала она.

А день свадьбы приближался. Уже варилась буза, и родители Мурадбека резали баранов. И радость Багисултан снова сменилась отчаянием. И вот, сама не зная зачем, во время работы в поле она решила поговорить с подругой.

— Сафражат,— сказала она,— откажись от свадьбы, ведь ты его не любишь.

— Откуда ты знаешь?— опешила Сафражат.— Может, и люблю. И вообще, что мне, по-твоему, муж не нужен?

Сквозь зеленые пшеничные колосья Багисултан видела рассерженное лицо подруги.

— Нет для меня ни дневного света, ни ночных звезд, ни пенья птиц, ни звона ручьев без него. Чувствуешь ли ты то же самое?

Сафражат, подняв голову от сорняков, которые она вырывала, взглянула на подругу. И чем больше, чем горячее та говорила, тем круглее делались глаза Сафражат. Непонятное, никогда не испытанное волнение охватило ее. Словно у родника под желтой луной чей-то юношеский голос сладко нашептывал ей нежные слова. И хотелось, чтобы все длилась эта теплая ночь и никогда не наступало утро. Близко-близко она видела горячие глаза, но это не были глаза Мурадбека.

А Багисултан все говорила и говорила, и слова ее обволакивали Сафражат сладким туманом. Когда же она кончила, Сафражат вскочила с колен и, подбежав к подруге, что-то зашептала ей на ухо. Лицо Багисултан прояснилось, глаза заблестели...

Вот и наступил день свадьбы. Еще утренняя звезда не погасла в небе, как Багисултан была у подруги. Проворно и весело плела она косы, а когда доплела последнюю, сто десятую косичку, восхищению всех не

было предела. Родственники Сафражат нашли, что Багисултан своим искусством превзошла даже старую Ашакадо. Багисултан развернула парчовое чохто, которое она подарила своей подруге, и накрыла им блестящие, словно шелковые кисти, косички Сафражат.

Между тем мать невесты, как положено по обычаю, подошла к Багисултан и сказала ласково:

— Спасибо тебе, доченька, у тебя золотые руки и сама ты как слиток золота. Желая тебе хорошего жениха. Теперь проси у невесты все, что захочешь.

Багисултан побледнела. Два раза прошлась она по комнате, прикусив губу, и, наконец, остановилась около матери Сафражат.

— Хочу, чтобы невеста уступила мне своего жениха,— сказала она твердо. На мгновение наступила настоуженная тишина. И тут же взорвалась громом.

— Бессовестная! Как только язык повернулся! Нахалка! — закричали вокруг.

— Бесстыжая! — завопила мать невесты и бросилась на девушку с кулаками.

Но Сафражат заслонила ее.

— Я исполню твою просьбу, сестра моя,— сказала она,— Мурадбек будет твоим.

Тетка Сафражат кинулась на нее и зажала ей рот рукой. Но девушка тряхнула головой и отстранила руку. Она передала новой невесте сундук с калымом, который прислали ей родители Мурадбека.

Не успела бы и самая проворная женщина острым серпом скосить охапку сена, как весть эта облетела весь аул. Все бурно осуждали Багисултан и жалели родителей Сафражат. Ведь не выполнить просьбу той, которая заплетала невесте косички, считалось позором. Никто бы не пошел на это, а тем более отец Сафражат, который свято хранил старинные обычаи и всегда держал кинжал наготове, чтобы отстоять их.

«Вот тебе и счастливая среда»,— рассуждали женщины, может быть впервые усомнившись в правильности выбранного для свадьбы дня.

И все-таки свадьба состоялась, и в ту же среду, с той лишь разницей, что в комнате новобрачных Мурадбека ждала не Сафражат, а его любимая Багисултан.

Когда, ломая ногти, он развязывал девять узлов на кожаной веревке, невеста шагнула ему навстречу. Ему не пришлось преодолевать второе препятствие. Как только он снял с нее платок, она обняла его шею горячими руками и шепнула: «Милый, у меня сто пятьдесят семь косичек».

В ту малую часть ночи, что осталась нам, я не могла заснуть. Я видела влюбленные глаза Багисултан, тревожные — Сафражат. Я слышала вскрик Кумсият, когда она летела в пропасть, оставив на уступе скалы белое гурмендо... Все мои недавние заботы отступили перед сильными судьбами этих женщин, перед жестокой правдой их жизни. Я чувствовала, как вдохновение, которое сродни подвигу, поднималось во мне. «Соберу еще много материала и напишу книгу о женщинах Дагестана. Да, не статью, а целую книгу»,— решила я. Так в прохладное августовское утро, высоко в горах, в старой сакле, из тесного окна которой виден горный хребет да кусочек блеклого рассветного неба, и родился замысел моего романа.

С утра весь аул собрался в доме мужа Патимат. Я тоже пришла сюда на звуки свадебного веселья. Но оно уже не увлекало меня. Что бы я ни делала, с кем бы ни говорила, я думала только о своей будущей книге. И как это часто бывает, когда готовишь себя к новому труду, подступила тревога и непонятная грусть. Мне захотелось побыть одной, и я незаметно выскользнула из дома. Горбатая тропинка привела меня к

кладбищу. Подумать только, как давно я не была здесь. Как разрослись деревья, сколько появилось новых могил. Бродя между ними, я снова и снова вспоминала детство. Почему-то меня всегда тянуло на кладбище, и это очень удивляло и даже пугало мою мать. Особенно любила я приходить сюда весной, когда среди нежной, незапыленной травы ярко желтели одуванчики...

Вот и могила моего отца. Правда, она не настоящая. Отец погиб на фронте далеко отсюда. Но моя мать поставила здесь надгробный камень, и с тех пор мы всегда навещаем эту могилу. Мать и тетки уверены, что душа отца с далекой земли вернется сюда. С годами мы так привыкли, что забыли о том, что отец не похоронен здесь.

...Отец! Я всегда помню его в движении. А один день помню так ясно, что, будь я художницей, я бы нарисовала его.

Синее-синее небо с брызжущими лучами солнца. Наше белое крыльцо. А на крыльце с засученными выше локтей рукавами, опираясь на лопату — лопата вся в свежей земле, — стоит высокий широкоплечий человек. У него темно-карие, чуть навывкате глаза, они улыбаются раньше, чем в улыбке откроются губы. Это мой отец.

— Вот, я вскопал весь огород, хоть спасибо скажи, — весело говорит он матери.

Мать сидит на треножке и кормит грудью мою младшую сестренку.

— Ладно, ладно, не можешь не похвастаться, — ворчит она, но глаза ее смеются. От их улыбки и мне становится так светло, так легко, как никогда потом не было в жизни. Наверное, именно это и есть счастье.

Я бы нарисовала этот день так, чтобы был слышен и смех, и шуршание веток. Чтобы были видны переливы белого света на белом крыльце. Но так рисовать я не умею.

В тот день я спала на белом крыльце и вдруг почувствовала на своих губах соленый вкус слез. «Почему ты плачешь?» — спросила я, и мать ответила: «Война». Я, конечно, ничего не поняла, но тревога окружающих заразила меня.

Самое яркое воспоминание детства: тропинка между двумя скалами, крик орлов над отвесной крутизной. Синее-пресинее небо. Отец подбрасывает меня в это небо и щекочет усами. Когда я взлетаю вверх, что-то обмирает и обрывается внутри. «Смотри уронишь», — волнуется мать. «Никогда», — отвечает отец и снова подбрасывает меня вверх. Потом я с матерью и братьями стою на уступе скалы и смотрю вслед удаляющемуся отцу. Туго набитые хурджины покачиваются за его спиной. Вот он оглядывается, машет нам рукой... Какой он маленький издали! И вот уже пустая дорога, и синее небо, и крик орлов...

И второе воспоминание детства.

Зима. Ветер за окном урчит так, будто стая волков рвет на части белых ягнят. Ключья снега, как овечья шерсть, прилипают к мерзлому стеклу. Я лежу на полу, где все спят вповалку, чтобы было теплее. В очаге уже догорел огонь, и багровые угли переливаются в темноте. В углу на коленях стоит бабушка и, подняв к потолку руки, горячо шепчет: «О аллах, сбереги мою дочь. Не оставь детей сиротами». Я не могу уснуть, представляю зимние пастбища в горах, овец, которые сбились в кучу, вой волков. Вспоминаю все страшные истории, которые слышала от чабанов... И вдруг рывком распаивается дверь. На пороге в облаке пара стоит человек, засыпанный снегом. Мне страшно, я вскрикиваю и прижимаюсь к бабушке. Человек топает ногами, стряхивая с бурок снег, сбрасывает мужской полусубок, стягивает платок, снимает лохматую папаху. На каждом клочке шерсти висят тяжелые сосульки. На бровях и ресницах — тоже сосульки.

— Сарыжат! — вскрикивает бабушка. И тут только я узнаю мать.

— Все живы, здоровы? — спрашивает мать, быстро оглядывая комнату.

— Слава аллаху, все здоровы,— радостно суетится вокруг нее бабушка,— только что молилась за тебя, так беспокоилась, пурга не утихает... как там на кутанах?

— Тяжело, мать. Зима суровая, бараны гибнут.

— Храни вас аллах... Ты одна в такую ночь?

— Да. Сон приснился недобрый. Думаю, вдруг кто заболел...

— К добру, к добру все сны, доченька. Как мы их отгадываем, так они и сбудутся.— И бабушка взяла со стула полушубок и понесла его подсушить к очагу.— Что стоишь? — прикрикнула она на меня.— Помоги матери, стяни с нее бурки.

— Когда от Магомеда было последнее письмо? — спрашивает мать.

— Вот что тебе отослали.

— Значит, больше не было...

Мать нагнулась над сыновьями, подоткнула лохматое одеяло. Долго сидели в ту ночь у очага. Мать то и дело целовала меня, гладила мои волосы. Когда догорел огонь в очаге, она сгребла в одну кучу все искорки и осторожно прикрыла влажным кизяком. Так всегда делала бабушка, и угли в очаге не гасли до утра. «В такую ночь все может случиться,— сказала мать,— может, и путник замерзший постучится в дом». Мать берет в руки лампу и, прикрутив фитиль, ставит ее на подоконник, чтобы заблудившийся путник среди этой снежной кутерьмы увидел свет.

Я смотрю на эту лампу, тонкие золотые нити протягиваются к моим глазам, и... незаметно засыпаю. Теплые руки подхватывают меня и переносят в постель. И хочется, чтобы так было всегда: жар очага, свет лампы сквозь закрытые веки, сонное дыхание братьев, мягкие руки матери, красный отсвет огня на медном тазу. Он висит на стене, и горит, и сверкает, как солнце. Все в доме дышало матерью, каждая вещь хранила ее запах... Вот она, усталая, возвращается домой. Черный вдовой платок над измученными глазами. Она снимает с гвоздя большой медный таз и, побросав в него грязную одежку детей, заливает горячей водой. Три пары детских глаз смотрят на нее. Малыши еще не понимают, что в сундуке муки ни горстки, что дно пустых кастрюль блестит, как зеркало. Мать берет глиняный кувшин и третий раз на день идет доить корову. И вот уже светлеет ее лицо, потому что в три голубые кружки, протянутые к ней, течет из кувшина парное молоко. Закатав по локоть рукава, она снова склоняется над тазом. Обрывки пены, как клочья тумана, ложатся на ее руки, волосы, лоб... И тихо-тихо, тонко-тонко она что-то напевает. Так тихо, чтобы не услышали соседи,— вдове не положено петь.

Мои грустные мысли прервал чей-то тихий старческий голос:

— Кто отдает дань умершим, тот умеет уважать и живых.

Я обернулась. За мной стоял Али Курбан, самый старый человек в ауле, ему было уже далеко за сто. Недавно он ушел на пенсию и теперь жил вдвоем с женой в опустевшем доме; двое его сыновей погибли на фронте, дочь жила в доме мужа.

— Али Курбан, ты тоже здесь,— обрадовалась я. Мне всегда доставляло удовольствие разговаривать с ним.

— Да, доченька, последнее время я здесь частый гость. Вот посмотри, какое я выбрал для себя место.— И он показал мне клочок земли между двумя старыми дубами. Здесь уже лежал надгробный камень.

— Что ты, Али Курбан, тебе еще жить да жить!

— Хоть тысячу лет живи, все равно настанет и тысяча первый год,— возразил он.— Только бы умереть достойно. Здесь нет могил моих сыновей. Они погибли, как положено мужчинам,— в бою. А это могила моего отца. До последней минуты трудился. Умер он на гумне, когда молотил хлеб. Я бы хотел умереть, как он, с золотыми зернами в ладонях и с острыми колосьями в бороде. А рядом могила моей матери. Желая,

доченька, чтобы, когда придет и твой последний час, был он таким же красивым. Она умерла, когда пекла хлеб. А вот могила нашей Симисхан.— Старик опустил на колени и провел ладонью по желто-зеленому мху.— Ты помнишь, как она умерла? Правда, ты была тогда совсем маленькой.

Надмогильный камень был украшен платком и папачой, и потому каждый, кто приходил на кладбище, всегда задерживался перед этой могилой.

— Да, помню, Али Курбан-даци,— ответила я. И перед глазами на миг встало смеющееся лицо Симисхан, самой красивой девушки в ауле.

В день первой борозды

Едва успела звездная ночь ускакать на вороном коне с золотым седлом, а темное небо пролить на прощание росу, как нежная заря разлилась по небесному простору. Она величаво поднялась из-за гор, взмахнула крыльями, разбросала золотые перья по снежным вершинам, по зеленым дугам... Птичьи трели слились с ревом реки, бушующей в ущелье. Проснулось все живое, и аул Корба ожил.

«Слушайте, слушайте, сегодня Симисхан пойдет за водой. Она разбудит спящий родник. Спешите выпить глоток из ее рук».

Это взлетел над аулом голос глашатая Абдурахмана.

И сразу захлопали двери, заскрипели ворота. Пустынные каменные улочки, залитые белым солнцем, стали заполняться людьми, как будто они только и ждали этой вести, чтобы по горбатой крутизне подняться к дому Чупалава, где три дня назад плясали на свадьбе. Хотя избалованного материнской любовью Чупалава не особенно долюбивали в ауле, все же он сумел взять в жены самую завидную девушку Корбы — красивую и задорную певунью Симисхан.

Однако этому предшествовала длинная история...

В день, когда новорожденную Симисхан положили в колыбель, в дом по старинному обычаю заспешили матери, имеющие новорожденных сыновей. Симисхан будет принадлежать тому, чья мать первой бросит парчовый платок к ее изголовью. Никто не знал, какой вырастет девушка, но веками было принято выбирать невесту по матери. «На ухоженном поле и пшеница добрая». Кому же не хотелось, чтобы в дом пришла такая же хорошая хозяйка, как Асият. Всех женщин опередила Савдат.

По заведенному обычаю каждый год с приходом ураз-байрама Савдат не забывала отнести своей будущей невестке каап — большой хлеб, на котором красовались орехи, конфеты и яйца, раскрашенные в семь цветов радуги. Несла и халву, приготовленную из пчелиного меда. Все это заворачивала в платок или в отрез на платье. Такой же подарок сын ее Магомед получал от родителей Симисхан. Этим они укрепляли свой союз.

Шло время. Подрастал жених. Не отставала и невеста. Училась Симисхан лучше всех, матери помогала по дому, а плясала так, что глаз не отвести. Только одно смущало Савдат — девочка смахивала на мальчишку. В школьных пьесах всегда играла героев, на обложках ее тетрадей красовались фотографии Ворошилова, Буденного, Чапаева... Она выменивала их у подруг на красивые нитки, на цветные карандаши.

То ли это герои так повлияли на нее, то ли уж такой она была от природы, только росла Симисхан своенравной, необузданной.

Как-то, когда она еще и в школу не ходила, мать послала ее к источнику за водой. «Не хочу идти с этим кувшином,— вдруг заявила Симисхан.— Хочу с тем». И она показала на медный блестящий кувшин, который красовался на полке. «Да ты что, разве с таким ходят по воду,—

возмутилась Асият.— Его подарила мне мать на свадьбу. С тех пор прошло много лет, я уже и сама стала матерью, шестерых детей родила, но ни разу не вынесла этот кушин из дому».— И она стала задумчиво стирать с кувшина пыль кончиком платка. «Тогда я совсем не пойду»,— отрезала дочь и села у очага, сложив руки на коленях. «Как это не пойдешь?— опешила Асият и принялась колотить дочь, приговаривая:— Ах ты, дерзкая. Ишь, не пойдет. Не только пойдешь, и побежишь...» Долго возилась с ней Асият, а дочь все повторяла: «Дашь тот, золотой, пойду».

Тогда Асият позвала на помощь мужа. Он велел запереть дочь в хурдже и пять дней не пускать на улицу. Это было для Симисхан самым тяжелым наказанием. Ведь она и минуты не могла усидеть спокойно, вечно висела на заборах с мальчишками. Когда отец и мать ушли из дома, Симисхан открыла маленькое деревянное окошко без стекол, которое выходило из хурджа в другую комнату, и с бьющимся сердцем толкнула дверь на крыльцо. Но дверь оказалась запертой. Что делать? Хоть головой бейся о стену. В очаге торчала толстая закопченная цепь, к ней привязывали котел. Симисхан вцепилась руками в цепь и, как зверек, быстро вскарабкалась по ней. И вот уже белеет дыра наверху. Еще рывок— и Симисхан на крыше. Так через дымоходную трубу она выбралась на волю. Отсюда, прыгая с крыши на крышу, добежала до речки. И вот уже кто-то видел, как по горке прыгал черный козленок. Но то был не козленок, а Симисхан, вымазанная сажей.

Вечером весь аул с фонарями вышел на поиски Симисхан. Нашли ее под утро в пещере, где она сладко спала, положив под себя сено. А на голове красовался веночек из привядших полевых цветов. Говорят, когда Асият увидела ее в венке, она страшно заголосила. Ей почему-то показалось, что дочь умерла. Но «умершая», разбуженная криком, вскочила и, отбежав в угол пещеры, закричала: «Не хочу домой. Хочу золотой кувшин».

После этого случая отец и мать поняли, что с Симисхан надо обращаться осторожно, она не такая, как ее сестры. Поэтому Асият не стала ругать дочь даже тогда, когда соседки сказали, что у Симисхан нет стыда. И вот почему.

По обычаю гор невеста, случайно встретив своего жениха, должна убежать. Но Симисхан с гордо поднятой головой проходила мимо.

— Доченька, так нельзя,— ласково уговаривала ее Асият, раздосадованная сплетнями.— Где это видано, чтобы невеста открыто смотрела в глаза жениху. Ты хоть сделай вид, что стесняешься. Увидела— сверни на другую улицу...

— Вот еще,— только и отвечала непокорная дочь.— Пусть сам сворачивает, если ему надо.

Асият лишь вздыхала, глядя ей вслед.

А время шло. А зимы с полными хурджинами снега сменялись веснами. И однажды, в одну из таких весен, когда аул плыл в белом дыму абрикосового цветенья, сердце Симисхан проснулось для любви. Это была ее семнадцатая весна.

В ауле Корба, когда рождается сын, в балку выстреливают стрелу из лука, и она так и торчит там до тех пор, пока мальчик не вырастет и не вытащит ее сам голыми руками. В этот день отец устраивает пир.

Сайгиду, сыну колхозного кузнеца, исполнилось семь лет, когда он вытащил стрелу из балки. С утра пировали в доме, а в полдень вышли на поляну к подножию гор. Тут-то и началось самое интересное. Двадцать столбов вбили в землю по кругу поляны. К девятнадцати привязали девятнадцать шелковых косынок. А на последнем, двадцатом, повесили гурмендо, нежное, как облако, белое, как крылья лебедя. Дан сигнал, и джигиты вскочили на коней. Кто на полном скаку срубит все платки, тот и становится победителем. Он дарит девушке белое гур-

мендо. Приняв его, она становится невестой победителя. Это соревнование джигитов так и называется — «Выбирай невесту».

Когда на красном коне Чупалав вырвался вперед, Симисхан почувствовала свое сердце. Невольно она положила руку под левую грудь. Летит конь, летят из-под копыт искры. Грива, словно шелк, переливается на солнце. На лбу у коня белая звездочка. Наверное, рассвет обронил ее. Белые следы на копытах. Наверное, вершины гор подарили ему свой снег.

А джигит? Он стоит своего коня. Сросшиеся брови, орлиный нос. На широких плечах красный башлык. Он подался вперед, как бы желая обогнать своего коня, он весь — вдохновение и мужество. Еще один взлет копыт, еще один взмах сабли, полоснувшей воздух, — и платок повис на ее острие.

Его сабля блестела на солнце, как зеркало, а сам он, склонившийся к лохматой гриве коня, приподнявшийся над седлом, был похож на орла, который, расправив крылья на уступе скалы, вот-вот взлетит в небо.

Симисхан стояла бледная, как гурмендо, которое Чупалав уже держал на локте, в руке его была зажата сабля, а в другой девятнадцать маленьких платков бились на ветру, как крылья птенцов.

Халимат, мать победителя, бросилась навстречу и разбила яйцо о лоб коня — это чтобы не сглазили коня и сына.

Внезапно наступила тишина. Все смотрели на белое гурмендо. Кому вручит его Чупалав? Кого назовет своей невестой?

Горящие, глубоко посаженные глаза Чупалава медленно обвели девушек и остановились на Симисхан. Она вспыхнула. Словно к сухому хворосту поднесли огонь. Раскрылись губы, голубые глаза притягивали Чупалава. Он шагнул к ней и на вытянутых руках протянул гурмендо.

Будто в пчелиный улей бросили тяжелым камнем. Так загудела толпа.

Отец Симисхан, опомнившись, подошел к дочери:

— Верни гурмендо. Ты невеста другого.

— Нет, отец. Мой жених Чупалав, — гордо ответила Симисхан.

Отец, зная строптивый характер дочери, не сказал больше ни слова, повернулся и пошел домой. Ему в спину, как камни, летели возмущенные возгласы аульчан. Магомед отделился от группы мужчин и, пересекая поляну, направился к тому месту, где стояли Чупалав и Симисхан. Старики насторожились — вот-вот Магомед выхватит кинжал из ножен и набросится на обидчика, который опозорил его, пренебрег вековым обычаем предков, чуть не украл у него невесту, да при всем народе.

Халимат бросилась к сыну и, раскрыв руки, заслонила его собой. Вот Магомед подошел к ним. Не обращая внимания на соперника, он наклонился к невесте.

— Будь счастлива, сестра, — только и сказал он.

— Спасибо, брат, — прошептала Симисхан и заплакала, уткнувшись лицом в белое гурмендо.

По-разному отнеслись в ауле к поступку Магомеда. Одни упрекали его в трусости: мол, побоялся сразиться с победителем. Другие считали, что он не любил Симисхан и был рад отказаться от нее. Третьи предполагали, что он уступил невесту из гордости. Пожалуй, они были ближе всех к истине.

«Не к лицу мне, комсомольцу, добиваться любви с помощью сабли», — так объяснил он свой поступок матери, которую, однако, ничуть не успокоило это объяснение. «Ты опозорил нас, — упрямо твердила она, — теперь все будут говорить, что мужчины в нашем роду — трусы».

Но что сделано, того не вернешь. Не прошло и месяца, как сыграли свадьбу. За свадебным столом Магомед сидел рядом с женихом. То ли потому, что свадьбе этой предшествовали такие события, то ли потому,

что она была последней перед войной, но ее надолго запомнили в ауле. И то, как одета была невеста — в зеленое бархатное хабало, а голова покрыта белым вышитым платком, — и то, как мать Чупалава Халимат встретила ее в воротах с пиалой меда. И то, как она трижды вложила ложку меда ей в рот, приговаривая: «Пусть жизнь твоя в нашем доме будет такой же сладкой, как этот мед». И то, как подруги невесты передали Халимат зеркало со словами: «Пусть наша девушка внесет в ваш дом свет, тепло и чистоту». Невеста, отражаясь в зеркале, перед которым держали две зажженные лампы, и, вправду, была похожа на восходящее солнце.

И вот наступил третий день свадьбы, когда невесту должны были вести к источнику за водой. Тот, кто глотнет воды из ее горсти, будет счастливец. Так гласит поверье. И поэтому в этот день весь аул спешит к источнику: и те, которые ждут своих свадеб, и те, кому преклонный возраст уже не может обещать счастья, и те, кто по молодости лет еще не знает, что это такое.

Журчал родник, навевал свою старинную песенку. Симисхан наклонилась над водой, поднесла кувшин, и сразу в лицо ударили брызги. Она тихо засмеялась, не вытирая их. Журчала вода, переливались солнечные лучи. Она ловила их и наливала в кувшин. А когда он наполнился и светлые струи побежали через край, обхватила круглые бока кувшина обеими руками и, высоко подняв, преподнесла Али Курбану, самому старому человеку в ауле. Он засиял и протянул навстречу свои высохшие руки: толстые жилы на них были схожи с обнаженными корнями столетних деревьев. Вдруг стук бешено мчавшегося коня заглушил все вокруг.

— Война! — крикнул Магомед еще издали.

Журчал родник, напевая свою древнюю песенку. Солнечные лучи сплетались со струями. Пели птицы. Но никто уже не замечал этого.

— Какая война? — спросила Симисхан растерянно. Но ей никто не ответил.

Все изменилось в ауле Корба. Мужчин почти не осталось. Все меньше и меньше становилось детей. Старики, раньше часами сидевшие на годекане, вышли в поле. Сгорбившись, они шли за плугом, опершись о палки, гнали в горы отары овец. Все чаще и чаще надевали женщины черные траурные платки, все больше и больше появлялось вдоль кладбищенских стен камней с выбитыми на них именами: «Бахарчи Рашид погиб», «Бахарчи Камил погиб».

Однажды появление почтальона прервало полевые работы. Развернув газету, она крикнула: «Вы только послушайте, какие подвиги совершает наш Магомед!» И сразу женщины побросали кирки и лопаты, окружили почтальона, рвали из рук газету. «Подводная лодка под командованием Магомеда Гаджиева из аула Корба потопила вражеский корабль».

— Он прославил Дагестан. Пусть его имя летит на высоте орлиных троп, — сказал Али Курбан. Как он изменился после гибели сына. Щеки обвисли. А глаза словно капли масла, застывшие в холодной воде.

«Если бы все так воевали, мы бы не отдавали на поругание наши села», — сказала Симисхан. И такая боль прозвучала в ее голосе, что женщины переглянулись: что это с ней? Неужели она завидует тому, что о Магомедe, а не о Чупалаве написано в газете? А может, жалеет, что отвергла нареченного жениха, сделала другого своим избранником? А может, получила похоронку, но скрывает?

В последнее время Симисхан сильно изменилась. Глаза ее потускнели, в них, как тяжелые камни на дне родника, мерцали тоска и печаль. Сначала женщины приставали к ней с расспросами, а потом отступили и даже стали сторониться ее: их раздражала ее скрытость и замкнутость. Потом к ее молчанию привыкли.

Но весной, когда пришла пора пахать землю, Симисхан как будто ожила.

— Когда мы выносим плуг? — спросила она женщин и, встретившись с растерянным молчанием, добавила: — Мы должны сделать это в срок, как до войны.

— А Симисхан-то права, — подхватил кто-то, — разве мы не работаем нынче за мужчин? Давайте вынесем плуг на поле и устроим праздник первой борозды, как до войны...

И уже зашумели, заспорили женщины.

— Вы знаете, в этом году весна ранняя. Моя курица снесла вчера яичко, я сварила его, гляжу, а на остром конце пустота.

— Чем раньше, тем лучше. Вот проглянет погода и начнем...

— А кто проведет первую борозду?

...Провести первую борозду доверили Савдат. Во-первых, она и до войны пахала вместе с мужчинами, и борозда за ее плугом всегда была глубокой. Во-вторых, к ней теперь относились с особым уважением, ведь это ее сын Магомед отличился на фронте, даже в газете о нем написали.

Влажный горячий пар поднялся от развороченной земли. Казалось, она дышала глубоко и сильно. Женщины, не сдерживая слез, смотрели на эту первую борозду, и каждый вспоминал ту, довоенную пахоту... Отогнав воспоминания, они отошли — каждая к своему плугу. Босые, с засученными до локтей рукавами, одни прокладывали борозды, а другие с кирками в руках шли следом и разбивали комки.

Симисхан тоже шла вдоль борозды и так размахивала киркой, что комки летели вокруг. Ее лицо снова окаменело. И вдруг она отбросила кирку, сорвала с себя фуфайку и, вцепившись руками в свои тяжелые спутанные волосы, закричала:

— Смотрите, женщины. Все смотрите. Вы же шушукаетесь за моей спиной. Думаете... (голос ее сорвался) не дождалась мужа. А я дождалась. Глядите, что он сделал со мной! Вы думаете, он на фронте... а он сбежал, да-да, сбежал... Не хочу жить! Не хочу родить ребенка от труса!

И не успели все опомниться, как она выхватила из-за пазухи клинок и, воткнув его в землю острием кверху, налегла на него. Холодно блестя на солнце сталь.

Истекая кровью, она упала на землю.

На отчаянные крики женщин сбежались с соседних делянок.

...Её подняли и положили на спину. Кто-то из женщин снял платок и накрыл им рану. Жизнь медленно уходила из ее лица, заостряя скулы. Так и лежала она, раскинув руки на земле, лицом в небо.

Вскоре весть о самоубийстве Симисхан и о трусости ее мужа долетела до соседних аулов. Убитая горем Асият не разрешила взять тело дочери в дом Чупалава, как это полагалось по обычаю, а унесла к себе.

Молодые женщины вырыли ей могилу, а пожилые нарядили в шелк и парчу, приготовив в последний путь. И, странно, больше всех жалели не саму Симисхан, которая ушла из жизни такой молодой, не мать ее Асият, которая сразу превратилась в старуху. Больше всех жалели в ауле Халимат, мать Чупалава. Сухая и старая, готовая вот-вот свалиться, как подгнившее дерево, пряча от людей глаза, она пришла оплакивать Симисхан. Асият бросилась к ней, чтобы выгнать ее из своего дома, но женщины остановили ее.

Хоронили Симисхан торжественно, как героя войны. Старики, опустив головы, шли за гробом, а женщины на высоко поднятых руках несли гроб молчаливо и скорбно. Симисхан была покрыта черной буркой, а в изголовье лежала золотистая каракулевая шапка. Так хоронят воина, павшего на поле брани.

По дороге на кладбище они миновали дом Чупалава, сделав для этого большой круг. А дети бросали в дом камнями, и никто не оставивал их.

Когда на кладбище вырос высокий свежий холмик и темнота, спустившаяся с гор, залила аул, люди в последний раз склонили головы перед могилой Симисхан.

Али Курбан молча снял с себя пояс с позолоченным кинжалом и, встав на колени, положил его на могилу. Кто-то снял шапку и опустил рядом. Это означало: «Здесь спит герой, сохранивший суровые законы гор, не склонив головы перед врагом. Почтите его память. Остановитесь...»

— А кто ей поставил этот памятник? — спросила я у Али Курбана.

— Отец ее, когда вернулся с фронта.

Я смотрела на Али Курбана, на его высохшее, с проступившими жилками лицо и думала о том, как жестока старость. Постепенно рука времени забирает все, чем был силен и красив человек.

Наверное, Али Курбан угадал мои мысли, потому что он посмотрел на меня как-то пристально и сказал:

— Доченька, я хочу заранее знать, что напишут на моем надмогильном камне. Придумай такое слово, чтобы оно задержало людей у моей могилы. Чтобы оно говорило о моей любви к людям, особенно теперь, в последние годы. Прежде я еще находил в них какие-то недостатки, а теперь вижу только хорошее. Как не хочется умирать, дочка.

Глубокий протяжный вздох вырвался из его груди. Он хрипло закашлялся. И мне показалось на миг, что ветер небытия пошевелил мои волосы. И тогда я поскорее перевела разговор.

— Али Курбан,— сказала я как можно веселее,— как твоя внучка, поступила в медицинский?

Нет большей радости для старого человека, чем поговорить о внуках. Али Курбан сразу оживился:

— А как же! Учится. Мы со старухой в Махачкалу ездили «болеть» за нее.

— А помнишь, как ты был против ученья, говорил: «Женщине не положено знать даже цифры на деньгах, не то что читать и писать»,— лукаво напомнила я и сразу же пожалела об этом.

Тяжело видеть, как смущается старый человек. Он опустил голову, жилки на его щеках стали багровыми.

После войны по аулам ездили педагоги и набирали студенток-горянок для женского пединститута. Сколько им пришлось проглотить обид! Я слышала, как кричал Али Курбан, стуча палкой по ступенькам лестницы: «Пока на моей голове красуется папаха, пока люди на сходках уступают мне место, пока в своем роду я самый старший, пока мое слово имеет вес, равный этим горам, не бывать этому». И он так стукнул палкой о землю, что преподаватели, сжавшись, убежали со двора, ругая этого «гносного» старика.

— Было, доченька, было,— сказал Али Курбан.— Что старое вспоминать.

Я и сама не знала, куда деваться от смущения.

К счастью, из-за поворота выбежала тетя Умужат с воплями:

— Свет моих очей, какая мне радость от того, что ты приехала, если я все равно не вижу тебя?! Зачем ты вчера ночевала у Таибат, словно я не родная твоя тетя или меня уже похоронили в этой земле? Прибегаю на свадьбу — тебя опять нет. Я догадалась, что ты пошла сюда. Бедный мой брат! — И тетя с рыданиями упала на могилу моего отца.

— Я никуда не уеду, пока не надоем тебе,— утешала я тетю.

— Ты же только что вернулась из города, да еще с полным ртом золотых зубов. Неужели там не наговорилась? Дай и нам поговорить с Фазу,— вмешался Али Курбан.

— Ой, мой брат по единой вере, разве ее там увидишь,— всплеснула руками тетя.— То она на собрании, то в редакции, то депутатские дела. Да, почему ты не надела тот орден?..

Я не знала, куда девать глаза от стыда. Какое счастье, что хоть вторая моя тетька ждет меня в городе. Если бы они обе были здесь, мне бы пришлось туго. Такие уж они, мои дорогие тети.

Мои тети

Рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонили так резко и настойчиво, что я сразу поняла — междугородная. С трудом разлепив глаза, я нащупала на полу туфли и нехотя прошлепала в прихожую.

— Доченька,— зазвучал в трубке бодрый голос тети Умужат.— Я вылетаю сегодня. Встречай на аэродроме.

— Тетя, дорогая, какой сюрприз,— завопила я в трубку,— если бы ты знала, как мы соскучились...

— Знаю, знаю, доченька,— заверила меня тетя.— А я, как назло, никак не могла выбраться. Ждала, пока откроются ульи. Везу вам свежий мед. Как дети, здоровы?.. Да, знаю, ведь я получила твое письмо.

— Какое письмо, тетя? — раскрыла я рот.

Но тут в комнату вбежала моя мать, разбуженная моим криком, и сделала страшные глаза.

Я сразу поняла и подхватила:

— Дорогая тетя, на каждый звонок дети выскакивают в прихожую, все ждут тебя. Это такая радость для них. Сейчас выезжаем на аэродром.— Я покосилась на мать. Она одобрительно кивала головой и усмехалась.

— Каждую ночь я вижу их во сне,— жалобно сказала тетя.— Ну, до встречи.

Там, далеко в горах, повесили трубку.

Я тоже отошла от телефона и вопросительно взглянула на мать.

— Ну, что я тебе говорила? — сказала она.— Уверю тебя, она едет за тем же, за чем приезжала Шумайсат. Поднимай детей. Буди Расула.

— Что ты, мама. Расул же с утра уезжает в командировку.

— Ничего, поедет завтра. Пусть отправляется в гараж. Надо быть на аэродроме хотя бы за час до самолета.

Уныло побрела я в спальню. Мама права: тетю нельзя не встретить. Причем встречать придется всей семьей. Слава богу, Расула не пришлось уговаривать. Он сразу понял, что командировку нужно отложить.

Наскоро одев и покорив детей, мы погрузились в машину и отправились на аэродром. Пока Расул примеривался, куда лучше поставить машину, я бросилась к справочному бюро. Оказалось, что самолет, на котором должна была прилететь тетя, еще не вылетел отсюда в аул. Я приуныла, но моя мать увидела нашу односельчанку Асият и подбежала к ней:

— Асият! Ты летишь в аул? Счастливого пути! Если встретишь там на аэродроме нашу Умужат, передай ей, что мы уже давно ждем ее.

— Вай, баркала, как она обрадуется. Только и слышим от нее: Фазу меня так любит, Фазу меня к себе жить зовет.

— Да, да, и я ее люблю, и дочь моя Фазу души в ней не чаю,— поддкнула мама и покосилась на меня.

Но тут началась посадка и все побежали к самолету. А я, вздохнув, села на скамейку и стала думать о своих тетях.

Их у меня две. Одну из них, сестру моей матери, зовут Шумайсат, что значит «прямая, бесхитростная». Другую, сестру отца,— Умужат, что означает «покорная». Они очень разные, мои тетки: Шумайсат молчалива, Умужат льет слова, как речка воду. Шумайсат худая и длинная, как дерево рябины. Умужат, наоборот, маленькая, кругленькая, как куст шиповника. У Шумайсат красивые печальные глаза, и такие глубокие, как горные пропасти с быстрыми речками на дне. Лицо Умужат

всегда блестит, словно смазано овечьим жиром. А глаза у нее такие пронзительные, что невольно думаешь: наверное, она знает про тебя больше, чем ты сам.

Обе тети выросли в нашем доме. Родители моего отца умерли рано, и на руках его осталась младшая сестра Умужат. То же по странной случайности произошло и с моей матерью. Когда отец, служивший в национальном полку, влюбился в мою мать и привел ее в свой дом вместе с ее младшей сестрой Шумайсат, Умужат встретила обеих женщин в штыки. Горячо любившая брата, она взревновала его к «чужим» женщинам. Кроме того, она привыкла быть в доме полновластной хозяйкой. С затаенной враждебностью наблюдала она за своей ровесницей Шумайсат.

Мои родители относились к ним одинаково и одинаковые подарки дарили им к праздникам. Но Умужат всегда казалось, что у Шумайсат обновка лучше. Умужат с приходом в дом двух женщин переложила на них домашнюю работу, но не забывала при этом делать вид, что дом держится только на ней. Она вставала рано, засучивала рукава, громко гремела на кухне посудой, а когда брат уходил, заваливалась спать. Стоило же ему показаться на пороге, как Умужат была тут как тут: она протягивала ему рубашку, выстиранную и отглаженную Шумайсат, и говорила при этом: «Вот, я тебе постирала, надень чистую».

Моему отцу Магомеду никак не удавалось устроить ее работать: все места были не по ней. Когда же Шумайсат сама попросила Магомеда устроить ее на службу и сразу прижилась там, Умужат скрепя сердце тоже пошла работать. Шумайсат училась грамоте в клубе горянок. Чтобы не отстать от нее, и Умужат записалась туда же.

Трудолюбивая Шумайсат попала на доску почета.

Острым гвоздем врезалась ее слава в сердце Умужат. Куда девалась ее леность! Она не успокоилась до тех пор, пока не освоила новый станок.

Шумайсат записалась в танцевальный коллектив, Умужат — в кружок пения.

Шли дни, шли годы. У Шумайсат начали появляться поклонники. Каждому хотелось иметь скромную и работающую жену. Однажды Умужат слышала, как моя мать говорила своей младшей сестре: «Шумайсат, я тебя вырастила и люблю, как родную дочь. Но настанет время, когда девушка уходит от родителей. Так уже положено. Созревшая тыква сама отпадает от стебля. Сколько хороших ребят сватается за тебя. Скажи, к кому лежит твое сердце?»

Шумайсат молчала, и мать начала снова: «Откройся мне, не стесняйся. Муж для женщины — это все. Нет брата, равного мужу. Нет друга, равного мужу, нет защитника, равного мужу. Не звенит пандур с одной струной. Не катится арба на одном колесе».

Но как Умужат ни напрягала слух, как ни приныкала ухом к дверям, она так и не услышала ответа.

...Как-то мой отец Магомед повел обеих девушек на лужайку, где тренировались ребята из национального полка, готовились к Октябрьским праздникам.

Все восхищались искусством джигитов. Как ладно и стройно сидели они в седле! Как гарцевали их кони! Но больше всех ликовала и шумела Умужат. Когда в круг выехал Магомед на белом коне, она закричала:

— Смотрите, это мой брат. Сам Буденный ездил на его коне!

Каково же было ее горе, когда в игре «Оседлай коня» победителем вышел другой джигит.

Кончились соревнования, но не кончилось на том веселье этого дня.

— Приглашаю всех участников на хинкал! — крикнул Магомед.

— Давно я не пробовал хинкала, приготовленного твоей женой, — ответил друг Магомеда Зубаир, победивший на красном коне.

— По приглашению и враг может придти. А вот настоящий друг...— Магомед не договорил, потому что все стали разводить коней и поить их и началась такая суетня, что моя мать вместе с сестрами пошла домой готовить хинкал.

А когда пришли гости и стали мыть руки, Умужат и тут не удержалась, чтобы не кольнуть Шумайсат. В умывальнике не оказалось воды, и Умужат крикнула: «Сестра Шумайсат, подай гостям воды. Не видишь, что ли, я занята хинкалом. Что ты какая неповоротливая».

Эти слова почему-то горячей волной хлестнули по сердцу девушки. Наверное, от обиды кувшин дрогнул в ее руках, и вода плеснула прямо на сапоги Зубаира.

Может быть, из-за этой неловкости или из-за робости, но Шумайсат так и не отважилась выйти к гостям и весь вечер просидела на кухне, ловя веселые голоса и смех подвыпивших гостей. Умужат же снова на кухню и обратно: разносила еду, шутила и хохотала со всеми.

Когда за полночь гости стали расходиться, Шумайсат, подтиравшая в кухне пол, услышала разговор между Магомедом и Зубаиром.

— Как Барият? — спрашивал голос Магомеда.

— Да вот, опять отвез на воды,— сказал Зубаир и добавил, вздохнув: — Странная у меня получилась женитьба. Я ведь ее только раз и видел... Шел я пешком из аула в Махачкалу. Хотел поступить в национальный полк. На вторые сутки перевалил Шишилык, и тут началась гроза, да такая сильная, прямо всемирный потоп. Я бегу, ищу пещеру. И вдруг вижу у подножия горы шалаш. Влетел туда. Вода с меня льет ручьями, а в шалаше сухо. Сверкнула молния, и я увидел в шалаше женщину. Подняв руки к небу, она причитала. А потом забилась в угол и все плакала, что, наверное, эти потоки унесли ее отца и коров.

Не дослушав ее, я уснул: ведь двое суток не спал. Меня разбудили крики. Солнце светило вовсю. У входа в шалаш толпились мужчины и смотрели на меня с ненавистью. Я вскочил и хотел выйти, но один из них, худой, с козьей бородкой, положив руку на кинжал, загородил мне дорогу.

— Так бережешь ты память мужа! — крикнул он.

— Я его совсем не знаю. Его загнала сюда гроза,— робко оправдывался женский голос.

Тут я вспомнил о вчерашней женщине и оглянулся. Она стояла в углу шалаша и смотрела на всех испуганными глазами. Я заметил, что она молода, одета во все черное...

— Ты вдова, и никто теперь не докажет твою невинность,— снова выкрикнул тот, с козьей бородкой. При этом он рванулся к женщине. Она сжалась. Что-то перевернулось во мне. Сам не зная, что делаю, я отстранил бородатого и сказал:

— Я женюсь на ней. Хоть сегодня... Если, конечно, она согласна.

Женщина заплакала. И тогда к ней подошел старик в лохмотьях.

— Дочь моя,— сказал он ласково.— Не отказывайся. Женщина без мужа, что дом без крыши.

— Вот так, Магомед, я и женился. Позже узнал, что эти люди — родственники ее покойного мужа, они хотели скорее выдать ее замуж, чтобы дом и вещи умершего достались им. Она хорошая женщина. Но мы чужие друг другу. А главное — нет детей: я сам вырос один-одинешенек. Иногда думаю: жизнь отдал бы за ребенка.

Рассказ Зубаира запал в душу Шумайсат. Особенно ее поразила последняя фраза: «Жизнь отдал бы за ребенка». Она еще больше замкнулась в себе, еще равнодушнее стала к женихам.

Однажды у Магомеда остановился проездом молодой чабан. Он ехал в Москву на сельскохозяйственную выставку.

Мама заметила, что Умужат, обычно сварливая и неприветливая, преобразилась с появлением в доме чабана: она сделала прическу, на-

дела новое платье, которое до этого томилось в сундуке. Не обошла она вниманием и чабана: постирала ему рубашку, почистила сапоги. Мать даже слышала, как она наставляла его: меняй рубашки да не забывая бриться. А то засмеют. Москва — это тебе не аул. Словно сама бывала где-нибудь дальше Махачкалы.

На обратном пути чабан снова остановился в доме Магомеда. Он даже привез подарки: две цветастые набивные косынки для Умужат и Шумайсат. Омар не спешил возвращаться в аул и все время находил причины, удерживающие его в городе.

В походе Умужат появилась плавность, даже говорить она стала меньше и ласковее. Мать моя тоже старалась быть пообходительней с Омаром. Как-то вечером к нам пришли три красноармейца, влюбленные в Шумайсат. А Умужат сказала Омару: «И чего они ходят. Я же им сказала, что никогда не выйду замуж за человека из другого аула. А они все ходят...» Польщенный Омар подхватил: «И верно, Умужат. Разве у нас в ауле мало хороших парней. Нет, порядочная девушка ни за что не выйдет замуж в другой аул».

А вскоре после этого разговора прибыли сваты. И Умужат стала женой Омара. Ликованию ее не было предела. Пожалуй, больше всего она была счастлива оттого, что опередила Шумайсат.

А судьба второй тети сложилась иначе...

Но я слышу: гудит мотор. Так и есть, самолет. Вот он сделал круг в небе и плавно пошел на посадку. Зашумели, заволновались ожидающие. К самолету подкатили лестницу. Я выстроила детей и приготовилась встречать тетю Умужат.

Конечно же, она появилась первой. Окинула поле своими зоркими глазами и сразу же увидела нас.

— Дети мои! — закричала она, простирая к нам руки. — Неужели вы со вчерашнего дня ждете меня здесь?

Я толкнула детей вперед, и они наперегонки бросились к ней.

— Как соскучилась, — говорила тетя, обнимая детей. — Фазу, родная, где же ты? Расул, сын мой, обними свою тетю, не надо стесняться.

— Почему ты не приезжала так долго, тетя? Мы без тебя как сироты, — выпалил Расул.

Но тут на летном поле показалась телега с вещами пассажиров. И тетя, отпустив мою мать, которую она сжимала в своих объятиях, побежала за телегой с криком:

— Осторожнее, не трясите так. В той корзине банки с медом, а в той с маслом, а в чемоданах яички. А в мешках мука бобовая и кукурузная — это можно трясти. С ней ничего не будет.

Потом тетя вытащила из всех карманов фотографии своих внуков. Вот Гасан прислал из Аравии. Пишет, дети каждый день плачут обо мне. А Гасан там такую электростанцию строит... Она будет освещать всю Аравию. А невестка моя Татьяна...

Тут Расул не выдержал и мягко, но настойчиво втолкнул тетю в машину. Однако тетя с девичьей легкостью сейчас же выскочила оттуда.

— Дорогие мои, — обратилась она к пассажирам, которые прилетели вместе с ней из аула и теперь ждали автобуса. — Идите сюда. Вот же наша «Волга». Расул отвезет вас домой. Никогда не считала его своим зятем, а всегда сыном, — говорила она, рассаживая людей.

И Расулу пришлось сделать три рейса, прежде чем мы попали домой.

Целый день тетя чирикала, как каленая кукуруза на сковородке. Все она знала: кто женился, а кто поссорился. И чья корова ест чужую траву, и чья овца заблудилась в горах. И только одного не узнали мы от нее: как живет тетя Шумайсат. За весь день она ни разу не упомянула о ней. Но, зная нрав теток, мы ничего и не спрашивали.

А вот вечером... Вечером, когда мы ели чуду из свежего творога, привезенного тетей, а мама подавала на стол голубцы, тетя Умужат, отпра-

вив в рот кусок голубца, страдальчески сморщилась и схватилась за щеку.

— Ой! — пожаловалась она. — Разве я могу что-нибудь есть? Если бы мой сын Гасан и жена его Татьяна были здесь, разве они допустили, чтобы я так мучилась от зубной боли. — И тетя закачалась из стороны в сторону.

Мама под столом ущипнула меня. «Ну вот, — говорили ее глаза. — Что я тебе сказала сегодня утром? Теперь ты поняла, зачем приехала тетя».

— Шумайсат говорит, — между тем продолжала тетя, — что она будто заново родилась на свет с тех пор, как вставила себе зубы.

Я взглянула на маму. Лицо ее стало красным от сдерживаемого смеха. У меня защекотало в носу: смех распирал и меня.

— Тетя Умужат, — наконец выдавила я. — Но ведь у тебя зубы, как у молодой девушки.

— Что ты, доченька, — замахала руками тетя. — Это только видимость такая. А на самом деле все они гнилые.

— Что ж, надо вставить новые, если так, — сказала моя мать.

— Ну да, — обрадовалась тетя Умужат. — Я про то и говорю. Мне это сделают так же хорошо, как Шумайсат? — И она подозрительно покосилась на меня.

— Конечно, тетя, — поспешила я заверить ее. — Завтра же пойдем к врачу.

...Ночью, проводив Расула в командировку, уложив спать детей, пожелав спокойной ночи тете, я долго думала о них, о двух своих тетях.

Когда Умужат уехала с мужем в аул, Шумайсат осталась в нашем доме. О ее позднем и необычайном замужестве я узнала уже взрослой. А в детстве, — мы тогда уже переехали в аул, — однажды, возвращаясь из школы, я завернула к тете Шумайсат. Она сидела на крыльце и чесала шерсть. А тетя Умужат, подбоченясь, стояла перед ней. Я сразу поняла, что тети ссорятся.

— Кто же с тобой сравнится, — шипела тетя Умужат. — Ты ведь у нас скала. Сколько ни кипяти, не размякнет. Что тебе людская молва: вспомни, как ты выходила замуж. Сначала собрала урожай с чужого поля, а потом забрала и само поле.

Я видела, как побледнела тетя Шумайсат, как она отбросила шерсть в сторону и двинулась на обидчицу.

— До сих пор я молчала, не хотела связываться с тобой, — сказала она угрожающе.

— О аллах, — вскричала тетя Умужат. — Скажите, пожалуйста, не хотела связываться. А что ты могла мне сказать, чем оправдаться? К сухому пальцу соль не прилипнет. В целое яйцо муха не попадет. Это я чиста перед людьми. Меня можно постелить в мечети перед кадием и молиться в святую пятницу, — все более распаляясь, говорила тетя Умужат.

— Что ты все кричишь? Дай и другому слово сказать. Небо не хвастается своей высотой, а море глубиной. Крик петуха еще не делает рассвета. Кнут ранит мясо, а слово кость. Сперва смети снег со своего крыльца, а потом беспокойся об инее на чужой крыше.

— Ха-ха-ха, — язвительно рассмеялась тетя Умужат. — Это на моем крыльце снег? И это говоришь мне ты, ты... У меня, по крайней мере, нет на голове рогов, а позади хвоста.

— Очень жаль, — ехидно заметила тетя Шумайсат. — Рога, между прочим, гордость оленя, а хвост — украшение лисы. Да, я родила сына от любимого человека. И не жалею об этом. — Тетя Шумайсат гордо выпрямилась, глаза ее заблестели. — Всю жизнь я жила любовью. Теперь хоть есть что вспомнить.

— Что ж,— не сдавалась тетя Умужат,— красивые слова не смоют черных дел.

— Не было у меня черных дел и не будет. А вот ты вышла замуж за нелюбимого. Всю жизнь вы грызли друг друга, как волки. А потом ты выходила к людям и пела: «Омар так обо мне заботится, Омар сказал то, Омар подарил это...» Все на показ, на показ. Фальшивую жизнь ты провела и потому завидуешь мне. Вся твоя злость от зависти. Ржавчина съедает железо, а зависть сердце.

— Бабабай, почему я не умерла от этих слов? Почему еще живу? Чему тут завидовать? Да если бы я хотела, разве я не могла бы родить ребенка от первого попавшегося красноармейца.

— А ты, ты,— задохнулась тетя Шумайсат.— Ты всю жизнь искала в колодце рыбу. Но не поймала даже лягушки. А делала вид, что подцепила золотую рыбку.

С этими словами тетя Шумайсат вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Но не тут-то было. Тетя Умужат ударом ноги распахнула дверь и бросилась за ней.

Позднее я узнала эту романтическую историю.

— После того как Умужат вышла замуж,— рассказывала мне мать,— Шумайсат стала еще печальнее. Я уж подумала, не завидует ли она чужой удаче, хотя это на нее было не похоже. А еще я подумала, не плохо ли ей в нашем доме. Так и решила, потому что Шумайсат заявила, что уходит от нас, мол, фабрика дает ей комнату и ей хочется пожить самостоятельно. Как мы ее ни уговаривали, она стояла на своем. И вот как-то нахожу в почтовом ящике письмо: «Выхожу замуж за человека другой национальности. Уезжаю с ним на его родину. Простите».

Шумайсат даже адреса не оставила, и с полгода мы ничего не знали о ней. И вот как-то я стирала белье, слышу — звонок. Открываю — она. Волосы в кружок подстрижены, губы подкрашены. А к груди какой-то большой сверток прижимает. А сама бледная.

И тут я заплакала. Такой родной она мне показалась, хоть и изменилась сильно. Подхватила я чемодан и давай обнимать ее. А она, смеясь, отстранила меня «Осторожно,— говорит.— Ребенок!» И сразу же что-то во мне екнуло. Да не выходила она замуж, придумала все, чтобы объяснить свой отъезд. Значит, ребенок-то незаконнорожденный. Что будет! Да Магомед ее из дому выгонит! «Нет,— твердо решила я.— Сама уйду, а ее не отпущу. И так, наверное, наскиталась...»

А Шумайсат ребенка распеленывает: мальчик веселый такой, смотрит на меня и все улыбается.

В это время звонок. «Неужели Магомед»,— испугалась я. Открываю, а это друг его Зубаир. Давно у нас не был. Думаю, вот не вовремя... А он шапку снял и смущенно мнет в руках. Дверь из прихожей была открыта, и он сразу увидел Шумайсат. И ребенка тоже увидел. Шумайсат как раз распеленала его.

Шагнул к ней Зубаир, а она от него. И вдруг Зубаир как закричит: «Сын! Мой сын!» Подхватил ребенка на руки и подбросил. Тут уж и Шумайсат подбежала: «С ума сошел! Ему же только три месяца». А Зубаир говорит с укором: «А скрывала, пряталась. Никогда тебе этого не прощу».

Тут я уж совсем перестала что-нибудь понимать и ушла в кухню до-стирывать белье.

До поздней ночи Зубаир пробыл у нас. Вечером Магомед заперся с ним в кухне, долго они там беседовали. А через несколько дней Шумайсат с сыном уехала в аул, поселилась в отцовском доме, стала работать. Через полгода, закончив всю канитель с разводом, туда приехал и Зубаир. Свадьбы не было. Зарегистрировались они в местном загсе. Вот и вся история. Сильно они любили друг друга. Редко когда встретишь такую любовь,— вздохнула моя мать.— Дай бог, доченька, и тебе

такого счастья. Только мало кому оно выпадает. Потому и завидовали ей многие. Но больше всех, конечно, Умужат.

Когда Шумайсат приехала в аул с ребенком, что тут поднялось. Умужат уверяла, что никакого мужа у Шумайсат не было и никогда не будет. Но однажды утром, возвращаясь с родника, женщины увидели, что на ее крыльце стоит высокий военный и играет с ребенком.

— Смотрите, Магомед приехал,— сказала одна из них.

— Ну да,— скривила губы Умужат,— станет он заходить к ней. Он всегда у меня останавливается, а ее вообще выгнал из дому.

В это время на крыльцо вышла и сама хозяйка. Пестрое и нежное гурмендо стекало с ее плеч. В руке она держала кувшин, тоже новый. И это не укрылось от глаз женщин.

— У тебя что, гость? — спросила ее соседка, когда Шумайсат, сияя улыбкой, вышла за ворота.

— Зачем гость? Муж. Вот приехал... насовсем.

Умужат, окинув взглядом военного, сказала небрежно:

— Какой же это муж? Это же Зубаир, друг Магомеда. Я его знаю.

— Что ж, по-твоему, если он Зубаир, так он не может быть моим мужем? — рассмеялась Шумайсат.

— Так он ведь женат.

— Ну да, на мне,— еще радостнее рассмеялась Шумайсат.

Услыхав свое имя, подошел Зубаир.

— Йорчами, Умужат,— поклонился он ей.

— Йорчами, Зубаир, с приездом,— побледнела Умужат.

— Вот соскучился по сыну и жене... А вам привет от Магомеда и Сарыжат.

— Баркала,— с трудом выдавила из себя Умужат,— спасибо.

Несколько дней Умужат даже не выходила из дому. Да и другие женщины завидовали Шумайсат. Мало того что муж ее служит военным комиссаром в районе, что само по себе почетно, так он еще во всем помогал жене по хозяйству. Сам отводил корову в стадо. Сам приносил из родника воду, хотя издавна этим занимались только женщины. Каждое воскресенье с женой и сыном он ходил на базар; это было не принято в ауле. А возвращаясь, сам нес полную корзину фруктов и овощей.

Умужат, хоть и умирала от зависти, говорила:

— Вы посмотрите на него, разве это муж? Это же тесто, захочет, сделает из него хинкал, захочет, пышки. Разве это мужское дело — коров доить, кизяки таскать? Говорят, он даже сам себе стирает. Ха-ха-ха!

Дома же Умужат пилила своего Омара:

— Какой ты муж? Посмотрел бы на Зубаира: как он бережет жену, а наряжает, словно царевну.

На что терпеливый Омар отвечал:

— Вот и выходила бы за него. А я не Зубаир, я Омар. У меня своя голова на плечах.

Умужат дожидаться не могла зимы, чтобы проводить мужа на кутан с отарой. Но оставшись одна, она первые дни даже не зажигала огня в очаге, а соседкам говорила, вздыхая: «Так пусто в доме, так одиноко. Лучше бы уж он был грубым со мной, тогда я не так тосковала бы».

Омар за осень и зиму не писал ей ни одного слова. Она же, выходя за ворота со сложенным вчетверо листом бумаги, говорила жалобно: «Опять Омар пишет, что скучает по мне и сыну. Так скучает, бедный, жить без нас не может»...

А еще она копила деньги, чтобы к приезду Омара купить себе обновки, а соседкам, когда он вернется, сказать: «Опять Омар платье привез. Я его уже ругаю: зачем столько на меня тратишь? Я же не девушка».

— Ну, я, кажется, отвлеклась,— сказала мама.— Я ведь хотела тебе рассказать о романтической любви тети Шумайсат. А всегда так, начну говорить об одной, а потом незаметно перехожу на другую. Хоть они и

разные, твои тети, но это все равно что две стороны одной и той же луны.

— А тетя Умужат мало изменилась с тех пор, — заметила я.

На второй день после приезда тети Умужат мама пошла в гастроном, а я на кухне готовила завтрак. Не успела я разбить яйцо, как тихо вошла тетя Умужат.

— Наконец-то я могу побыть с тобой вдвоем, — сказала она жалобно. — Не люблю я все говорить при твоей матери. Все-таки она мне не родная, а ты дочь моего брата. Если бы отец твой был жив, я бы не чувствовала себя такой одинокой. Как он меня любил, если бы ты знала. Он говорил: ты для меня все — и жена и сын, и отец и мать... — И тетя приготовилась плакать.

— Что ты, тетя, — обняла я ее. — Мы все так тебя любим...

— Конечно, — всхлипнула она. — Твоя мама любит свою сестру Шумайсат. Это естественно. Но для тебя я самый близкий человек. Если бы ты знала, — зашептала она, — как меня обижает эта Шумайсат. Каждый день она ранит мое сердце. Вот ты, когда приехала из Москвы, подарила нам обеим платки. Так она всем говорит, что ее платок чисто шерстяной, а мой из какого-то стекла. — И тетя победоносно взглянула на меня: мол, теперь-то я пойму наконец, какая коварная эта Шумайсат.

Но я молчала, понимая, что тете ничего не докажешь: чужая курица ей всегда казалась индюком.

Я понимала замысел тети. Сейчас, воспользовавшись своим приездом, она во что бы то ни стало хотела убедить меня, что она любит меня больше, чем Шумайсат, и я тоже должна отдать предпочтение ей. Мне стало смешно. Борьба за мою любовь началась у них, когда я была еще ребенком. Сначала я чувствовала себя ягненком меж двух маток, а потом ягненком между двумя волчицами.

Надо же было так случиться, чтобы обе тети в один и тот же год родили по сыну. А больше детей у них не было. Сына тети Умужат звали Гасан, а сына тети Шумайсат — Шамиль.

Когда я родилась, они уже ходили в школу.

В тот день, когда меня клали в люльку, у нас дома, по обычаю аула, собрались родственники. Гостей угощали халвой и оладьями. Все было спокойно и мирно, как вдруг... Когда меня стали опускать в люльку, все собрались вокруг, женщины одобрительно почмокивали губами, и тут тетя Умужат отстранив всех, проворно вытащила из кармана старинный платок, такой тонкий, что его можно было продеть через кольцо, и бросила его на люльку. Это означало, что она меня засватала.

Женщины остолбенели. Во-первых, они тоже имели на меня виды, и у каждой в кармане был припасен платок. Во-вторых, кому же приятно, когда тебя оставляют в дураках.

Но больше всего это задело мою тетю Шумайсат.

Как только Умужат, окинув всех победоносным взглядом, отошла от люльки, Шумайсат тоже вытащила платок. Он весь струился золотом, как хвост жар-птицы. В горах такие платки называют «золотым платком царевны». От него в комнате стало так светло, словно на мою люльку упало солнце.

— Так не принято у порядочных людей. Я ее первая засватала, — опомнившись, крикнула Умужат.

— Девочка не тому принадлежит, кто ее сватает, а тому, кто на ней женится, — ничуть не смутилась Шумайсат.

— Не много ли ты берешь на своего сына, — крикнула Умужат.

— О сыновьях судить рано. Они еще ручейки. Посмотрим, способны ли будут эти ручейки крутить мельничное колесо, чтобы намолоть хотя бы мешок муки, — спокойно ответила Шумайсат.

— Пропадет твой золотой платок. Забери обратно, пока не поздно, —

угрожающе сказала Умужат и одним махом сбросила платок с люльки.

— Ах так! — вскипела Шумайсат. — Я и не собиралась сватать свою племянницу. Но раз на то пошло, я буду не я, если она станет твоей невесткой.

— Если она не станет моей невесткой, я сожгу свои косы и буду ходить лысой.

— Ходи такой хоть с сегодняшнего дня. Можно подумать, что мир держится за твои косы. Да хоть бы косы были, а то мышинные хвосты.

Говорят, в этот момент я закричала. На крик прибежала моя мать.

— Что вы, сестры мои, — сказала она. — Зачем снимать с ног чарыки, если еще не видно речки? — И мама взяла меня на руки.

А тетки еще долго ссорились и ушли, осыпая друг друга угрозами.

...Время шло. Я подрастала. Любила обеих теток и долго не подозревала о том, что ими движет не только любовь ко мне, но и постоянное соперничество. Мне даже нравилось, что тети ревнуют меня друг к другу и добиваются моего расположения. Они наперебой задаривали меня.

Мои родители не справляли религиозных праздников, да и я уже носила пионерский галстук, и потому не ходила к тетям поздравлять их, хотя это принято обычаем.

Но зато тети не забывали нас. На заре меня будила тетя Умужат. Через весь аул она пронесила над головой большой медный саргас — таз, покрытый платком или отрезом ослепительной красоты.

Дрожа от нетерпения, я сбрасывала платок, а под ним чего только не было: и душистый медовый натух, и липкая сладкая халва из орехов и меда, и желтая, как солнце, чуду из тыквы, и колотый сахар, словно осколки ледника...

Следом появлялась и тетя Шумайсат. Не помню случая, чтобы она опередила Умужат. Как тете Умужат удавалось всегда приходиться первой, не знаю. В ауле поговаривали, будто она еще с вечера забиралась к нам в хлев и ночевала там. А утром, стоило Шумайсат появиться на улице, вылезала из своего укрытия и, поднявшись на крыльцо, с торжественным видом встречала свою соперницу. Как положено победителю, она гордо молчала, но весь ее вид красноречиво говорил: «Что, опоздала? Так кто больше любит племянницу — я или ты? Так чьей невесткой она будет?»

Постепенно я стала кое-что понимать.

Когда, предположим, тетя Умужат спрашивала меня: «Ты, мое сердечко, наверно, идешь от Шумайсат?», я отвечала: «Что ты, тетя, я же уже неделю не видела», хотя на самом деле шла именно от нее.

Но я знала, что такой ответ обрадует тетю. И верно. Угощая меня халвой, тетя Умужат говорила: «Знаю, знаю, ты же меня только любишь. Если бы не мама, ты бы вообще к ней не ходила». Перебирая мои косички, она говорила: «Ну разве можно так туго заплетать косы? Они же расти не будут». Тетя садилась со мной на крыльце: сама на высокий стул, я — на маленький — и переплетала мне косы. Потом она обязательно поднималась на крышу. «Сарыжат, а Сарыжат! — летело над аулом. — Ты не волнуйся, Фазу у меня». Моя мама и не думала волноваться, зато, услышав этот крик, начинала волноваться тетя Шумайсат.

На другой день, когда я выходила из школы после уроков, тетя Шумайсат подкарауливала меня у ворот. Вид у нее был жалкий.

— Что же ты забываешь обо мне?

— Тетя, не расстраивайся, — просила я. — Ну хочешь, я сегодня пойду ночевать к тебе?..

— Зачем ко мне? — все еще обижалась тетя. — Ступай уж к своей Умужат. Я же не умею заливать тебя сладкими словами.

— Нет, я хочу к тебе. Возьми меня, — притворно хныкала я.

Наконец тетя уступала и торжественно вела меня за руку к себе до-

мой. При этом она замедляла шаг, проходя мимо ворот Умужат, и громко говорила:

— Кто это тебя так причесал? Между двумя прядями осел может пройти.

Узнав, что это работа Умужат, тетя кричала еще громче:

— Как же можно браться за то, чего не умеешь. Если бы она умела, разве бы у нее такие косы были?

Тетя намекала на жиденькие косички своей соперницы и как бы нечаянно сбрасывала платок. По ее спине струилось множество гибких, блестящих косичек.

Восхищенная, я говорила:

— Хочу такие косы, как у тебя.

— Я бы тебе даже лучше отравила, — отвечала тетя, сердито косясь на забор Умужат. — Но делянка, за которой ухаживают двое, погибает от сорняков. Ты уже не маленькая, должна сама разобраться, где сахар, а где соль, их нельзя путать, когда делаешь халву.

Дома тетя расплетала мои косы и смачивала их в толченом миндале. А потом повязывала мне голову косышкой туго-натуго.

Она открывала ларь и доставала оттуда разные сладости, чтобы мне не скучно было сидеть и ждать, пока высохнут волосы.

А вечером приходил и дядя Зубаир. Издалека были слышны его шаги.

Он стучал сапогами, как солдаты на марше. И звук этот казался мне самым веселым на свете: ведь он напоминал праздники и демонстрацию. Уже с порога он кричал:

— Шумайсат, где ты? — И голос у него тоже был таким, что сразу хотелось бежать ему навстречу.

— А, кого я вижу! — басил он и с размаху, раскачав, подбрасывал меня под самый потолок. А я счастливо визжала.

А вот дядя Омар был совсем другой. Он почему-то возвращался домой тихо-тихо. Молча снимал папаху и бурку. Так же молча вешал их на гвоздь. Тетя Умужат даже не вставала ему навстречу.

«Там на кухне хинкал. Подогрей», — кричала она из комнаты.

Если же в гостях у нее кто-нибудь был, тетя вела себя иначе. Она вскакивала навстречу мужу, журча, как родник, пригретый солнцем: «Пришел, сокол мой... Устал... Он же не умеет, как другие чабаны, лишь бы, лишь бы... Он, что ни день, ведет отару на новое место. А какие у него бараны!»

Мне, конечно, не нравилось притворство тети Умужат, да и мрачность Омара была не по душе. Зато я любила играть с их сыном Гасаном. Обычно мальчики презирают девчонок. Но Гасан был не такой. Часами он мог показывать мне город, построенный из спичечных коробков, электростанцию, которую сам смастерил. Все ребята таскали ему коробки. А вот сын тети Шумайсат Шамиль совсем не обращал на меня внимания. Это очень огорчало тетю, и она просила его хоть немного побыть со мной. Но он всегда отвечал: «Что мне делать с девчонкой» — и убежал из дома. А если и оставался, то так шумел, словно в доме грохочет горная река. Двор их был похож на спортплощадку: и турники тут были, и волейбольная сетка, и какие-то обтесанные камни, которые он бросал, чтобы быть сильным и ловким. Вставал мой брат чуть свет, обливался ледяной водой, лазил по шесту, крутился на турнике, швырял свои камни. Тетя Шумайсат жаловалась: «Когда надо идти в школу, он уже такой уставший, словно землю пахал». Учебников он почти не брал в руки. Тетя Шумайсат укоряла его: «Постыдись. У тебя одни чахоточные тройки. Хоть бы взял пример со своего брата Гасана».

Но братья, в отличие от своих матерей, не желали соперничать друг с другом.

Тети же, встречаясь у родника, этого женского годекана, как его про-

звали мужчины, наперебой хвастались своими сыновьями. Пожалуй, здесь перевес был на стороне тети Умужат.

Так в мелких стычках и постоянном соперничестве протекала их жизнь, и не знаю, чем все это кончилось, если бы однажды утром черной молнией не налетела весть о войне.

Первым покинул аул дядя Зубаир. Он был особенно красив в военной форме, с шашкой, украшенной серебряной чеканкой.

— Отец, возьми меня с собой,— просил Шамиль, восторженно глядя на отца, и все гладил и гладил его шашку.

А тетя Шумайсат молчала. И когда мы проводили Зубаира до поворота, и когда здесь он при всех обнял жену и сказал сыну: «Береги мать, сынок», она все молчала. Глаза у нее были сухие и какие-то пустые.

Я в первый раз видела, как плакал мой брат Шамиль. Слезы текли по его гладким загорелым щекам, он не сводил глаз с отца и не отрывал руки от его шашки. Мне было непонятно, то ли он плачет по отцу, то ли оттого, что его не взяли на фронт.

Женщины, провожавшие Зубаира, без конца вытирали глаза кончиком платка. Но больше всех плакала и причитала тетя Умужат. Когда мужчины исчезли за поворотом и впереди открылась пустая дорога, Умужат обняла Шумайсат и Шамиля. Такой я надолго запомнила ее: одна рука на плече моего брата, другая прижимает к себе Шумайсат, так, словно хочет поддержать ее, защитить от беды и одиночества. В тот момент впервые в жизни Умужат показалась мне красивой.

С того дня каждое утро и каждый вечер она молча проходила по улице к дому Шумайсат. Не глядя, здоровалась со встречными, голос у нее стал тихий, какой-то потухший, и она не останавливалась, чтобы, как прежде, поболтать с соседками. В руках она обычно несла или сверток или кастрюлю, от которой шел пар: наверное, несла им горячий хинкал. В глаза и за глаза она теперь называла Шумайсат не иначе, как сестра Шумайсат.

В эти тяжелые дни они действительно стали похожи на двух неразлучных сестер. Куда девалось их недавнее соперничество. Горе сблизило их. Вражда отступила...

А война не кончалась. Уже три месяца шли бои, и почти каждый день из нашего маленького аула уходили на фронт мужчины. И настал день, когда мы проводили Омара.

Тетя Умужат так рыдала, что ее пришлось отливать водой. «Как я буду жить без тебя,— голосила она, стирая руки.— Когда ты в горах, устают мои глаза глядеть на дорогу...»

Омар же, как всегда, молчал. И во время проводов он был так же суров с женой, как и всю жизнь. Я смотрела на него и не понимала: больно ли ему сейчас или, быть может, он даже рад, что уходит из дома, хотя и радости не было в его лице. Не понимала я и тетю Умужат. Ведь она всегда ругала мужа, а как-то, когда я ночевала у нее, даже сказала: «Видно, так и пройдет моя жизнь. Пусть бы он умер хоть на год раньше меня...»

А теперь так убивается. Вот и пойми...

Скоро в ауле не осталось мужчин: только подростки и глубокие старики. И потому все хозяйственные дела легли на плечи женщин. Тетя Шумайсат стала председателем колхоза, а тетя Умужат заявила, что берет на себя две отары и ушла в горы чабанить.

Тревожно и одиноко стало в ауле. Пришли первые похороны. С каждым таким известием весь аул одевался в траур. А на третий год войны погиб и Зубаир.

Тетя Шумайсат приняла это известие молча. Так же, как и во время проводов, она не уронила ни слезинки. Зато за двоих рыдала и причитала Умужат. Она оплакивала Зубаира, и других погибших, и своего мужа, который, правда, пока был жив... «Давно нет письма и от моего

сокола,— складно, словно пела песню, причитала она.— Наверное, похоронили его в чужой земле. И некому было омыть его кровавые раны, и некому одеть его в саван. Пусть умрет твоя любимая подруга, что не была с тобой рядом в последний час».

Женщины, собравшись вокруг, смотрели на нее сочувственно. Почти все плакали или с трудом сдерживали слезы.

А следом за этой пришла в нашу семью еще одна похоронка: погиб мой отец. И тут я увидела, как глубоко и сильно любила Умужат своего брата. Впервые она приняла страшную весть молча: не причитала, не рвала на себе волосы, не валилась на пол без чувств... Она молчала. И это было самым пугающим. Глаза ее потухли. Она больше не вмешивалась в чужие дела. Зато наш дом стал ее домом. Если ее курица сносила два яйца, одно она несла нам. Если ее корова давала литр молока, половину она отливала нам.

Со смертью любимого брата в ней еще сильнее разгорелось желание женить на мне своего сына. Но вторая моя тетя, услышав об этом, не захотела уступить меня Умужат. И на этой почве снова вспыхнула заглохшая было вражда между моими тетями.

Всему плохому, как и хорошему в жизни, свой черед. И настал день, когда до нашего аула докатилась счастливая весть: война кончилась! Мы победили! Один за другим стали возвращаться наши мужчины. Правда, немногие из них уцелели. Но среди живых был и Омар. Опираясь на палку, позванивая медалями, в один прекрасный день поднялся он на крыльцо своего дома. И весь аул, еще недавно так скорбно оплакивавший погибших, теперь дружно праздновал победу и возвращение живых. Снова пели песни, варили бузу, танцевали лезгинку. А потом, отпев, отгуляв, спешно брались за дела: нужно было восстанавливать хозяйство. Жизнь медленно вливалась в свою колею. В первый послевоенный год наша семья снова провожала двух мужчин. Но на этот раз проводы были радостными. Это уезжали учиться мои братья Гасан и Шамиль. Первый — в Москву, в университет. Второй — в Ленинград, в мореходное училище.

Когда они получили аттестаты зрелости, мать моя купила им обоим подарки: серебряные ремни кубачинской работы. И послала меня отнести эти подарки. Сначала я направилась к тете Умужат. Еще на крыльце я услышала свое имя и насторожилась. Ну, конечно, тетя Умужат, как всегда, спорит со своим сыном Гасаном. И спор, конечно, идет обо мне.

— Умоляю тебя, сынок,— говорила Умужат, и в голосе ее дрожали слезы.— Ради памяти моего покойного брата не называй Фазу своей сестрой. Если ты не женишься на ней, я умру.

— Мама,— ласково, но твердо произнес голос моего брата Гасана.— Как же я могу не называть ее сестрой, если она моя сестра, дочь твоего родного брата. И вообще, я пока не собираюсь жениться. Я учиться хочу.

— Я не говорю, чтобы ты женился сейчас же,— ухватилась за эту фразу тетя.— Поезжай, учись. Но закрепи Фазу за собой. Объяви людям, что она твоя невеста.

— Да не буду я жениться на сестре,— вышел из терпения Гасан, и я услышала, как он нервно зашагал по комнате.

Нужно сказать, что я любила Гасана. Конечно, как брата, много чувства я еще не понимала. Но его решительный отказ обидел меня. Надувшись, я уже хотела было уйти, но, вспомнив о подарке, вошла в комнату. Тетя Умужат сразу бросилась ко мне и стала душить меня в своих объятиях.

— Ах ты моя радость! Как ты похожа на своего отца. Увижу тебя и сразу вспоминаю Магомеда. Почему я не пошла на фронт вместо него.

— Ну что ты причитаешь,— рассердился Гасан, и, толкнув ногой большой ящик на полу, сказал весело: — Вот сестренка, оставляю тебе

свое имущество — тут книги, игрушки... Резвись. А кончишь школу, возьму тебя в Москву.

Умужат, при слове «сестренка» вздрогнувшая, как ужаленная, теперь облегченно вздохнула. Очевидно, фразу сына «возьму тебя в Москву» она поняла по-своему.

— Слышишь, Фазу,— закричала она мне,— он сам сказал, что возьмет тебя в Москву. Теперь ты никого не слушай. Делай то, что он скажет.

Я развязала платок и вытащила оттуда один ремень.

— Брат мой Гасан, поздравляю тебя с окончанием школы. Желаю и в Москве учиться также хорошо и не посрамить наш аул,— проговорила я и протянула ему ремень.

Тетя Умужат зажала рот рукой. Глаза ее смотрели испуганно. Я поняла, что совершила оплошность, сказав «брат мой», но было уже поздно: оброненное слово назад не возьмешь.

— А этот кому? — спросила тетя Умужат, заглядывая в платок.

— Это Шамилю,— ответила я.

Тетя Умужат, не мигая, смотрела на Гасана. Глаза ее говорили: «Ну вот, дождался. Так тебе и надо. Значит, ты БРАТ Гасан, а он просто Шамиль». Я это поняла и поспешила добавить:

— Его тоже надо поздравить. Ведь и он мой брат.

Вздых облегчения вырвался у тети.

А я, попрощавшись, отправилась к другой тете. Шумайсат сидела за машинкой — шила чехол для чемодана. Увидев меня, она просияла и заговорила со мной, как со взрослой:

— Вот, остаюсь теперь одна. Шамиль от меня уезжает. Хочет стать военным, как его отец. Я не кладу камня на его дороге. Работу и жену мужчина должен выбирать сам.

— Когда он выучится на капитана, мы тоже сможем поплавать на его корабле,— обрадовалась я.

— Ах, не знаю, что из него выйдет. Пока что ветер гуляет в его голове,— вздохнула тетя Шумайсат.

...Через несколько дней мои братья уехали. Теперь у родника Умужат только и говорила что о сыне: «Мой Гасан учится лучше всех. Он и меня зовет в Москву. Хочет, чтобы я у него жила».

Омар теперь отошел у нее на второй план и, кажется, не был огорчен этим. Шумайсат, как всегда, была скромнее и говорила меньше, но у нее дома со всех сторон смотрели фотографии красивого парня в морской форме. И везде он был очень похож на своего покойного отца. Соседки приходили к ней полюбоваться Шамилем. Они шумно восхищались им, а Шумайсат, сцепив опущенные руки, смущенно молчала, и глаза ее тихо светились.

О своих тетях я могу рассказывать бесконечно, но пора вернуться в сегодняшний день.

...Два дня тетя Умужат почти ничего не ела. До мяса она вообще не дотрагивалась. Ела только чуду. И то, пожевав немного, хваталась за щеку и принималась стонать. Пришлось мне повести ее к знакомому врачу.

Когда он, осмотрев больную, заявил, что удалить надо только два зуба, тетя Умужат даже подпрыгнула в кресле от возмущения.

— Нет, нет,— закричала она.— У меня весь рот болит, все зубы шатаются. Не могу больше мучиться. Удалите их, как вы сделали это Шумайсат.

— Но ведь у нее не было ни одного здорового зуба — возразила я.

— У нее не было, а у меня, значит, есть. Но я же старше ее,— впервые призналась в этом Умужат.

— Можно и в тридцать лет остаться без зубов и в семьдесят пять иметь здоровые, — терпеливо объяснял ей Мустафа.

Но тетья упорствовала. И врач, наконец, рассердился:

— Первый раз встречаю человека, который мечтает избавиться от собственных зубов, — сказал он.

Но скорее гору можно было сдвинуть с места, чем убедить в чем-нибудь мою тетю. И в конце концов Мустафа сдался. Сошлись на том, что он удалит еще два зуба. Мне было очень неловко перед Мустафой, с которого уже пот стекал ручьями, и я поспешила увести свою тетушку.

Зубные коронки тетя пожелала делать из чистого золота.

— Слава аллаху, дети мои все ученые, — гордо выпрямившись, сказала она Мустафе. — Что ни рука, то протягивает мне деньги. Зачем мне их копить? — И надо же было случиться, чтобы у кассы мы встретили нашего односельчанина Абакара. Тетя тут же стала мне делать какие-то знаки. Когда подошла наша очередь, она ущипнула меня за локоть и внизу незаметно сунула мне в руки пачку денег. «А-а, — сообразила я. — Тетя хочет, чтобы Абакар видел, что я плачу». Я сунула пачку ей обратно и открыла сумку.

— Фазу, не надо, ты и так на меня столько тратишь, — пропела тетя, слабо отстраняя мою руку, и покосилась на Абакара.

Но для него это было, как ливень по гранитной скале. Он весь утонул в невозмутимости, как в лохматой папахе.

Тогда тетя Умужат обратилась прямо к нему:

— Брат Абакар, они прямо осыпают меня деньгами, — стыдливо сказала она. — Ну зачем мне золотые зубы! В могилу нести, что ли? Так нет, и сын, и жена его Татьяна пишут из чужой страны, умоляют, чтобы вставила золотые. Так уж им хочется, чтобы я была молодой и красивой. — И тетя Умужат вздохнула.

— Бери, раз дают, — угрюмо отозвался Абакар. И, помолчав, добавил: — Хорошие у тебя дети, ученые!

...Дома тетя попыталась вернуть мне деньги.

— Доченька, — сказала она. — Ты же знаешь, что я живу, как у алаха за пазухой. Я верю, тебе для меня ничего не жалко. Но я не хочу, чтобы твой муж — чужой для меня человек — мог сказать: «Ах эти тети, они ощипывают нас, как петухов, ошпаренных кипятком».

На всякие щепетильные темы тетя говорила со мной, когда не было дома моего мужа Расула.

Видно, она никак не могла смириться с тем, что я не стала женой ее сына. Помню, до последнего дня тетя не теряла надежды. Когда же Гасан приехал в аул, чтобы забрать меня в Москву, тетя не ходила, а летала по аулу. «Гасан приехал за Фазу, — радостно сообщала она каждому. — Хочет, чтобы и она стала ученым человеком. Мы ее, конечно, отпускаем. Не одна же она там будет, а с ним».

Но радость тети Умужат оказалась преждевременной. Не знала она, с какими надеждами проводившая нас в дорогу, что в Москве на вокзале нас встретила любимая девушка Гасана.

Кстати, я многим обязана ей. Именно она занималась со мной, приносила мне книги, водила по музеям, словом, помогла мне, девчонке из далекого аула, выдержать конкурс и поступить в московский институт. Мне тоже пришлось немало потрудиться, чтобы тетя Умужат отказалась от своей заветной мечты и согласилась признать своей невесткой русскую девушку.

Когда я впервые намекнула ей о Татьяне, она онемела. Потом стала рвать на себе волосы, царапать лицо, причитая, как по покойнику. Но, узнав, что и за Шамиля я не выйду, несколько успокоилась.

— Ну что же, — сказала она, вздохнув: — Пусть мой единственный сын женится по любви. Нелюбящие супруги — две холодные речки, которые текут в разные стороны. Сама я... — она не договорила.

Она взяла у меня фотографию Татьяны и долго придирчиво разглядывала ее. Потом вышла, и я слышала, как во дворе она перекликалась с соседкой.

— А разве не Фазу невеста твоего сына? — удивлялась соседка.

— Вай, что ты говоришь... Она же ему сестра.

— Не знаю, не знаю, я говорю только то, что слышала от тебя. Разве в дни ураз-байрама ты не носила ей подарков?

— Что ты, соседка, во сне ты или наяву?!

— Ты можешь из козла сделать быка, а из быка буйвола, — ехидно заметила соседка.

— Чего только не выдумают люди, — не унималась Умужат, — брата на сестре женить... У моего сына невеста в Москве. Ученая. Красивая, — и она зачмокала губами.

Когда же через несколько лет настал мой черед, тетя Умужат стала моей горячей сообщницей. Изю всех сил старалась она убедить мою мать, что Расул хороший парень и брак этот будет удачен. Конечно, она желала мне счастья. Но была здесь и еще одна причина: в глубине души тетя Умужат еще опасалась, а вдруг я выйду за Шамиля. А тетя Шумайсат, узнав, что Гасан женился, сразу же успокоилась: она-то всегда знала, что Шамиль не женится на мне, но боялась, что это может сделать Гасан.

Вот какие они, мои дорогие тети.

Умужат уезжала от нас в отличном настроении. Ела она теперь за троих, а улыбалась непрерывно. И каждая ее улыбка сверкала, как золотой слиток. Перед отъездом, упаковывая чемоданы, тетя пальцем поманила меня к себе и показала отрез коричневой шерсти. «Вот, — ворчливо сказала она, — купила для Шумайсат. — И добавила виновато: — Неудобно же с пустыми руками...»

Прощаясь, она долго прижимала к себе детей, и вытирала слезы, и звала нас в гости. А мы все дружно махали вслед самолету, пока он не растаял в воздухе.

Когда мы вернулись домой, квартира показалась нам слишком большой и слишком тихой. Я уныло бродила из комнаты в комнату, на сердце было пусто.

...На рассвете меня разбудил телефонный звонок.

— Алло, дочь моя, Фазу, ты меня хорошо слышишь? Это говорит твоя тетя, Шумайсат, — прозвучало с другого конца провода. — Дорогие мой, я сегодня вылетаю. Дневным рейсом. Что вам привезти?..

Но не удалось мне встретить мою тетю. Получилось так, что, когда ее самолет приземлился в Махачкале, я уже приближалась к аулу. Представлю, как она там мучается, изнывая от ревности: ведь Умужат-то здесь, в ауле. Но я не спешила в город. Ведь я была среди людей, близких мне с детства. Человек, выросший в ауле, всегда чувствует себя гостем в городе; даже если в горах он прожил десять лет, а в городе все пятьдесят. Еще в машине я представляла, как надену белую шаль с шелковыми кистями, поставлю на плечо медный кувшин и пойду одна по знакомой тропинке далеко за аул. Сразу же солнце упадет на кувшин, на мои серьги, и зрачки мои станут маленькими солнышками. А еще я мечтала посидеть у открытого очага, вдыхая тепло синего пламени кизяков, размешивая красные угли щипцами, как это делала моя мать.

Идти по горбатой улице и кланяться каждому, ведь ты знаешь всех и все тебя знают. Сидеть за свадебным столом и видеть такие знакомые лица.

На улице было пустынно и тихо. Праздничное оживление сошло: ведь свадьба кончилась и молодожены уехали путешествовать по разным городам на поезде «Дагестан». Ну что ж, и мне пора в город. Одна-

ко не тут-то было. Только я открыла чемодан, чтобы сложить вещи, как тетя Умужат коршуном налетела на меня: она только что вернулась с родника и, конечно же, принесла оттуда свежие новости.

— Именем аллаха, прошу тебя, не уезжай,— торжественно начала она.— Сегодня вечером в клубе будут показывать «Махмуд из Кахаб Росо». Говорят, Махмуд там совсем как живой, и Муи тоже. И все плакали, когда смотрели.

— Тетя Умужат, я обязательно должна ехать,— сказала я твердо.

— Радость моей старости, прошу тебя, останься.

Я продолжала складывать вещи.

— Я так хочу вместе с тобой пойти в клуб, и чтобы мы сидели рядом, и чтобы все это видели. Я уже стара. Может быть, такого дня больше будет в моей жизни.— И тетя заплакала.

— Ну хорошо, хорошо, я остаюсь.— В самом деле, почему не порадовать тетю. Почему не посмотреть этот спектакль, о котором я много слышала. В Махачкале все было некогда. А теперь театр приехал в аул...

— Надеемся, Фазу, что в этот раз ты не выскочишь на сцену,— хитро подмигнул мне Али Курбан, когда мы все вместе шли в театр.

— Али Курбан-даци, вы ничего не забываете,— смущенно пробормотала я.

...Это было давно, еще во время войны. Даже такого слова — «театр» — я тогда, кажется, не слышала. В ауле и клуба-то не было. Только изба-читальня. И то совсем маленькая комната. Стол да десяток книг.

И вот в один прекрасный день аул зашумел так, словно в улей залетела птица. «Слыхали, к нам едут артисты. Аварский театр будет показывать спектакль».

Целый день я угождала маме. И всё-таки...

Трижды бабушка с мамой принимались обсуждать этот вопрос.

— Ты же сама рассказывала, что там женщины при всех целуются с мужчинами,— возмущенно говорила маме бабушка.

— Но это же театр,— оправдывалась мама, словно была виновата в такой распушенности нравов.

— Театр не театр, а это позор! — еще больше распалаясь бабушка.— Разве можно девочке в таком возрасте на это смотреть? Ничего она не потеряет, если не увидит, как чужие мужчины целуют чужих женщин.

И в этот решающий момент на пороге нашего дома появилась библиотекарша — Изба Патимат:

— А я пришла звать вас в театр,— сказала она.

— Какой, доченька, может быть театр, когда наши мужчины там, где им в глаза смотрят пули,— вздохнула бабушка, найдя для Патимат другое объяснение.

— Вот потому артисты и приехали к нам бесплатно, чтобы порадовать наших женщин, отвлечь их от горьких мыслей,— пояснила Изба Патимат и добавила: — Они же гости. А гостей надо уважать. Они обидятся, если мы не придем.

Этот довод сразил бабушку.

— И правда, доченька, гостей надо уважать,— подтвердила она и посмотрела на маму.

— А как же! Если мы не придем и другие не придут, что же тогда получится,— согласилась и мама.

Не прошло и часа, как я гордо шагала между мамой и бабушкой к дому Магомед. Его дом был самым большим в ауле, там и решили давать спектакль.

Это была пьеса армянского писателя, называлась она «Намус». До сих пор не помню, что со мной произошло. Но только в том месте, где муж Сусанны наносил ей удар кинжалом в черную родинку на груди,

я крикнула: «Не надо, это неправда, она не виновата!» — и очутилась на сцене между ними.

Чьи-то цепкие руки схватили меня и передали матери. Помню бледное, растерянное лицо матери и недовольный шепот вокруг: «Не может сдерживать свою сумасшедшую дочь!»

После этого я долго боялась показываться на улице. Мне казалось, что я опозорена на веки вечные и вообще жизнь для меня кончена.

И вот теперь Али Курбан напомнил мне об этом. Даже сейчас, спустя двадцать с лишним лет, я почувствовала, что краснею.

Ничто на свете не забывается. Я снова была девочкой. Та же крутая дорога, те же камешки под ногами, то же небо невероятной синевы. Только мне уже не десять лет. Только бабушки уже нет с ними. Только идем мы теперь не в дом Магомеда, а в колхозный клуб, где артисты из города — частые гости. Да и дом Магомеда постарел, теперь он уже не самый большой в ауле. Он потерял свой блеск и утратил свою молодость. Среди других новых домов с железными крышами он выглядит, как старик среди молодых сыновей.

Да и вряд ли теперь в ауле отыщешь девочку, которая бросится на сцену, чтобы защитить героиню от удара кинжала. Теперь, когда Отелло душит Дездемону, можно услышать в зале такие слова: «Какая выразительная игра!» «А вы не знаете, кто перевел «Отелло» на аварский язык?..»

Но я, кажется, отвлеклась. Отвлеклась от того дня, когда мы вместе с Али Курбаном и тетей Умужат пошли на спектакль о Махмуде.

Махмуд и Муи! Девушкой я завидовала Муи: почему я не родилась ею. Почему мой любимый говорил со мной стихами Махмуда.

В каждом ауле сестра окликает брата — «Махмуд!», мать сына — «Махмуд!», девушка жениха — «Махмуд!»

Но мне ближе образ Муи. Я так ясно вижу ее, словно она была моей подругой. Она такая красивая, равной ей нет девушки в горах. У нее перламутровый лоб, а глаза горной лани. Настороженные, печальные глаза. Сразу понимаешь, что эта горная лань чем-то сильно напугана. Ее тяжелые черные косы надвое разделены гордым пробором. Они падают из-под белого гурмендо. Губы ее сжаты. Я люблю ее.

Я люблю ее любовью Махмуда и завидую ей сердцем женщины.

...Клуб аула был словно в блокаде. Много молодежи, но еще больше стариков. Ужасно долго тянулось время перед открытием занавеса. Тетя Умужат все вертела головой — смотрят ли на нас, и обиженно поджимала губы. И, наконец, занавес медленно раздвинулся.

Суровые горы. Змейкой вьется дорога, разрубив пополам громадную скалу. Гремит водопад. Рождается в пропасти река. И над ней сгорбился мостик, соединяющий берега. У подножия этих гор разбросаны сакли маленького аула. В ауле свадьба. Веселья — через край. Но это только на первый взгляд. Скоро замечаешь, что свадьба захлебывается слезами. Насильно выдают замуж красавицу Муи за нелюбимого, за старого человека.

Как и на всех свадьбах, танцы здесь в разгаре. Но в задорной легкой музыке незаметно появляются тревожные нотки. Они все нарастают. Наступает момент, когда в круг должны выйти новобрачные. Вот уже захмелевший от счастья жених кружится в лихой лезгинке. Но Муи отказывается выйти в круг. Видимость счастливой свадьбы сразу же пропадает. Стареют, суровеют лица. Чтобы смягчить обстановку, кто-то предлагает спеть. Подруга Муи Патимат запела песню Махмуда. Муи вскакивает. Но женщины и девушки кольцом окружают ее. Муи садится. И кажется, что она уже укрошена. Но это только кажется.

В финале первой картины Муи остается на сцене одна. Она встает, напряженная, как натянутая тетива. Сомкнутые губы. Кричащие глаза. И вдруг словно солнечный луч попал на это лицо. Оно оттаивает. Муи

вспоминает тот день и час, когда впервые встретила Махмуда. Идет снег. Чист и прекрасен мир...

Глядя на сцену, я вспоминаю легенду, которую мне рассказывала мать много-много лет назад...

Песня любви

Муи вскочила с лохматой шкуры тура — после только что совершенного намаза она читала молитву. Ее отвлек ветер. Воя, он рвался в дом, с остервенением бился в закрытые ставни. И, наконец, с размаху распахнул дверь. Сразу же рассыпалась охапка соломы, сложенная у затухающего очага, вздулся подол атласного платья Муи и холодные струи охватили тело, заметался язычок огня на кончике медного чираха.

Муи наспех сунула босые ноги в парчовые тапочки, придерживая подол длинного платья, пыталась совладать с ветром. Вот она захлопнула дверь, и ветер как будто замер. Выпрямился язычок чираха, стихло нервное шуршание соломы. Но только Муи углубилась в молитву, он ворвался снова. И опять задрожала солома, жалобно заскрипели дверные петли, замигало пламя.

Муи вскочила, чтобы затворить дверь, но... на пороге стояло двое мужчин. Ветер вздыбил их волосы. В опущенных руках оба держали папахи. Другая рука лежала на рукояти кинжала, висевшего на поясе; холодно блестели серебряные насечки. Муи попятилась, вскинула руки, как бы прося аллаха о помощи.

— Нечего звать бога. А папахи мы наденем только тогда, когда оботрем ими кровь с клинков, — сказал один. Это был ее брат.

— Пошли. Мы не станем твоею кровью пачкать пол, по которому ходят мои сыновья, — сказал другой. Это был ее муж.

— Мои сыновья! — вскрикнула Муи и бросилась к маленькой, как окошко, двери, за которой они спали.

— Нет у тебя сыновей! — крикнул муж.

Муи сжалась, словно ее ударили.

Ветер гнал по небу тучи, рвал их в клочья, как непрочную вату. В прорехе показалась луна. Она пролила молочный свет на горы, которые острыми утесами врзались в небо, на бархатные долины, на отвесные скалы. Она осветила три фигуры, которые медленно шли в горы. Все выше и выше уходила Муи от аулов и зеленых низин. Все дальше и дальше от теплых огней человеческого жилья. Все ближе и ближе к холодному свету луны.

Она шла той же дорогой, по которой два всадника увели ее любимого, и были черны тени коней, резко обозначенные на скалах, и одинокий цокот копыт, и затихающий стук камней, летящих в пропасть.

Она шла той же дорогой, и вместе с нею, будто в облака, уходила ее любовь.

Вот и родник, где она впервые встретила Махмуда.

...Был знойный июльский полдень. Воздух, настоящий на запахах скошенных трав и луговых цветов, можно было пить, как мед. Стояла горячая пора — пора жатвы. В обед Муи, как самую младшую, послали к роднику за водой. Она бежала, любясь собственной тенью. То на одном, то на другом утесе мелькала ее стройная, гибкая фигурка. Все пело вокруг: и ветер, шепчущий в уши лукавые слова, и речка, веселая, как сама Муи, и ореховые деревья, шелестящие кронами. Была та пора девичьей юности, когда настроение переменчиво: то непонятные слезы навернутся на глаза, то в улыбке раскроются вишневые губы.

Когда Муи, наклонившись, наполняла второй кувшин водой, она вдруг услышала над головой звон пандура. Звук был таким нежным словно не человеческая рука, а ветер перебирал струны. Муи подняла голову. Рядом с ней у родника стоял юноша и играл на пандуре. Встретившись с глазами Муи, юноша отбросил пандур. Муи вдруг увидела, что лицо его черно от угольной пыли, и поняла, что это Махмуд, сын угольщика Муталиба. О его дерзости ходили легенды: он сочинял стихи, в которых высмеивал богатых, и сам пел их.

— Эх, напиток бы из твоего кувшина,— сказал юноша, и на черном лице ослепительно блеснули зубы.

— Зачем из кувшина? В роднике воды на всех хватит,— отрезала Муи и, резко повернувшись, побежала по тропинке, выплескивая воду. Отбежав, она оглянулась: он все так же стоял, опершись на мешок. Даже издали обжигали его глаза.

Когда Муи вернулась в поле, она увидела, что подруги тесно окружили кого-то. Из круга неслась песня, веселая и дерзкая.

— Муи, что ты там стоишь? Иди сюда!— закричала подруга Муи Патимат.

И девушка поняла, что Махмуд опередил ее.

С тех пор она почему-то не ходила к роднику одна.

Прошло время, Муи уже стала забывать о нем, как однажды...

С полной охапкой кизяков поднималась она по лестнице и вдруг услышала за собой шаги. Обернувшись, увидела двух мужчин. Один из них был ей незнаком. А другой... Она не сразу узнала его. Он смыл угольную пыль и оттого казался похудевшим и бледным; только усы, гордо закрученные, чернели на лице. И одет он был чисто, по-праздничному.

— Отец дома? — спросил тот, незнакомый.

Муи кивнула. Лесница была узкой, и девушка прижалась к стене, чтобы пропустить мужчин. Незнакомец прошел, а Махмуд, поравнявшись с ней, остановился и тихо, нараспев проговорил:

Вспоминаю холмы над селеньем Бетли,
Где ключи потекли, где цветы расцвели.

Муи, роняя кизяки, оттолкнула Махмуда и, не помня себя, бросилась наверх.

Отец ее, офицер царской армии, удивленно вскинул лохматую бровь, увидев непрошенных гостей. Даже руки не подал он Махмуду. Муи слышала, как вечером он возмущенно говорил жене: «Лучше бы таскал на спине уголь, чем сочинять вздорные песенки».

А время шло. Давно убрали пшеницу. И только вороны слетались теперь на голое, словно подстриженное поле. Все чаще вершины гор заволакивались темным, клубящимся туманом. Все реже пелись в ауле песни. Все чаще подруги подсмеивались над Муи.

— Знаешь, все говорят, что Махмуд влюблен в тебя,— лукаво поблескивая глазами, бросала Патимат.

— Говорят, он и песни сочиняет про тебя,— добавляла другая подруга.

— По мне, так лучше выйти за Махмуда...— не унималась Патимат.

... — чем за того старика, которого тебе сватает отец,— не отступала другая подруга.

Часами сидела Муи на крыльце и пряла шерсть. Прежде подвижная и озорная, она избегала теперь подруг, отказывалась от девичьих игр. Не то чтобы она стеснялась насмешек. Просто ей стало скучно с ними. Однажды, когда она как обычно пряла на крыльце, радуясь осеннему солнцу, неожиданно выглянувшему из-за туч, прибежала Патимат. Она запыхалась от быстрого бега, лицо у нее было испуганным.

— Махмуда избил, — выпалила она.

Муи вздрогнула: прялка выпала из рук и покатила по полу, разматывая шерсть. Белый день стал черным. А может, это солнце спряталось за тучу.

— За что? — спросила Муи и сама не узнала своего голоса.

— Говорят, мулла велел Махмуду написать стихи, чтобы они воссели рай. А он представляешь что сочинил:

Райский сад не стану славить,
От него меня избавь.
Можешь рай себе оставить,
Мне любимую оставь.

— Представляешь? И теперь все это поют. А мулла скрипит зубами от злости.

— Кто избил? — спросила Муи, уже овладев собой.

— Говорят, мулла подкупил людей...

В то утро Муи проснулась рано; ее разбудил звук зурны и стук барабанных палочек. Это, играя, музыканты ходили по дворам и передавали приглашение на свадьбу. Наспех натянув платье и на ходу завязывая чохто, Муи выбежала во двор.

— А чья свадьба?

— Магомеда, — сказал один музыкант.

— Друга Махмуда, — добавил другой.

Муи почувствовала, как вспыхнули щеки.

— Я хочу на свадьбу, — сказала она матери.

— Как они посмели приглашать нас на свадьбу босяка, — возмутилась мать, и Муи поняла, что все просьбы бесполезны. Прислушиваясь к веселю на улице, сидела она дома. Как вдруг слуха ее коснулся нежный, вкрадчивый голос. Он был тих, но заглушал все остальные звуки: и зурну, и визг ребятишек, и бой барабана... Муи бросилась на крышу.

Мимо ее двора проходила длинная процессия: это шли за невестой. И впереди всех, играя на своем неразлучном пандуре, шагал Махмуд. Он хромал. Тут же крутилась Патимат. Увидев на крыше подругу, она замахала руками:

— Муи, ты что там стоишь? Пошли с нами!

Девушка видела, как вздрогнул Махмуд, услышав ее имя, как вскинул он голову, как остановился, встретившись с ней глазами.

Это была их третья встреча. А четвертая, и последняя, случилась зимой.

Был первый день зимы. Как полагалось по обычаям аула, она сварила муг и понесла его матери. И вдруг на середине улицы, засыпанной снегом, как из-под земли вырос перед ней Махмуд. Она остановилась, опустив глаза, не в силах сделать хотя бы шаг. И снова услышала она его тихий вкрадчивый голос, который звучал напевно и проникал в нее, как этот воздух:

Все еще к тебе стремлюсь,
По тебе еще тоскую.
Никогда я не женюсь,
Не могу любить другую.

— Махмуд, у меня сын! — только и сказала она и, повернувшись, побежала от него.

А вскоре Муи узнала, что Махмуда изгнали из Дагестана за его песни. Двое всадников увели его высокогорной дорогой. И были черные тени коней, резко обозначенные на скалах, и одинокий цокот копыт, и стук камней, летящих в пропасть... Он уходил все дальше и дальше, словно в облака, той же дорогой, по которой днями спустился пройдет его

любимая. Где-то за ледяными горами Карпат нашел он себе приют. Где-то там, вдали от родной земли и гор, звучит его пандур. А быть может, он похоронен уже в чужой земле.

Но песни его изгнать не смогли. Их пели аульчане на свадьбах и поминках, на сходках и сборищах. Они звучали по всей Аварии. Передаваясь из уст в уста, доходили до Муи. И она бормотала их, качая сыновей в колыбели, сначала первенца, потом второго сына, напевала, разводя в очаге огонь. И только далеко в горах, где никто не мог ее услышать, она пела их во весь голос — пела для могучих старых деревьев, для вековых скал, для молодого быстрого ручья... И горное эхо подхватывало ее слова, и река уносила их, и ветер перебрасывал далеко-далеко, в другие края, на другие земли...

А теперь она должна умереть. Почему? За что? Этого Муи не знает, но так велят мужчины их рода. А значит, так надо. Вот они идут за ее спиной, держа в опущенных руках папахи — значит, Муи опозорила их. А позор смывается только кровью. Это Муи впитала с молоком матери. Займется заря, разгонит туман, посветлеют горы, красная полоска наступающего дня появится на горизонте, и двое мужчин, грузно ступая, будут возвращаться в аул, и тяжелые папахи будут клонить их головы к земле. Но Муи уже не увидит этого.

— Стой! Это был последний твой шаг.

Муи замерла, пригвожденная к месту криком брата. Покорно села на край отвесной скалы. Там, внизу, пробивая себе путь среди столетних валунов, вздымала пену Койсу, неукротимая, как дикий конь. Поваленные ветром деревья, обломки камней — все подхватывала она и уносила в своем потоке.

Что для нее малый листок, до поры сорванный с ветки!

— Где же твой возлюбленный? Почему он не спешит к тебе на помощь со своими бесстыжими песнями? — глумился муж, приближая к ней лицо.

Муи молчала.

— Ты уже сделала свой последний шаг. Теперь у тебя осталось последнее слово. Говори! — приказал брат, вынимая кинжал из ножен.

— Не успеет и птица склевать зерно, как твое тело подхватят волны Койсу, — сказал и муж, вынимая кинжал из ножен.

Муи поднялась с камня. Шелковое гурмендо, нежное и пестрое, как июльский луг, соскользнуло с тяжелых волос, упало на плечи.

Она выпрямилась — агатовым блеском сверкнули глаза. И запела. Муи пела о любви, которая крепче этих скал, светлее этой луны, сильнее этих кинжалов. И пока она пела, затих ветер, растаяла тьма, красная полоска зари показалась из-за гор. Словно эта песня растопила черноту ночи и приблизила утро. Было так тихо, как будто замерли птицы, не шелохнулись деревья, застыли ручьи. И вдруг в этой тишине раздался скрежещущий звук — то муж Муи уронил кинжал. В глазах его стояли слезы.

— Ты ни в чем не виновата, ты чище этой зари, — сказал он и надел папаху.

И тогда брат бросился к сестре, чтобы занести кинжал над ее головой, но рука его повисла в воздухе. И второй клинок ударился о камень и, отскочив, лег у ног Муи.

Взошло солнце. А песня все звучала, и слова ее вместе с росой падали на холодную траву...

...На сцене идет горячий бой за любовь.

Долго еще в этот вечер горели огни в окнах аула. У каждого очага делились впечатлениями, обсуждали спектакль. Но больше всех радовался и гордился Али Курбан: ведь это у него сегодня гостила Муи — Айшат Мамаева, заслуженная артистка РСФСР.

Сколько людей собралось в доме Али Курбана. Пришел даже старый Айгази, который знал самого Махмуда.

— А помнишь, дедушка Айгази, как ты хотел выдать мою мать замуж? — засмеялась я.

— Как же не помнить! Теперь, наверное, жалеешь, что помешала этому. Была бы у тебя куча братьев и сестер.

Айгази вздохнул, и я поняла, что он до сих пор точит на меня зуб. ...Дело было так.

Однажды вечером я учила уроки и вдруг увидела, что к нам по лестнице поднимаются старики. Весь совет старейшин аула был в сборе. На крыльце они расступились и пропустили вперед самого старшего, Айгази. Когда он вошли, бабушка поднялась им навстречу со словами:

— Заходите, заходите! Дай аллах, чтобы вас сюда привела добрая весть.

— Видишь, сестра, мы вошли, но некому сказать нам асаламалейкум, — погладил свою бороду Айгази.

— А все проклятая война. Как косою, скосила мужчин, — заплакала бабушка.

— На то и война, сестра. Скажи спасибо, что наши мужчины достойно воевали и отстаивали родину... Сила человека не в том, чтобы оплакивать погибших, а в том, чтобы жить и продолжать свой род, — сказал Айгази.

— Твоя правда, брат Айгази. Какое бы горе человек ни испытал, все равно приходится жить, — вздохнула бабушка.

— Потому и решили мы придти к вам. Вместо погибших сыновей должны придти новые. Пусть молодые вдовы, пока еще могут родят детей, — многозначительно сообщил Айгази.

— Назло врагам, — подтвердили остальные старики.

Бабушка раскрыла рот от удивления и молча оглядела каждого, будто спрашивала: «Уж не помutilись ли вы умом? Как же их родить, если нет мужчин?»

— Ты понимаешь, о чем я говорю? — понизил голос Айгази и наклонился к бабушке.

— Нет, брат мой по религии, — испуганно ответила бабушка.

— Твоя дочь Сарыжат еще молода и красива, — вкрадчиво начал Айгази. — Она еще способна родить десяток сыновей, которые станут гордостью Дагестана.

— Да, да, — закивала головой бабушка, — что делать, убили ее сокола.

— Когда с неба падает один сокол с разбитыми крыльями, другой поднимается на его место, — отпарировал Айгази. — И вот мы, совет старейшин аула, решили выдать замуж наших женщин, и в том числе Сарыжат.

— Замуж? С сиротами? — удивилась бабушка.

— Сиротам тоже нужен отец, а дому хозяин. А самое главное, Дагестану нужны сыновья, защитники родины. Если бы не они, враг давно бы растоптал нашу землю.

— Да, сыновья нужны, — подумав, согласилась бабушка.

— Так вот мы и решили, что Сарыжат выйдет замуж за Чарана.

— Вай, он же брат Магомеда! — воскликнула совсем сбитая с толку бабушка.

— Тем более, детей больше будет жалеть, — заявил Айгази.

— Но ведь у него семья...

— Так что же, по шариату каждый мужчина может иметь семь жен.

— Где уж ему, бедному, он же почти слепой, — всхлипнула бабушка.

— Если бы он не ослеп, ему бы место было на войне, — отпарировал Айгази. И все старики согласно закивали белыми бородами.

Тут я не выдержала. Только теперь до меня дошел смысл сказанного.

Пулей влетела я в комнату. И не успела бабушка опомниться, как я подскочила к старику и закричала:

— Моя мать никогда не выйдет замуж. Уходите из нашего дома!

— Ах ты, языкастая, кто тебя спрашивает! Нитка вперед иголки не лезет.— Бабушка вытолкала меня в другую комнату и захлопнула дверь.

А через несколько дней, когда вся семья собралась у очага и я уже начала забывать о случившемся, на пороге появился Чаран.

Собственно, ничего удивительного в этом не было. Он заходил к нам и раньше — то починить крышу, то забить дырки в хлеве, а то и просто проведать племянников. Но сегодня... Я сразу все вспомнила. Кровь прилила к лицу. Мать, побледнев, положила крышку на кастрюлю и в сердцах крикнула мне:

— Ну, что сидишь! Дядя твой пришел, подай ему стул.

...Словно по раскаленным углям бежала я из дома. «Не вернусь, никогда больше не вернусь»,— колотилось в голове. А через несколько дней, ободранная, с волдырями на ногах, я сидела в отделении милиции города Буйнакса и зверьком косилась на женщину-милиционера. Я сидела на высоком табурете, валясь бокком к теплой печке, и тонкие золотые нити тянулись от лампочки к моим глазам. Глаза закрывались, и тогда обрывались нити, зато в темном в теплом пространстве появились оранжевые круги.

— Вот и вырасти детей без отца! Поседела я за эти пять дней! — услышала я знакомый голос. И такая горечь, такое отчаяние было в нем, что сердце у меня сжалось.

— Мама! — закричала я и уткнулась лицом ей в подол. Я плакала сильно и долго, а когда, всхлиывая, затихла и подняла голову, то удивилась: неужели эта худая, почерневшая лицом женщина — моя мать?

Пока ехали в кузове попутной машины, я все спала, уткнувшись в материнские колени. И дома спала. И даже не помнила, как меня привезли домой, и раздели, и положили в теплую постель. Сквозь сон я услышала, как мать говорила бабушке:

— Не нужны мне советы ваших стариков. Какой уж там муж! Лишь бы детей вырастить.

И голос бабушки отвечал виновато:

— Это же не ради нас. Родине нужны сыновья...

...И на другой день мне не удалось уехать. Утром тетя сообщила, что меня хочет видеть учитель Омар. Я давно его знала, знала и его жену, агронома Зулейху, и сестру жены, которая работала в Махачкале, в поликлинике, невропатологом.

По его решительному лицу я сразу поняла, что пришел он не просто так.

— Фазу,— начал он,— вот ты писательница...

Я молчала, ожидая.

— Наверное, тебе люди доверяют самые сокровенные тайны...

Я неопределенно пожала плечами.

— А как ты с этими тайнами?..

— Раз доверяют, значит, я должна оправдать это доверие,— строго, как на собрании, сказала я, недовольная тем, что разговор, очевидно, будет не коротким. Омар явно волновался и все поглядывал на тетю Умужат. Я поняла и пригласила его в другую комнату.

— Так вот,— облегченно вздохнул Омар, когда мы остались одни,— я хочу открыть тебе тайну.— Он понизил голос и покосился на дверь. Я плотнее прикрыла ее.

— Я хочу, чтобы ты написала об одной женщине, не называя ее имени,— прошептал он, склоняясь ко мне.— Ты ведь знаешь нашу Зулейхат, младшую сестру моей жены?

— А как же!

— Так вот, она вовсе не сестра Зулехи. Она наша дочь.

Я обомлела. Новость эта, как обвал в горах, обрушилась мне на голову.

Мачеха

Целый день Маржанат работала в поле. Разворотив скирды, подхватывала вилами чуть промокшее сено и единым взмахом забрасывала на арбу. Когда арба утопала в сене так, что и колес-то почти не было видно, Маржанат, взгромоздившись наверх, отвозила сено на гумно. Назад возвращались налегке, лошадь бежала рысью, и порожняя арба легко подскакивала на ухабах, а Маржанат крепко ударялась о жесткие доски. И снова нагружала арбу доверху...

Но день, спозаранку начавшийся, и кончался рано: осенью темнеет быстро, особенно в горах. Дома Маржанат сразу же легла.

Есть люди, которые любят осень. Для них чем тоскливее на дворе, тем уютнее дома и теплее на сердце. Беснуется ветер, цвяряя в окно мокрые листья, слезливые капли текут по стеклу: только одна проложит дорожку, скатится, за ней набегит другая, третья. А в доме сухо и тепло, потрескивает валежник в очаге, топорщатся возле него еще не брошенные в огонь ветки, ровный яркий отсвет пламени лежит на них. И кажется, тьма сомкнулась вокруг твоего дома, твоего мира...

Да, некоторые люди любят осень. Но только не Маржанат. Ее угнетала размытая дождями дорога, когда глина так цепко обхватит ногу, что еле вытянешь, да еще галошу оставишь, а потом ищи, шарь глазами в темноте. Ее угнетали волглые осенние туманы. От них ее всегда знобило. Но больше всего не любила Маржанат сумерек. Даже летом они нагоняли на нее печаль. А ведь осенний день — сплошные сумерки. А еще Маржанат боялась темноты, но никому не признавалась в этом. Уже с полдня она со страхом думала о том, что скоро надвинется ночь, закроет все своим черным покрывалом, и никуда от нее не денешься, как от смерти.

Этот страх появился с того дня, как Маржанат, похоронив мать, осталась одна в глухом доме. Было тогда Маржанат пятнадцать лет. Отца своего она и не помнила. Колхозный чабан, он погиб в горах, спасая отару от голодной волчьей стаи.

Лишившись еще и матери, Маржанат замкнулась в себе, хотя и боялась одиночества. Днем среди людей она работала не покладая рук, и этим теплом согревала свои холодные мысли. А ночью... Ночью она лежала, цепеня от страха, и ей казалось, что половицы скрипят от шагов матери. Казалось, мать до сих пор жила в доме, и когда Маржанат брала утром крынку молока, ее глиняные округлые бока словно были теплыми от материнских рук.

В горах что ни аул, то свои обычаи, свои поверья. Так и в ауле, где выросла Маржанат. Были в нем и свои легенды, и свои традиции, и свои уважаемые люди, которые поддерживали эти традиции. Например, праздник первой борозды. Провести эту борозду доверяли самому уважаемому человеку. В ауле были уверены, что если первое зерно бросит в землю хороший человек, то с его легкой руки и урожай будет добрым: быстрее набухнет в земле зерно, в срок высунутся зеленые язычки побегов, и солнце щедрее вытянет их, наливая колосья молочными зернами. А не дай бог, если начнет пахоту человек с дурным глазом: тут жди и засухи, и града, и всяких бед.

Так же начинали и косить. Взмах косой для первого снопа поручали самой ловкой, самой сноровистой женщине. А то попадетя какая-ни-

будь нескладеха, и все лето насмарку — и трава пожухнет да погорит, и скирды убрать не успеют, и ранние дожди сгноят сено.

Нет, от того, какой человек, какая рука начнет доброе дело, очень многое зависит. Так считали в ауле.

Одна женщина славится умением косить, а другая, к примеру, кашеварить... Одна снопы вязать, а другая ткать ковры... В каждом ауле свои мастерицы, свои умелицы.

Род Айзанат, матери Маржанат, издавна славился мастерством печь хлеб. Кажется, что особенного? Ну, замесил тесто, налил дрожжи, поднимется тесто, побежит из миски, облепит ее, вот тогда и пеки, суй каравай в жаровню да смотри, чтобы не подгорел. Подумаешь дело какое! В каждом доме женщины пекут хлеб.

Однако хлеб, испеченный Айзанат, нельзя было сравнить ни с каким другим хлебом. И пышный он был, и мягкий, как вата, и корочка нежная, румяная. А еще считалось в ауле, что у того человека, кто взял в дорогу хлеб, испеченный женщинами из рода Айзанат, дорога будет счастливой.

Маржанат с детства знала это и гордилась тем, что так часто приходят к ее матери и просят поставить тесто и выпечь хлеб. То и дело она слышала, как соседки обращались к матери: «Айзанат, ради аллаха, приди поставь тесто. Муж собирается в город». Или: «Айзанат, не откажи, приди поставь тесто. Отец едет нынче в район. А что там по хозяйству у тебя, так мы поможем...» Мать Маржанат, худая, молчаливая женщина с проворными руками, сразу же вставала и шла с каждым, кто бы ни пришел за ней. Часто она брала с собой и маленькую Маржанат, единственную дочь.

Айзанат уже по многу раз бывала в каждом доме и потому чувствовала себя везде хозяйкой. Сама наливала из кувшина в кружку воду, тщательно, словно хирург перед операцией, мыла руки и, не вытирая их полотенцем, высушивала у огня или же помахивала руками в воздухе. Кончив эти приготовления, она тихо спрашивала: «На сколько дней едет? Дай аллах, чтобы счастливым был его путь». В зависимости от того, на сколько дней уезжал путник и как длинна была его дорога, она выбирала горто¹ и наклонялась над сундуком с мукой. Маржанат затаив дыхание смотрела, как туда, в темноту сундука, уходили руки матери, как низко над сундуком опускалась ее голова, повязанная белым платком, как шевелились губы.

Мать захлопывала крышку сундука, и белая пыльца, взлетев, опускалась вокруг, и все было чуть припорошено ею, словно мелким, рассыпчатым снежком. И мать казалась Маржанат другой, строгой и словно постаревшей со своими побеленными бровями и ресницами...

Тесто мать месила долго и терпеливо, налегая на руки всем телом. Казалось, всю душу вкладывала в этот белый комочек, который становился все туже, все глаже, все круглее.

Большую глиняную миску мазала горячим маслом и клала в нее тесто. Наполнив миску доверху, втискивала руку в тесто до самого плеча. Но на этом не кончалось. Ночью Айзанат вставала и шла к соседям проверять, как поднялось тесто...

Давно нет в живых робкой и молчаливой Айзанат. Ее скромный надмогильный камень порос плющом и мягким сине-зеленым мхом. А хлеб для всего аула печет теперь ее дочь Маржанат. Она так же, как и мать, спешит угодить всем, кто собирается в дорогу. Ничего не забыла Маржанат, все ухватила ее цепкая детская память: и вымытые руки обсушит у огня, и просеет муку через сито...

Правда, теперь хлеба в дорогу берут меньше. Да это и понятно. Раньше и до ближайшего города Темир-Хан-Шуры добирались трое суток

¹ Горто — деревянный предмет для замеса теста.

пешком, волоча на спине полные хурджины хлеба и кулюка. А теперь проложили дорогу, пустили автобус. Маржанат с одинаковой прилежностью печет и для тех, кто готовится к пышной свадьбе, и для тех, у кого поминки. Она точь-в-точь повторяет весь торжественный ритуал матери, и тесто у нее поднимается, словно парина под солнечными лучами. И хотя ни разу не было осечки в ее работе, Маржанат каждый раз переживает. Она не вспоминала бы и дня, чтобы руки ее не были вымазаны до локтя тестом, а брови не припорошены белой мукой.

А еще Маржанат унаследовала от матери молчаливость. Она и в детстве не слыла болтушкой, а после смерти матери и вовсе замкнулась. Она не любила ходить к людям просто так, без дела, даже к близким родственникам или к соседям. Но если кто-то переступал порог ее осиротевшего, словно потемневшего от тоски дома, вся расцветала от радости. Обычно нешумная, она начинала суетиться, не зная, куда усадить гостью, чем угостить. А сама все стояла и, сцепив руки, смотрела так, словно хотела спросить: «Ну, вам хорошо у меня? Что еще я могу сделать для вас?» Сама же Маржанат шла к людям только тогда, когда ее звали замесить тесто. Она так охотно откликалась на каждую просьбу, словно это не она кому-то, а ей делают услугу. Даже ворота не закрывала на ночь: а вдруг придут и позовут ее. То ли скучно ей было без этого дела, то ли тепло становилось на сердце оттого, что вспоминалось детство и мать, то ли видела она в этом свой долг, как бы завещанный матерью, то ли уж у них в роду была такая готовность служить людям, только Маржанат и жизни своей не представляла без этого дела.

Но у каждого человека бывает порой такое настроение, когда даже к любимой работе не лежит душа. Так было сегодня с Маржанат. То ли осень с ее докучливым дождем была тому виной, то ли еще что, только Маржанат чувствовала, как все ее тело сковала усталость. Она рано легла. А засыпая, услышала, что кто-то зовет ее тихо, но настойчиво. Пожалуй, впервые за всю жизнь Маржанат с досадой подумала о своем ремесле. Но делать нечего. Она нехотя встала, надела широкое вельветовое платье и, натягивая на голову шаль, подбежала к окну. На крыльце стояла Хатимат. Дом ее был далеко, на самом краю аула, и Маржанат удивилась, видно, что-то важное привело ее сюда в такую непогоду.

— Доченька, извини меня, я не знала, что ты так рано ложишься,— проговорила Хатимат, переступая порог.— Алисултан собирается ехать в район, все о моей пенсии хлопочет... вот и пришла просить себя испечь ему хлеб. Может, на этот раз повезет нам. А то все какие-то справки требуют,

— Я сейчас,— ответила Маржанат. Сон уже прошел. Она стала проворно собираться. Впервые она видела Хатимат в своем доме и потому была удивлена: «Зачем она пришла за мной? Даже к матери моей она никогда не обращалась с такой просьбой». Словно угадав ее мысли, Хатимат сказала:

— Если бы моя невестка была жива, не пришлось бы мне беспокоить тебя. Она сама всегда пекла моему сыну хлеб на дорогу. Как она любила Алисултана! Умерла наша куропаточка. Дочку оставила сиротой,— причитала Хатимат, пока они шли, обходя лужи, к ее дому.

Молчаливая Маржанат ничего не отвечала ей. Она вспоминала. Вот Алисултан танцует на своей свадьбе. Танцует во дворе на соломе, которая брошена под ноги, чтобы не поднималась пыль. Когда объявили танец, Алисултан прыгнул со второго этажа, и пока невеста робко и смущенно спускалась с лестницы, он уже сделал круг по двору, да на пальцах, да так, что маленькая Маржанат обмерла. Какой-то старик рядом с ней, выдернув из своей шубы клок шерсти, трижды поплевал на него и бросил под ноги танцующего, чтобы его не сглазили. С тех пор Маржанат побывала не на одной свадьбе, но каждый раз, глядя, как танцует жених, она сравнивала его с Алисултаном, и тот выходил победителем.

Словно покрытое пеленой серого осеннего тумана, прошло перед ней и другое воспоминание. Вот она, согнувшись, полет колхозную картошку. Кажется, что солнце висит у нее на затылке, а в глазах рябит от зноя. И вдруг ушей ее коснулся крик: «Женщины, Меседу умерла!» Все побросали кирки и побежали к аулу. У дома Алисултана уже собралась толпа. Маржанат слышала, как голосила мать умершей, как вторили ей другие женщины. Но сама она молчала. И в дом не вошла: в их ауле не принято, чтобы незамужние девушки ходили оплакивать умерших. Маржанат так и не видела мертвую Меседу. Но зато она пекла хлеб на ее поминки.

Между тем Хатимат всю дорогу не умолкая говорила об Алисултане, как ему не повезло с женой, не в том смысле, что жена была плохая, этого она, Хатимат, никогда не позволит себе сказать про покойницу, а в том, что рано умерла, оставив сиротой дочку, которую Алисултан любит без памяти...

А Маржанат все молчала. Она испытывала большую неловкость, чувствовала: надо обязательно сказать что-то утешительное, вроде: «Тетя Хатимат, ваш сын такой молодой и такой, такой... красавец...» Но пока она подбирала слова, они уже дошли до дому, и Хатимат, в последний раз вздохнув, распахнула ворота.

Как только перед ней очутились мука и сито, Маржанат так углубилась в свое дело, что обо всем забыла. Высокая, с суровым, смуглым лицом, с широкими выдающимися скулами, она казалась старше своих лет. Сжатые губы и сосредоточенные черные глаза. Трудно было представить улыбку на этом лице, в котором было что-то затаенное, глубоко печальное, даже трагичное. Так, путник напрасно стал бы искать просвета в темном тяжелом небе в непогожий день. Она и ходила всегда с опущенной головой, сосредоточенно глядя вниз, словно что-то потеряла или прислушивалась к шепоту земли. Не поднимая головы, она тихим ровным голосом здоровалась со всеми. И в ауле шутили, что Маржанат здороваается с человеком каждый раз, даже если встретит его десять раз на дню. Когда же Маржанат была погружена в работу, она и вообще ничего не замечала вокруг. А между тем она впервые была в этом доме, в этой комнате... А из угла комнаты смотрел Алисултан и молча следил за каждым движением ее рук.

Маржанат и не подозревала, что не только ради хлеба пригласили ее сюда, что мысль эта пришла в голову даже не Хатимат, а самому Алисултану. И не когда-нибудь, а третьего дня. А случилось это вот как. Алисултан ехал со старшим чабаном в район за товарами для колхоза. Усталые, поднялись они к волчьим воротам и, отпустив коней на луг, сделали привал. Чабан вытащил из хурджинов хлеб и закуску. Алисултан тоже развязал свои хурджины и тоже вытащил хлеб и закуску. Но у чабана хлеб был пышный, ароматный, с нежной розовой корочкой. Алисултан же положил рядом хлеб с обгорелой коркой, приплюснутый, как конская лепешка. Алисултану стыдно стало за свой хлеб, и он сказал:

— Хлеб-то у меня неважный. Мать старая, после смерти невестки совсем сдала.

— О, друг, старость тут ни при чем! — радостно воскликнул чабан, аппетитно разламывая хлеб и засовывая в рот большущий кусок. Тут дело в умении.— И он протянул вторую половину Алисултану.— Спасибо покойной Айзанат. Каждый раз она пекла мне хлеб в дорогу. А теперь дочка превзошла мать. Такой хлеб, а сама-то, сама.— И он причмокнул губами и поцеловал кончик своего пальца.

Тогда Алисултан ни о чем не подумал, да вроде и забыл об этом разговоре. Но, собираясь в дорогу и приняв из рук матери белую тряпицу с низким, плохо пропеченным хлебом, он вдруг сразу все вспомнил: и разговор у волчьих ворот, и пышный душистый хлеб. Вспомнил и отправил мать за девушкой.

Маржанат, ничего не подозревая, укладывала тесто в миску, сма-

занную горячим маслом. Она несколько не удивилась и даже не подняла головы, когда услышала привычное для нее:

— Так вот почему хлеб такой вкусный.

— Еще рано судить о хлебе. Ведь об урожае судят не по колосьям, а по тому, сколько зерна сложено в ларь,— отвечала Маржанат, даже не глянув в его сторону.

Алисултан остался недоволен ее ответом. Его уязвило и то, что девушка даже глаз на него не подняла. Красивый и статный, лучший плясун аула, избалованный вниманием девушек, Алисултан был рассержен: «Подумаешь, и головы не повернула... А может, потому что я уже вдовец»,— мелькнула беспокойная мысль. И на мгновение на месте Маржанат он увидел покойную жену Меседу: ее смеющийся рот, лужавые сощуренные глаза, ласковый, живой голос. Сколько веселья внесла она в этот дом, как пела, тормозила дочку, подшучивала над ним... Чуть больше года прошло с тех пор, как ее не стало. Он думал, что если хватит сил выжить, не женится больше никогда. Пока по дому поможет мать, а там и дочь ее сменил.

Маржанат аккуратно, словно ювелир золото, собрала прилипшие между пальцами крупинки теста, сложила их и положила в миску.

— Пусть не трогают,— сказала она строго,— пока я сама не приду к утру.— Она отряхнула от муки подол платья и пошла к дверям, высокая, отчужденная, сухая.

— Мы тебя не гоним,— сказал Алисултан обиженно.— Посиди хоть, сейчас мать придет. Внучку уложит и придет. Знаешь, как трудно малышке без матери,— неожиданно вырвалось у него. Он совсем не хотел делиться горем с этой девушкой. Но Маржанат откликнулась. Мягко и задумчиво прозвучал ее голос, когда она сказала:

— Да, не дай бог без матери. Я это на себе испытала. Сердце всегда словно дерево, побитое градом.

И снова Алисултану захотелось, чтобы она осталась.

— Оставайся, Маржанат, куда же ты на ночь глядя...

Но девушка, видно, подумала, что он беспокоится из-за теста.

— Не волнуйся, я приду вовремя,— сказала она. И уже с порога взглянула на Алисултана.

В комнате было полутемно. И в бледном свете лампы она увидела его глаза, устремленные на нее. Они звали, притягивали, просили о помощи. В сердце Маржанат что-то шевельнулось, и, как бы испугавшись этого, она резко толкнула дверь и выскочила.

Алисултан тяжело опустился на скамейку. Снова усталость и пустота. Тот огонек, который только что ярко и неожиданно вспыхнул в нем, погас. «Глыба какая-то, а не женщина»,— подумал он устало. И снова перед глазами всплыло лицо Меседу. Оно как бы возникло из этого воздуха, воздуха ночи, и тут же растаяло. «Видно, ушло то время»,— подумал Алисултан и прошел в комнату дочери. Она уже уснула и лежала, разметавшись, румяная от сна. «Как она похожа на мать»,— подумал он с отрадной горечью.— Нет, никто не может заменить Меседу. Она лучше всех девушек села». Подтолкнув дочку к стенке, он лег рядом и, неуклюже и нежно обняв ее, уснул.

А Маржанат, выбежав за ворота, ощупью пробиралась к своему дому. Ни луны, ни звезд не было. Плотная густая тьма обступала ее. Но странно, сегодня она не боялась этой тьмы.

Ночью Алисултан проснулся от какого-то шороха. В горах так тихо, что каждый звук кажется отчетливым и громким, а с тех пор, как умерла Меседу, сон Алисултана стал некрепок. О Маржанат он уже забыл. Увидев на крыльце свет, он быстро оделся и подошел к окну. Яркое пламя полыхало в открытой летней печи. Отсветом огня было озарено крыльцо и дверь. И в этом неровном, колыхающем свете он увидел Маржанат. Она переделалась. Теперь на ней было голубое в белый го-

рошек платье с закатанными выше локтя рукавами. Шальные языки пламени выглядывали из печи и освещали ее румяное горячее лицо. Она потянула к себе миску, полную вздутого, лопающегося пузырьками теста, и, поставив ее на землю у ног, стала мыть руки. Одной рукой поливала из кувшина другую. Потом, высушив руки у огня, смазала их маслом. «Это, наверное, чтобы тесто не прилипало», сообразил Алисултан.

Потом она взяла хванга¹, посыпала его тонким слоем муки и положила на колени. Захватив большой волнистый кусок тягучего теста, перебрасывала его из одной руки в другую, пока он не стал тугим и круглым. Алисултан видел ее руки, тонкие, с проворными пальцами, и всю ее согнутую фигуру, выхваченную из темноты отсветом огня. И все, что она делала этой ночью, одна посреди темного двора, было похоже на заклинание, на колдовство. Пышный круг ложится на хванга. Медленное вращение руки, взмах вилки... Приблизив лицо и руки к огню, она бросила круг теста в духовку...

Казалось, что эта девушка, стиснутая темнотой, не просто печет хлеб во дворе, а делает что-то исключительно важное — может быть, создает новые планеты...

Алисултан, зачарованный, стоял у окна. Впервые он увидел, как пекет хлеб, и с удивлением понял, как это красиво.

Когда на рассвете Маржанат вынула из духовки последний хлеб и, перебрасывая его из руки в руку, остудила, а потом, ударяя по нему пальцами, как в бубен, проверила, не сырой ли он, Алисултан сделал было шаг, чтобы выйти из своего укрытия. Но что-то удержало его. Может быть, он боялся спугнуть Маржанат. Может быть, стыдился признаться, что всю ночь подсматривал за ней. А возможно, понимал, что второй такой ночи не будет...

Утром Маржанат сложила хлебные лепешки в ту миску, где замешивала тесто, накрыла белым платочком и завернула в овчинный полушубок.

Вот тогда-то и вышел из комнаты Алисултан. — Ворчами, Маржанат. Я, видимо, проспал. Вижу, хлеб уже готов. Значит, пора в дорогу. Недалеко говорят, заря в пути золотом одаряет.

— После дождей, наверное, и дороги плохие, — сказала Маржанат робко и добавила, вздохнув: — Обязательно ехать сегодня?

— Раз хлеб готов, значит, обязательно, — бодро ответил Алисултан.

— Счастливого пути тебе, Алисултан. У нас говорят, дорога для мужчины, что закала для стали. В каком бы далеком краю ни пришлось тебе сойти с коня, помни ту землю, в которой ты поднялся в седло, помни руки, положившие тебе в хурджины хлеб, руки, подавшие тебе кувшин воды, руки, оседлавшие твоего коня. — Маржанат замолкла, смущенная. Наверное, никогда в жизни не произносила она столько слов за один раз.

— И руки, которые испекли мне хлеб, — закончил Алисултан, улыбаясь. — Я их никогда не забуду.

Он сказал это совсем тихо и, наклонившись к ней, хотел взять ее за руку. Но Маржанат, вспыхнув, убежала.

Прошел день, и второй, и третий. Но из-за горы, куда ушли кони Алисултана, не показывались их темные, волнистые гривы. Смутное беспокойство овладело Маржанат. Все, чем она любила заниматься прежде, теперь казалось ей скучным и не важным.

Но как ни следила Маржанат за горами, как ни всматривалась вдаль, все же она пропустила тот момент, когда вернулся Алисултан. А вернулся он на шестой день и, войдя в дом, сразу понял, что здесь не хватает Маржанат. Недолго думая он повернулся и отправился к ее дому.

¹ Хванга — дощечка, на которой делают хлеб.

Когда он с шумом распахнул дверь, Маржанат показалось, что в дом влетела молния. Руки ее были в глине — она замазывала пол.

— Я и не забыл, Маржанат, тех рук, которые испекли мне хлеб, — сказал Алисултан. — Хочу, чтобы ты каждый день пекла мне хлеб... И не только в дорогу.

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как Маржанат вошла хозяйкой в дом Алисултана. Она любила своего мужа беззаветно, молчаливо. Но что значат слова, если каждый взгляд, когда она украдкой следила за тем, как он насаживает топор на топорище или, скинув с плеч, вешает на гвоздь бурку, если каждое движение, когда она протягивала ему крынку с молоком или ломоть хлеба, красноречиво признавались ему в вечной любви.

Через год у них родился сын Юсуп, и Маржанат совсем замкнулась в своем счастье, как прежде в своем одиночестве.

Но, как говорится, и на солнце есть пятна, в каждом счастье скрыта и своя заноза. Радость Маржанат омрачала ее падчерица Зулейхат. Придя в дом Алисултана с открытым сердцем, Маржанат готова была полюбить девочку, заменить ей мать. Но Зулейхат не хотела принять ее любви. И Маржанат все время чувствовала холодок отчуждения и неприязни, который исходил от падчерицы. Нет, она не грубила мачехе, она ее просто не замечала, словно та была шкафом или табуретом. А иногда, обернувшись, Маржанат ловила на себе такой колючий взгляд, что ей становилось неуютно и холодно в этом доме, где она так хотела, так старалась быть счастливой. Когда же Зулейхат позволяла себе улыбнуться мачехе, то улыбка у нее походила на лезвие кинжала, сверкнувшего на солнце.

Много раз пыталась Маржанат подойти к ней с ласковым словом. Она никогда не жаловалась мужу, а сам он ничего не замечал. Его-то любили все в этом доме, и он по-своему любил всех. Со временем Маржанат уже начала привыкать к холодному молчанию падчерицы, как однажды... Случилось это уже после смерти Хатимат, когда падчерица зачастила к своей второй бабушке.

Как-то возвращаясь с родника и проходя мимо двора матери покойной Меседу, Маржанат услышала: «Бедняжка моя Зулейхат, разве бы ты так росла, если бы твоя мать была жива. Мачеха и есть мачеха. Какая бы ни была, а чужая. Что делать, внученька, значит, судьба твоя такая...»

Маржанат остолбенела. Так вот как говорит о ней мать покойной Меседу. Вот кто настраивает против нее Зулейхат! Вот кто мутит ее источник, кто отравляет ее счастье! Теперь она поняла, почему Зулейхат, возвращаясь от бабушки, становится еще более замкнутой и озлобленной. Сначала Маржанат рванулась, чтобы зайти во двор. Но что говорить со старухой? Видно, умом помутилась. А то зачем бы ей растревлять рану внучки? Хоть ее бы пожалела. Так и ушла Маржанат ни с чем, а дома и виду не подала, что слышала этот разговор, но сидел он в ее сердце, как заноза.

Подрастал Юсуп. Много новых забот появилось у Маржанат, так что порой она забывала о своем любимом ремесле и хлеб теперь пекла только по праздникам или когда муж собирался в дорогу. Односельчанам она теперь частенько отказывала, да они и не обижались на нее: понимали, что у самой забот по горло.

Но однажды пришел такой день, когда Маржанат с раннего утра и до поздней ночи не отходила от жаровни. Со всего аула женщины несли ей миски с тестом, завернутые в белые тряпицы. И она пекла, пекла, пекла хлеб, высокий, как горы, румяный, как утренняя заря. Никогда еще ей не приходилось печь столько хлеба сразу, и никогда не делала она этого

с такой печалью в сердце. Она пекла хлеб в дорогу тем, кто уходил на фронт.

Яркая вечерняя звезда горела над аулом, когда Маржанат отошла от еще не остывшей жаровни и, прижимая к груди большой херч, полный хлеба, пошла к дому. Она думала о завтрашнем дне. Как она останется без Алисултана! За пятнадцать лет они ни разу не расставались, если не считать его отлучек в район на три-четыре дня. И то в эти дни она бродила по дому как потерянная. А теперь... Когда он вернется?.. Она уже подошла к своим воротам, как вдруг из-за тутового дерева услышала девичий шепот. «Т-с-с, кажется, кто-то идет?» — проговорил тревожный голос. Он показался Маржанат знакомым, и она насторожилась. «Ну и пусть, зачем нам прятаться от людей. Хочешь, сейчас выйду и крикну на весь аул: «Я люблю тебя», — проговорил возбужденный и решительный мужской голос. И, уже тише, вкрадчиво продолжал: «Может, я не вернусь с фронта. Зулейхат, давай я сегодня пойду к твоему отцу и скажу, что ты моя жена. Ну разреши». «Нет, нет, что ты, — испуганно перебил женский. — Когда вернешься, тогда. А сейчас она просто опозорит меня, ославит на весь аул. Ты не знаешь моей мачехи...» «Мачехи... опозорит... ославит на весь аул...» — Маржанат прислонилась спиной к воротам, земля уходила из-под ее ног.

О как бы она хотела ошибиться! Но сомнений не было: под тутовым деревом стояли ее падчерица и учитель Омар, которого Маржанат очень уважала. Уже три года у него учился Юсуп. Сначала ему трудно давалась математика и Омар дополнительно занимался с ним в школе после уроков и даже приходил к ним домой.

Когда же это Омар и Зулейхат приглянулись друг другу? Разве они когда-нибудь перебросились хоть словом в их доме? Маржанат не помнит такого. Да падчерица как будто и не заходила в ту комнату, где учитель занимался с Юсупом. Хотя нет, кажется, что-то было, ну да, совсем маленький случай, даже не случай, а так, пустяк. На него и внимания нельзя обращать. Маржанат вспомнила, как однажды Омар попросил попить. Она сказала Зулейхат: «Принеси воды учителю». Зулейхат, уперев кувшин в колено, налила воды в эмалированную кружку. Маржанат запомнила все эти мелочи, потому что следила за падчерицей, исполнит ли она ее просьбу или сделает вид, что не слышит. Когда она поднесла Омару кружку, рука ее вздрогнула и немного воды пролилось на пол. Зулейхат с досады сильно закусил нижнюю губу. Вот и все. Больше Маржанат ничего не могла вспомнить.

«Ну что ж, — подумала она, — Омар уважаемый человек. Пусть они будут счастливы». Поднимаясь по лестнице к себе домой, Маржанат думала только об одном. Но ржание коня вывело ее из задумчивости. Алисултан вел коня. Он наискосок пересекал двор, и маленькая звезда в небе двигалась следом за ним. Каменные стены забора, выкрашенные известкой, смутно белели, окружая черный квадрат двора. Снова заржал конь, дернулся на поводу. И было в этом что-то древнее, уходившее в глубь веков: мужчина с конем и женщина в стороне. Алисултан увидел жену и, вскинув голову, широко, ободряюще улыбнулся ей. Таким он и запомнился Маржанат: косая сажень плеч, темные скулы, широкая, словно обнимающая ее улыбка.

На другой день были проводы: и прощание, и причитания женщин, когда казалось, что весь аул голосит как один человек. Но все это уже было, как во сне...

Проводив мужчин на фронт, аул затих, как пасека зимой. Не слышно стало веселых вечерних песен да задорных плясок, от которых дрожала земля. А свадьбы стали только воспоминанием. За первые годы войны в ауле не сыграли ни одной свадьбы. Теперь самым главным, самым нужным человеком стал почтальон. К ней бежали, побросав кирпичи и

ведра, если на поле или у источника мелькала ее пестрая косынка. Жили в ауле от письма до письма: оно заряжало бодростью на целый месяц.

Теперь вместо громкого веселого голоса бригадира Рашида каждое утро то у одного, то у другого дома слышно было, как Маржанат скликала женщин: «Эй, Патимат, слышишь что ли, молотить выходи!» «Айшат, зерно сортировать!» «Салихат, вставай, пора солому в скирды складывать!»

И только одного человека ей никогда не приходилось будить. Это была падчерица. В какую бы рань она ни поднялась, постель Зулейхат уже была пуста. Когда бы ни пришла на гумно, девушка уже была там. «Ты что, так и ночевала здесь?» — пошутила как-то Маржанат. Но падчерица не приняла ее шутки. С тех пор, как отец ушел на фронт, она еще больше помрачнела, и Маржанат с тоской думала, что она и в поле уходит в такую рань, чтобы не разговаривать с ней и не садиться за стол вместе. Первое время Маржанат пыталась разбить этот лед: ведь теперь их осталось только двое, не считая маленького Юсупа, который еще ничего не понимал. Казалось, общее горе должно сблизить их. Но нет, шутка, ласковое слово Маржанат — все отскакивало от девушки, как кирка, ударившаяся о вековую скалу. И все-таки, когда Маржанат случайно заставала падчерицу одну в темной комнате и видела, как она, не зажигая лампы, отрешенно смотрит в черноту окна, сердце мачехи обливалось кровью: «Как убивается об Омаре, — думала она. — Бедняжка, и поделиться не с кем. Потому и работает за троих, хочет забыться».

В один обычный день, под вечер, женщины, наполнив мешки чистым пшеничным зерном, ждали Салихат с арбой, чтобы свезти мешки на склад. А Салихат что-то не было. В этот короткий миг передышки кто растянулся прямо на сухой земле, кто присел на мешок с пшеном. И вдруг Зулейхат взвалила мешок на спину.

— Зулейхат, — крикнул кто-то из женщин. — Ты что, с ума сошла? Там же не меньше семидесяти килограмм.

— Ничего, отнесу, — как всегда хмуро отозвалась Зулейхат.

— Нет, не отнесешь, — сурово отрезала Маржанат и сняла мешок с ее спины.

— Женщины, Салихат едет! — Все повскакивали со своих мест и бросились к подъезжающей арбе. Пока грузили мешки, Маржанат украдкой наблюдала за падчерицей: губы ее посерели, с висков стекали капли пота. Казалось, она еле держится на ногах. Между тем арба подъехала к складу, и женщины стали выгружать мешки. Зулейхат тоже потянула на себя мешок и вдруг упала. Не успела Маржанат подбежать к ней, как у нее началась рвота.

— Отравилась, отравилась! — закричала Маржанат и, схватив комок холодной земли, стала обтирать им бледный лоб девушки, — говорила же я тебе утром — не ешь тот залежалый творог.

— Несите ее домой, надо отпоить кислым молоком, — посоветовала Айшан.

— Ой, женщины, я тоже в прошлую осень отравилась творогом. Только и спасло кислое молоко, — добавил кто-то.

Зулейхат приподнялась на локте, обвела всех затуманенными глазами. Взгляд ее остановился на Маржанат, которая поддерживала ее за спину. Она смотрела на мачеху так, словно видела ее впервые, и что-то теплое, человеческое проступало в ее помутившихся глазах.

Освободили от мешков арбу, и на этой арбе Маржанат повезла падчерицу домой. И пока арба, поскрипывая колесами, ехала по кривым улочкам аула, Маржанат вспоминала все, чему она недавно не придавала значения. Теперь она поняла, почему падчерица была такой раздражительной в последние месяцы, отчего отказывалась от еды, зачем нарочно поднимала тяжести, делая упор на живот. «Бедная моя, — думала

Маржанат,— как настрадалась. Хорошо еще я сообразила крикнуть: отравилась! Кажется, слава богу, никто, кроме меня, не догадался. Все поверили, что отравилась».

Весть об отравлении Зулейхат быстро облетела аул. Женщины навещали Зулейхат, а она говорила, что не может встать, что у нее отнялись ноги. Когда же через несколько дней Маржанат будто невзначай сообщила подругам, что беременна, никто не удивился; ведь только полтора месяца как проводила она Алисултана на фронт.

Шли дни, все складывалось как нельзя лучше. Но вдруг Маржанат стала ловить на себе осуждающие взгляды женщин. «Неужели догадались,— испугалась она.— Тогда не уйди Зулейхат от позора. А что скажет Алисултан? Да он убьет ее. Неужели она, Маржанат, в чем-то была неосторожна? Кажется уж, все предусмотрела и с каждым месяцем все больше ваты накладывала на живот, и ходила медленно, низко опустив концы платка. Да нет, наверное, ей только кажется, что женщины осуждают ее. Когда приходится что-то скрывать, чего не примерещится». «Почему ты ни словом не обмолвилась о болезни дочери? — писал Алисултан.— И как могло случиться, что она отравилась так сильно, что у нее отнялись ноги? В нашем доме никогда не было отравы. И зачем надо было скрывать от меня...» Маржанат снова сложила письмо треугольником и спрятала под скатерть. Ноги у нее ослабли. Она и вправду почувствовала себя больной. Ведь и прежде она больно переживала каждое сердитое слово, невзначай брошенное мужем. «Ничего, ничего, потерплю, совсем мало осталось,— успокаивала себя Маржанат.— Вот вернется Алисултан, увидит дочь здоровой и поймет, что все это сплетни... Однако, кто же пустил эту сплетню?..» На другой день она пристала к Салихат, и та ей все рассказала. Дело было вот как:

— Как-то у источника подошла ко мне мать покойной Меседу,— рассказывала Салихат,— и говорит: «Ой, девушка, не знаешь ты, какая змея мачеха попалась моей бедной внучке. На языке мед, а на сердце меч. Она же нарочно отравила Зулейхат... В суд надо подать, а вы молчите...»

«Побойся бога,— не поддержала ее Салихат.— Разве можно зря такое на человека говорить. Ведь Маржанат на десять лет постарела с тех пор, как заболела падчерица...»

«Потому и постарела, что боится, как бы кто правду не вызнал. Ой, девушка, не тот человек хитер, про кого говорят, что он хитрец... Она так умеет прикидываться... А я знаю, что она променяла телку на яд. Хочет, чтобы все наследство досталось сыну. Разве ты не видишь, она ее и больную заставляет работать. Сидит, бедняжка, и ткет ковер...»

«Вай, земля и небо свидетели: я сама слышала, как Зулейхат просила у мачехи, чтобы та достала ей станки, чтобы не сидеть без дела».

«У совершающих черные дела и защитники такие же»,— поджала губы старуха и, забыв про воду, засемила от источника с пустым кувшином. Вот что услышала Маржанат от подруги.

Уже третий день зима обряжала аул в белые одежды. Третий день на плоские крыши, на горбатые улочки, на быстрые воды ручья, на засохшую траву горных пастбищ, на снежные шапки вершин летел и ложился снег. В нем не было восторженной, детской радости первого снегопада, первого нестойкого снега, готового растаять от любого дуновения тепла. Этот снег был упорный, прочный. Зрелый зимний снег. Он шел по аулу с осанкой гордой девицы и спокойной мудростью стариков. Он залетал в ущелья и укладывался там плотным, сверкающим слоем, и ущелья охотно принимали его, словно радовались, что станут ровень с полями. А малые холмы, подставляя спину снегу, все радовались, что сравняются с горами. Но, сколько бы ни сыпал снег, все равно горы вздымались над холмами и с высоты снисходительно взирали на них, как великаны на карликов.

Маржанат никогда не любила осени, потому что осень — это сумерки, а она любила свет. И потому с затаенной радостью она встречала первый день настоящей зимы. Даже тяжесть последних месяцев не могла убить в ней этого детского восторга, когда она проснулась утром и увидилась, почему так светло. А, подбежав к окну, увидела, что выпал снег. Она вышла на крыльцо, и протянув руку, ловила на ладонь снежинки. «Наверное, и там, в кутане, снег пошел. Как-то там мой маленький чабан с отарой? — вздохнула она, вспомнив сына. Вот уже три месяца как она не видела его.

— Мама, — позвала Зулейхат. Голос ее прозвучал надтреснуто и больно.

«Неужели началось, — вздохнула Маржанат, отзываясь на этот голос... — Надо скорее ворота закрывать».

Зулейхат билась на постели. Она стискивала зубы, чтобы не кричать и рвала, мяла в руках простыню. «Потерпи, потерпи, немного осталось», — уговаривала ее мачеха, как еще недавно успокаивала себя, и гладила плечи, руки, волосы падчерицы...

В полдень Зулейхат с крыльца окликнула соседку и сообщила, что у Маржанат родилась дочка. Та, схватив кувшин, побежала к роднику, где обсуждались все новости.

...Еще с полдня они открыли ворота, ожидая гостей. Однако до вечера никто не приходил, а Маржанат уже стала волноваться, подозревая недоброе.

Когда же вечером женщины шумной гурьбой ввалились в дом, они застали такую картину: Зулейхат, укутавшись по пояс в овчинный полушубок, сидела на постели, перед ней стоял станок с наполовину вытканым ковром. Маржанат лежала на тахте. Рядом с ней на высокой подушке посапывал малыш, завернутый в цветастое одеяльце. Пол был застлан ковром, и на нем стояла, дымясь, разная снедь: запах смешанного с медом урбеча так и притягивал женщин: ведь они пришли сюда прямо с работы. Но даже застолье не развязало им языки. Беседа текла натянуто и вяло. В глазах женщин Маржанат читала плохо скрытый упрек ей и глубокое сочувствие Зулейхат. Они то и дело поглядывали в ее сторону и украдкой вздыхали.

«Ничего, проглочу все, потерплю, уж совсем немного осталось», — привычно думала Маржанат...

Омар ошарашил меня своим рассказом. Когда он кончил, я открыла свою уже заполненную записную книжку и нацарапала в уголке «Мачеха». Я решила встать на рассвете, когда солнце еще не высушит росу и аул будет спать глубоким утренним сном. Тогда мне ничто не мешает уехать.

Утро выдалось на редкость ясное. Из окна Умужат были видны снежные вершины гор: ни одна тучка не клубилась над ними. В тонкой дымке скалы как будто дрожали. И вдруг меня неудержимо потянуло туда, в горы... «Успею и через час поехать. Еще ведь совсем рано», — решила я и, надев на ноги чувяки тети Умужат, незаметно вышла.

Свежий воздух обжег меня, горные камешки тропинки захрустели под чувяками. Слава богу, ни один человек не встретился мне по дороге... Никто не мог помешать мне думать и вспоминать...

Война сделала меня хозяйкой нашего дома. Мать уходила затемно и приходила затемно. Уходя, она будила меня, а младшие еще спали. Спросонья я хватала старое сито с пришитым к нему кожаным дном и, сунув босые ноги в галоши, бежала в сарай. Там я брала кизяки и рылась в куче золы, накрытой чугунным тазом. Спичек не было, и мы еще с ве-

вчера собирали горячую золу, чтобы утром найти в ней искорку огня. Искорку эту и заворачивали в клочок овечьей шерсти и, когда шерсть загоралась, бросали огонь в очаг на кизяки. От синего пляшущего пламени кизяков на душе становилось светлее. Спать уже не хотелось. Разогрет поило для коровы, я тащила полное ведро в хлев. И начинала доить корову. От тугих сосков болели пальцы, я то и дело дула на них, как на ожоги.

Наполнив кружки теплым парным молоком, я будила младших. А часть молока отливала в чугунный котел. Дней через десять он наполнялся и молоко в нем скисало, тогда мы сбивали масло и снимали творог. Эти дни были самыми счастливыми в моем детстве. Вечером мы долго не спали. Мама, веселая и помолодевшая, готовила из свежего творога чуду, утопающую в масле. Ее лицо горело, то ли от огня очага, то ли от радости. А малыши без умолку чирикали.

Утром я не могла проснуться, и корову в стадо провожала позднее всех. Я шла в гору босиком по мокрой траве. Шла по следам стада и собирала в ведерко коровий помет. Роса обжигала ступни, как кипятком. Назад я возвращалась, когда трава уже начала подсыхать. Раскинув руки, я ложилась на лужайке и мечтала. Вот бы полететь за эти горы. Наверное, там много-много кизяков, и все сухие. И никто их не собирает. Я бы сразу наполнила две корзины. А потом прилетела домой и сделала бы такой большой мачу¹, что хватило бы на всю зиму. Мечты мои ширились. Я находила такую большую пачку денег, что на них можно было купить полный мешок муки и еще сахар и мясо. А еще я дарила маме платок, такой же красивый, как у нашей соседки Айшат. А маленьким новые ботинки. Теперь маме не придется по ночам залатывать нашу обувь. Себе бы я купила тонкий белый гипюровый платок.

Не знаю, куда еще завели бы меня мечты, если бы над головой не раздавался смех.

— Эй, Фазу, что это ты делаешь? Никак сушишь кизяки прямо в ведре,— смеялась моя подруга, пробегая мимо. Мечты мои разбивались вдребезги. Я оставалась одна возле ведра с коровьим пометом.

...Улыбаясь своему детству, шла я по знакомому лугу. Тетины чувяки подмышкой, роса щекочет босые ноги. А навстречу мне со стороны гор шел Али Курбан и улыбался. Пиджак распахнут, рубашка у горла не застегнута. Глаза горят потухшим светом.

— Йорчами, доченька,— сказал он, поровнявшись со мной.

— Здравствуй, Али Курбан-даци.

— Что, вспомнила детство? — И он кивнул на мои босые ноги.

— Так хорошо!..

— Вот уж тридцать пять лет я встаю до света. Не было случая, чтобы проспал зарю.

— Так рано? — удивилась я.

— Доживи до моих лет, тогда поймешь, как жалко терять время на сон. Чем дольше живешь, тем дороже жизнь. Каждая скала здороваётся со мной, каждый орел кивает мне. Да, доченька, нелегкое у тебя было детство (и как он всегда догадывается, о чем я думаю?). А теперь люди разбаловались, посмотришь вокруг, кизяки уже сами высушились, крошатся под ногами, а никто их не собирает. Привозят из города уголь. Придумали еще какие-то плиты с синим огнем. У нас ведь в ауле как: купит один холодильник — и другой из кожи лезет, тоже везет холодильник. Даже моя Хатун заставила меня купить и шифоньер, и телевизор. Раньше одежда висела на крыльце на гвозде, а теперь в шифоньере. Я говорю ей: «Бедняжка, зачем тебе шифоньер, если ты одной

¹ Мачу — кизяки, сложенные один на другой в форме квадрата.

ногой в могиле стоишь». А она отвечает: «Да хоть оставшиеся годы хочу пожить красиво. Не пропадет ведь — правнукам останется».

— Она права, Али Курбан-даци,— вставила я.

— Права-то права, но знаешь, что я замечаю, доченька. Может, я и ошибаюсь, так ты ученая, поправь, подскажи.

Али Курбан тяжело вздохнул. На лице его изобразилось такое страдание, что мне стало жаль его.

— Что тебя беспокоит? — спросила я.

— Знаешь, доченька, что я замечаю,— понизил голос Али Курбан,— люди как-то отходят друг от друга. Ведь у нас в горах гость считается начматом¹. Он отводит от дома семь бед. Есть такое поверье: время, что хозяин проводит с гостем, засчитывается ему сверх лет, отпущенных судьбой. А сакля, которую обошел гость, всегда считалась отверженной. И вот иду я как-то в район и вдруг вижу: строят большой дом. Думаю: «Наверное, новая школа или больница». Спрашиваю. Мне отвечают: «Дом для гостей». Я чуть не упал. «Для каких гостей?» — говорю. «Для приезжих»,— спокойно отвечает мне каменщик.

Это же позор нам, горцам. Выходит, мы скажем: «Наши дорогие кунаки и друзья, приезжайте к нам в гости, только захватите с собой побольше денег, чтобы заплатить за жилье и еду». Где это слышано! И сказал я каменщикам: «Если кому трудно принимать гостей, пусть шлет их ко мне». Но они только расхохотались.

Али Курбан так разволновался, что на глазах его показались слезы.

— Али Курбан-даци, сейчас же много гостей приезжает: и машины, и самолеты приходят каждый день.

— Ну так что же,— живо возразил он мне,— Разве мы не живем богаче, чем прежде. Что, мы не в состоянии принять много гостей? Нет, доченька, мне это очень больно. Ушел я из района убитый. Думаю, хоть бы до моих кунаков не дошли эти вести. Так представь себе,— глаза его загорелись гневом,— читаю на днях газету: председатель райисполкома хвастается тем, что строит дом для гостей. Спроси у моей Хатун: я слег от стыда.

Слова Али Курбана насмешили меня. Я нагнула голову, чтобы он этого не заметил. А что возразишь старику? Да и поймет ли он меня?

Ветер донес до нас слабый звук песни. Тут только я поняла, что именно ее не хватало этому светлому утру.

— Песня! — сказала я и подняла голову.

— Это с сенокоса. Все сегодня в Чандыкале. Хочешь, пойдем туда?

— Очень хочу! — обрадовалась я.

Чандыкал — самая большая холмистая долина за нашим аулом. Жужжание невидимых пчел. Аромат цветов. Теплый ветер. Солнце, которое не жжет, а ласкает. Лебединые косынки женщин, разбросанные по холмам. Чандыкал! Размахивая сверкающей косой, шагал великан. Да, он был такого роста, что среди остальных казался именно великаном. Шагал он просторно, оставляя за собой полосу, чистую, как бритая голова.

— Кто это, Али Курбан-даци? — спросила я, невольно любясь движениями великана.

— Неужели не узнала? Это же Тагир. Сын горбатой Шахрузат.

Я знала, что Тагир вернулся с фронта с сильной контузией. Он никого не узнавал, даже мать. Долго возили его по больницам Москвы и Ленинграда, но ни один врач не мог излечить его.

— Он теперь здоров. Женится. В колхозе лучший работник,— сообщил мне Али Курбан.— А знаешь, доченька, кто его вылечил?

И в ответ на мой недоуменный взгляд сказал гордо:

— Мать его вылечила.

¹ Начмат — благодать.

Колыбельная песня

Словно гром, словно обвал в горах, словно щебень, ударивший в лицо тяжелыми брызгами, ворвался этот смех. Резкий, хриплый. Даже не смех, а перекаты дикого грохота, от которого хотелось спрятаться: зарыться головой в подушку или бежать-бежать...

— Перестань! — в отчаянии крикнула Шахрузат. — Перестань сейчас же!

Руки дрожали, никак не попадали в рукава кофты, вывернутой наизнанку. Ногой она распахнула дверь...

Но смех настигал ее. Словно бешено билась о берег вспухшая, вскормленная осенними дождями река, словно, треснув, распалась скала. Словно каменные волны догоняли друг друга и с грохотом разбивались.

Не помня себя, Шахрузат бежала по мягкому, выпавшему за ночь снегу. Аул еще спал. И следы ее галош четко врезались в этот первый снег. Они вели на окраину аула, туда, где узкая горбатая улочка, точно споткнувшись о камень, поворачивала в сторону к подножию гор. Здесь на воле снег был глубже, доходил почти до колен и, завязнув в нем, Шахрузат невольно остановилась. Прислушалась — смеха не слышно. Она облегченно вздохнула и обернулась туда, где утопая в снегу, спал аул. Ни один человек еще не поднялся на крышу, чтобы сбросить снежную шапку, не вышел во двор, чтобы расчистить дорожку. Еще не закружил в небе сизый дымок очагов. Грустно и одиноко белел снег на каменных плитах кладбища. Над могильными холмами подмерзшей земли выросли новые холмы — из снега.

— Неужели он все еще смеется, — вспомнила она и отвернулась, чтобы не видеть своего аула, своей крыши, не видеть старой груши с корявыми узловатыми ветками, на которые она лазила девчонкой; теперь эта груша не дает больше плодов. Шахрузат отвернулась, встала спиной к аулу, и тут же ее глаза натолкнулись на горбатую неуклюжую гору: под высокой папахой снега она казалась еще более горбатой и неуклюжей.

«Неужели всегда, до конца дней она будет напоминать мне о том, что было», — подумала Шахрузат.

Позади лежал аул, дико хохотал Тагир, а она бежала оттуда, чтобы не слышать этого. Впереди гора, больно напоминающая о былом. И не на чем было остановить взгляд, некуда спрятаться от воспоминаний.

...Отец Шахрузат Хамид был уважаемым человеком в ауле. Нет на селе семьи, которая ни нуждалась бы в кузнеце. Среди немногих ремесел это было едва ли не самым нужным. С утра до вечера пропадал он в своей маленькой кузнице: точил серпы и косы, мастерил лопаты, кирки и плуги. Но было у него и второе ремесло, редкое по тому времени. Он лечил людей. Аульчане гордились тем, что у них есть свой собственный лекарь, который и настоем трав напоит, и рану обмочит, и даже вытащит больной зуб. Для аула, затерянного в горах, где отродясь не было ни больниц, ни лекарей, такой Хамид был большой удачей.

Шахрузат помнит как сейчас: стоял знойный полдень лета. Весь аул вышел косить траву, а Хамид сидел у межи, накрыв голову двумя лопухами, и точил серпы и косы. Подходили косари, оставляли тупые косы и брали наточенные, тут же испробовав их на стебельные травы. Шахрузат, аккуратно одетая, со множеством косичек на голове стояла тут же и не сводила глаз с отца, с его рук, которые так ловко и быстро точили серпы. Хамид работал молча и сосредоточенно. Дочь тоже молчала. Но ей не было скучно, так остро блестели огточенные лезвия, так ярко

вспыхивали искры, летящие из-под молота. И вдруг прибежал Сурхай, сын чабана Исмаила. Бледный от страха, он сказал, что отец его сорвался со скалы. Хамид молча выслушал — рука его с поднятым молотом так и замерла в воздухе. Не говоря ни слова, он пошел к дому Исмаила: даже забыл снять с головы лопухи, и они смешно торчали куполом. Следом за ним, всхлипывая, бежал Сурхай. Шахрузат подумала и тоже помчалась следом...

Исмаил лежал на полу, вытянувшись, разбросав руки, бледный, словно неживой. На его обветренных губах запеклась кровь:

— Что, Исмаил? — спросил Хамид, наклонясь к нему.

— Ноги! Ноги не двигаются, — прошептала жена Исмаила. Она стояла в углу, и лицо у нее было белым, как стенка.

Сурхай и Шахрузат остановились на пороге и во все глаза, с любопытством смотрели на происходящее.

Хамид между тем опустился на колени и сначала осторожно, а потом все сильнее и увереннее стал ощупывать ноги больного. Исмаил вскрикнул, тут же подбежала жена и взяла его руку.

— Соль, войлок, холодная вода, мед, кожаные веревки, — отрывисто командовал Хамид.

Жена Исмаила вышла и принесла воду, войлок и соль.

— Больше ничего нет, — сказала она виновато.

Шахрузат словно осенило. Она выскочила в сени, схватила шипцы, которыми мешают в очаге угли, и, вернувшись, протянула их отцу.

— Это еще зачем? — спросил он сурово.

— Ну, чтобы удалить ноги, — растерялась девочка.

— Ноги не удаляют, это тебе не зубы, — рассердился отец и закричал: — Чего стоишь, ступай скорей домой, скажи матери, чтобы дала мед и кожаные веревки. Да постой ты... веревки найдете в кузнице под бревнами.

Шлепая босыми ногами по камням, нагретым солнцем, Шахрузат бежала домой. Когда она передала матери то, что велел ей отец, та, как всегда, начала лить слова:

— Мало того, что запустил свое хозяйство, мало того, что лечит людей за одно сухое «баркала», мало того, что собственная дочь ходит без башмаков, так еще все берет из дому, будто у меня здесь и мед течет родниками, и травмы растут кожаные веревки...

— Отец велел! — настойчиво повторила Шахрузат.

— Велел, велел... Мало того, что он пустил нас по миру, мало того что... — и снова полились слова, как вода из дырявой тучи.

Жена Хамида Написат была полной противоположностью своему мужу. Хамид слыл молчаливым — Написат болтала без умолку. Хамид был работающим и в праздник не мог усидеть без дела. Написат и по дому работала так мало, словно все время просила разрешения то у левой, то у правой руки. Трудно было с ней Хамиду. Но с годами он научился пропускать ее слова мимо ушей, как вешние потоки, текущие с гор.

— На вот, — сказала Написат, — сгребла последний со дна кувшина, — и Написат протянула дочери стакан засахарившегося меда и клубок веревки. — И веревка тоже последняя.

А Шахрузат по дороге к дому Исмаила думала: «И почему мать каждый раз говорит: «Это последнее». Если отец снова велит ей дать все нужное, она опять даст и снова скажет: последнее».

Когда Шахрузат, запыхавшись, влетела в дом Исмаила, отец уже делал перевязку. Склонившись над медным тазом, он мочил войлок в соленом растворе и заворачивал в него ногу больного. Увидев дочь, он молча взял у нее кожаную веревку и поверх войлока перетянул ею ногу. Жена и сын Исмаила из угла комнаты молча, затаив дыхание, смотрели на него. Глаза жены выражали благоговенье. А Сурхай даже рот рас-

крыл. И сердце Шахрузат переполнилось гордостью за отца. Ей хотелось выбежать на улицу и кричать, кричать на весь аул: «Смотрите, какой у меня отец! Он все может! Если бы его не было, все бы умерли».

— Вот и все! — спокойно сказал Хамид и тем вернул ее с неба на землю: — До свадьбы заживет! Да, не забудь пить мед. — И он, налив меда в миску, развел его в холодной воде.

Жена Исмаила, наконец, вышла из угла и поднесла миску ко рту мужа. Исмаил приподнял голову, и как маленький, дотронулся до края миски губами.

— Выздоровлявай! Я на днях загляну, — сказал Хамид и, согнувшись, чтобы не удариться о притолоку, вышел. Шахрузат побежала следом за отцом. У ворот она оглянулась. На крыльце стоял Сурхай и, засунув руки в карманы своих заплатанных штанишек, внимательно смотрел на нее. Шахрузат хотела помахать ему рукой, но почему-то смутилась и вместо этого погрозила мальчику пальцем. И поскорее юркнула в ворота.

Помнит Шахрузат и свой первый праздник — праздник весны. Еще в горах белел снег, со скал и утесов бахромой свисали остроконечные сосульки. Холодными утрами они сурово смотрели вниз, словно угрожая вечной зимой, а днем, пригретые солнцем, дарили земле прозрачные капли. «Кап, кап, кап», — звенела капель. А внизу стояла Шахрузат и, смеясь, подставляла ладони.

Вдруг что-то холодное капнуло ей за шиворот и покатилося по всему телу, словно по нему легко и быстро провели мокрым прутиком. Шахрузат вздрогнула, обернулась. За спиной стоял Сурхай и улыбался.

— Вот тебе, — притворно рассердилась девушка и плеснула ему в лицо полные пригоршни воды.

— Знаешь, — неожиданно сказал Сурхай. — Я сегодня найду первый подснежник... и подарю тебе.

Шахрузат вспыхнула. Она испугалась своего смущения, своего румянца и прижала к щекам холодные ладони.

— Если ты примешь, — тихо добавил Сурхай и опустил голову. — Если ты примешь, — повторил он уже увереннее, — то я обязательно найду.

Шахрузат молчала, обдумывая ответ. А в это время спасительно заиграли зурна и барабан, сзывая всех на праздник — праздник весны.

Весь аул уже собрался у подножия горы. Юноши, которые вышли на состязание, стояли чуть поодаль. Сурхай примкнул к ним.

В окружении широкоплечих, уверенных в себе парней, он показался ей хрупким и слабым. Шахрузат взглянула на горы, еще покрытые скользкой и блестящей снеговой коркой. «Да неужели он сможет подняться на такую высоту? Не поскользнуться? Не упасть?» И она почувствовала почти отвращение к этому нарядному, веселому, но такому рискованному празднику. Уже Абакар, самый старый человек в ауле, чья борода по своему блеску и белизне была сродни снежным вершинам, поднял сухую жилистую руку. Уже, послушные этому сигналу, разбежались юноши. И вот черные точки затерялись в горах на орлиной высоте.

Блестели снежные пики гор, чернели кое-где оттаявшие проталины, невозмутимо синело небо. Казалось, что ожидание длится вечность. И вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, идет!», и топла с нетерпением двинулась вперед, чтобы скорее разглядеть победителя. Одна Шахрузат осталась на месте: ноги ее словно приросли к земле. Но глаза до боли всматривались в эту синеву, где, все увеличиваясь в размерах, двигался человек. На мгновение ей показалось, что это Сурхай, и ватными стали ноги, а сердце забилося где-то у самого горла.

Но это был не он. И не ему, а Ахмедхану вручал теперь Абакар украшенную серебром таманчу. Заиграла музыка, и юноша закружился в лезгинке. Матери, словно невзначай, подталкивали вперед своих наряженных дочерей. Еще бы, кто же не сочтет за счастье породниться с самой богатой семьей в ауле.

А красавец Ахмедхан словно нарочно испытывал терпение женщин, не торопился выбирать невесту. Он кружил и кружил в танце: вставал на пальцы, падал на колени, взлетал в воздух. Он плясал так, будто ноги его превратились в крылья, а руки — в молнии.

Шахрузат, забыв о своем недавнем страхе за Сурхая, смотрела на Ахмедхана зачарованно. Она впервые видела, чтобы человек так танцевал. Очнулась она от напряженной, давящей тишины. Перед ней стоял Ахмедхан и протягивал ей помятый подснежник. Еще не поняв, что к чему, она невольно протянула руку, чтобы принять цветок, но тяжкий вздох за спиной заставил ее оглянуться. Два, полных отчаяния, глаза смотрели на нее. И Шахрузат своей рукой, протянутой для согласия и добра, оттолкнула цветок. Шепот недоумения прошел по толпе. Кирпичным румянцем вспыхнуло лицо Ахмедхана. Отец его Хирач, схватившись за лезвие кинжала, выступил вперед. Его черные усы нервно дергались. Шахрузат вся сжалась под его острым взглядом.

Но тут между нею и Хирачем вырос ее отец.

— Твои сочные луга нам не нужны, — сказал он и своим могучим телом заслонил дочь.

— Я не приветствую поступок сына, — важно сказал Хирач. — Пусть бы он лучше предложил цветок другой девушке. Но раз уж это случилось, так знай, Хирач не привык к подобным шуткам. Утренняя роса не устоит против солнца.

И с этими словами он гордо удалился.

На третий день после этого случая Шахрузат спускалась с лестницы, держа в руках старое сито. Нужно было набрать кизяков для очага.

Только Шахрузат нагнулась над кизяками, как на нее набросили что-то черное и плотное — наверное, бурку. Она хотела закричать, но цепкие руки зажали ей рот.

Очнулась она от цокота копыт. «Цок, цок, цок», — стучали копыта о камень горной дороги.

Сколько времени пролежала она в седле, Шахрузат не знала. Полная, ясная луна уже гуляла в середине неба, когда чьи-то руки сняли ее с седла и положили на землю около родника, у подножия кривой горы.

— Ну, как, красавица, не жалеешь, что опозорила меня? — услышала она резкий мужской голос и увидела Ахмедхана.

Что-то сильное и горячее поднялось в ней. Ахмедхан не успел и опомниться, как она, сбросив с плеч тяжелую бурку, вихрем взлетела на скалу и бросилась в пропасть.

Утром чабан из соседнего аула нашел на дне пропасти девушку. Ахнув, он склонился над ней и приложил ухо к ее груди. Сердце ее билось слабыми далекими ударами. Она была без сознания.

Долго и медленно выздоравливала Шахрузат. Отец почти не уходил от ее постели. В бреду она иногда звала Сурхая, но отец никого не пускал к ней, и Сурхая оставалось только простаивать у ворот да справляться о ее здоровье. Хамид, подавленный случившимся, стал еще более молчаливым. Даже Написат притихла и стала меньше говорить.

Пока Шахрузат болела, пока она медленно, словно нехотя, возвращалась к жизни, многое изменилось в ауле и на земле. Какие-то непонятные для нее разговоры велись в их доме. Какие-то незнакомые, нездешние люди появлялись у них, и отец стал надолго исчезать с ними. Теперь девушка подолгу оставалась одна. От жестких досок, на которых она лежала, болела спина. Но так велел отец, а она не смела подняться, помня, как однажды вечером он грустно пошутил: «Ну вот, настала пора и тебя лечить. А то мать все обижалась, что на чужих людей я трачу время и силы. Ты ведь веришь мне, дочка? А если веришь, не вставай с этих досок, они тебя вылечат».

Но однажды в летнее утро Шахрузат не выдержала. То ли солнце особенно заманчиво протягивало свои лучи сквозь потемневшие от сажи стекла, то ли просто пришла такая пора, только девушка почувствовала: больше она не в силах оставаться в постели — ни день, ни час, ни даже минуту. Она села на тахте, упираясь в нее руками. Взгляд ее упал на ноги, выпростанные из-под одеяла, и Шахрузат ужаснулась. Эти бледные искривленные соломинки — неужели это ее ноги? Превозмогая слабость и головокружение, она встала. Какая-то тяжесть давила спину, мешала распрямиться. «Это оттого, что я долго лежала», — подумала она. Но рука ее, закинутаая на спину, обнаружила какой-то странный нарост, словно кусок скалы прилип к ней. Еще не понимая, что случилось, она на качающихся ногах шагнула в другую комнату, где висело старинное зеркало на черной резной раме. Из мутной запыленной глубины этого зеркала на нее смотрела маленькая сгорбленная карлица. Шахрузат закрыла лицо рукам и, вскрикнув, повалилась на пол.

Очнулась она от выстрелов. Стреляли где-то совсем близко. «Бандиты!» — услышала она отчаянный женский визг. Все остальное прошло как в страшном сне: свистели пули, какие-то люди с винтовками в руках пробегали мимо. Прижимая к груди детей, метались женщины. Среди них Шахрузат увидела и мать. Обняв своего семилетнего сына Магомеда, она стояла за воротами. Шахрузат хотела позвать ее, но мать упала лицом на камни, изо рта ее текла кровь, а зрачки уже оледенели. Девушка схватила за руку брата и потащила его во двор. А мимо них, обдавая их ветром своих развевающихся бурок, мчались всадники. И полы их черных бурок были похожи на крылья орлов. Среди них Шахрузат увидела отца. Подняв руки, она бросилась к нему, чтоб ухватиться за его бурку, укрыться на его груди. Но он промчался мимо с криком: «Женщины по домам! Зачем вы вышли на верную смерть!» Она впервые видела таким своего спокойного отца: лицо его горело, глаза сверкали отвагой, конь под ним танцевал... И тогда Шахрузат, подхватив брата, прыгнула прямо в хлев и спряталась в кормушке для коровы.

Ночью оставшиеся в живых партизаны нашли их там, полумертвых от страха, и увезли с собой в горы.

Так Шахрузат с братом попали к партизанам. Чужие незнакомые люди окружали их. Почему-то здесь никого не было из их аула. Никого, кроме Сурхая.

Обросший, бородатый, он показался ей чуть ли не стариком. Она даже не поняла, узнал ли он ее такую. И молила бога, чтобы не узнал. И старалась не попадаться ему на глаза.

Теперь для Шахрузат началась новая и странная жизнь. Вместе с партизанским отрядом скиталась она по горам: готовила еду, чинила одежду, перевязывала раны. С затаенной гордостью наблюдала она за Сурхаем. Командир посылал его на самые ответственные задания. И тогда Шахрузат поднималась на высокий утес и смотрела, смотрела вдаль до тех пор, пока там не появлялась черная точка, в которой она узнавала Сурхая. Тогда она бежала обратно в отряд, подогревала еду, но подать ее Сурхаю посылала Магомеда.

Когда засыпал отряд, а рядом неслышно дышал Магомед, Шахрузат не могла уснуть, и в темном недвижном воздухе перед ее глазами возникала такая картина: высокий джигит в военной форме, подтянутый, со скрипящим ремнем на поясе, склоняется к красавице горянке в наряде невесты и что-то тихо, ласково говорит ей. А карлица с большим горбом на спине стоит в темной комнате и сквозь маленькое окошко смотрит на них... Только брат, маленький Магомед, которому она стала матерью, и связывал ее с жизнью.

Так и шли дни. Люди привыкли к опасности и бездомности. И эта жизнь в горах, без семьи, без своего очага, стала казаться им будничной, обычной. Была в ней и своя скука, и своя размеренность. И неиз-

вестно, сколько еще продолжалось бы это существование, если бы однажды партизанский отряд не вернулся с задания.

Шахрузат и Магомед остались одни. Три дня они скитались по горам в поисках партизан, но не нашли даже их следов. Измученные, оборванные, отчаявшиеся, стиснутые со всех сторон темными стенами гор, на четвертую ночь они неожиданно набрели на огонек. Магомед первым заметил его и радостно крикнул: «Смотри, свет!»

Шахрузат, стиснув руку брата, шла на этот огонь, как на маяк, и боялась оторвать от него глаза: а вдруг исчезнет?

В полночь они подошли к хутору и постучались в окошко, где ярко горел чирах. Долго никто не отзывался. Проплывали тучи, сквозь прорехи показывалась и снова пряталась луна. Зашумел ветер. Начал накрапывать дождь. И наконец в окне показалась бритая голова и лицо с козьей бородкой.

— Мы заблудились. Пустите переночевать,— попросила Шахрузат и добавила, боясь отказа: — Хоть ребенка пустите...

— Что заставило вас покинуть дом в такой час? — спросила «козья бородка».

— А у нас нет дома,— сказал Магомед.

— О аллах, сколько появилось сирот,— вздохнул старик и отошел от окна. Через минуту, скрипнув засовами, открылась дверь и ласковый голос позвал: «Входите!»

Старика звали Шамхалом. Тихо и одиноко доживал он свои дни на пустынном хуторе. Он стосковался по людям и потому принял неожиданных гостей как родных. Шахрузат он называл дочкой, а Магомеда сыном. Девушка тоже не оставалась в долгу и, не зная, чем отблагодарить старика за гостеприимство, целыми днями наводила порядок в сакле: выскребла полы, побелила стены... Сказывалась и ее женская тоска по дому. Много ли прошло дней, Шахрузат не помнит. В сердце ее воцарился покой, ей казалось, что все бывшее ей просто приснилось, а на самом деле она всегда жила в этом тихом доме, затерянном в горах: по утрам спускалась к роднику за водой, по вечерам зажигала чирах, по ночам спокойно засыпала на мягкой постели. И мирные звезды, мигая, заглядывали в маленькое окошко. И жизнь была полна мира, уюта и тишины.

Но и этот ее сон был прерван выстрелами. Кто-то прикладом взломал в другую комнату. Шамхал в луже крови лежал на полу.

И начался другой сон, тягучий и страшный. Кто-то больно ударил ее сапогом в бок.

— Эй ты, кривая уродина, вставай, затопи очаг!

Шахрузат медленно встала. Перед ней, заложив руки за спину, стоял Ахмедхан и брезгливо смотрел на нее. С того дня, как Ахмедхан увез ее, она не видела его ни разу. Но слышала, что он возглавляет белые банды, борющиеся против партизан. Он сильно изменился. В его красивом лице с надменными, лихо закрученными усами появилось что-то застывшее, неживое. А глаза, прежде веселые, смотрели мрачно и жестко. «Видно, и тебе несладко пришлось, и тебе не улыбается жизнь», — с невольным злорадостью подумала Шахрузат.

Ахмедхан ее не узнал. Она сделала все, что ей приказали: затопила очаг, почистила обувь, приготовила еду... В голове ее не было никаких мыслей, и все, что она делала, она делала так, словно это была не она, словно кто-то извне управлял ее движениями. И потому она даже не удивилась, когда через несколько дней, войдя в комнату, увидела на полу израненных партизан. Среди них был и Сурхай. Руки его были связаны на спине. Ахмедхан топтал его сапогами и цедил сквозь зубы: «Отвечай, нищая скотина, куда ты спрятал пулемет?» Потом в сознание ее вошли слова: «Бросьте их в хлев, а когда будем уходить, подожжем хутор вместе с ними».

И тут она словно проснулась. Ночью, лежа на старой шубе Шамхала, она думала о Магомед: неужели он тоже погибнет, как погибли уже отец и мать? Неужели она так ничего и не придумает, чтобы спасти его? Бежать, но как? Нужно пройти через комнату, в которой спят бандиты. Когда она будет открывать засовы, они наверняка услышат и застрелят их. В окошко? Но оно такое маленькое, что Магомед может протиснуть в него только голову. Она встала, сама не зная зачем, и тут нога ее зацепилась за железный крючок. Погреб! Как же она раньше не подумала об этом? Осторожно подняла она крышку, разбудила Магомеда и, взяв чирах, вместе с ним спустилась в погреб. Только опустив крышку, она зажгла чирах. Из погреба они вышли во двор. Узкая дощатая дверь, забитая железными прутьями, вела в хлев. Девушка взяла топорик и стала тихонько отбивать железные прутья. После каждого удара она останавливалась и прислушивалась. Все ей чудился какой-то стук — но это громко билось ее сердце. Скоро узники-партизаны услышали ее, и она шепотом поделилась с ними своим планом...

Из-за холма они долго смотрели на пылавший хутор. Пожар застиг бандитов спящими, ни один из них не вырвался из огня.

Прошел еще год, и прежний сон сменился другим. В нем уже не было ни пожаров, ни выстрелов. Но был он по-прежнему печален. В нем по горной дороге шла горбатая женщина, одетая в черное. Это Шахрузат, вдова погибшего партизана Сурхая, возвращалась домой с ребенком на руках. Рядом шагала Магомед.

...Шахрузат опомнилась, как очнулась от сна. «Так и замерзнуть недолго», — подумала она, стряхивая снег и поворачивая к аулу. Еще издали она заметила Тагира. Без шапки, в распахнутой бурке, он что-то передвигал во дворе. Наверное, собирался колоть дрова. Но, войдя во двор, она увидела, что Тагир стоит над деревянной колыбелью и собирает в нее снег.

— Тагир, сын мой, зачем ты делаешь это? — вырвалось у Шахрузат. Но он продолжал деловито сгребать снег и охалками сыпать его в колыбель.

...Когда Шахрузат с месячным сыном вернулась в аул, отец Сурхая сам смастерил для внука эту колыбель. Не было на ней ни резных орнаментов, ни акварельных рисунков. Единственным украшением были бусинки разной формы и разных цветов.

— Эти бусинки, дочка, сохранят Тагира от болезней и бед, — сказал отец Сурхая, вручая ей колыбель.

— Как? — удивилась Шахрузат. — Ведь бусы носят только девочки?

— Нет, — возразил старик. — Посмотри вот на эту бусинку. Она дымчатого цвета, и внутри словно глазок горит. Она будет охранять его от дурного глаза. А эта, красного цвета, отводит кровопролитие. А вот темно-коричневая — от всех болезней. Она так и называется — «разнолеющая».

Шахрузат слушала и верила всем чудесным свойствам этих бус. И потому она никогда не снимала их с колыбели.

Шахрузат только что покормила сына и, пустив его в колыбель, пыталась запеленать. А он, как обычно, протестовал, отнимая у матери то руку, то ногу. Наконец, Шахрузат все-таки справилась с ними. И тогда он с упреком посмотрел на нее полными слез глазами. А губы зашевелились, разжались и с трудом вылепили «ба-ба»¹.

Нежность захлестнула Шахрузат, словно медовый ручеек влился в

¹ Ба-ба — мама.

сердце. Она стала целовать его, а когда он уснул, взяла балхарский глиняный кувшин, полный свежего меда, захватила также деревянную ложку и пошла по аулу.

— Тагир сегодня сказал первое слово, сладкое, как этот мед,— говорила она соседкам и протягивала им ложку, с которой ручейком стекал мед.

— Пусть на устах его рождаются только сладкие слова,— отвечали соседки, пробуя мед.

Домой она вернулась, когда опустел кувшин. Тагир уже проснулся и плакал. Шахрузат помнит, как она, чувствуя себя легкой и молодой, подбежала к колыбели и стала качать ее, напевая.

А теперь она покачивает пустую колыбель. А Тагир, ее выросший сын, ее надежда и защита в старости, смотрит на нее пустыми глазами и собирает снег.

«Что же я делаю? — опомнилась Шахрузат.— Нельзя качать пустую колыбель! Это плохая примета».

А что ей приметы, если колыбель пуста, как заброшенное гнездо. Сколько раз она мечтала, чтобы сын Тагира улыбнулся ей из этой колыбели. Чтобы она пела внуку колыбельные песни, как когда-то сыну.

Самый маленький мальчик,
Самый ценный мой клад.
Шелковистее шерсти
Самых белых ягнят,—

запела Шахрузат. Она словно забыла, что качает пустую колыбель. Слова текли легко и плавно, будто весенние птицы. И казалось, от их тепла тает снег, роняют капель сосульки, звенят ручейки... Шахрузат пела, и за словами песни вставала ее прожитая жизнь...

...В тот последний год войны в горах рано началась весна. Еще по всем приметам пора лютовать морозам, а с крыш уже потекли сосульки и на скалах обнажились первые проталины. Как-то Шахрузат счищала лед с крыльца, и пришла Зарифат, невеста Тагира. Они обручились перед самой войной.

Девушка протянула Шахрузат кастрюлю с чуду из крапивы.

Шахрузат помнит все малые подробности этого дня, но помнит не ясно и четко, а так, будто смотрит на все сквозь запотевшее стекло.

— Неужели уже есть крапива? — сказала она тогда.

— Да, и такая свежая, мягкая. А рядом еще и еще. Стала я собирать. Решила и тебе принести...

— Спасибо, счастье нашего дома, ах как любил Тагир чуду из крапивы. Бывало, притащит целую охапку...

— Не расстраивайся, тетя Шахрузат. Наши уже до Берлина дошли. Скоро и Тагир вернется.

— Иншаалах, доченька.— И Шахрузат вывалила из кастрюли чуду, истекающую маслом.

В это время на лестнице раздались шаги.

— Почтальонша,— радостно крикнула Зарифат и бросилась к дверям.

— Письмо! — закричала она возвращаясь.— Тетя Шахрузат, от Тагира...

Вдруг Зарифат побледнела.

Это не его почерк!

Обе женщины посмотрели друг на друга.

— Читай! — приказала Шахрузат. Ее лицо побелело, но была в нем такая решимость, что девушка мгновенно развернула письмо.

«Пишет Вам медицинская сестра. Ваш сын лежит в госпитале с сильной контузией...»

«Живой,— билось в сознании Шахрузат.— Иншаалах, живой». И, откинув голову, она засмеялась. А слезы текли и текли из глаз...

Через несколько дней кончилась война. Но еще три года перевозили Тагира из одной больницы в другую, пока, наконец, Шахрузат не забрала его домой. Встреча эта была печальной: сын не узнал мать. Да и она в этом измученном бритом человеке с тупым бессмысленным взглядом и бессвязной речью с трудом узнала своего сына.

И потекли дни, тяжелые и туманные, как отрывистые сны. Летели годы, старела Шахрузат, обзавелись семьями ровесники Тагира, а он не менялся. Босой, с распахнутой грудью, в любое время года он бродил по аулу, пугая своим видом ребятишек. У него были странные привычки: весной он любил собирать землю, а зимой снег. Шахрузат уже привыкла к его тупому взгляду, к его диким привычкам, привыкла ходить за ним по аулу и, поднимая со снега, вести домой. Но к одному она не могла привыкнуть. Это был его хохот. Истеричный, дикий. После такого припадка он долго лежал без сил, и Шахрузат стирала пот с его лба.

Его бывшая невеста долго не выходила замуж, хотя Шахрузат несколько раз посылала сказать ей, чтобы она не ждала Тагира. Но что-то удерживало Зарифат от замужества, хотя в доме Тагира она не появлялась никогда, и Шахрузат вот уже несколько лет не встречала ее.

Но однажды, возвращаясь с мельницы, Шахрузат остановилась на полпути — мешок муки сполз со спины ослика ему на живот. Идти ослик не мог, а Шахрузат, как ни старалась, не могла переместить на прежнее место тяжелый мешок. Уже за вечерело, широкое небо над головой из светло-серого сделалось свинцовым, а женщина все стояла, не зная, что делать. Вдруг из-за поворота показались двое. Шахрузат облегченно вздохнула. Женщина, тонкая и молодая, несла на руках ребенка. Мужчина опирался на костыль, с трудом выбрасывая вперед деревянную ногу.

Когда они приблизились, в женщине она узнала Зарифат. Нет для матери большей обиды, чем увидеть невесту сына женой другого. Что-то твердое и жесткое поднялось к ее горлу. «Только бы они прошли мимо, только бы не заметили», — подумала она, отворачиваясь и загораживая собой ослика. Но мужчина заметил.

— Что, мать, мешок перевернулся? — сказал он весело и, подойдя к ним, быстро и ловко водрузил мешок на спину осла.

Зарифат отвернулась и концом платка накрыла ребенка.

...Давно уже ночь над горами, пустая и гулкая зимняя ночь. Погасли огни во всех окнах. Только Шахрузат сидит над пустой люлькой и, покачивая ее, поет колыбельные песни.

Лучшим в ауле будь, будь,
Быстрым, как пуля,
Будь, будь!
Будь весел и молод,
Сын молодца,
Будь сильным, как молот
У кузнеца.

Во рту уже стало сухо и язык онемел, когда рядом она почувствовала чье-то дыхание. Это Тагир подошел и сел перед колыбелью. Он слушал мать, чуть склонив голову, как слушает птица пенье другой птицы, как слушает собака звуки и шорохи, как слушает конь голос человека. И впервые за время его болезни она почувствовала на себе не тупой, не безжизненный, а какой-то испытующий, вопросительный взгляд.

И тогда Шахрузат схватила горсть снега и, проглотив его, снова стала петь. И странно, давно забытые, затерянные слова возникали со дна ее памяти и становились в стройный и ладный ряд. Она пела, и три-

дцатипятилетний сын, сидя перед ней на крыльце, слышал ее. И мать видела, как яснили, грустнели, бушевали его глаза.

Язык у матери стал уже деревянным, и плевала она кровью, но она пела и пела, боясь, что если она хоть на миг перестанет, снова безжизненными станут эти родные глаза, в которых, теперь оттаявший, светился мир, как камешек со дна океана. И когда иссяк запас песен, она тут же стала придумывать их сама, а потом снова повторяла ту, самую первую:

Я колыбель качаю.
Будто бы шар земной.
Баюшки баю-баю,
Спи, человечек мой.
И на коне будь мудрым,
Не загоняй коней.
Солнце восходит утром
Из колыбели твоей.

Тагир приподнялся, приблизил свое лицо к ее лицу, глаза его выражали беспокойство, а губы шевелились, словно он пытался вспомнить что-то самое важное на свете. И наконец его губы, как тогда, тридцать пять лет назад, разжались и трудно вылепили «ба-ба». «Моя дорогая мама», — внятно сказал он.

Голова у Шахрузат закружилась, в ушах зазвенело. И песня, пролетев над горами последний круг, смолкла. И в этой тишине она снова услышала самое первое, самое давнее, самое сладкое слово «ба-ба».

Пока Али Курбан рассказывал мне эту историю, я следила глазами за Тагиром. Работал он, можно сказать, без передыха. Только дважды за все время поднял голову, откинул назад чуб да вытер всей рукой потное лицо. Косил он за троих: на наших глазах большое поле оголилось.

Когда мы с Али Курбаном спустились на луг, уже начался обед. На увядающей душистой траве женщины разворачивали свои ситцевые платочки.

— Фазу, — крикнула Таибат, увидев меня. — Ты во время поспела. Как это на тебя похоже.

— Клянусь, она только что встала, — подхватила другая женщина, — горожанки же привыкли спать до предобеденного намаза.

— Дайте ей серп. Пусть скосит столько луга, чтобы можно было хорошей паре станцевать лезгинку.

Это сказал Туку. Он вышел из-за холма, поправляя войлочную шляпу, а другой рукой стряхивая траву с широких сатиновых штанин.

— Пока Фазу будет косить, вырастет новая трава, — подхватила Таибат.

— Ну, не будем ее вгонять в краску. Иди, поешь с нами, — и ко мне подошла Багисултан, та самая, которая завоевала себе жениха, заплетая косички невесте.

— Валах, и вы не можете делать то, что она делает. У нее золотые руки с рубиновыми ногтями, — заступилась за меня тетя Умужат. Она подошла к нам, вытирая серп охапкой травы.

— А то мы не знаем, — вмешался Туку и хитро покосился на меня. — Если бы она умела косить и жать, ей бы не пришлось так долго оставаться в девках. А если бы она так долго не оставалась без мужа, она бы не стала писательницей. Так что все к лучшему.

И сейчас, спустя столько лет, я покраснела, вспомнив о своем позоре. Все мои несчастья начались во втором классе.

Учительница Хажя рассказала нам об этом летчике, который сбил много вражеских самолетов, а потом фашисты подбили его и захватили в плен. Они долго пытали израненного, обгоревшего летчика, но он держался мужественно и погиб как герой.

Этот рассказ так взволновал меня, что ночью мне снилось, будто я сама сбиваю самолеты врага и сама попадаю в цель. Наверное, я не выдержала пыток и закричала, потому что, когда я проснулась, около меня сидела мама и обнимала меня.

Несколько дней я ходила сама не своя. И вот, сама не знаю, как это случилось, сочинила стихотворение. Я назвала его «Салам герою». Кончились уроки, и все ушли, я закрылась в классе, на всякий случай загородив дверь партой, и записала свои стихи в тетрадь. Вот эти строки. Я помню их до сих пор:

Салам тебе, герой далекий,
Не знавший, что такое страх,
Тебя я другом называю
В моих родных горах.

Домой я не шла, а летела. Я уже чувствовала себя Махмудом из Кахоб-Росо или Гамзатом из Цадаса¹.

Мама всегда говорила, что у меня нет засовов в сердечном сундуке, но эту тайну я скрывала целую ночь. В школу я пришла первой и встала у ворот, чтобы встретить учительницу. Хажа по моим глазам поняла, что не зря я стою здесь, как памятник. И тут мужество изменило мне. Колени мои задрожали, и язык прирос ко рту.

— Вот,— наконец выдавила я каким-то не своим голосом и, ткнув ей в руки листик из тетради, убежала.

А через час на уроке родного языка я стала героем дня. Хажа прочитала вслух мое стихотворение и очень хвалила меня. В школьной стенгазете напечатали мои стихи. Я чувствовала себя орлицей, которая парит над горами.

Но на повороте, где расходятся пять тропинок, словно пять пальцев одной руки, меня поджидала мать. Лицо ее не предвещало ничего хорошего. Не чувствуя за собой вины, я смело пошла ей навстречу, но она больно схватила меня за руку и молча потащила по улицам аула. Дома мать швырнула меня в угол, так что я ударилась о стенку головой.

— Окаянная! — закричала она. — Хочешь опозорить нас. Что надумала! Я из тебя сделаю столько частей, сколько слов в твоей песне. Женщины нашего рода видели только землю под ногами, запомни это. Они тихи и молчаливы, как стоячее озеро. Я угомоню тебя, чтобы ты не переливалась через край, как бурный поток.

И она стала бить меня.

— Разве ты не слышала про Анхил Марин, которая сочиняла стихи, — вмешалась бабушка. — По велению шариата ей зашили рот. И правильно сделали.

— Если ты еще посмеешь сочинять стихи, я сама зашью тебе твой разговорчивый рот, — поддержала ее мать.

Устав, она опустилась на колени и зарыдала:

— О, аллах, зачем ты не послал мне смерть, несчастной вдове. На мне трое детей, как три мешка соли. И вот одна, самая старшая, уже сбилась с пути. Глядя на нее, сойдут с дороги и младшие. Куда прыгнет коза, туда и козленок.

— Нет, нет, — утешила ее бабушка. — Эта с рождения ненормальная...

Долго я всхлипывала в этот вечер. А утром сбежала из дома и пропадала целые сутки. Когда я явилась в школу, была уже большая перемена. Я немного приуныла и хотела незаметно проскользнуть в класс, но, к моему удивлению, возле учительницы стояла моя мать.

— Вот она! — радостно вскрикнула Хажа, увидев меня, — Что же ты так напугала мать?

Мать заплакала.

¹ Классики аварской литературы.

— Я никому не говорила, что она исчезла. Она же девочка. Людям дай щепку — они сделают из нее дубовый столб.

— Я с ней поговорю, — шепнула Хажа.

После уроков Хажа битых два часа уговаривала меня сказать, почему я ушла из дома и где ночевала. Но я расковыривала пальцем дырку в парте и упрямо молчала. И только когда Хажа уже совсем потеряла терпение, прошептала:

— Они хотели зашить мне рот, как Анхил Марин.

— Это же было в старые времена — всплеснула руками Хажа. — Теперь за это не зашивают рты. Так ты могла поверить?

— А она умерла? — спросила я.

— Умерла, конечно, — вздохнула Хажа. И она рассказала мне печальную повесть о мужественной Анхил Марин, которая, разодрав швы на рту, стала петь сочиненные ею песни. Из окровавленного рта красными птицами полетели слова:

Вся горечь кончины лишь мертвым ясна.
Ужель перестала ходить по земле я?
О камень могильный, где надпись видна,
Ужель ты несчастной любви тяжелее?

Этими стихами закончила учительница свой рассказ.

Я содрогнулась. Марин, гордая Марин, как живая, стояла перед глазами. Я видела ее руки, брошенные вдоль тела, ее дерзкий окровавленный рот, ее глаза, которые смотрели поверх толпы.

— Пиши, Фазу, и ничего не бойся, — донесся до меня голос Хажи. — Стихи — это не позор. Это свет. Давно уже нет на земле Марин, а стихи ее волнуют и сейчас. А с мамой твоей я поговорю.

Окрыленная, выбежала я за ворота и столкнулась с мамой. Я хотела пройти мимо, но она ласково притянула меня к себе.

Так закончилась история с моим первым стихотворением.

И вообще, что бы я ни делала, все почему-то выходило у меня нескладно, не так, как у других. Еще одна картина встает в моей памяти.

Тяжелый послевоенный год. Засухой выжжено все живое. Невероятная дороговизна на рынке. Мать разливает по крынкам молоко и говорит: «Честное слово, я бы памятник поставила нашей Чернушке. Что бы мы без нее делали...» Каждое утро мать относила на рынок кувшин молока и выменивала его на хлеб. Как-то обменяла молоко на талоны и с этими талонами послала меня за хлебом. Завязала их в узел на кончике платка и наказала: «Узелок из руки не выпускай. Подойдет очередь — развяжешь и отдашь талоны продавцу». Первый раз мне поручили такое взрослое, такое ответственное задание. Еще издали я увидела длинную очередь, которая тянулась от сельмага на полулицы и даже заворачивала за угол. Я притулилась к хвосту и стала ждать. Сначала мне было даже интересно слушать, о чем говорят женщины, и смотреть, как от прилавка уносят круглые буханки хлеба с подрумяненной корочкой. Потом мне надоело стоять, и я по пальцам посчитала, сколько осталось до меня, но сбилась. Мне захотелось есть. Под ложечкой засосало. А когда очередь завернула за угол, я вдруг увидела на стене керосиновой лавки афишу. На ней красивым шрифтом было выведено как нарисовано — «Концерт». Я ни разу в жизни не была на концерте. «Пока еще до меня дойдет очередь», — подумала я и пошла в крепость, где должны были выступать артисты. У входа стояла женщина и отрывала какие-то бумажки, которые ей протягивали люди.

Я и не заметила, как очутилась возле женщины. Очнувшись лишь тогда, когда та сказала: «Билет!» — и загородила дорогу. Я замешкалась, а потом, сообразив, быстро развязала узелок и протянула женщине талоны. Теперь замешкалась женщина. «Неужели не пустит» — со страхом подумала я. Но сзади уже напирали люди и, как пробку, втолк-

нули меня во двор крепости. Не дыша я опустилась на скамейку в первом ряду. И как только на меня дохнуло таинственным пыльным запахом декораций, забыла обо всем на свете. Зачарованно смотрела я на гордую красавицу в длинном хабало и накинута на плечи тонком тастаре. А как она пела! Раскрыв рот, я ловила каждое слово. Меня словно подбрасывало нежно и тепло: руки мои держались за солнечные качели. Захватывало дух от детской синевы неба.

...А дома меня ждала расплата.

Я увидела бескровное лицо матери, до смерти перепуганную бабушку, растерянные глаза малышей.

«Хлеб!» — вспомнила я и заплакала.

— Потеряла карточки! — выдохнула мать.

— Я же говорила, не посылай ее, — устало сказала бабушка.

— За что! За что! — вдруг тонко закричала мать и стала бить себя по коленям. — Почему одним все: и мужья, и умные дети. А другим ничего, ничего!..

Я зарыдала еще сильнее. Глядя на нас, залились и сестры. Мы так голосили, что даже не услышали, как кто-то постучал в дверь.

Кувшин родниковой воды

Я накинула платок и подбежала к окну. Но голос соседки доносился уже с другого двора:

— Вставайте, Мучминат умерла!

Захлопали двери, один за другим вспыхивали в окнах огоньки. Люди, наспех одетые, не понявшие спросонья, что случилось, выбегали за ворота. По тревожному зову Халимат поднимался аул.

И вот уже на пустынных ночных улицах, беззвучных в этот полуночный час, стало тесно и шумно. И это непривычное ночное сборище пугало, тревожило сердце. Мы с матерью, наскоро одевшись, тоже вышли со двора и слились с общим потоком, который все обростал людьми.

— Пусть аллах не пожалеет для нее самого светлого уголка рая, — сказала Халимат, подходя к нам.

— Что и говорить, она его заслужила, — тотчас отозвалась моя мать. — Правда, и жила она долго. Дай бог каждому.

Темной и кривой улицей мы дошли до дома Мучминат. У ворот толпа остановилась, люди расступились, пропуская вперед Халимат, подругу покойной.

...Мучминат лежала на нарах, покрытая белой простыней. И такой прямой и длинной показалась мне она, что я усомнилась: она ли это? Сколько я ее помню, она всегда была маленькой и сторбленной, будто несла на спине нелегкий груз годов. Одна ее рука, сухая, как ветка дерева, с черными вздутыми жилами всегда лежала на пояснице, как будто этой рукой она поддерживала котомку. А другая, живая и ловкая, то и дело погружалась в огромный карман салопы и доставала оттуда ребятишкам конфеты и орехи. Она очень любила детей, и дети платили ей тем же. Они наперебой носили ей с родника воду и собирали для нее кизяки. Когда родители задерживались в поле, дети шли к Мучминат: испеченная в очаге картошка грела им руки, а легенды, рассказанные ею, будили фантазию.

И вот сегодня ночью ее не стало. Никогда больше я не услышу стука ее палки о камень дороги и не увижу, как следом из-за угла покажется она сама, согнутая, словно сложенная вдвое, но быстрая, легкая в ходьбе.

Своей семьи у нее не было. Может, поэтому весь аул был ее семьей.

И все дети аула ее детьми. Всему аулу она была матерью. Потому-то, склоняясь сейчас над ее телом, и говорили женщины: «Вот ушла она, и мы словно осиротели».

В углу большой комнаты, где лежала на нарах Мучминат, юные девушки шили для нее саван. Шили молча, сосредоточенно, не поднимая глаз.

— А нижний из зеленого шелка шить? — спросила одна из них у Халимат.

— Нижний у нее есть, — ответила Халимат и, откинув крышку кованого сундука, достала оттуда старое, вылинявшее платье из ситца. Зеленый горошек на белом фоне уже почти не был виден.

— Зачем же надевать на нее такое старое платье? — возмутилась я.

— Это ее девичье, — пояснила Халимат и добавила грустно: — В нем она была в тот год, когда в ауле объявилась холера.

— Говорят ни один мужчина тогда не отважился сделать то, что сделала она, — добавила моя мать.

— И потому в этом платье она хотела предстать перед богом, — сказала Халимат, и глаза у нее стали далекими и влажными.

Она протянула платье Чакар, которая должна была одеть покойницу, и та приняла эту линялую, истонченную временем материю осторожно и бережно, как хрупкую вещь, и, держа перед собой, все смотрела на нее, возвращаясь памятью в тот далекий год, в то знойное лето...

Засухой было выжжено все вокруг. Обмелели реки, иссякли родники, на сухих, оголенных пастбищах гибнул скот.

И вот в один из таких дней, когда люди спрятались от зноя за стенами домов, когда камень был так раскален, что, казалось, плюнь на него и он зашипит, когда белое низкое солнце грозило превратить аул в горстку пепла, в такой мертвый остановившийся полдень раздался громкий крик глашатая:

— Басурманы! В ауле холера. Заболевшие должны покинуть аул и уйти в слепую пещеру.

Словно гром ударил в знойный день, так всколыхнулся аул. Захлопали окна, распахнулись ворота. Люди падали на колени и, простирая руки к небу, причитали. Потом стали толочь чеснок и, разведя его в воде, заливали все щели сакли.

А вечером покидали аул больные мужчины. Молча и сутуло уходили они в сторону гор, к слепой пещере, уже отрезанные от этого мира, от жен и детей, которые толпились на краю аула, не смея бежать за ними. У каждого мужчины в руках был факел, которым он поджигал за собой дорогу, обливая ее керосином.

И если бы не вопли женщин, это можно было бы принять за праздничное факельное шествие.

В то лето Мучминат исполнилось семнадцать. Впечатлительная и отзывчивая, ночью она не могла уснуть. Перед глазами стояла освещенная факелами дорога и группа мужчин, которые шли умирать. Она видела обреченных и невысокий сухой взлет огня над подоженной дорогой. Видела поникшую спину старого Османа. Вдруг со взрослой тоской она подумала о том, как мало хорошего видел в жизни этот человек, ведь всю жизнь он пас чужих овец. С грустным и теплым чувством она вспомнила, как однажды, встретив его в горах, протянула ему кувшин с водой и какая ответная радость вдруг зажглась в его печальных, словно оледенелых глазах. А Мучминат тогда почувствовала себя так, словно в безводной пустыне напоила путника водой.

С того дня между ними возникла тихая и робкая симпатия, словно тайная ниточка связала их. А однажды он согнутым пальцем поманил ее и, смущенно улыбаясь, достал из рукава своей старой шубы волчий зуб.

— Вот, — сказал он, — это от волка, которого я убил. Возьми и при-

шей к своему платью, дочка. Он сохранит тебя от болезней, сбережет от дурного глаза.

А теперь вместе с другими мужчинами он шел в слепую пещеру, чтобы умереть там вдаль от людей.

«Как же так,— подумала Мучминат, и губы у нее задрожали,— а кто же подаст ему воды, а кто предаст его тело земле, если вдруг...— и она оттолкнула эту мысль, испугавшись ее.— Он подарил мне волчий зуб, чтобы я никогда не болела. А я? Что я могу сделать для него? Неужели нельзя хотя бы облегчить его страдания?» Она бросилась в соседнюю комнату. Там, на земляном полу, опустившись на колени, стояла ее мать и, подняв к потолку руки, причитала. Мучминат услышала последнюю фразу:

— О аллах, пошли им быструю смерть.

— Мама, неужели ты желаешь им смерти? Неужели никто не вернется, ни один?

— Нет, доченька, от этой болезни не выздоравливают,— грустно ответила мать.— Молись, чтобы аллах облегчил им страдания.

— А можно облегчить им боль?— спросила Мучминат.

— Они горят, как на костре. На них нужно лить воду кувшинами. Но кто же пойдет туда, на верную гибель?..

Под утро Мучминат наконец заснула. Одни кошмарные сны сменялись другими. То она видела, как пламя от зажженной дороги охватывало ушедших мужчин, то она слышала, как они стонут в слепой пещере и хрипло просят воды. Проснувшись она в поту, заглянула в другую комнату: мать и трое сестер спали.

Девушка зажгла лампу, при ее слабом мигающем свете отыскала в сундуке свое единственное нарядное платье, белое в зеленый горошек. Она пришила к нему волчий зуб,— подарок Османа, и, надев платье, накинула сверху шерстяной платок с красными розами, взяла медный кувшин и вышла на дорогу. Если бы Мучминат спросила, отчего она оделась, как на праздник, она бы не смогла ответить. Высокое торжественное чувство поднималось в ней и, словно ветер, несло ее вперед.

Уже рассвело, когда она наполнила кувшин родниковой водой и поднялась к слепой пещере. Согнувшись, она ступила под каменный свод. Двое мужчин лежали неподвижно и, приглядевшись, Мучминат поняла, что они мертвы. Другие со стоном катались по каменному полу. Слабый свет жизни и надежды вспыхнул в их глазах, когда они увидели Мучминат с кувшином в руках. Она плескала на них водой, разжав им зубы, вливая в рот стуженую воду. А потом бежала к роднику и снова доверху наполняла кувшин. Так до полудня она металась между родником и пещерой. А в полдень, когда аул и горы снова покрылись дрожащим маревом зноя, она поднялась на утес и крикнула что есть силы:

— Помогите! Сегодня скончалось двое. Несите саваны и мыло для умерших. Несите мед и молоко для живых. Оставьте все у черного родника.

В ответ стали открываться окна, люди выходили на крыши, за ворота. И вот тишину аула нарушил сдавленный крик матери Мучминат: только сейчас она поняла, куда ушла ее дочь.

Причитания матери Мучминат нарушил гневный голос Омара Кади:

— Эта девушка своим поступком дала пощечину всем старикам. Нам-то нечего терять, что же мы сидим здесь...

И все старики опустили свои седые головы.

Между тем аульчане несли к черному роднику саваны и еду. Мучминат издали следила за ними, и, убедившись, что все ушли, подходила и брала оставленное.

Никогда прежде она не видела, как заворачивают в саван умерших, никогда не рыла могил. И поэтому теперь, беспомощная, она стояла над умершим.

И вдруг пещера осветилась. Яркий отсвет пламени заколыхался на ее мрачных сводах. Мучминат вздрогнула, оглянулась. У входа, подняв руку с зажженным факелом, стоял Омар Кади. Теперь их стало двое. И вдвоем они делали свое горькое, свое безрадостное дело. Мучминат носила воду — Омар Кади обмывал покойников. Она шила саван — он их одевал. И в четыре руки они рыли могилы. Копать было трудно, потому что земля здесь каменистая.

На третий день Мучминат опять поднялась на утес и известила аул о смерти еще двоих мужчин. Среди них был и Осман. И снова при желтом свете месяца они обмывали умерших и опускали их в неглубокие, наспех вырытые могилы. А наутро Мучминат опять бежала к черному роднику, брала мед и молоко, а уходя, заливала камень, на который клали ей еду, уксусом или водой с толченым чесноком. А вскоре умер и Омар Кади. Она сама вырыла ему могилу, сама похоронила его, соблюдая необходимый обряд. Слез не было.

Но все на свете имеет свой конец. И в один из ясных предосенних дней, когда незаметно отхлынул зной, словно ушел за пики гор, и долгожданное равновесие воцарилось в природе, Мучминат заметила, что у одного больного, который еще вчера казался ей безнадежным, спал жар. Его повлажневший лоб был прохладным, а пульс, хоть и слабый, бился ровно. А за первым больным пошел на поправку второй, потом третий. Болезнь отступила.

Была уже середина осени, когда Мучминат с тремя мужчинами, оставшимися в живых, спустилась в аул. Быть может, волчий зуб, подаренный Османом, и в самом деле уберег ее от болезни. Мучминат вернулась повзрослевшей, с глубокой грустью в темных глазах. И каждый, кто смотрел в эти глаза, невольно опускал голову. Белая прядь, словно изморозь, пролегла в ее косах.

Теперь в ауле смотрели на нее как на святую. И женихи, сватавшие ее подруг, долго не решались предложить ей руку. А потом, после смерти матери, она сама отказывала сватам, посвятив свою жизнь заботам о сестрах. Сестры выходили замуж, рожали детей, забывали о Мучминат. Никто не заметил, когда она сгорбилась, когда появилась в ее руке палка, без которой теперь она не могла ходить. Все забыли, какой она была в молодости. Да и сверстников ее осталось немного. А остальным казалось, что она всегда была такой — с котомкой горба за спиной, с жилистой рукой на поясице, словно она поддерживала этот горб. Встретит ребенка, засунет руку в обширный карман своего салопы и вытащит оттуда конфету или засахаренный орех.

Похоронили Мучминат утром. Весь аул провожал ее в последнюю дорогу. На кладбище не было ни громких слез, ни причитаний — это не принято, когда хоронят престарелого человека. Долго и молча стояли у ее могилы. А расходились неохотно, словно каждому больно было оставить ее здесь одну.

Я видела, как, покидая кладбище, старый пахарь Касум воткнул в свежий холмик земли косточки абрикоса и ореха.

— Пусть здесь вырастут деревья такие же щедрые, какой была Мучминат, — сказал он.

После обеда, когда женщины опять рассыпались по лугу, и песни птиц слились со звоном серпов, и большая сине-прозрачная стрекоза качалась на травинке перед моими глазами, Туку подмигнул мне, и мы с ним спустились к реке.

Долго мы шли, пока не добрались до соседнего аула, зажатого между двумя утесами. Мы обошли утес и, когда тропинка, петляя, привела нас к пропасти, Туку показал мне на большой камень. На нем острым резцом была вырезана женская фигура, танцующая над пропастью.

— Что это, Туку-даци?

— Это памятник Сулайсат. Муж ее, когда приезжал в прошлом году, сам поставил его...

— А кто такая Сулайсат?

— Давай посидим здесь немного,— сказал Туку,— и я расскажу тебе, что знаю...

Танец над пропастью

Вот уже пятый день, как небольшой партизанский отряд с особым заданием прибыл в горы. Командир отряда Петр Алексеевич Кутасов хорошо знал каждого бойца. Еще бы, с начала войны они вместе: вместе делят тепло и холод, кусок хлеба и глоток воды. Вместе оплакивают погибших друзей. Вместе смотрят в глаза смерти. Каждому верил Петр Алексеевич, как себе.

В тот день, когда отряд, получив особое задание, снимался с места, чтобы уйти в горы, у них появился новый боец. Он протянул командиру записку от генерала, и Кутасову ничего не оставалось, как, скрыв недовольство, принять его в свой отряд. А причины недовольства были ведь существенные. Мало того, что в отряд входил новый человек. Мало того, что Кутасов получил одно из самых ответственных заданий. Мало того, что им предстояло под самым носом врага пробраться в глубину гsr...

У нового бойца торчком стояли нагрудные карманы гимнастерки, что сразу выдавало в нем женщину. А когда она, пробираясь среди колючих горных кустарников, оставила на ветке свою пилотку, ниже пояса упали две толстые черные косы, туго перехваченные в конце шнурками от ботинок. Глаза ее светились нежно и мягко, а говорила она так гортанно и певуче, что командир стал с опаской поглядывать на бойцов, которые заметно оживились с появлением в отряде девушки. «Этого еще не хватало. Мало мне забот...» думал командир и про себя ругал старого генерала. Даже ее нерусское имя Сулайсат раздражало командира. Сулайсат тоже была недовольна командиром. Она видела, как собирал он у себя бойцов, по одному и всех вместе, как подолгу о чем-то говорил с ними, а ей оставалось только рвать цветы в горах, словно она приехала сюда на прогулку. Привыкшая к военной дисциплине, она, однако, не смела выказывать недовольство и только в письмах изливала свою обиду.

«Дорогой Сайгид,— писала она на фронт мужу,— от нашего отряда осталось только несколько человек. Я была ранена (в третий раз), а после госпиталя меня отправили с маленькой группой в горы. Здесь, совсем как у нас в Дагестане. Только командир не хочет меня признать, и поэтому все бойцы смотрят на меня, как на девчонку...»

Однажды, когда она писала письмо Сайгиду, к ней подошел командир и приказал следовать за ним.

Сулайсат засуетилась, сунула письмо под подушку и, схватив пилотку, побежала за командиром. Он шел в горы, туда, где они поднимались уступами, задевая облака. Сулайсат молча шла за ним. И она вдруг забыла о том, что сейчас война, что совсем близко, за этой каменной грядой притаились немцы, и, если ветер подует в эту сторону, можно услышать резкую, отрывистую речь и отдаленный лай овчарок. Эти голые отвесные скалы, эти глубокие темные ущелья, это журчание родников, рев стремительной горной реки — все напоминало Дагестан.

Ее воспоминания прервал Петр Алексеевич.

— Иногда иголка бывает полезнее штыка. Занозу штыком не вытащишь, а иголка тут кстати,— произнес он, медленно роняя каждое слово и этим подчеркивая его значение.

Сулайсат молчала. Она ждала, что он добавит что-нибудь еще, разъяснит смысл своих слов, но он тоже молчал, и тогда она спросила робко:

— Как вас понимать, товарищ командир? — Она уже чувствовала, что не зря привел он ее сюда, что он чего-то ждет от нее, надеется на ее помощь, и боялась: вдруг командир примет ее молчание за трусость, вдруг рассердится на нее за недогадливость. И, подавшись вперед, сказала громко: — Я готова выполнить любое задание, товарищ командир.

Командир помолчал, окинул ее взглядом, словно оценивая, на что она способна:

— Выполнить-то мы все готовы, да только как. — Он сел на камень, опустил голову. Медленно, как бы в раздумьи продолжал: — Мы, мужчины, не в силах ничего придумать. А надо во чтобы то ни стало перебраться на ту сторону, в тыл врага, и добыть сведения о расположении войск противника.

— А если через ущелье? — предложила Сулайсат. — Только как?

— В том-то и дело, что как.

Оба посмотрели в сторону пропасти, разделяющей две горы.

— Сколько метров между горами?

— Семь, — сказал командир. И добавил, не отрывая глаз от пропасти. — И сорок пять глубины...

— У нас есть веревки и крючки? — быстро спросила Сулайсат.

Командир посмотрел на нее с любопытством.

— Если забросить на ту сторону крючок с веревкой, то я переберусь туда даже по самому тонкому канату, — закончила она, теряя уверенность под его откровенно насмешливым взглядом.

Кутасов молчал. И тогда, словно вспомнив главное, она сказала:

— Я канатоходец, товарищ командир.

И тогда он захохотал. Эхо подхватило этот звук, и, казалось, горы вокруг надрываются от дикого хохота. Даже собаки залаяли по ту сторону пропасти.

— У нас найдутся крючки и веревка? — беспомощно повторила Сулайсат.

— У нас не цирк, — сказал командир, оборвав смех.

Не успело солнце подняться с вершины горы, как в пещере натянули канат и Сулайсат стала тренироваться. Правда, пещера была невысокой, всего два метра, так что Сулайсат не испытывала страха. И все-таки с трудом прошла она по канату: ноги у нее дрожали, она наклонялась то в одну, то в другую сторону. Еще бы, ведь с тех пор как началась война, она ни разу не тренировалась. Многого не хватало ей в этой сырой, полутемной пещере с нависшими сводами: где та публика, что восторженно одобряла каждый ее шаг? Где возгласы ребятишек? Где просторное небо над головой? Но больше всего не хватало музыки.

И все-таки вскоре дела пошли на лад. Все увереннее переступала она по канату, обхватывая его ступнями, словно когтями птица. Вот она откинула голову назад, представляя себя в яркой блестящей одежде на многолюдном гуне, освещенном солнцем. И зазвучал в сердце знакомый мотив. И вот уже раздалась возгласы восхищения и хлопки в такт движению и незримой мелодии. Это хлопали солдаты. Обросшие, измученные войной, они смотрели на нее сейчас так, как дети смотрят сказку.

— Ну и ну, — только и промолвил Петр Алексеевич, привлеченный веселым шумом. Он остановился, помолодевший, счастливый, словно получил письмо из дома.

А на третьи сутки ночью вышла Сулайсат на боевое задание. Это был самый опасный трюк в ее жизни. На такую высоту она, конечно, никогда не поднималась. Командир и два бойца проводили ее до ущелья. Петр Алексеевич сам надел ей на плечи вещевой мешок с минами и гранатами. Они посидели несколько минут на камнях, как это положено перед дорогой, чтобы она была удачной, а потом командир сказал: «Пора».

Они дошли до самого края ущелья, и два бойца с двух сторон поддерживали вещмешок, когда она ступила на канат, и пока хватало вытянутых рук, все поддерживали равновесие, а когда она оторвалась от них и, покачиваясь, пошла туда, в пустоту, так и стояли минуту с вытянутыми руками, готовые поддержать ее, если она упадет.

Она шла в темноту, раскинув руки, как пловец, медленно отдаляясь от своего «берега». Она шла над пропастью, и сорок пять метров глубины, казалось, притягивали ее.

Первый раз в жизни она боялась, что упадет. Тринадцать лет легко и уверенно танцевала Сулайсат на канате, и никогда ей не приходила в голову мысль, что она может упасть. Правда, однажды это все-таки случилось. Но тогда ее спасли. А сейчас? Кто спасет ее, если случится это сейчас? Она знала, что три пары глаз за ее спиной напряженно всматриваются в темноту. Но они бессильны ей помочь. А где те руки, что спасли ее тогда, на гумне?..

Так думала Сулайсат, переступая по канату и тихонько напевая любимую песенку. И перед глазами ее были не темные выступы гор, не подмигивающие звезды, не клубящийся темными волнами ночной воздух, а свет, солнце, летний день, парящее небо, гумно, полное народу... И жизнь в ее воспоминаниях началась с того дня, когда она впервые увидела Сайгида.

У горцев есть пословица: «Потерянный день весны лучший край года режет». Однако в этот весенний день никто в ауле Гелиб не вынес плуг в поле. В этот полдень, празднично одетые, спешили люди на гумно, чтобы занять места. Еще со вчерашнего вечера здесь были натянуты канаты. Старый Абакар сам их установил, и сам первым под радостные возгласы ребят прошелся по канату и даже попрыгал на нем, чтобы проверить прочность. Но юношу, о котором летела слава из аула в аул, еще никто не видел. Юного канатоходца Абакар спрятал так надежно, что даже кунак, у которого они остановились, не видел его. О красоте, молодости и ловкости канатоходца говорили накануне вечером у каждого очага. Утром женщины встали на заре, чтобы пораньше управиться с домашними делами.

А день выдался как на заказ. Весна с равнин поднималась в горы, на склонах чернели свежевспаханные земли, и бил в ноздри запах перевернутых пластов. Собравшись нравилось все: и этот весенний острый запах, который веселит молодых и напоминает о юности старым, и свежий легкий ветерок, и птичье пенье. То ли в другие дни некогда было слушать птиц, то ли сегодня они пели особенно.

Выступление канатоходца было назначено на тот час, когда солнце поднимется на высоту, равную длине меча, но народ на гумне собрался загодя. Фельдшер Сайгид думал, что он опоздал. Надо же было старой Чакар именно сегодня вызвать его к себе, чтобы он срочно вылечил ей ноги от ревматизма — «хоть на денек, чтобы поглядеть на этого канатоходца». Конечно, Сайгиду не удалось вылечить ей ноги, но зато он на руках принес ее на гумно. Кто-то крикнул: «Чакар» — и все повернулись в их сторону. Люди расступились, пропуская вперед Сайгида, кто-то расстелил на земле толстый платок, и Сайгид посадил на него Чакар.

Так и пропустили они тот момент, когда вышел канатоходец. Потому никто и не видел, откуда он появился. Словно спустился с неба. Заиграла зурна, застучали, отбивая дробь, палочки барабана. А канатоходец со своим клоуном, переодетым в волка, на пальцах прошелся по кругу. И все стали хлопать в ладоши в такт танца.

Сайгид не сводил глаз с юного канатоходца. Был он небольшого роста, гибкий и тонкий, одет в черные атласные шаровары и зеленый парчовый жилет, из-под которого виднелась белая рубашка, до подбородка застегнутая на мелкие пуговицы. На голове красовалась папаха из серого каракуля. Через левое плечо была переброшена длинная нить тре-

угольных саба из разноцветных кусков атласа, скрепленных бусинами. Поэтому казалось, будто на плечо юноши упала радуга. Солнечные лучи вспыхивали в стеклянных гранях бус.

Нежное лицо юноши светилось улыбкой.

Вздых восхищения прошел по толпе.

Между тем канатоходец подпрыгнул и перевернулся в воздухе, как горный орел.

— Смотри, словно по земле ходит!

— Совсем еще ребенок, даже пушок не виден над губой,— зашептали в толпе.

А веселый «волк» кувыркался по земле, выкрикивая имена аульчан и протягивая им медный таз. Звонко стучали монеты. Только Абакар не разделял общего веселья. Нервно, напряженно прохаживался он возле каната, вскидывая руки, как бы поддерживая своего любимца. Да, любил его Абакар нежной отцовской любовью. Уже тринадцать лет они, как говорится, пьют чай из одной пиалы и кладут головы на одну подушку. Жив в его памяти тот день, когда он впервые увидел маленького Сурхая. Это было в одном высокогорном ауле. Абакар осматривал место, чтобы установить канаты, и вдруг услышал смех. Оглянувшись, он увидел, что у ворот собралось несколько человек. Они хлопали босоному оборвышу, который тихо вертелся перед ними. В глазах мелькала только большая папаха да кружащиеся лохмотья. С крыш ему под ноги со звоном падали монеты.

Наконец мальчишка остановился и стал собирать монеты. Абакар подошел поближе и положил ему в папаху трехрублевую бумажку: уж он-то знал цену бродячей жизни и заработанного рубля. «Вах!» — радостно воскликнул мальчишка и засунул деньги за пазуху.

— Чей? — спросил Абакар, кивнув на маленького оборвыша.

— Да нищий,— ответил кто-то,— сегодня только появился в ауле.

Сколько Абакар ни уговаривал Сурхая стать его сыном, тот угрюмо молчал да глядел исподлобья диковатыми косыми глазами. Но увидев, как Абакар ходит по канату, сам прибежал к нему вечером: «Хочу танцевать... как ты».

С того дня Абакар обрел сына, а Сурхай отца. Настоячиво учил Абакар мальчика своему древнему искусству. Сколько раз он падал в воду с каната, перетянутого через реку. Сколько набил ссадин на коленях, когда, сорвавшись, ударялся о твердую землю, а то и о камень...

— Какой молодой! Какой смелый!

Воспоминания Абакара прервали восторженные крики зрителей. Это Сурхай исполнял свой любимый номер: танец с кинжалами. Зажав зубами отточенное лезвие, он так быстро перебирал ногами, что казалось, будто ступни его даже не касаются каната.

— Что за шайтан! — кричали старики.

— О аллах, опусти свое крыло, сохрани его от дурного глаза,— шептали старухи.

А зурна звучала все звонче, все сильнее бил барабан. Все острее блеснул на солнце кинжал, зажатый в зубах канатоходца. Вот уже Абакар бросил Сурхая черный платок, и тот, подхватив его на лету, быстро завязал им глаза, продолжая свой опасный танец.

Восторгу толпы не было предела. «Волк» только и успевал собирать деньги в медный таз. Сайгид незаметно вышел из толпы и подошел почти к самому канату.

Что за щедрые люди в этом ауле! Даже видавший виды Абакар был поражен таким успехом. И он подал знак Сурхая, чтобы тот исполнил свой самый опасный номер.

С привязанными к ногам обнаженными клинками юноша должен был перевернуться в воздухе и встать в плоский таз, поставленный на канат. Некоторые от волнения и страха закрывали глаза. Но движения

Сурхая были такими непринужденными, так светло и весело улыбался он зрителям, что постепенно все успокоились, как вдруг...

Когда, дважды перевернувшись в воздухе, он должен был ступить ногами на дно таза, его левая нога коснулась дна на мгновение раньше чем правая. Таз перевернулся, и Сурхай полетел вниз.

Закричали женщины. Сайгид, не помня себя, подхватил юношу. И вот уже они оба лежат на земле.

— Сглазили! Сглазили! — закричали женщины, подбегая к ним.

— Сайгид, сын мой, ты жив? — закричала и Аша, мать Сайгида. Рассталкивая локтями людей, она припала к сыну и тут увидела на его руке кровь.

— Пустяки, мама, — пытался успокоить ее Сайгид, снимая с брюк резиновый пояс и перевязывая им руку выше локтя.

Абакар, бледный, как мел, молча пытался снять клинки с ног Сурхая. Когда же у Сурхая началась рвота, Сайгид отстранил Абакара и сказал:

— Тише! Ему вредны ваши крики. У него, наверное, сотрясение мозга. Надо отнести его к нам домой.

— Вот мой платок! — И Аша протянула сыну плед. Четверо мужчин, держа углы пледа, хотели поднять Сурхая, но Сайгид отстранил их. Он сам отнес юношу домой и целый день просидел у его постели. К вечеру больному стало лучше, а перед сном он даже выпил стакан кислого молока. Сурхай почему-то дичился Сайгида, подтягивая одеяло к подбородку, как только тот подходил к постели. А когда тот давал лекарство, он настороженно отодвигался к стенке и оттуда протягивал руку, чтобы взять таблетку или стакан. Его глаза пугливо следили за фельдшером, когда он ходил по комнате.

Всю ночь не спал фельдшер, пытаясь разгадать тайну канатоходца. Всю ночь не спал Сурхай, пытаясь скрыть свою тайну от Сайгида. А утром между ними произошел такой разговор.

— Скажи, трудно стать канатоходцем? — спросил Сайгид, протягивая ему лекарство.

— Канатоходцем?.. — удивился Сурхай. — А почему ты спрашиваешь? Тебе ведь уже поздно.

— Неужели никакой надежды? — улыбнулся Сайгид.

— А разве плохо быть врачом? — успокоил его Сурхай. — Без канатоходца можно прожить. А вот без врача... Без врача даже канатоходцу плохо, — улыбнулся и Сурхай.

— Возьми меня своим личным доктором. А то вдруг опять упадешь, — сказал Сайгид, присаживаясь на край постели.

— Спасибо. Ты спас мне жизнь, — сказал Сурхай, отодвигаясь к стене. И вдруг заплакал.

— Что ты, что ты? — испугался Сайгид. — Я так счастлив, что ты... что ты не он, а она.

Сурхай заплакал еще сильнее.

— Скажи мне, как твое настоящее имя? — спросил Сайгид.

И Сурхай ответил:

— Сулайсат!

Успокоившись, Сулайсат рассказала ему свою историю. Она была дочерью аварки и красного партизана. Шел тяжелый для Дагестана двадцать пятый год. Когда после гибели отца вскоре умерла и мать, она осталась одна. Последние слова ее матери были такими: «Меня не любили в этом ауле, осудили за то, что я воевала в отряде вместе с твоим отцом, красным партизаном. Если тебе скажут плохое про мать, ты не верь. Девочку легче обидеть. Оденься мальчишкой и уходи отсюда». Как только мать отвезли на кладбище, Сулайсат надела папаху, отцовские галифе и убежала из своего аула. В первый день она ничего не ела. А когда, усталая и голодная, пришла в чужой аул, то увидела маль-

чика, который ел кусок мучари. Сулайсат подошла к нему близко и смотрела, как он ест. А кусок в руках мальчика все уменьшался. И тогда она спросила: «Ты умеешь танцевать?» «Нет, а ты?» — заинтересовался мальчик. «Хочешь, я потанцую, а ты мне дашь откусить», — предложила Сулайсат. Мальчик согласился и честно отдал ей оставшийся кусок. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Сулайсат», — ответила девочка, забыв, что на ней мальчишеская одежда. Мальчик расхохотался. «Это же девчонье имя! Наверное, Сурхай?» «Ага, Сурхай», — повторила Сулайсат. Так и ходил Сурхай из аула в аул, пока Абакар не взял его к себе и не назвал сыном. Она так привыкла к своему новому положению, что даже забыла о том, что родилась девочкой. Доверчивый Абакар ничего не подозревал, а другие и подавно: ведь они, странствуя по аулам, не имели постоянных друзей, а взгляд чужих людей не мог быть столь пристрастным, чтобы угадать в юном канатоходце девушку. И вот теперь Сайгиду открылась ее тайна. Сулайсат поняла это в тот самый миг, когда фельдшер подхватил ее, падающую с каната. Всю ночь она мучилась мыслью: догадался Сайгид или нет? А когда узнала, что догадался, почувствовала неожиданное облегчение.

— Неужели Абакар не догадывался? — спросил Сайгид, когда она кончила свой рассказ.

Девушка замотала головой:

— Не говори ему. Что будет, если он узнает!

Сайгид надел бурку и ушел к реке. Ему хотелось побыть одному. Сулайсат должна остаться с ним, но как уговорить ее, захочет ли она отказаться от привычной кочевой жизни, а если «да», как увести ее от Абакара? Как нанести удар старому одинокому человеку? Предложить Абакару жить с ними?.. Это было бы самое лучшее. Но вряд ли он согласится. А вдруг?.. Когда, полный этими мыслями, он на рассвете вернулся домой, то нашел пустую комнату и аккуратно застеленную кровать.

Сулайсат сбежала. Неделя искал Сайгид по аулам бродячих артистов, но никто даже не слышал о них. Наполнив хурджины сердца вместо надежды печалью и утратой, он возвратился домой.

А вскоре все поглотила лавина общего горя. Началась война.

И Сайгиду показалось, что он забыл о своей любви. Целыми днями возился он с книгами и тетрадями, перебирал старые письма, читал дневники, что-то сжигал, что-то прятал в портфель. Поглощенный этим занятием, он вдруг услышал свое имя и нехотя подошел к окну.

На крыльце, освещенном светом из окна, стоял канатоходец. Сайгид онемел от удивления. И почему-то раскрыл окно. Сулайсат перепрыгнула через окно и повисла у него на шее.

Это был самый счастливый вечер в его жизни.

— Где ты была? Я всюду искал тебя, — говорил он.

— Я знаю, любимый, — отвечала она.

— Почему же ты не откликнулась? — спрашивал он.

— Не знаю, — отвечала она.

— Ты пришла, значит, ты любишь меня? — шептал он.

— О, Сайгид, — отвечала она.

Она рассказала ему, как трудно ей было проститься со своей прежней жизнью, со старым Абакаром. «Но когда объявили войну и все мужчины стали уходить на фронт, и я подумала, что не увижу тебя больше, я поняла, что не могу без тебя».

На другой день Сайгид пошел к матери и попросил, чтобы она дала ему приданое для будущей невесты. Аша подумала, что он хочет перед отъездом на фронт посмотреть эти вещи и, обливаясь слезами, раскрыла сундук.

Когда, одетая в зеленое парчовое платье, раскрасневшись от смущения, Сулайсат вместе с Сайгидом пришла в дом его матери, Аша так и замерла у порога.

— Это моя жена, мама,— сказал Сайгид и добавил: — тебе с ней будет хорошо.

Аша села на крышку сундука, заплакав от радости и неожиданности. Она не узнала канатоходца в этой красивой девушке и подумала, что сын привез жену из другого аула, а то из города.

— Теперь хоть не одна останусь,— говорила она соседкам.— Такую красавицу привел мой сын, даже я в нее влюблена.

Но напрасно радовалась Аша и напрасно думал Сайгид, что может спокойно воевать. Он еще не знал упрямого нрава своей молодой жены. Никакие силы не могли удержать ее в ауле. Они сражались на разных фронтах и каждый раз, отправляясь в новый пункт назначения, надеялись встретиться друг друга. Сулайсат все время получала письма от Сайгида, а теперь с нетерпением ждала выполнения нового задания, чтобы вернуться в штаб и бросить ему письмо с новым адресом.

Тяжело тому, кто уходит в опасный путь. Но еще тяжелее тем, кто остается. Эта ночь, в которую ушла Сулайсат, была тревожной для всего отряда. Бойцам не спалось, они прислушивались к каждому звуку на той стороне... Но кончилась ночь и настал день, прошел день и снова опустилась ночь. И когда в четвертый раз день сменился ночью, все стали ждать. Спрятавшись за утес, бойцы смотрели на противоположную гору и искали среди громадных скал тонкую фигурку Сулайсат. Но она не появлялась.

— Смотрите! — вдруг крикнул один из бойцов и показал рукой в небо.

Там, освещая все вокруг, один за другим начали подниматься яркие столбы прожекторов. И в этом свете, осторожно ступая, шла женщина. Тонкого каната не было видно, и казалось, что женщина, одетая в мужскую одежду, ступает по воздуху. Столбы света двигались вместе с ней, и можно было подумать, что это празднично освещен купол цирка.

Немцы, видно, долго не решались стрелять, и они были потрясены смелостью Сулайсат.

Петр Алексеевич закрыл глаза. Он не знал, о чем думала Сулайсат, когда не спеша, пританцовывая, шла по канату, напевая легкую песенку.

Ночную тишину нарушил звук выстрела. Третья пуля оборвала песню. Но танец продолжался: он становился все быстрее, все лихорадочнее. Она торопилась, почти бежала к своим.

— Навстречу! — приказал Петр Алексеевич, и бойцы поползли к пропасти.

Сулайсат упала на руки командира.

— Товарищ командир... Карта... — успела она сказать, протянув руку к нагрудному карману гимнастерки.

Похоронили Сулайсат в ту же ночь в ущелье. Ее боевые друзья долго стояли перед могильным холмиком и мяли в руках пилотки с красной звездой.

— Кто-нибудь из вас знает, что означает имя «Сулайсат»? — спросил командир и обвел глазами солдат.

Бойцы молчали.

И тогда командир сказал тихо:

— «Сулайсат» — это значит «незабвенная».

Молча я записала еще одно название — «Танец над пропастью». Еще одну судьбу.

— Знаешь, Туку-даци, я задумала написать книгу о женщинах. Только пока молчок. Пусть это будет наша тайна.

— Хорошо, доченька. Даже если ты напишешь только то, что я знаю, это будет большая книга. Женщина! Она и зерно в земле и колос на стебле, она и лоза, крепко зацепившаяся за землю. Она и вино, которое хмелит самых трезвых и отрезвляет самых пьяных.

— Когда же, Туку-даци, ты мне расскажешь все, что знаешь?

— Сразу все трудно вспомнить, а еще труднее рассказать. Но подожди, расскажу. Только ты не спеши уезжать...

На краю аула нас встретила соседка тети Умужат Меседу.

— Наконец-то я вас нашла! — закричала она. — Это все ты виноват, — набросилась она на Туку. — Водишь ее неизвестно куда. Я шла пригласить вас на хинкал, моя дочь приехала.

— Не зря я держусь возле Фазу. Не она — не видать бы мне твоего хинкала, — пошутил Туку.

Взрыв смеха встретил нас на пороге. Веселье было в разгаре.

— Ого! — воскликнул Туку. — Звала на хинкал, а тут, оказывается, настоящая свадьба. Даже неудобно с пустыми руками.

— Дорогой, и завтра не поздно будет открыть дверь не руками, а ногами, — поднялся нам навстречу Али Курбан.

— Какая там свадьба, — покраснела Аминат, дочь Меседу, — уж двое детей растут. Познакомьтесь с моим мужем.

Из-за стола встал невысокий, но плечистый и крепкий мужчина с добродушным, открытым лицом. Что-то в его лице показалось мне знакомым.

— Мы раньше не встречались? — спросила я, протягивая ему руку.

— Я-то вас много раз видел по телевизору.

— Не скромничай, Бадави. И тебя могли видеть по телевизору, — сказала Аминат.

— Ах, вспомнила! — ударила я себя по лбу. — Вы же герой!

В это время подбежала курчавая девочка и повисла на руках у матери. Я смотрела на Аминат, на ее счастливое лицо и пыталась припомнить, какую она была в детстве. Но перед глазами вставало только синее с беленьким платьице. Когда я уезжала из аула, Аминат была совсем девчонкой.

От своей тети я слышала, что она теперь живет в рабочем поселке под Махачкалой, но ни разу не встречала ее там и не знала, что она замужем. А еще я смутно помнила какую-то странную историю, связанную с ее замужеством: кажется, жених отказался от нее. «Вряд ли это был Бадави, — подумала я, — очень уж у него доброе и простодушное лицо».

И я спросила, как они познакомились.

— Аминат захотелось купить зеркало, — с готовностью рассказал мне Бадави, — а вместо этого, цап-царап, схватила мужа.

— Еще неизвестно, кто кого схватил, — притворно обиделась Аминат и добавила, отстраняя мужа: — Дай-ка я сама расскажу, по порядку.

Зеркало

— Мне зеркало, — сказала Аминат с порога.

Парень, открывший ей дверь, с минуту недоуменно разглядывал ее. Наконец он сказал: «Пожалуйста» — и посторонился. За его спиной висело овальное зеркало. И Аминат увидела в нем лицо парня, скуластое, открытое, подвижное. Тут только она заметила, что он в рабочем комбинезоне, забрызганном краской, и в руке у него кисть, с которой на- текла на пол тонкая белая струйка.

— А хозяев нет дома? — спросила она.

— Я хозяин.

— Но вы же маляр, — растерялась Аминат.

— А что, маляр не может быть хозяином? — Похоже, что он обиделся.— У маляра тоже есть дом. И вообще...

— Сейчас вы скажете, что маляр это поэт и что его работа — это его песня,— насмешливо перебила Аминат.

— Нет, но...— смутился парень.

— И что вы почти Махмуд из Кохаб-Росо,— не унималась Аминат.

— Нет, я не Байрон, я другой,— подхватил он шутку.

— Это заметно,— кивнула Аминат. Она явно была сегодня в ударе.

— А что? — вдруг воодушевился парень.— Разве маляр не украшает человеку жизнь? К примеру, вы сидите в облезлой непобеленной комнате. Стены давят — на душе темно. И вдруг является маляр...

— Взмахивает своей волшебной палочкой,— подхватила Аминат,— и...

Тут она поймала в зеркале свое отражение и вспомнила, зачем пришла.

— Это мне не подходит,— кивнула она на зеркало.

— В комнате есть другое,— сказал парень, с любопытством разглядывая ее.

Аминат шагнула в комнату. Все здесь блестело: паркет, в котором отражалась мебель, и мебель, в которой отражался паркет. Лимонно сияли свежепокрашенные стены.

— Ого! — оценила Аминат.— А мне бы вы так не могли?

Парень был польщен.

— Видите эти дома? — сказал он, подводя ее к балкону. Там, за черным стеклом, горели окна. Целая россыпь света. Больше, чем звезд в небе. Аминат зажмурилась, мгновенно представив себе горы, где звезды такие низкие, что чабаны, казалось, зажигали о них свой кальян.

— Это все мы построили,— сказал парень. В голосе его прозвучала гордость.— Два года назад здесь был пустырь.

— Вы, наверное, бригадир?

Парень покачал головой. Аминат прошла к зеркалу, в нем было можно увидеть себя во весь рост.

— Это совсем другое дело.— Она наклонила голову, пристрасно разглядывая себя.

— Хотите пройти в ванную? Там еще есть,— с ехидцей произнес парень.

— Нет, меня это устраивает.

— А может, хватит,— вдруг раздраженно перебил он.

— Что хватит? — удивилась Аминат.

— Любоваться собой.

— Сколько вы просите за это зеркало?

— Чего? Какого шайтана я буду его продавать? Я его для себя купил.

— А зачем объявление вывешивали?

— Какое еще объявление?

— Очень простое. «Продается зеркало, ул. Гагарина, дом 5, кв. 18».

Парень облегченно рассмеялся.

— А я думал, вы меня разыгрываете. Это же «5а».

— А-а,— протянула Аминат разочарованно.

И в это время в соседней комнате что-то тяжело бухнулось об пол, раздался отчаянный детский плач. Парень изменился в лице. Следом за ним Аминат бросилась в соседнюю комнату. Там на полу возле дивана сидела годовалая девочка и, держась рукой за лоб, плакала навзрыд; слезы стекали по ее щекам прямо в рот. Наверное, она пыталась слезть с дивана, а может, упала во сне.

— Ай-яй-яй, папа прозевал, когда ты проснулась. Смотри-ка, и шишка вскочила.— Парень сразу показался Аминат старше, чем был минуту назад.

Она пощупала девочке лоб. И правда, шишка, большая, с добрую половину грецкого ореха.

— Холодильник есть? — быстро спросила она. Парень кивнул. Аминат выбежала на кухню и принесла кусочек льда, завернутого в носовой платок.

— Иди ко мне, маленькая. Сейчас пройдет, не будет этой противной шишки. От холодного сразу же рассасывается,— пояснила она парню. Куда девались его гордость и насмешливость! Он смотрел на девушку как на спасение.

Девочка в последний раз всхлинула и, остановив на Аминат большие глаза с мокрыми слипшимися ресницами, улыбнулась. Блеснуло четыре зуба — два сверху и два снизу. Перевесившись всем телом на руках отца, она потянулась к Аминат.

— Это она женщин любит,— сказал парень смущенно и вздохнул.

— Сейчас все пройдет,— говорила Аминат, прижимая ко лбу девочку кусочек льда.— И жена ваша ничего не заметит. А то, поди, попало бы вам...

Парень промолчал.

— Какая послушная девочка, даже не шевелится.

— Это она с вами такая, наверное, приняла вас за няню Валю из яслей.

— Она в ясли ходит?

— Ага, в круглосуточные.

— Мать, наверное, тоже работает?

Парень помрачнел. И Аминат вздрогнула от мелькнувшей догадки.

— Нет у нее матери,— наконец зло сказал он и, сунув руки в карманы, зашагал по комнате.— Разбилась... Этери и трех месяцев не было.

— Этери. Какое красивое имя! — перебила Аминат, чтобы загладить свою неловкость.— А вас как зовут?

— Бадави!

— Аминат!.. Ну, мне пора,— вдруг заторопилась она и осторожно переложила на диван задремавшую девочку.

— Так побелить вам квартиру? — рванулся за ней Бадави.

— Потом, там видно будет,— крикнула она с порога.

Ветер наметал осенние листья. Почему-то сначала они кучкой лежали вокруг каждого дерева, словно боялись окончательно оторваться от родного ствола, а потом, подхваченные ветром, улетали все дальше и дальше, медленно кружась в темном холодном воздухе.

Аминат шла по рабочему поселку мимо домов, которые выросли у нее на глазах, мимо магазинов, и думала о Бадави и Этери. Если бы ее спросили, отчего она так неожиданно и спешно ушла, она бы не смогла ответить.

Дома ее ждала телеграмма: «Еду в отпуск. Хочу увидеть тебя. Телеграфией согласен. Шариф».

Аминат устало опустилась на диван. Что ему ответить? Да, жду, приезжай. Но тогда аул захлебнется в сплетнях, решив, что подтвердилась догадка. Да и хочет ли она этой встречи? Если ответить «нет», через три дня придет письмо от матери: «Что случилось, дочка, неужели Шариф нарушил слово? В ауле все говорят, что он отказался от тебя».

Аминат вздохнула, подошла к швейной машинке и включила рабочий свет. Кусок красной шерсти торчал из ящика: это она шила себе платье к празднику, но никак не могла кончить, потому что в предпраздничные дни было много работы в ателье. Сейчас Аминат взяла в руки красную материю и, приложив ее к лицу, взглянула на себя в крохотное зеркальце. Бледное и грустное лицо смотрело на нее. Аминат ободряюще подмигнула своему отражению. И вдруг, сама не зная зачем, она взяла большие ножницы и стала перекраивать платье. Руки ее работали легко и вдохновенно. Отлетали на пол лоскуты красной материи, весело сту-

чала машинка, ровно и складно ложилась на материю строчка. Когда все было готово, Аминат достала белый кружевной воротник, который так случайно и удачно купила в Махачкале весной, и пришила его к детскому платью. Спать она легла за полночь. А платье на плечиках повесила перед собой и, засыпая, все еще видела мысленно, какое оно милое и короткое и как топорщится хорошо накрахмаленный воротник.

Будильник загрохотал над ухом, как обвал в горах. Аминат спустила ноги с постели и поморщилась, ощутив холодный линолеум. На улице был дождь, и потому, наверное, особенно хотелось спать. «И утром сидишь со светом»,—недовольно подумала она, щелкая выключателем. В глаза бросилось красное детское платье. Оно неловко висело на взрослых плечах и показалось ей каким-то жалким. «Дура я, дура, и чего ради изрезала материал. Теперь иди неси это платье чужой девочке. Представляю, как ты будешь выглядеть. Здравствуйте, я ваша тетя... Вот, сшила платьице. Не угодно ли примерить?..»

А в ателье у дверей ее поймала заказчица.

— Я к вам,—заговорщицки зашептала она.— Мне вас порекомендовала Тавшанат Мамедова. Вы сшили ей платье— ни у кого такого нет.

— Я на этой неделе не принимаю. Очень много заказов,— смутилась Аминат, она еще не привыкла отказывать людям.

— Только один раз, в виде исключения. Так хочется к празднику,— уговаривала ее женщина.

— Я сейчас Меседу позову. Она лучше меня шьет,— предложила Аминат. Но заказчица так замахала руками, что Аминат пришлось сдаться. В эти предпраздничные дни ей приходилось работать в две смены.

Не успела она разложить на столе материю, как ее вызвала к себе директриса.

— Вот,— сказала она улыбаясь,— товарищ с телевидения хочет, чтобы ты выступила в праздничном выпуске. Расскажешь о своей работе, о нашем ателье...

Аминат вспыхнула. Но отказываться было нельзя. Корреспондент, радостно улыбаясь, уже протягивал ей руку, как старой знакомой. Сначала он замучил ее расспросами. Потом, быстро набросав текст, велел выучить его к сегодняшнему вечеру, чтобы прочесть наизусть и без записочки. Ну, один раз, пожалуй, можно запнуться для естественности.

Директриса даже отпустила Аминат домой пораньше, чтобы она успела выучить текст и хорошо выглядела вечером.

А вечером Аминат вышла во двор, куда за ней должен был захватить корреспондент, и сразу же увидела машину с надписью «Телевидение». Машина была облеплена ребятишками.

— Я не опоздала? — спросила она.

— Нет, что вы. Мы только что подъехали,— засуетился корреспондент и, дернув за ручку, открыл ей дверцу. Он еще пытался посадить ее, но Аминат, смущаясь, отстранилась. Раздражение прошло, но теперь напал страх: она никогда не выступала ни по радио, ни по телевидению и чувствовала себя хуже, чем девчонкой на экзаменах.

Только она села рядом с шофером, как кто-то с заднего сиденья горячо дохнул ей в шею, и она услышала:

— Привет, Аминат.

Она обернулась. За спиной сидел Бадави.

— Вот это встреча! — говорил он радостно.

— Здравствуйте! — вспыхнула Аминат, отстраняясь от его рук, которые лежали так близко от нее на спинке сиденья.

Сейчас, в костюме и галстук, в белой накрахмаленной рубашке — Аминат сразу все это заметила, потому что он был без шарфа, а пальто нараспашку,— он показался ей красивым, как киноартист, и она еще больше засмушалась. Ее смущение передалось и Бадави.

— Я хотел спросить, как насчет побелки? — совсем некстати проговорил он.

— Почему ты звезду не надел? — перебил их корреспондент. Он, очевидно, давно знал Бадави, потому что называл его на «ты» и разговаривал с ним, как со старым знакомым.

— Да-а-а, — неопределенно ответил Бадави.

И они заговорили между собой. Аминат же, прикинув лбом к стеклу, смотрела на улицу. Она ни о чем не могла думать, волнение подкатывало к сердцу волнами, и снова она чувствовала себя девочкой, которую увозят куда-то: и хорошо ей от этого, и страшно...

Бадави больше не обращался к ней, и Аминат не знала, хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде хорошо: он не хочет смущать ее. А с другой, плохо: может, он принял ее за дурочку и решил, о чем с такой говорить... Вот и телестудия. Шофер сделал круг по двору и остановился у самого подъезда. Корреспондент снова распахнул дверцу и протянул ей руку, но Аминат прыгнула в сторону от его руки и первая решительно пошла к подъезду. И... тут же стукнулась обо что-то головой.

— Забыл предупредить, — смутился корреспондент, — у нас тут ремонт. Вечный ремонт. — И он развел руками. — Надеюсь, вы не ошиблись?

— Нет, нет, — заторопилась Аминат, потирая темя. Бадави лукаво смотрел на нее и ничего не говорил. «Наверное, вспоминает про Этери, как она набила шишку», — подумала Аминат.

В зале телестудии их посадили за маленький столик, а корреспондент сел между ними. И столько ламп надвинулось на Аминат, что ей стало жарко, как на махачкалинском пляже в июле. Она заерзала на стуле, но корреспондент положил свою руку на ее и сказал: «Спокойно! Начали!» Лампы придвинулись еще ближе, и Аминат, покосившись, увидела себя на экране телевизора, который стоял поодаль, но корреспондент и тут шепнул: «Туда нельзя. Смотрите перед собой».

Аминат замерла, как окаменела. Слово сквозь толщу воды слышала она жизнерадостный голос корреспондента: «Сегодня у нас в гостях бригадир коммунистического труда, секретарь комсомольской организации, закройщица швейной мастерской рабочего поселка «Спутник» Алиева Аминат Каримулаевна и самый молодой Герой Социалистического Труда Дагестана маляр Саадулаев Бадави Гиреевич».

Так вот кто сидит здесь вместе с ней! Так вот с кем она познакомилась при столь нелепых обстоятельствах!.. Первый раз в жизни она видела живого героя. Да что видела, разговаривала с ним, как с равным.

Пока корреспондент говорил, она искоса наблюдала за Бадави. Как непринужденно он держится, небось привык выступать. Аминат снова вспомнила, что на них сейчас смотрит весь Дагестан, и почувствовала, как струйка пота поползла между лопатками.

Но вот корреспондент кончил говорить. Он широко улыбнулся и передал слово Бадави. Камера надвинулась на него. А корреспондент в это время шепнул Аминат, чтобы она готовилась да не шуршала бумагами и постаралась пореже смотреть в них, а то зрители заметят и догадаются, что у нее все заранее записано. Аминат вспомнила, как женщины порой говорили презрительно: «По бумажке читает...» — и покраснела. Она не помнила, как кончил Бадави, как корреспондент подтолкнул ее, как раскрыла рот, словно бросаясь в воду, и хрипло произнесла первую фразу. Где-то в середине речи она вдруг почувствовала: забыла, да, ничего больше не помнит, пустота. Но в следующий миг, который ей показался часом, слова обтекаемо и ясно всплыли в памяти.

Очнулась она, когда погасли лампы и отхлынул жар. Аминат поняла — всё. И вопросительно посмотрела на корреспондента.

— Все было прекрасно, — весело сказал он.

И Аминат тоже стало весело. А проходя по коридору, она громко поздоровалась с дикторшей, словно со старой знакомой. По дороге домой она болтала с Бадави: правда, теперь они были одни, если не считать шофера, потому что корреспондент простился с ними на студии, спрашивала про Этери и даже хотела рассказать ему про красное платье, но вовремя спохватилась. Шофер сначала завез домой ее, но Бадави слез вместе с ней и махнул шоферу, чтобы тот уезжал.

Шофер дал газ, и машина исчезла. И тут они остались одни в пустом дворе перед зажженным квадратом подъезда. И Аминат снова оробела.

— До свидания! — сказала она неуверенно.

— Почему же до свидания? — возразил Бадави. — Я должен посмотреть твою комнату, чтобы решить, какой здесь нужен ремонт.

Они поднялись на четвертый этаж, и Аминат, порывшись в сумочке, достала ключ. Щелк-щелк, дважды повернулся ключ в замочной скважине, и звук этот, такой знакомый, почему-то испугал Аминат. Он показался ей слишком громким, и она со страхом покосилась на двери рядом: вдруг оттуда выскочит соседка и увидит, что к ней зашел мужчина.

Бадави как ни в чем не бывало развалился на диване.

— Ну, — сказал он, — может, ты предложишь мне чаю?

— Извини, — сказала Аминат, — я такая недогадливая. — И она ушла на кухню ставить чайник. Непринужденность ушла. Смущение жгло ее. Впервые она пригласила в свой дом мужчину.

Когда она вернулась в комнату с дымящимся чайником в одной руке и чашками в другой, Бадави вскочил, чтобы помочь ей накрыть на стол. В глаза ему бросилась телеграмма, лежащая на столе.

Он многозначительно посмотрел на девушку.

— Да, это мой друг, — сказала она, краснея.

Бадави промолчал. И пока она расставляла чашки и носила из кухни то сахар, то масло, то хлеб, и пока разливала чай, он все молчал.

— Пей, Бадави, — сказала Аминат и сама положила сахар ему в чашку.

Он нехотя отхлебнул, отодвинул чашку.

— А что тебе скажет твой друг, если узнает, что ты поишь чаем чужих мужчин? — вдруг спросил он и быстро, исподлобья взглянул на нее. И во всем его облике, даже в том, как он сидел, обвиснув над столом, была такая обида, что Аминат рассердилась.

«Какое он имеет право обижаться на меня, — подумала она. — Мало того, что ворвался ко мне ночью и соседи теперь могут подумать бог знает что, мало того, что я тут пою его чаем, он еще читает чужие телеграммы, а потом обижается, как будто я его жена, да притом неверная». Возмущение тяжело поднялось в ней, как тогда, в ауле, два года назад. Словно в кувшин, полный до краев водой, упало еще две капли, всего две малые капли, и вот ровная поверхность воды, дрогнув, раскололась и вода полилась через край. Все обиды последних лет вспыхнули в ней. «И он тоже думает обо мне плохо», — билось в сознании.

— Да, да, да, — вдруг закричала она. — Да, на мне лежит пятно позора. Он приезжает для того, чтобы смыть с меня этот позор. Он меня не любит. Он хранит дагестанский намус. Честь прежде всего! Теперь ты понял? Уходи! — Она проговорила все это скороговоркой. Глаза ее горели, она наступала, тесня его к двери. А Бадави, пятясь, шептал испуганно:

— Что ты, что ты, успокойся...! Я ничего такого не думал...

А потом они сидели на диване, и Бадави гладил ее по голове и просил: «Ну, помолчи, не надо, я ничего не хочу знать». А она отталкивала его руку и все говорила, говорила и не могла остановиться...

— В ту весну я кончила восьмой класс, и все ученики нашей школы после последнего экзамена отправились в горы. День был такой ясный,

солнечный. Солнце весеннее, еще не слепящее, а мягкое. Горы вдали голубели сквозь дрожащую дымку. Мы все выросли в ауле и, конечно, не в первый раз были в горах. Но в тот день настроение у всех было особенное: и экзамены сданы, и впереди лето, и погода на славу... Мы веселились всю: валялись на траве, скатывались с зеленых склонов и хохотали как угорелые.

Сначала все шли вместе, гурьбой, а к вечеру разделились на пары. Не знаю почему, но я оказалась с Шарифом, нашим соседом по дому. Мы росли рядом и хорошо знали друг друга. Только Шариф был немного старше; он в том году окончил десятый класс.

И вот Шариф стал рассказывать мне, что мечтает стать капитаном, что он уже написал письмо в Ленинград и ждет ответа. Он описывал моря и океаны, говорил о штормах, о баллах, о кораблекрушениях, об атомных кораблях и подводных лодках... Рассказывал он так интересно, что я слушала, разинув рот. Так мы шли и не заметили, что лес стал совсем густым, были в нем огромные деревья, поваленные грозой, и высокие папоротники. «Ой,— сказала я,— это прямо доисторический лес. Я здесь никогда не была, а ты?» Шариф огляделся и признался, что тоже, кажется, не был. Он сложил ладони рупором и закричал: «Ау!» От его крика разлетелись птицы. Но никто нам не отозвался. Я испугалась и тоже стала кричать, но ответа не было...

В общем, весь вечер мы пробродили в поисках дороги. Когда уже совсем стемнело, Шариф разжег костер. Мы сели у огня, Шариф стал развлекать меня новыми историями. Теперь он рассказывал о купце Афанасии Никитине, который пешком дошел до Индии. Я очень удивлялась и тому, что он пешком добрался до Индии, и тому, что Шариф так много знает. Этот дремучий лес, обступивший нас, красный отсвет костра на лице Шарифа, вскрики совы где-то близко — все было так романтично. Я совсем перестала бояться и даже рада была, что мы заблудились. А потом Шариф натаскал еловых веток и расстелил на них свой пиджак. Я легла на него, спиной к огню, а Шариф сказал, чтобы я спала, а он будет поддерживать костер.

Утром, когда я проснулась, птицы уже пели всюю. А Шариф вышел из веток и сказал, что он нашел родник, теперь можно попить и умыться.

«Ура! — закричала я. — Приключение продолжается». Когда мы наконец-то нашли дорогу и вышли к аулу, еще издали я увидела, что на улицах полно народу, и не сразу поняла, что это из-за нас. Кто-то увидел нас и закричал, и вот уже навстречу бежали моя мать и тетка, сестра отца. Но мы уже входили в аул, и люди стали окружать нас.

«Вы, наверное, волновались, а мы живые и невредимые. До чего хорошо в лесу, и совсем не страшно», — выпалила я радостно, но никто почему-то не разделял моего восторга. Тетка больно ущипнула меня за руку и сказала: «Молчи, ты опозорила нас».

Только мы переступили порог дома, она сразу же набросилась на меня с кулаками. «Ты опозорила наш род, ты запятнала честь наших женщин!» — выкрикивала она. Я все еще ничего не понимала, пока не услышала слова матери:

— Ты ночевала с чужим парнем. Весь аул теперь гудит, как улей, в который попала чужая пчела. Зачем, доченька, ты с ним осталась? Разве ты не знаешь людских языков?

— Но мы заблудились, — сказала я.

— Почему другие девушки не заблудились, а ты заблудилась?! — кричала тетка. — О проклятая, лучше бы принесли на бурке твой труп!

А вечером к нам пришли соседи: мать, отец и дедушка Шарифа. С опухшим от слез лицом я лежала на диване в другой комнате и слышала, как они разговаривали с матерью. Голова у меня разламывалась, слова доносились, словно со дна глубокого ущелья.

— Халимат,—обращаясь к моей матери, важно говорил дедушка Шарифа,—если птицу ударить камнем, она погибнет. Мы не допустим, чтобы из-за нашего парня тень упала на вашу дочь. Мы заставим Шарифа жениться на ней. Свадьбу справим, все, как положено.

— Спасибо вам,—униженно отвечала мать,—Какой у вас высокий горский намус!

— Валах, сестра Халимат, я никогда не делал людям того, чего себе не желал бы,— снова звучал голос дедушки Шарифа.— За эти часы у меня, кажется, совсем поседела голова. Людям дай только одно зернышко, так они будут молоть его до тех пор, пока из него не получится гора муки. Огонь у них на языках, а слова льются, как вода через край котла.

— Что и говорить, опозорилась моя дочь,— всхлипнула мать,— спасибо, что смываете с нее это пятно.

Не помня себя, я выбежала к ним. Я вся дрожала, и голос у меня срывался.

— Не опозорила я себя, слышите, нет! Если мутные потоки льются с гор, так что мне, утопиться в них? Если огонь на гнилых досках, так мне, по-вашему, сгореть в этом огне? Не пойду замуж, хоть убейте!

Мгновение все молчали, как будто я вылила на них кувшин холодной воды. Первой опомнилась тетка.

— Закрой свой бесстыжий рот,— бросилась она на меня.— Знаешь ли ты, что твоя голова полетит, как спелое яблоко с ветки, если твой отец узнает об этом?

Бешенство охватило меня. Я готова была кусаться, драться, бросаться на тетку с кулаками.

— Нет у меня отца! Я его еще ни разу не видела!..

— Доченька, успокойся, это же единственный выход. Если не Шариф, так кто теперь на тебе женится? — заплакала мать. Она увела меня, уложила на диван и долго еще плакала надо мной.

Но я уже не могла говорить, не было сил. Выросла я с матерью. Отец ушел от нас, когда я только родилась. Он уехал в город, и я ни разу не видела его. В школе я поняла, что у других детей есть и мама и папа. Я очень переживала, что у меня только мать. Долгими вечерами, глядя перед собой на стену, где висела картина — Чапаев на коне, вырезанная из книжки, я представляла себе отца то Чапаевым, то учителем Хазбулатом. Потом я выросла и забыла об отце, и вот теперь тетка, которую я терпеть не могла за ее злобность, напомнила о нем. Прошло несколько дней. Никто к нам не приходил, и мать стеснялась выходить на улицу. В доме было уныло и тихо. Наконец в одно прекрасное утро я возмутилась: «И чего это ради я сижу дома, словно наказанная», — подумала я и, нарочно надев самое нарядное платье, с кувшином побежала к роднику. По дороге я встретила одну женщину и громко поздоровалась с ней, но она, опустив глаза, прошла мимо. У родника еще издали я заметила людей, они что-то громко обсуждали. Но когда я подошла и поздоровалась, замолчали и торопливо ушли. Я слышала, как одна из них сказала другим: «Вот бесстыжая сорока, ведет себя так, словно это не она, а мы опозорились». «А нарядилась-то, — сказала другая. — Я бы на ее месте пряталась от людей». И все-таки я нарочно возвращалась домой самой длинной дорогой. Люди стояли у ворот, и я чувствовала спиной их раздраженные взгляды. И тогда первый раз в жизни мне стало страшно. «Что плохого я сделала этим людям, за что они так ненавидят меня?» — подумала я.

Я никогда не задумывалась над тем, какие люди в нашем ауле: люди как люди. Каждого я знала с детства, почти у всех бывала дома, и все

относились ко мне хорошо. И вот теперь мир повернулся ко мне обратной своей стороной. «Неужели вся беда в древних адатах? — размышляла я. — Но ведь теперь другое время, обычаи эти устарели. Неужели я должна выйти замуж за нелюбимого только для того, чтобы положить конец сплетням? Нет, нет, здесь что-то не так».

А ночью случилось неожиданное. Проснулась я от резкого стука в дверь и вскрика матери: «Каримулаг!» Не сразу до меня дошел смысл этого имени.

Я услышала шаги и, подняв голову, увидела, что в комнату входит высокий мужчина с черными усами.

— Говорил тебе, отдай мне дочь. Не сумела ты ее воспитать. Даже в городе меня настигла эта черная весть, — сказал он.

И я поняла, что передо мной отец. Так вот как встретились мы с ним! Мать, наконец, пришла в себя и сказала, стараясь казаться спокойной:

— Хватит, Каримулаг, и у самой высокой горы есть вершина, и у самой глубокой пропасти — дно. Не испытывай мое терпение. Шестнадцать лет прошло, как у тебя не стало дочери.

— А ее позором меня клеймят до сих пор, — возразил отец и вдруг закричал: — Убью, если не пойдет замуж.

— Попробуй только, — закричала и мать. Она двинулась на него, маленькая и сильная. И под ее напором отец отступил.

— Другая на ее месте в пропасть бы бросилась, — проворчал он, уходя.

— Ступай, ступай к своей длинноязыкой сестре. Это она растрезвонила по всему аулу, — говорила мать, провожая его к дверям.

После этой ночи все люди, включая собственного отца, казались мне ужасными. Даже в подругах я разочаровалась, потому что, боясь сплетен, они перестали заходить ко мне. Однажды на улице я встретила свою одноклассницу Нупайсат. Мы разговорились. И вдруг, как молния среди ясного неба, налетела ее мать и, схватив за локоть, потянула домой. Я слышала, как она сказала дочери: «Не смей с ней разговаривать. В лужу наступишь — грязью забрызгаешься».

И тогда я поняла, что больше не могу: не могу жить в этом ауле, среди этих людей, не могу видеть стены своего дома. Ночью, когда уснула мать, я сложила в чемоданчик свои вещи и, нацарапав записку при свете луны, ушла из дома. До утра я простояла на шоссе на дороге, которая вела в город. Наконец, одна попутная машина взяла меня. В городе я отыскала женщину, которая когда-то приезжала к нам в аул в отпуск. Сначала пожила у нее, а потом, когда поступила ученицей в ателье, сняла комнату. Шить я любила с детства — бабушка приохотила. От заказчиков отбою нет. В прошлом году вот и квартиру получила. И Шариф пишет, замуж зовет, — Аминат усмехнулась, — не виноват он ни в чем. Да только после всего не лежит к нему душа.

Она взглянула на Бадави. Он ломал пальцами спички, и на диване между нею и Бадави лежала целая горстка сломанных и обгрызенных спичек.

— Аминат, — поднял он голову. — Я пойду. Поздно уже, да и тебе пора спать. — Она посмотрела на него удивленно: неужели он так и уйдет, ничего больше не сказав ей?

— Ну, — он задержался на пороге и снова повторил: — Ложись. Два часа.

И только когда он ушел, Аминат почувствовала, как она устала. Словно целую жизнь прожила за этот вечер.

На другой день Бадави не появился, и через день не появился. Днем ее спасала работа, привычная суэта ателье. А вечером нападала тоска. Домой идти не хотелось, а бродить по улицам было холодно. Уже при-

ближались ноябрьские праздники, и на площади в центре города рабочие укрепляли транспаранты и лозунги. Закинув голову, она смотрела, как по веревке поднимался вверх фанерный щит, обернутый в красное полотнище... Как любила она девчонкой эти дни! Всегда первая вывешивала на крыше красный флаг, а снимала его последней. Как гулко и пустынно сейчас гремели ее шаги по асфальту. Каким одиночеством отдавался этот звук в ее ушах.

Дома она вдруг поняла: Бадави больше не придет. И тогда она зажгла свет везде-везде: и в кухне, и в прихожей, и в ванной, чтобы не было так тоскливо. Вдруг раздался звонок. Аминат вздрогнула. Краска залила ее. И схлынула: ведь это могла быть соседка. Звонок повторился. Он был настойчивым и нетерпеливым. Аминат, даже не спросив привычно «кто там», щелкнула замком и рванула на себя дверь.

— Мне зеркало! — выдохнул Бадави и обнял ее.

Утром следующего дня Туку встречал меня на крыльце.

— Фазу, не думай, что я назойлив и нуден, как овод,— виновато сказал он.— Но не хочется без тебя идти в горы.

— О чем ты, Туку-даци.

— Знаешь, сегодня Меседу решила вести свою внучку Этери в пещеру Гульшанат.

Гульшанат! Чем-то родным, давним, полузабытым повеяло на меня от этого имени.словно с тех горных лугов, где я не была с детства, ветер донес слабый и нежный запах цветов.

— Принято вести туда девочек, когда они сделают первый шаг,— продолжал Туку.— Конечно, Этери уже большая. Но Меседу все равно хочет сводить ее туда.

— А зачем? — спросила я.

— Как зачем? — удивился Туку.— Ты что, не слыхала про Гульшанат?

И тут я вспомнила: ребенок в люльке, подвешенной к потолку, тесная сакля, полная народу. Кто-то подхватывает меня под мышки и поднимает, чтобы я посмотрела ребенка. У девочки некрасивое, сморщенное лицо.

Моя мать говорит: «Пусть она растет украшением рода. Пусть будет преданной женой и самоотверженной матерью, как Гульшанат».

«А кто такая Гульшанат?» — хочу спросить я, но рот у меня набит кашей из кураги.

— А кто такая Гульшанат? — спрашиваю я, спустя тридцать лет.

— Неужели ты и вправду не знаешь? Ай-яй-яй,— цокает языком Туку.— Тогда потерпи. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать.

Когда мы с Туку вышли за ворота, целая толпа уже поджидала нас. Можно было подумать, что проводится важное общественное мероприятие.

Впереди всех — сияющий Бадави с сыном на руках. На Этери все было изумрудного цвета: и парчовое платье, и маленькое легкое гурмендо, и мягкие туфельки.

— Когда вы все это успели? — спросила я, кивая на ее наряд.

— Меседу и Аминат целую ночь не спали,— ответил Бадави.— Как будто нельзя было завтра пойти. Мы же еще не уезжаем.

— Нет, сынок, завтра нельзя. Надо только на заре священной пятницы,— ответила ему Багисултан.

С одной стороны Этери взяла за руку самая старая женщина аула, с другой — самая молодая мать. Так мы прошествовали по всем улицам. Женщины, выходя за ворота, осыпали Этери конфетами и цветами.

Вот остался позади последний двор с каменным забором и плоской крышей...

Мать

Утренний воздух зябко и свежо охватил тело. Я вздрогнула от его острой холодной свежести, высокогорной, непривычной для городского человека. Вышли на тропу, которая упиралась в подножие горы. Подошли к подножию. Солнце уже текло вовсю. Но под прикрытием скалистых отвесов было не жарко. Шли гуськом по узкой тропинке между стеной горы и пропастью.

— Пришли! — наконец сказала одна из женщин, и молодая мать спустила с рук Этери: вторую половину пути она несла девочку на руках.

Я огляделась. Голые складки скал, редкие, высушенные солнцем кусты, пробившиеся между камнями. Темное отверстие пещеры. Место как место. Таких много в горах.

Я нагнулась и следом за женщинами шагнула в пещеру. Пахло сыростью. Где-то внутри дробно стучали о камень капли воды, срывавшиеся со сводов.

Еще шаг, и я остолбенела. Там, в глубине, подпирая руками огромную глыбу, стояла каменная женщина. И на ее каменной груди мерцал огонек. Казалось, она одна, тонкая и молодая, поддерживала этот свод, что свод — всю эту горную массу с ее утесами и пастбищами, с ее вершинами и ледниками. Почудилось — опусти она руки — и все рухнет. С грохотом обрушится гора, разбрасывая по земле камни и камешки.

Женщины упали перед ней на колени. Меседу подняла Этери и положила ее детские ладони на огромные руки каменной женщины.

— Пусть наша Этери будет такой же сильной и доброй, — проговорила она.

— Такой же сильной и доброй, как Гульшанат, — подхватили женщины.

Потом все развязали платки и принялись угощать друг друга сладостями. И каждая женщина, получив ореховый шарик, липкий от меда, прежде чем положить его в рот, описывала им воздушный круг над головой девочки, приговаривая: «Пусть жизнь ее будет сладкой, как эта халва».

Когда все наелись вдоволь, Меседу удобно устроилась на камне напротив Гульшанат и начала свой рассказ.

Давно это было. Когда еще моей бабушки не было в живых и даже бабушка моей бабушки еще не родилась на свет. Жила тогда в нашем ауле девушка по имени Гульшанат. Ничем не отличалась она от своих подруг. Ну разве только была чуть-чуть красивее, чуть-чуть веселее, чуть-чуть добрее к людям. Все в ауле так привыкли к ее улыбке, что если Гульшанат была серьезной, им казалось, что солнце спряталось за тучку. И тогда все спрашивали: «Что с тобой, Гульшанат? Уж не заболела ли ты?» А она в ответ только смеялась. Она всегда казалась нарядной, хотя одета была беднее своих подруг. Но не платье украшало ее, это она делала красивым платьем. В доме у них звучал смех, хотя нужда не переводилась в нем. Но свой трудовой хинкал они заедали шутками, запивали песнями. Ни земли, ни скота у них не было. Зато был старый барабан, обтянутый воловьей кожей. И две веселые палочки из грушевого дерева. И когда по аулу рассыпалась дробь барабанных палочек, все знали: где-то играют свадьбу или празднуют рождение сына.

Так росла Гульшанат. И вот однажды она, как обычно, отправилась с подругами в горы собирать кизяки. Легкая корзина за спиной постепенно тяжелела. Чем выше они поднимались, тем свежее становился воздух и крепче запах трав и цветов. Девушки не чувствовали усталости.

сти, потому что подъемы они брали песней, а спуски танцами. А звонче всех пела, конечно, Гульшанат.

Она кружилась на зубчатом утесе, склонялась над обрывом, где на дне мчалась река, она закидывала голову в небо — и пела, пела. А то вдруг замолкала, как птица, захлебнувшаяся собственной песней. Горы бесконечно и круто уходили в небо. Среди хаоса мертвых камней кое-где зеленела молодая пшеница. А там, на остроконечных вершинах скал, сидели орлы и точили клювы о камни. Гульшанат, смеясь, бросила камешком в орла. Но он даже не поднял головы. А камешек, описав в воздухе звонкий круг, упал где-то в горах. И снова в гулкой тишине слышно было, как орлы бьют клювами о камни: так-так-так, чик-чик-чик.

— Глядите, какой странный орел! — вскрикнула одна из девушек. Он перелетал с уступа на уступ медленно и плавно.

— Вай, да это же человек! — удивилась другая. — Как он забрался на такую высоту?

— Эй, кто ты? — закричала Гульшанат в небо.

И на зов настойчивого эха человек-орел оглянулся. Перепрыгивая с уступа на уступ, он спустился вниз и остановился напротив Гульшанат.

— А мы думали, ты орел, — разочарованно протянула Гульшанат.

— А чем я не орел? — лукаво спросил человек.

— У тебя же нет крыльев...

— И клюва, — хихикнула подруга Гульшанат.

Закинув голову, заслонив рукой глаза от прямых и сильных солнечных лучей, Гульшанат рассматривала его. Был он без рубахи. Литые плечи, почти черные от загара, блестели под солнцем. Босые ноги он расставил так крепко и широко, словно прирос к скале.

— Говоришь, нет крыльев? Зато у меня есть две руки, а они сильнее крыльев, — и он посмотрел на свои руки, в которых перебрасывал пустой мешок. Руки были грубые, исцарапанные, цвета земли. — У орла могучие крылья, но разве он может вырастить пшеницу на голых скалах? — И он кивнул головой в сторону зеленых колосьев.

— Орлу не нужна пшеница, — сказала Гульшанат. — Он питается сырым мясом.

— Потому что боится огня. А человек ничего не боится. Он все может. Захочет — перевернет горы...

— А ты, оказывается, хвастун, — заметила одна из девушек. — Ну-ка, переверни эту гору.

— Зачем? Она мне еще пригодится. Ведь я выращиваю на ней пшеницу, — спокойно ответил человек.

— Да чего ради мы слушаем его хабары? Если бы их превратить в дождь, то можно было бы полить всю землю. — И девушки с хохотом убежали. На лужайке разложили свою нехитрую еду и принялись за-втракать. Гульшанат, набив рот, смеялась вместе со всеми, а глаза ее нет-нет да косили украдкой в сторону, где вдали, среди голых скал, уменьшенным расстоянием, копал землю этот странный человек. Вот он налег на лопату, вот собирает землю в мешок. Вот, взвалив его на спину, уходит в горы. И Гульшанат увидела, как там, на высоте, он остановился, сбросил со спины мешок и стал высыпать из него землю. И вдруг ей стало так легко, так радостно, как еще никогда не бывало. Хотелось вскочить, бежать куда-то, петь и кричать от счастья.

На другой день она пришла сюда снова. Пришла одна, без подруг. Сердце у нее екнуло, когда она увидела тот черный лоскут земли, который он подготавливал для будущего года. Но самого юноши не было. «А вдруг он сегодня не придет?» — подумала она со страхом. И сразу же увидела его. Присев на корточки, он выбирал камни и отбрасывал их далеко в сторону.

Они встретились. Она стала его женой.

С тех пор каждый день мужчина и женщина поднимались в горы.

Ахмед делал делянки на скалах, Гульшанат выбирала камни. Она копала землю. Он относил ее на делянку. Весною здесь дружно стучали кирки орла и орлицы. Так их прозвали в ауле. Летом четыре проворных руки очищали побеги от сорняков. И в начале осени спелые колосья клонились к их ногам, как бы благодаря за труды и заботу.

А зимой, когда горы и низины надели белую бурку, а в хурджинах полей свистел ветер, в тесной сакле на краю аула при слабом свете очага она родила ему сына Хаджимурата и дочку Шумайсат.

Прошло время. Потекли с гор ручьи, расцвели и опали цветы, пожелтела трава. И вот в один из теплых и ясных осенних дней на жатву пришли они вчетвером.

Уложив детей в пещере, Гульшанат спустилась в низину и стала помогать мужу убирать пшеницу. Время от времени она поднималась наверх взглянуть на детей. Они спали в сене, как орлята в гнезде, уткнувшись друг в друга, как спят щенки и котята, ягнята и птенцы — словом, все малыши на свете. Закатное солнце мягко золотило их макушки. И казалось, будто оно тоже собиралось уснуть здесь, у их изголовья. Был тот редкий миг, когда все спокойно в природе и в душе человека. Гульшанат склонилась над детьми, отвела прядку волос со лба дочери.

И вдруг порывом ветра подхватило и унесло одеяльце, которым были накрыты дети. Еще один порыв ветра — и сухие стебли соломы закружились в воздухе. Раздался глухой подземный толчок. И гул этот, как ток, прошел по телу матери. Гора всколыхнулась, словно хотела сдвинуться с места. И тотчас сверху, громокая, посыпались камни. Гульшанат, вскрикнув, накрыла собой детей. Так орлица, распластав крылья, кричит в минуту опасности. Подняв глаза, она с ужасом увидела трещину над головой. Если эта громадная глыба рухнет, она задавит детей и снесет в обрыв мужа, который там, внизу, убирает пшеницу. И тогда она встала и уперлась руками в каменный свод, сдерживая его мощный напор. Беспредельную силу почувствовала она в себе. Сердце ее вырвалось из груди и забилось на ветру летящим пламенем. Каменной стала ее воля. И сама она окаменела.

Между тем Ахмед почувствовал подземные толчки, которые там, внизу, были слабее, и бросился к пещере, к жене и детям. Еще издали он услышал отчаянный детский плач. В два прыжка достиг он пещеры. И — отшатнулся. Его дети были живы. Они сидели на ворохе соломы и терли кулаками глаза. А над ними, упираясь ладонями в нависшую глыбу скалы, стояла окаменевшая женщина и на груди ее бился невысокий огонь.

— Гульшанат! — закричал он и упал лицом на камни. Сколько времени пролежал он так, не знаю. Может быть, минуту, может быть, час, а может быть, и несколько дней. Но свет от горящего сердца, струясь и согревая своим теплом, вернул его к жизни.

Меседу замолчала. И мне вдруг почудилось, что все это случилось не в давние далекие времена, а сейчас, при мне. Словно я только что сама слышала этот подземный гул и видела своими глазами, как веселая и юная Гульшанат, протянув руки, удержала каменную глыбу.

И я опустилась перед ней на колени, а потом встала и положила свои ладони на ее руки, чтобы их сила и отвага передались мне.

Светло и чисто горел огонь. То ли это подземный свет пробился сквозь породу, то ли солнечный луч проник в трещину горы. Мне, несусеверной горожанке, захотелось проверить, что это за огонь, но только я протянула к нему руки, как меня остановил крик Меседу:

— Убери руку. Ее сердце трогать нельзя. Оно священно.

А через два дня я улетела в город. Из круглого окна самолета я смотрела на горы. Ледяные вершины, острые пики хребтов, лабиринты узких

дорог — все казалось отсюда маленьким. Самолет вошел в облака. Их плотная клубящаяся масса заслонила от меня и эту картину.

Но на дне моего чемодана лежала записная книжка, разбухшая от событий и судеб, а в ней еще и четыре исписанных листа подорожника...

Я спешила домой, к письменному столу. Я была бесконечно благодарна Туку за то, что он вытащил меня из суеты городской жизни и увез в горы, в мой аул, где мне выпало счастье родиться, где меня учили главному — любви и чести.

Здесь я поняла главное: нет ни одного цветка в поле, ни одного самого замшелого камня, ни одного колоса, ни одного сучка, которого бы не обласкало солнце. И утро занимается для всех. И роса выпадает на каждую травинку...

Как назову я свою книгу?..



И. М. ЧИСТЯКОВ,
*бывший командующий
6-й гвардейской армией,
Герой Советского Союза,
генерал-полковник*

КУРСКАЯ БИТВА

Очерк
и публицистика

Историческая битва под Курском после Московской и Сталинградской битв стала одним из решающих событий Великой Отечественной войны. В этой битве советские войска разгромили тридцать неприятельских дивизий. Враг потерял около полумиллиона солдат и офицеров, наступательной стратегии немецко-фашистской армии пришел конец. Фашистская Германия была поставлена перед неизбежной катастрофой, а стратегическая инициатива была прочно и бесповоротно закреплена за нами.

После победоносного завершения Курской битвы советские войска продолжали наступление. Осенью 1943 года они вышли к Днепру, форсировали его и начали сражение за Правобережную Украину.

6-я гвардейская (бывшая 21-я) армия, которой я в то время командовал, после Сталинградской битвы, находясь в составе войск Центрального фронта под командованием К. К. Рокоссовского, должна была наступать на Орел. Однако после того, как в марте 1943 года наши войска вторично оставили город Харьков, а 48-й танковый корпус противника развивал наступление на Белгород — Обоянь — Курск для соединения со второй танковой армией, чтобы окружить всю Курскую группировку советских войск, 6-я гвардейская армия получила приказ совершить стопятидесятикилометровый марш из района южнее Орла и закрыть образовавшийся прорыв в направлении Белгорода, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на Обоянь — Курск.

Зимние сражения сменились весенним затишьем. Линия фронта стабилизировалась. Шла усиленная подготовка к решающим боям.

Накануне международного пролетарского праздника 1 мая 1943 года Центральный Комитет партии обратился к фронтовикам с призывом умножить удары по врагу. С особой силой звучали слова, обращенные к защитникам Родины: «Воины Красной Армии! Вас ждут как освободителей миллионы советских людей, изнывающих под

немецко-фашистским игом. Вперед на запад, за освобождение советской земли!»

На образовавшемся в ходе зимних боев Курском выступе создавались, по мнению гитлеровского командования, благоприятные условия для окружения и разгрома войск Центрального (командующий — генерал К. К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин) фронтов, а затем нанесения удара в тыл Юго-Западного фронта.

Гитлеровское командование подтянуло сюда около 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и минометов, почти 2700 танков и свыше двух тысяч самолетов. Большие надежды возлагались на новую боевую технику — штурмовые орудия «фердинанд» и тяжелые танки с мощной броней «тигр» и «пантера».

По свидетельству западногерманского историка Центнера, на Курском направлении было сосредоточено все, «на что была способна промышленность Германии и «мобилизованной Европы». Гитлер возлагал большие надежды на это наступление. «Оно должно обеспечить нам инициативу предстоящей весной и летом... — считал он. — На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры... Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления». Гитлеровцы все еще надеялись повернуть течение войны в свою пользу, сохранить от распада фашистский блок, вернуть утраченную инициативу.

Советское командование, разгадав намерение врага и учитывая тяжелый опыт лета 1942 года, решило упорной обороной на Курском выступе сорвать наступление противника, обескровить его ударные группировки и создать тем самым предпосылки для последующего контрнаступления. Переход к обороне под Курском имел преднамеренный характер. Он не означал, что Красная Армия теряла захва-

ченную в зимней кампании инициативу. Советское командование выбрало наиболее правильный в тех условиях способ разгрома ударных сил врага, чтобы создать максимально благоприятные условия для общего наступления. Последующий ход событий подтвердил правильность такого решения.

На Курском выступе были сосредоточены большие силы наших войск.

Здесь в составе двух фронтов — Центрального и Воронежского — находилось свыше миллиона трехсот тысяч бойцов и командиров, до двадцати тысяч орудий и минометов, более трех с половиной тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, более двух тысяч шестисот самолетов. В тылу этих фронтов был образован сильный стратегический резерв — Степной фронт, которым командовал генерал И. С. Конев.

Накануне грозных событий лета 1943 года 6-я гвардейская армия в составе войск Воронежского фронта занимала полосу обороны в 64 километра — Тамаровка, Яковлево — Тетервино.

Между Белгородом и Обоянью, в селе Кочетовке, размещался штаб 6-й гвардейской армии, сотни видимых и невидимых нитей из Кочетовки тянулись к оборонявшимся корпусам, дивизиям, полкам, к соседу справа и слева, к штабу фронта, к резервам, к тылам.

В апреле солнце растопило снег. На бескрайних степных просторах обнажилась маслянисто-черная, плодородная земля, набухли почки деревьев, зажурчали ручьи, вышли из берегов реки. С трудом продвигались люди по бездорожью, по непролазной грязи. А с запада в это время к Брянску, Орлу, Сумам, Харькову по железнодорожным магистралям двигались воинские эшелоны противника. В тех районах, где немцы намеревались развернуть свою операцию «Цитадель», они накопили колоссальное количество военных материалов и горючего. В штабах соединений и частей вражеской ар-

мии обрабатывались и уточнялись планы наступления.

В прифронтовой полосе 6-й гвардейской армии, в небольшой балке, заросшей кустарником, были выставлены образцы той самой военной техники, которой гитлеровское командование поспешно оснащало свои войска. Нам удалось захватить их в боях под Белгородом. Генералы и офицеры, осматривая эту технику, особое внимание обращали на танки «пантера», «тигр» и тяжелое штурмовое орудие «фердинанд».

Не раз мне приходилось слышать устрашающие легенды о неуязвимости новых немецких танков. И хотя ни я, ни все, кто присутствовал на осмотре, особенно артиллеристы противотанковой артиллерии, не верили этим рассказам, но в душе нарастала озабоченность тем, как сложатся предстоящие бои.

Еще издали я увидел массивную угловатую машину с длинным стволом пушки, сваренную из толстых стальных плит, с нарисованной на борту пятнистой пантерой. Она всем своим сорокапятитонным корпусом словно изготавилась к прыжку. Рядом с «пантерой» шестидесятитонной глыбой возвышался тяжелый танк «тигр». Длинноствольная его пушка могла почти за километр пробить броню любого нашего танка.

Генерал, объяснявший устройство и возможности новых танков, словно умышленно сгущал краски, приводя примеры их грозной силы.

— Ну как, страшновато? — спросил я командира 52-й гвардейской дивизии генерала Н. В. Козина.

— Названия-то, товарищ командующий, какие придумали: «тигр», «пантера»! Зверье хищнейшее. Дескать, попадись только — враз клочья полетят! — с усмешкой ответил Козин.

— Перегнать нас гитлеровцы в производстве вооружения и техники не могут. Решили давить на психику. Поставили сирены на своих самолетах, — сказал член Военного совета генерал П. И. Крайнов. — Волк остается волком, и его, как овечку, голыми руками не всзь-

мешь. Поэтому партия и правительство приняли самые решительные меры, конструкторы создали, а промышленность уже выпускает подкалиберные и кумулятивные снаряды. Вот как они пронзают броню любого фашистского танка в любом месте.

На подбитых «пантерах» и «тиграх» было множество необычных, словно выжженных пробоин. Генералы и офицеры тесно обступили изрешеченный новыми снарядами «тигр».

Шла деятельная подготовка к боям. Днем степи казались безжизненными, но с наступлением темноты все оживало. На передовой линии фронта сооружались противотанковые надолбы, наблюдательные и командные пункты, рылись траншеи и хода сообщения. Вскоре северный и южный фасы Курской дуги были опоясаны комплексом оборонительных сооружений.

Чтобы получить представление о проделанных земляных работах на Курской дуге, достаточно вспомнить, что только войска Центрального и Воронежского фронтов вырыли 9240 километров траншей, ходов сообщения. Если бы все эти сооружения были вытянуты в одну линию, мог получиться канал, который протянулся бы через Европейский и Азиатский континенты, от Атлантического до Тихого океана.

Все эти работы выполнялись лопатой, ломом и киркой-мотыгой.

Каждую ночь в стан врага уходили разведчики. Они возвращались к утру, приводя с собой «языка», или доставляли новые сведения о противнике.

Ночами в небе непрерывно гудели моторы. Это «кукурузники», «огородники», «стрекозы» — так ласково называли фронтовики самолеты «У-2» — летали над вражескими позициями, сбрасывая бомбы на головы фашистам, не давая им ни минуты покоя. На самолетах «У-2», как правило, летали женские экипажи. Так проходили короткие весенние ночи, а к утру на курских равнинах вновь воцарялась тишина.

Войска Центрального и Воронежского фронтов создали мощную

оборону и хорошо подготовились к уничтожению ударной группировки врага.

Орловский плацдарм гитлеровцев клином врезался в расположение советских войск между населенными пунктами Сухиничи и Поныри. Клин этот остался после проведенных Красной Армией зимой 1942—1943 гг. наступательных операций. Вершина его достигала городов Мценска и Малоархангельска, а основание опиралось на железнодорожную линию Киров — Брянск — Навля.

Этот плацдарм занимал значительное место в планах фашистского командования. Прежде всего немцы рассчитывали использовать его для сосредоточения своих ударных группировок.

После того как советские войска, вклинившись между Орлом и Белгородом, продвинулись на запад почти до Севска, Рыльска и города Сумы, образовав так называемую Курскую дугу, значение для врага орловского плацдарма еще больше возросло. Нависая над Курской дугой, он преграждал советским войскам путь на запад, угрожая им ударами с фланга. Эту угрозу противник и попытался привести в исполнение летом 1943 года.

Во всех наших соединениях и частях тем временем шла напряженная военная учеба. В течение мая и июня на специальных учебных полигонах были построены сооружения, которые могли встретиться во вражеской обороне. Войска практически изучали различные приемы наступления, штурма укреплений, подразделение и части тренировались в проведении атак, отражении контрударов, форсировании рек, в ведении уличных боев в городах и населенных пунктах. Наши воинов обучали также, как вести борьбу с танками врага, особенно с «тиграми» и «пантерами».

Итак, подготовка к великой битве включала в себя широкий комплекс различных мероприятий как для обороны, так и для наступления.

В первых числах мая Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин предупредил о возможности перехода германских войск в наступление, и сразу изменилась вся жизнь фронта. Прекратились окопные работы в главной полосе обороны. Все люди заняли боевые места. Командиры подразделений, частей, соединений и штаб армии вышли на свои наблюдательные пункты и настороженно следили за противником. На переднем крае все словно вымерло, затаилось. С минуты на минуту ожидалось начало вражеского наступления.

Томительно прошел первый день ожидания. На всем фронте стояла грозная тишина. Едва сгустились сумерки, наши разведчики из разных мест двинулись к вражеской обороне, началась стрельба, в крошечную тьму взвились сотни осветительных ракет. Помню, как тревожно понеслись по проводам коротенькие донесения. Всю ночь, то умолкая, то взвизываясь, возобновлялась перестрелка. Сколь ни силен был напор советских разведчиков, ни одной группе не удалось даже приблизиться к переднему краю врага.

К утру разведчики вернулись в свою оборону и вновь на всем фронте установилась грозная тишина. Но не только на переднем крае, но и во вторых, третьих запасных позициях, в резервах, в штабах и даже тылах никто не спал. Рассвело, взошло солнце, а противник все не начинал наступления.

Так прошли сутки, вторые, третьи. Под вечер пятого мая ко мне зашел начальник штаба армии генерал В. А. Пеньковский и возбужденно заговорил:

— Тишина, товарищ командующий, тишина! То, что они готовы к наступлению, — факт! Но почему не наступают? Почему?

Уже после нам стало известно, что 4 мая 1943 года Гитлер созвал в Мюнхене специальное военное совещание, посвященное операции «Цитадель». На нем присутствовали начальник генерального штаба генерал Цейтцлер, Гудериан, командующие группами армий «Центр» и «Юг» генерал-фельдмаршалы Ключ-

ге и Манштейн, а также командующие армиями, принимавшие участие в подготовке операции «Цитадель».

Фон Модель, генерал-полковник, командующий 9-й германской армией, доложил собравшимся, что советские войска создали на Курской дуге сильно укрепленную оборону. В ней в изобилии использованы новейшие противотанковые средства, которые могут успешно противостоять массированным ударам немецкой бронетанковой техники. Фон Модель добавил, что нужно прибегнуть к другой тактике или даже вообще отказаться от наступления. Тогда Гитлер принял решение усилить ударные группировки: удвоить количество танков и перебросить в ударные группировки еще несколько сотен «тигров», «пантер», «фердинандов». «Если я сделаю это,— сказал Гитлер,— к 10 июня вы сможете сломить оборону русских». «Для прорыва такой обороны мне нужно шесть дней,— высказался Модель.— В более короткий срок такую оборону прорвать невозможно».

Фон Клюге, однако, возразил генералу Моделю, считая, что глубина оборонительных позиций русских не глубока. Он ссылаясь на данные аэрофотосъемки, которые якобы показали, что называемые Моделем «траншеи» и позиции на самом деле не что иное, как развалины старых окопов от прежних боев.

Прошло два месяца. 1 июля Гитлер вызвал в свою ставку в Восточной Пруссии командующих армиями и корпусами. В обширном докладе он утверждал, что оттяжка сроков операции «Цитадель» дала немцам большое преимущество. Ударные группировки получили значительное пополнение, особенно в живой силе и технике, и теперь они смогут не только сломить оборону советских войск, но и нанести им такой урон, который никогда не будет восполнен. Он распорядился начать решающее наступление на Курской дуге с рассветом 5 июля 1943 года.

Незадолго до того поздней ночью зашли ко мне начальник штаба

армии Валентин Антонович Пенковский и генерал Турбин. Подписав необходимые документы, я выслушал их доклад. Начальника штаба и командующего артиллерий, как и всех нас, волновал вопрос: почему же фашисты не начинают наступление?

Что сделать, что предпринять? Несомненно, для ликвидации всяких неожиданностей нам нужны сильные резервы, особенно противотанковая артиллерия. Но и главную полосу обороны, передний край, оголять нельзя. Именно там нужно нанести основное поражение противнику.

Во втором часу ночи мы свернули свои карты и вышли на свежий воздух.

Казалось, жизнь на фронте раз и навсегда вошла в колею, из которой не было никакого выезда. Наши войска зарылись в землю, опутались колючей проволокой, обставились минами и по ночам все продолжали, как «кроты», рыть и улучшать траншеи, ходы сообщения, землянки, блиндажи, огневые позиции артиллерии, вбивать новые колья проволочных заграждений. Начальник инженерных войск Е. И. Кулинич все еще продолжал ставить противопехотные и противотанковые мины. В ближних и дальних тылах, где стояли вторые эшелоны и резервы армии, шли, почти как и в мирное время, занятия по боевой подготовке. В штабах были давно разработаны планы отражения вражеского наступления, и теперь эти планы только уточнялись, дополнялись, наращивалось и развивалось в деталях, что и как должна делать та или другая часть, дивизия в различных условиях обстановки.

Тихо и спокойно было и у противника. Но и там, как доносили разведчики, также росли новые траншеи и окопы, тянулись ряды колючей проволоки, проводились занятия и учения.

Наиболее оживленно было в тылах той и другой стороны. Между Полтавой, Харьковом, Белгородом, Сумами тучи пыли скрывали шоссе и грунтовые дороги. На аэродромы прилетали все но-

вые партии самолетов. По железным дорогам, забывая и так до предела забытые узловые станции, нескончаемым потоком шли воинские эшелоны.

В тылах советских войск — а тылы Воронежского и Центрального фронтов составляли, по существу, весь Курский выступ с центром в городе Курске — особенно напряженно было на дорогах. Несколько разбитых шоссейных и мощных каменных дорог с едва восстановленными мостами не могли пропустить всего множества грузовиков, тягачей и повозок, бесконечным потоком тянувшихся по ночам из Курска и в Курск, где был один-единственный пункт, принимавший железнодорожные эшелоны для двух фронтов. Водители грузовиков и тягачей отесняли конные повозки на обочины, прижимали их к кюветам. Ездовые, покинув дороги, где властвовала техника, поворачивали и ехали напрямую через поля, балки, холмы и увалы. Так появился лабиринт бесчисленных дорог, во всех направлениях исхлеставших территорию Курского выступа. Над этим лабиринтом, так и не сумев разгадать его, всю весну и лето ломали головы опытейшие немецкие разведчики. Сорока-пятидесятилетние наши ездовые, эти степенные, внешне неторопливые солдаты, прекрасно ориентировались даже в пыли и крошечной тьме, безошибочно отыскивая свои части и подразделения. Я всегда вспоминаю их, когда смотрю на старую карту.

Наш огромный стальной щит, глубиной более двух сотен километров и почти столько же в поперечнике, врезался в расположение противника между Орлом и Белгородом. На него и замахнулся противник.

Мы создали оборону, какой еще не было ни под Москвой, ни под Сталинградом. Это — сплошные укрепления и заграждения. Это сплошной огонь, многослойный, всех видов — и с земли и с воздуха. Мы ожидали, что противник будет наступать на узких участках фронта и в первую очередь вдоль шоссе Белгород — Обоянь и на этом уча-

стке создаст огромное превосходство в силах. Но прежде чем наступать, он, как мы предполагали, обрушит на этот участок всю массу своего огня. А это — тысячи орудий и минометов, около тысячи самолетов. На узких участках они могут смять все живое и затем ринуться в атаку тысячей танков.

Но все ли мы правильно рассчитали, все ли подготовили? Это тревожило командиров, и в первую очередь штаб армии, и меня как командующего. Мы хорошо знали план обороны армии, корпусов, дивизии и полков, отрететировали планы обороны, пользуясь ящиками с песком и топографическими картами. Сделано, казалось, все, что нужно, все, что возможно.

Под вечер 27 июня я вышел из землянки и увидел начальника политотдела полковника Л. И. Соколова, только что вернувшегося из войск.

— Ну, у вас что нового, интересного, Леонид Иванович? — спросил я.

— Все новое, товарищ командующий. Кругом все новое, старое лишь ожидание. Когда все это начнется? Каждую ночь ждем.

Я заметил, что по всем данным начнется очень скоро.

— Врага мы, товарищ командующий, вчистую разгромим, а отоспимся после войны, — шутя сказал Соколов. — Конечно, трудно будет, — тяжело вздохнул он, — возможно, невыносимо трудно, но все нужно преодолеть и устоять против «тигров».

К нам подошел начальник штаба Пеньковский.

— Товарищ командующий, — обратился он ко мне, — срочная и очень важная телеграмма комфронта. Наступление гитлеровцев следует ожидать между 3 и 6 июля. Все войска необходимо немедленно привести в полную боевую готовность.

Мы провели последние приготовления. 3 июля в расположении вражеских войск по-прежнему царила мертвая тишина. В районах южнее Орла и на западе от Белгорода прекратились даже ночные передви-

жения войск и техники. Это было затишье перед бурей. Столь же тревожной и томительной была ночь на 4 июля. После захода солнца прошла, казалось, вечность. Замерло все сплошь изрытое, заполненное людьми и техникой огромное пространство Курского выступа. Не взлетали в воздух даже осветительные ракеты.

4 июля на нашу сторону перешел солдат неприятельской армии, по национальности словак, и сообщил, что немцы готовы к наступлению в направлении Курска...

Еще накануне ночью девять вражеских полков и одна танковая дивизия заняли исходные позиции для наступления против одного нашего корпуса в направлении главного удара на Обоянь.

Разведывательные группы армии получили приказ проникнуть в расположение врага и достать «языка». К югу от села Тагино разведчики заметили 17 немецких саперов, делающих проходы в своем минном поле. В короткой схватке 6 саперов врага было убито, один был взят в плен, остальные бежали. Пленный сообщил, что главные силы немецко-фашистских войск 5 июля в 2 часа по европейскому времени должны перейти в решающее наступление на Курско-Белгородском направлении. До начала этого наступления оставалось лишь несколько часов. Я сразу же доложил комфронтом обстановку и попросил, согласно намеченному плану, в 22 часа 30 минут провести пятиминутный огневой налет по семнадцати основным пунктам сосредоточения техники и пехоты противника. Командующий фронтом дал на это согласие.

До сих пор в моей памяти сохранилось яркое воспоминание, как по всему фронту 6-й гвардейской армии в темное небо взвились сотни разноцветных ракет. Вслед за этим сигналом заговорила наша артиллерия. В местах сосредоточения готовых к решающему наступлению немецких войск и техники к небу взметнулись гигантские языки пламени. Они свидетельствовали о меткости наших артиллеристов и силе тя-

желых минометов «катюш».

Утром 5 июля было решено провести артиллерийскую контрподготовку в полном объеме в полосах 6-й и 7-й гвардейских армий Воронежского фронта, а также на Центральном фронте. Контрподготовка действовала на врага очень угнетающе. В ходе ее он понес большие потери. Только перед Центральным фронтом было уничтожено более девяти батарей и шестидесяти наблюдательных пунктов противника, взорвано шесть складов с боеприпасами и горючим. Но особенно большие потери понес враг в живой силе — его войска были сгруппированы для наступления, рассредоточиться фашисты не успели, и каждый залп советской артиллерии и минометов выводил из строя сотни вражеских солдат.

И хотя в подразделениях зачитывался специальный приказ Гитлера, в котором говорилось, что «колоссальный удар, который сегодня утром обрушится на головы советских войск, окончательно уничтожит их...», противник убедился, что его намерение атаковать советские войска на Курской дуге разгадано, что неожиданность наступления провалилась. Многие немецкие солдаты и офицеры восприняли нашу контрартподготовку как начало нового наступления советских войск: еще жив был в памяти многих урок Сталинграда.

Ровно в 3 часа 30 минут гул канонады смолк. И сразу же заработали телефоны. Я доложил комфронтом Н. Ф. Ватутину, что контрподготовка проведена точно по плану и завершена залпом реактивных минометов.

— Что делается сейчас у противника? Каковы его намерения? Где пойдут главные силы? — спрашивал комфронтом.

— На всем фронте тишина, — доложил я.

— Тишина? — переспросил Н. Ф. Ватутин.

— Даже в районе Яковлевки у Козина все прекратилось. Видимо, товарищ командующий, немцев ошеломила наша контрподготовка.

— Несомненно, — согласился

он.— И если материальные и людские потери не так уж велики, то моральный удар, безусловно, огромный. Но праздновать победу пока еще рановато. Самое главное — впереди.

— И самое трудное,— добавил я.

— Все, Иван Михайлович, определяют первые атаки. Отобьем, удержимся — крест на планах Манштейна. Сомнет на каком-то участке оборону, прорвется — борьба осложнится, затянется. Но все равно верх возьмем! Желая гвардии 6-й армии успехов!

Командующий фронтом повесил трубку. Была уже половина четвертого утра. По показаниям пленных, через полчаса должно начаться наступление противника. Начнется ли оно? Где начнется? Возможно, в полосе 7-й гвардейской армии генерала М. С. Шумилова, но более вероятно, вдоль автомагистрали, прямо от Белгорода на Курск, через Обоянь.

В три часа тридцать пять минут мне доложили, что противник начал сильную артподготовку по Драгунскому, Черкасскому и Яковлевке. В направлении Драгунское и Черкасское шла большая группа бомбардировщиков. Зенитки открыли по ним огонь, в воздухе появились наши истребители.

Я доложил об этом комфронтом. Начиналось именно то, именно там и именно так, как ожидали маршалы Г. К. Жуков, А. М. Василевский и к чему все мы готовились четыре месяца.

Вражеские бомбардировщики волнами налетали на наши оборонительные рубежи. В течение десяти минут на линию нашей обороны было сброшено около двух тысяч бомб, а фашистские стервятники еще продолжали кружить над объектами. В воздухе ни на секунду не прекращались яростные схватки.

В 6 часов 10 минут появились танки. Атаки начались сразу на двух направлениях — на село Черкасское и у села Драгунское. Манштейн использовал свой излюбленный прием — таранный удар массой

танков на узких участках фронта. Впереди стальным щитом шли шестидесятитонные «тигры». За ними двигались «пантеры», средние танки, штурмовые орудия. Одновременно в атаке участвовало более семисот танков. Эту лавину замыкали бронетранспортеры с пехотой; путь ей пробивал шквал артиллерийского огня и непрерывная бомбежка с воздуха.

— Что там? Как минные поля? Как передний край? — запрашивал я командиров 22-го и 23-го корпусов.— Что делается в селах Драгунском и Черкасском?

Наконец поступило первое сообщение: на подступах к хутору Березов и селу Черкасское на минных полях подорвалось 36 немецких танков; в борьбу вступила наша противотанковая артиллерия. До семисот танков на узком фронте несколько раз пытались прорвать оборону. Атаки были отбиты, и танки противника отползали назад.

Первыми встретили врага и дали ему надлежащий отпор массированным огнем артиллерии в районе Черкасское, Драгунское, Яковлевка прославленные гвардейские сталинградские дивизии: 71-я (командир дивизии — полковник И. П. Сиваков), 67-я (командир дивизии — генерал А. И. Баксов), 52-я (командир дивизии — генерал Н. Д. Козин), 51-я (командир дивизии — генерал Н. Т. Тваркеладзе) — и другие части и соединения средств усиления.

Разгорелся жаркий бой. На каждый узел обороны советских войск враг бросил силы, в два-три раза превосходившие наши.

На оборонительные рубежи против 51-й и 52-й гвардейских дивизий двинулись две пехотные дивизии и эсэсовская танковая дивизия «Мертвая голова»; их атака поддерживалась сильным огнем артиллерии и минометов. В воздухе одна волна бомбардировщиков сменялась другой. За каких-то три-четыре часа на позиции наших войск было совершено более четырехсот самолетов-вылетов бомбардировщиков.

Более пяти часов части двух пехотных дивизий и танковой дивизии

СС «Мертвая голова» штурмовали позиции советских войск, но не смогли прорвать оборону, хотя на помощь им было брошено около сотни бомбардировщиков и большая часть артиллерии, предназначенная для главного удара. Как впоследствии стало известно, Манштейн возмущался, буйствовал, требовал от командующих корпусов и дивизий усилить удар, но ничего добиться не мог. Все они, словно сговорившись, твердили, что русская оборона оказалась сильнее, чем ожидали, а упорство русских солдат граничит с фанатизмом.

Действительно, за годы войны советские войска еще ни разу не создавали такой совершенной обороны, как на Курском выступе. В этом принимало участие и мирное население. Все советские воины понимали, что надвигается решающая битва третьего военного лета, что будет она ожесточенной, кровопролитной и с честью выполнят свой долг лишь хорошо обученные войска, обладающие высоким моральным духом.

Командир 3-й истребительной противотанковой артиллерийской бригады В. Н. Рукосуев 6 июля сообщил: «Бойцы напряжены до предела. Они в упор расстреливали танки, в том числе «тигры». Пока мы живы, вражеские танки на этом участке не пройдут».

Танки не прошли. Бригада в течение четырех дней вместе с соседями отразила двадцать атак и уничтожила несколько десятков немецких танков. 203-й гвардейский полк 70-й гвардейской дивизии был атакован пятьюдесятью вражескими танками, с воздуха его непрерывно бомбили вражеские самолеты, и все же сопротивление гвардейцев не было сломлено.

Образец воинской доблести и мужества показал молодой летчик, коммунист, гвардии старший лейтенант А. П. Маресьев, у которого еще в 1942 году из-за тяжелого ранения были ампутированы ступни ног. Летчик-патриот сумел овладеть искусством управления истребителем. В воздушных боях под Орлом он сбил

три вражеских самолета. А П. Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза¹.

Беспримерный подвиг на моих глазах совершил летчик-коммунист, сын белорусского крестьянина, А. К. Горовец. На самолете-истребителе, фюзеляж которого украшала надпись «От колхозников и колхозниц Горьковской области», он один вступил в бой с большой группой фашистских бомбардировщиков. Неравный бой закончился победой бесстрашного летчика: он сбил девять вражеских самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР отважному воину было присвоено звание Героя Советского Союза.

На земле и в воздухе шло сражение огромной напряженности. За время Курской битвы советские Военно-Воздушные Силы произвели боевых вылетов почти в три раза больше, чем американская авиация за весь 1943 год против военных объектов Германии.

В первый день боев немецким войскам не удалось выполнить задачу дня. Они вклинились в нашу оборону лишь на 6—8 километров. С утра 6 июля Манштейну пришлось ввести в сражение танковую дивизию СС «Рейх» и 3-ю танковую дивизию. Вдоль автомагистрали Белгород — Курск действовало одновременно уже свыше тысячи танков, но их продвижение ограничивалось метрами, а потери были огромны. Полностью укомплектованные танковые дивизии буквально таяли; к вечеру картина была столь ужасной, что Манштейн не решился доложить в ставку Гитлера о произошедшем.

Пытаясь сломить наше сопротивление, Манштейн приказал сосредоточить на узком участке фронта (автомагистрали) танковые дивизии СС «Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мертвая голова» и огромным тараном бросить их в ночную атаку. Фашистским танкам удалось прорвать нашу оборону и выйти к железной

¹ А. П. Маресьев сейчас работает ответственным секретарем Советского Комитета ветеранов войны и ведет большую воспитательную патриотическую работу.

дороге у станции Беленихино. Но к утру танки нашей 1-й танковой армии генерала М. Е. Катуква okayмили район прорыва и остановили дальнейшее продвижение противника.

Основная тяжесть боя легла на 22-й и 23-й гвардейские стрелковые корпуса армии и танкистов 1-й танковой армии, гвардейские стрелковые дивизии и танковые бригады.

Как и у Сталинграда, наши воины сражались по-богатырски. В страшном огненном аду подчас не выдерживали сталь и железо, а советские воины держались мужественно, негибаемо, выполняя свой долг перед Родиной.

На участке подполковника М. Белова и подполковника А. Сушкова к огневой позиции одного из артиллерийских расчетов прорвались вражеские танки. У орудия находился наводчик гвардии младший сержант А. П. Старцев, комсомолец, он один и остался в живых из всего орудийного расчета. Раненый, обливающийся кровью, Старцев продолжал вести огонь. Вот подбит один танк, запылал второй, третий — выведено из строя шесть вражеских машин. Александр Старцев в этом бою погиб, но фашисты дорого заплатили за его смерть.

Александр Старцеву (посмертно) и командиру 122-го гвардейского артиллерийского полка майору Михаилу Николаевичу Угловскому, тоже проявившему в этом бою отвагу и мужество, присвоено звание Героя Советского Союза.

Стойко отражали натиск врага старшина Барсегян и сержант Хоперия, бойцы Думбадзе и Томанян. На их боевом счету тоже немало подбитых танков. Боевого ордена Красного Знамени удостоен пулеметчик сержант Серов, уничтоживший более ста гитлеровцев.

В середине дня 6 июля, ведя бой на Черкасско-Покровском направлении, гитлеровское командование одновременно с этим бросило триста танков на Яковлевку. Во второй полосе обороны завязалась жестокая схватка за Яковлевский узел сопротивления, который обороняли 67-я и

52-я гвардейские стрелковые дивизии, поддержанные танками 55-й гвардейской бригады Д. А. Драгунского. Бой длился до позднего вечера, однако врагу не удалось сломить сопротивление гвардейцев.

Последующие три дня противник пытался любой ценой прорвать нашу оборону. Командиры наступающих немецких дивизий с утра до вечера докладывали, что они продвигаются, захватывают населенные пункты и важные высоты, беспощадно громят и истребляют русских. Но продвижение ограничилось всего несколькими километрами, а наши воины по-прежнему стояли плотным фронтом, закрывая дорогу на Курск. Более того, мы уже не просто стояли, а то в одном, то в другом месте переходили в контратаки крупными силами стрелковых и танковых частей и дивизий, вырывая инициативу у наступающих фашистов и навязывая им свою волю. Манштейн отчетливо понимал, что эти пока еще отдельные контратаки были первыми раскатами надвигающейся грозы.

Части нашей армии 7, 8 и 9 июля занимали оборону на участке Ключи — Полежаев, седлая шоссейную дорогу Белгород — Обоянь, закрывая противнику выход на северный берег реки Псел. Особенно тяжелые бои развернулись в полосе обояньского шоссе, где немецкая мотодивизия СС «Великая Германия», 11-я и 3-я танковые, 255-я и 332-я пехотные дивизии продолжали на узком участке врататься к Обояни. Но гвардейцы и танкисты М. Е. Катуква дрались как львы. Они стояли насмерть.

К вечеру 9 июля стало ясно, что прорыв вдоль автомагистрали Белгород — Курск гитлеровцам не удался. Начался кризис операции. Вечером 9 июля Манштейн приказал остановить наступление, привести войска в порядок и быть готовыми к получению новых приказов.

Поздней ночью 9 июля ко мне зашел начальник оперативного отдела штаба армии генерал Э. С. Рыбко. Мы обсуждали наши задачи по дальнейшей обороне, и генерал Рыбко с улыбкой сказал:

— Товарищ командующий, в ка-

ком раздумье находится, вероятно, сейчас генерал-фельдмаршал Манштейн? Это вторая его крупная неудача. Но если прорыв на помощь войскам Паулюса — на общем фоне потрясающего разгрома немецких войск между Волгой и Доном — остался, возможно, не замеченным Гитлером, то провала наступления на Курск Гитлер ему никогда не простит. Не сомневаюсь, Манштейну недобровать. Чем Манштейн объяснит Гитлеру причину провала на Курской дуге? Думаю, что одна лишь мысль о предстоящем объяснении с Гитлером заставит Манштейна любой ценой прорваться в Курск, хотя бы это стоило потери всех танков и всех солдат.

Манштейн, разумеется, понимал, что прорыв на Курск вдоль автомагистрали уже невозможен. Там намертво встали войска 6-й гвардейской и 1-й танковой армий, известные Манштейну еще по сорок первому году. В ту тревожную пору лета и осени войска тогда 21-й армии стойко отражали наступление на западном направлении, успешно дрались под Рогачевом и Жлобином, в оборонительных боях Смоленского сражения. Летом 1942 года части 21-й армии отошли к Дону и крепко держали оборону по левому берегу этой реки на рубеже Клетская — Серафимовичи. В дни Сталинградской битвы они с железным упорством дрались с 6-й армией Паулюса.

Манштейн в это время узнал, что вдоль автомагистрали встали танковые войска генерала М. Е. Катукова. В сорок первом году 4-я танковая бригада, которой командовал Катук, доблестно дралась с превосходящими ее во много крат силами частями танковой армии Гудериана на пути от Орла к Туле, а затем не менее блестяще участвовала в срыве немецкого прорыва на Серпухов и — неуловимым маневром — оказалась под Белгородом.

Узнав о вводе в сражение танкистов Катукова, Манштейн предупредил своих командиров корпусов и дивизий о том, что за противник перед ними, но (как часто бывает в жизни и особенно на войне) предупреждение впрямь не пошло. В пер-

вых же боях танкисты Катукова, умело взаимодействуя с общевойсковыми частями 6-й гвардейской армии и средствами усиления, расчетливо сочетая засады с короткими и стремительными ударами, сорвали наступление немецких танковых дивизий, чем предприняли провал прорыва вдоль автомагистрали Белгород — Курск.

Тогда Манштейн решил нанести удар на узком участке на станцию Прохоровку, там, где стоят войска генералов П. А. Ротмистрова и А. С. Жадова. Главный удар на Прохоровку он наносил самыми мощными танковыми дивизиями СС «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер», рассчитывая обмануть русских и создать у них иллюзию, что основные немецкие силы по-прежнему действуют вдоль автомагистрали. Моторизованная дивизия СС «Великая Германия» и 11-я танковая дивизия были переброшены на узкий участок, а 3-я танковая, 255-я и 332-я пехотные дивизии должны были прикрыть их с запада. Этот, хотя не столь мощный, удар, как рассчитывал Манштейн, скует наши силы и при упорном наступлении может оказать серьезную помощь главной группировке. Он решил продолжать наступление и северо-восточнее Белгорода силами 6-й, 7-й и 19-й танковых, 106-й, 198-й и 320-й пехотных дивизий. Манштейн предполагал бросить их в прорыв на узком фронте и попытаться выйти к Прохоровке с востока.

После упорных боев к исходу 11 июля врагу удалось прорваться в район Прохоровки на глубину 35 километров. С утра 12 июля гитлеровцы возобновили наступление. Ожесточенные бои, особенно на Прохоровском направлении, ни на секунду не утихали. Грохот стрельбы, рев моторов, казалось, навеки повисли над избитой, истерзанной курской землей. Генерал Н. Т. Тварткеладзе видел с наблюдательного пункта, как из совхоза «Комсомолец» вырвалась лавина танков, смяла нашу оборону и устремилась к совхозу «Октябрьский». Перед волной окутанных дымом немецких танков горестными островками темнели толь-

ко отдельные орудия и группы 158-го гвардейского полка.

— Куда направлять артиллерийский огонь? — недоумевал командующий артиллерией 6-й гвардейской армии генерал Турбин. — Где немцы, где наши? Все перепуталось.

— Хлещи по тылам, — сказал я Турбину. — Не допускай ввода в прорыв новых сил противника.

Прорвавшиеся к совхозу «Октябрьский» вражеские танки так узким клином и устремились к Прохоровке, не расширяя прорыва. Этим воспользовался генерал Белов, выбросив на фланг четыре противотанковых батареи. Грузовики с пушками на прицеле под огнем противника подскочили почти вплотную к фашистским танкам. С севера группа за группой выплывали «ИЛы». Центр борьбы заметно перемещался к Прохоровке.

Еще не утихли бои в воздухе, как на всем фронте от реки Псёл до железной дороги немецкие танки и пехота вновь бросились в атаку. Генерал Белов видел, что происходило перед фронтом дивизии, но сделать силами своих гвардейцев ничего против «тигров» не мог. Все сейчас зависело от выдержки схлестнувшихся подразделений и частей танкистов той и другой стороны.

Чтобы облегчить положение наших танкистов, генерал Турбин ударил всей артиллерией по вражеским тылам. По вражеским тылам и путям подхода танков к фронту ударили и штурмовики, и бомбардировщики. Больше часу без решающих перемен продолжалась ожесточенная борьба. Немецкие танки отчаянно рвались вперед, но, теряя одну машину за другой, не могли сломить сопротивления танкистов 5-й гвардейской танковой армии, которой командовал генерал П. А. Ротмистров.

Когда вся фашистская авиация обрушилась на берега реки Псёл, большой группе немецких танков удалось через села Козловка, Васильевка, Михайловка узким клином прорваться по левому берегу. Для частей 5-й гвардейской армии генерала А. С. Жадова и особенно для

51-й гвардейской дивизии создавалось исключительно сложное положение. Два вражеских клина — один от совхоза «Комсомолец» до совхоза «Октябрьский» и второй вдоль реки Псёл — отрезали ее от соседних 52-й и 67-й гвардейских дивизий. С трех сторон на 51-ю гвардейскую дивизию наседали танки и пехота врага.

В дивизии не было резервов, не было надежной охраны командного пункта, к которому почти вплотную подходили фашистские танки. Все штабные работники, вплоть до повара, были в круговой обороне штаба. Сила, сила адская перла! На помощь нашим частям были брошены новые группы штурмовиков, которые непрерывно, до самой темноты, штурмовали и бомбили. Попытки гитлеровцев прорваться на Курск через Прохоровку так же, как и по магистрали Белгород — Курск, успеха не имели.

В тот же день юго-западнее Прохоровки войска 5-й гвардейской танковой армии и 5-й общевойсковой гвардейской армии во встречном сражении нанесли противнику мощный контрудар. С обеих сторон одновременно действовали более 1200 танков, «САУ», крупные силы артиллерии и авиации. Это был сокрушительный удар по гитлеровским войскам.

Сам факт контрудара советских войск наряду с переходом в контрнаступление войск Западного и Брянского фронтов на Орловском направлении 12 июля 1943 года говорил о том, что в сражении наступил решающий переломный момент.

В течение 13 и 14 июля войска 6-й гвардейской армии вели боевые действия, укрепляя свои позиции. К исходу 14 июля стало известно о концентрации танков и пехоты противника в районе Березовки, Выхопень, Муханино. Очевидно, немецко-фашистское командование намеревалось нанести удар по нашим войскам, оборонявшимся по берегу реки Псёл. Но гитлеровцы даже на весьма узком участке фронта не рискнули продолжать наступление и к исходу 15 июля окончательно перешли к обороне.

Таким образом, за восемь суток — с 5 по 12 июля, — прорвав нашу оборону, враг узким клином продвинулся на 30—35 километров, но это продвижение по четыре — пять километров в сутки досталось ему ценой таких огромных потерь, что он уже не мог расширить клин и вынужден был прекратить наступление. В то же время создались благоприятные условия для окружения противника. Почувяв надвигающуюся угрозу, гитлеровцы в ночь на 18 июля, прикрываясь сильными заслонами, начали отход в южном направлении.

С утра 19 июля войска 6-й гвардейской армии в составе четырех гвардейских дивизий, двух танковых корпусов со средствами усиления нанесли противнику контрудар. Яростные бои длились два дня. Враг оказывал упорное сопротивление, переходил в контратаки. Однако наши гвардейцы отбивали их и продолжали теснить гитлеровцев. К 23 июля войска 6-й гвардейской армии во взаимодействии с 1-й танковой армией вышли на рубеж, который до наступления занимали гитлеровцы. Однако с ходу прорвать передний край противника не удалось и по распоряжению командующего фронтом Н. Ф. Ватутина войска армии перешли к обороне.

Но теперь уже можно было сказать, что в ходе упорных и ожесточенных боев на юге Курской дуги противнику не удалось прорваться к Курску. Войска Воронежского фронта под командованием генерала Н. Ф. Ватутина измотали, обескровили врага и вынудили его отойти в исходное положение, то, которое он занимал до 5 июля 1943 года.

Ведя оборонительное сражение северо-западнее Белгорода, противник крупными массами войск, с огромным количеством боевой техники, особенно тяжелых танков и самоходных установок, действуя на узких участках фронта, упорно пытался сокрушить нашу оборону. Эту грозную силу, готовую все смести на своем пути, остановили и обескровили советские войска, вооруженные современной боевой техникой. Оборонительные сражения доказали, что

закаленные в боях войска под руководством опытных и талантливых командиров способны не только преодолеть трудности оборонительного боя, но и нанести затем врагу контрудар. В этих боях решающую роль сыграли высокие качества советских воинов — храбрость, стойкость, бесстрашие, верность воинской присяге, сознание справедливой борьбы за независимость и свободу любимой Родины.

Выигрыш оборонительного сражения был победой исключительно большого значения: он показал возросшую мощь Красной Армии. В 1941 году Красной Армии пришлось вести оборонительную борьбу пять с половиной месяцев, потерять значительное пространство, чтобы остановить наступление гитлеровцев. В оборонительных операциях 1942 года ей потребовалось почти полгода, чтобы измотать врага, истощить его ударную силу и затем перейти в наступление. А в 1943 году наступление гитлеровцев было сокрушено буквально в считанные дни. 23 июля 1943 года весь мир узнал о разгроме немецко-фашистских войск под Курском.

«Вечером, 23 июля, — говорилось в приказе Верховного Главнокомандующего, — успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска...»

Ценою огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось лишь вклиниться в нашу оборону на Орловско-Курском направлении на глубину до 9 километров и на Белгородско-Курском направлении — от 15 до 35 километров. В ожесточенных боях наши войска измотали и обескровили отборные дивизии немцев и последующими решительными контрударами не только отбросили врага, но и полностью восстановили положение, которое они занимали до 5 июля. Гитлеровский план летнего наступления полностью провалился. Тем самым была разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда одер-

живают успехи, а советские войска вынуждены будто бы отступать.

В Курской битве гитлеровская армия потерпела тяжелые поражения и понесла огромные потери. Советские войска разгромили до 30 дивизий противника. За пятьдесят дней боев фашистские войска потеряли более полумиллиона солдат и офицеров, до полутора тысяч танков, три тысячи орудий и более трех тысяч семисот самолетов. Восполнить эти колоссальные потери гитлеровская Германия уже не могла.

Особенно тяжелый урон был нанесен танковым войскам противника. Генеральный инспектор бронетанковых войск Германии Гудериан писал: «В результате провала операции «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за тяжелых потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя».

Еще в разгар тяжелых оборонительных боев под Курском Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед фронтом задачу — совместно со Степным фронтом разгромить белгородско-харьковскую группировку противника. Войска 6-й гвардейской армии с третьего августа 1943 года принимали активное участие в этой операции. Мы, как говорили солдаты и офицеры, попали из огня да в пекло.

Войска армии за двадцать дней и ночей тяжелейших боев несли немалые потери в живой силе и технике. Все мы предполагали, что людям будет дан отдых. Армии нужно было доукомплектоваться живой силой и техникой. Но мы получили приказ наступать в главной группировке и на основном направлении, и час наступления приближался.

Оборону противника, которая четыре с лишним месяца стояла против нас, мы изучили хорошо. Из показаний пленных, из документов разведки мы знали, что она опирается на многочисленные узлы сопротивления, особенно в районе сел Томаровка — Борисово. Эти узлы сопротивления преграждали нам путь

к Полтаве и Днепру. 6-й гвардейской армии предстояло прорвать сильную оборону противника на рубеже Герцовка — Новочеркасское, шириной до двадцати километров по фронту, примерно по три километра на дивизию.

Перед наступлением, как под Москвой и Сталинградом, снова начался большой приток заявлений в партию. Только в ночь на 3 августа в нашей армии было подано несколько тысяч таких заявлений. В ту ночь я находился с группой офицеров и генералов на своем наблюдательном пункте. Нас интересовало, как ведет себя противник. А он вел себя тише обычного. Он даже не освещал передний край ракетами, видимо, спал после тяжелых и неудачных боев в период наступления.

— Ну, если бы он знал, что мы вот-вот начнем артиллерийскую подготовку из сотен орудий, он дал бы нам жару, как мы ему 5 июля, — сказал генерал П. Ф. Лагутин.

Ровно в пять часов, 3 августа, по сигналу ракет загрочотала наша артиллерия, раздался гул «катюш». Около трех часов продолжался наш артобстрел противника, а он молчал. Значит, действительно проспал.

Под прикрытием артиллерийского огня и авиации двинулись наши танки. За ними 51-я, 52-я, 67-я и 71-я гвардейские дивизии.

Не прошло и трех часов с начала атаки, как ударная группировка 5-й и 6-й гвардейских армий прорвали вражескую оборону и развернули упорные бои в районе Томаровского узла сопротивления. В образовавшуюся 15-километровую брешь устремились танкисты Катюкова и Ротмистрова. Успешно развивалось наступление главных сил 22-й и 23-й гвардейских стрелковых корпусов.

Во второй половине дня 3 августа части 67-й и 71-й гвардейских дивизий вышли на рубеж Герцовка — Ямное. Главные силы 51-й гвардейской дивизии, развивая наступление, успешно продвигались в направлении Казацкое.

...Сильный пулеметный огонь противника вынудил батальон

158-го гвардейского полка залечь перед небольшой высоткой южнее села Ямное. По вражеским пулеметам ударили наши минометы, гвардейцы бросились в атаку, но, встреченные сильным огнем, снова залегли. Срывалось выполнение боевой задачи, приостанавливалось продвижение и соседних частей. Танки противника с десантом автоматчиков ринулись в контратаку, но их накрыла наша артиллерия и противотанковые ружья. Несколько бронированных машин вспыхнуло, остальные отошли. Наши гвардейцы снова бросились вперед, но и на этот раз, попав под ураганный огонь пулемета, вынуждены были отойти на исходные позиции.

В это время командир батальона старший лейтенант Н. Г. Нечев увидел, как с правого фланга из нашего окопа вылез боец и, прижимаясь к земле, пополз к вражескому пулеметному гнезду. Приблизившись к нему на расстояние 25—30 шагов, гвардеец поднялся во весь рост и бросил в амбразуру связку гранат. Это был, как потом узнал командир, сержант Карягин из первой роты. Едва смолк фашистский пулемет, как громкое «ура» прокатилось по полю, гвардейцы бросились в атаку. Коммунист Карягин был впереди своего взвода.

Советские воины ворвались в траншею противника и в рукопашной схватке уничтожили врага. Сержант Карягин получил правительственную награду.

К концу первого дня наступления оборона противника была прорвана на восемь — двенадцать километров, а передовые отряды генерала Ротмистрова и Катукова проникли в глубину вражеской обороны до тридцати километров, перерезав железную дорогу, соединявшую Белгород и село Томаровку. Оборона противника, опирающаяся на мощные узлы сопротивления в районах Белгорода и Томаровки, была разрезана тараном наших войск на две части и оказалась под угрозой полного разгрома. 4 августа шли упорные бои в районе Томаровского узла сопротивления.

Томаровка — большое село. В

нем много каменных домов, в которые противник поставил пулеметы и пушки, с ходу овладеть им не представлялось возможным. 5 августа части 52-й гвардейской дивизии во взаимодействии с частями 67-й и 71-й гвардейских дивизий вступили в отчаянную, но безуспешную схватку за окраину села. Пришедшие им на помощь части 51-й гвардейской дивизии с танками, при хорошей поддержке артиллерии и авиации, доходя порой до рукопашной схватки, сломили сопротивление врага и завязали уличные бои.

Мне много раз за время войны приходилось наблюдать уличные бои и самому в гражданскую войну участвовать в них, но такие отчаянные я наблюдал впервые.

К утру 7 августа после тяжелых боев части 6-й гвардейской армии во взаимодействии с частями 5-й гвардейской армии полностью освободили село Томаровку.

После этого войска 6-й гвардейской армии, ломая на своем пути ожесточенное сопротивление противника, быстро продвигались вперед. 51-я и 71-я гвардейские стрелковые дивизии во взаимодействии с частями 1-й танковой армии завязали бои за село Мощеное — опорный пункт Томаровского узла сопротивления противника.

Одна танковая рота в период артподготовки преодолела реку, обошла село по лесной чаще и вышла к минометной батарее врага, которая в это время вела огонь по нашим переправам. Танковая рота полностью уничтожила минометную батарею противника, с юга пошла по ее тылам. Враг, почувствовав, что его окружают, стал отходить.

Зная, что село Мощеное — крепкий опорный пункт, я, командующий артиллерией генерал Турбин и другие товарищи из штаба армии поехали на наблюдательный пункт командира 71-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. П. Сивакова.

Не успели мы приехать на пункт, как в селе разыгрался бой: строчили пулеметы, автоматы, ухали пушки — оркестр этот был нам хорошо знаком. Но вдруг в привычное гро-

ыхание вплелись какие-то посторонние звуки. Не сразу мы разобрались, что это — колокольный звон. Он слышался все явственнее и явственнее. Причем это было не простое гудение колокола, кто-то умелой рукой выводил радостную мелодию, которую то и дело забивали артиллерийские взрывы. Но мелодия звучала!

Генерал Турбин прислушался.

— Вот здорово тарабанит! Неужели кто-то из наших солдат был звонарем?

Призывные звуки колоколов слышались все настойчивее. Генерал Турбин не выдержал, да и меня подмывало узнать, что происходит в селе! Бой уходил все дальше и дальше, но мы решили заехать в село и узнать, кто же это звонил в самый разгар боя? Когда приблизились к селу, перезвона колоколов не стало слышно, зато вся площадь у церкви была заполнена народом. Обычно, когда мы заходили в села, они бывали пустыми. Жители скрывались в лесах, в балках, в болотах. А тут полно народу! Кинулись к нам. Сколько радости, сколько слез...

Я приказал разыскать звонаря. Минут через десять подходит ко мне старичок лет шестидесяти с лишним. Снял он перед нами свой рваный картузишко, низко поклонился и сказал, переминаясь с ноги на ногу:

— Это я звонил...

Сказал как-то боязливо, хотя и старался улыбаться.

— Что же это вы, дорогой, идет бой в селе, фашисты еще вокруг церкви бегают. Могли ведь застрелить вас.

— Пули я не боюсь,— ответил он,— пусть бы свалила, но я все-таки успел бы оповестить своих сограждан о великой радости, созвать их.

Расцеловались мы с ним, поблагодарили старика за смелый поступок и наградили его медалью «За отвагу».

Много нам пришлось видеть встреч в освобожденных селах, городах, но такую встречу, как в Мо-

щеном, трудно даже описать! Мы построили войска, и они прошли перед народом. А гвардия, надо сказать, всегда шла перед народом, как и в бою,— хорошо. Старик-звонарь стоял рядом со мной и, глядя на войска и проходящую технику, изумленно повторял:

— Сила, сила-то какая! Откуда только взялась?

Что ему можно было ответить?

— Это, отец, снарядила нас могучая наша страна. Наши женщины, подростки и даже дети, которые на фабриках, на заводах, в колхозах работают по двенадцати, четырнадцати часов в сутки. Все это дается тяжелым их трудом. Так что не только нам, воинам, достается, но и им.

Выслушал он меня со вниманием, потом вздохнул и ответил:

— Да, если бы мы не находились в оккупации, то работали бы не четырнадцать часов, а все двадцать четыре...

К солдатам и офицерам подходили девушки, дети, подносили цветы, благодарили солдат за освобождение из проклятой фашистской неволи.

Член Военного совета генерал П. И. Крайнов предложил мне провести короткий митинг. Я охотно согласился. Мы решили часть подразделений вторых эшелонов оставить на плацу — пусть побеседуют с жителями, пусть посылают солдаты и офицеры, что творили на нашей советской земле фашисты, пусть еще больше распалятся их сердца желанием поскорее освободить советских людей от фашистской каторги.

Сначала выступил пожилой гражданин, он рассказал о чудовищных бесчинствах гитлеровцев. Потом поднялась на крыльцо девушка, мать которой фашисты повесили за связь с партизанами. Девушка сказала, что никакие мучения не заставили ее мать изменить своему народу, партии Ленина. Она просила воинов бить фашистов, скорее гнать их с нашей земли!

Генерал Крайнов попросил выступить и меня. Я сказал:

— Дорогие советские люди! Друзья наши, родные! Еще одно

доброе дело сделано — теперь и ваше село освобождено от фашистов; Гитлер считал, что здесь, под Курском, он просидит вечно, поэтому и план своего наступления назвал «Цитадель», что обозначает крепость... А Красная Армия разгромила эту крепость, да так, что от нее одни обломки остались. Добраго здоровья всем вам, а мы пойдем освобождать народ и советскую землю.

Низко поклонившись народу, я сошел с крыльца. По площади прокатилось дружное и радостное «ура».

С любовью провожало село своих освободителей. Гвардейцы торопились: тяжелые бои с врагом продолжались. Накануне 6 августа в упорных боях по уничтожению борисовской группировки был захвачен в плен вражеский лейтенант. Он сказал, что их дивизия считалась одной из лучших в немецкой армии. Когда русские в районе Белгорода за несколько дней разгромили эту дивизию, все были потрясены. Жалкие остатки дивизии спешно отвели в ближайший тыл, но, не дав ей времени, чтобы привести себя в порядок, опять бросили в бой. Попав в окружение, многие экипажи бронемашин, оставив свою технику, разбежались, ибо видели, что дальнейшее сопротивление бесполезно.

После пяти суток непрерывных боев воины 1-й танковой, 5-й и 6-й гвардейских армий углубились западнее Харькова в расположение противника до восьмидесяти километров. Немецкое командование, угадав наше намерение окружить всю харьковскую группировку, начало отводить свои войска от Харькова и Харьковского направления.

Но к двадцатым числам августа не только для 6-й гвардейской армии, но и для всего Воронежского фронта начала складываться очень сложная обстановка. Противник, собравшись с силами, прорвал оборону на узком участке 166-й дивизии 27-й армии, начал распространяться на восток по направлению Ахтырка — Краснокутск и вышел в тыл 52-й гвардейской дивизии гене-

рала Н. Д. Козина. Был окружен танковый корпус генерала П. П. Полубоярова и 71-я стрелковая дивизия 27-й армии. Нам удалось с небольшими потерями вывести их из окружения ночью.

Последующие дни 6-я гвардейская армия медленно продвигалась вперед. Нависшая было над армией угроза окружения миновала, хотя эта участь постигла некоторые наши части. Так случилось с 21-м стрелковым полком 71-й гвардейской дивизии. Командовал им подполковник Л. Я. Минин, которого я лично хорошо знал. Это был молодой командир. Приходилось мне с ним встречаться в самых трудных условиях, всегда он был подтянут и внешне спокоен, хотя я и понимал, что внутри у него все горело.

Когда подполковник Минин получил приказ о выходе из окружения, он собрал командиров и объявил, что атака противника начнется на рассвете, внезапный удар должен обеспечить успех выхода, а с фронта полку будет оказана помощь артиллерией, танками и живой силой. Ночью полк бесшумно выдвинулся на исходные позиции для броска в атаку. Незаметно для противника солдаты поползли к его окопам и, закидав их гранатами, бросились в атаку. Они уже прошли первую траншею, но в это время подполковника Минина ранило в обе ноги, и он упал. Подбежавшему санитару он приказал найти начальника штаба полка, и когда тот пришел, приказал:

— Дайте мне знамя, пусть меня поднимут автоматчики, я обопрусь на них и сам пойду в атаку.

Автоматчики подняли своего командира, и он со знаменем повел полк. С боем полк прорвал и вторую линию обороны противника. Автоматчики продолжали нести вперед раненого командира. В это время он был убит. Но автоматчики продолжали нести командира впереди полка, и полк вышел из окружения.

Я был в полку, когда хоронили Л. Я. Минина. Сколько за войну приходилось видеть, как хоронят воины своих командиров, но такого

глубокого солдатского горя видеть еще не доводилось.

Я хотел вывести этот полк в резерв — в тыл, чтобы он немного передохнул, но воины наотрез отказались: они рвались в бой, чтобы отомстить за своего любимого командира.

6-я гвардейская во взаимодействии с 4-й и 5-й гвардейскими армиями, ломая упорное сопротивление врага, продолжали прорываться к Полтаве. Командир 71-й гвардейской стрелковой дивизии И. П. Сиваков в двадцатых числах сентября доложил мне: его разведка действо-

вала в районе Полтавы и сообщила, что там противник имеет небольшой гарнизон, не более двух батальонов с танками и артиллерией. Мной было об этом доложено командующему фронтом Н. Ф. Ватутину. Он приказал мне выделить передовые отряды с тем, чтобы принять участие в освобождении Полтавы...

Пробыв на Курской дуге около семи месяцев, мы, согласно решению Ставки Верховного Главнокомандования, были направлены на север, в мою Калининскую родную область, под Невель.

Война продолжалась.



ЮЛИУС ФУЧИК

«МЫ РОДИЛИСЬ В ВЕЛИКУЮ ЭПОХУ»

Наши
публикации

Однажды Ладислав Штолл, друг Фучика, задумался над тем, что так роднит Юлиуса Фучика с советскими людьми. И он дал такой ответ:

«Во время оккупации мы были свидетелями того, как Фучик, погружаясь в историю эпохи Возрождения, оставался активно и действенно, целиком и полностью в настоящем, но смотрел в будущее. Он организовывал прослушивание иностранного радио, устанавливал связь, следил за движением Красной Армии. А сам был похож на красноармейца, который и в атаку берет с собой томик Пушкина. Поэтому советские люди с такой любовью читают Фучика: они узнали в нем своего человека».

На тему «Юлиус Фучик и СССР» написана уже не одна статья, тема эта очень велика и многоаспектна. Но к 30-летию со дня казни чешского коммуниста Юлиуса Фучика гитлеровскими фашистами хочется подчеркнуть именно самую непосредственную связь всей его деятельности с прошлым и будущим, а отсюда и перспективность этой деятельности.

Передовой человек своего времени, Фучик всем своим существом откликался на главные события эпохи. Обычно таких людей называют «сейсмографами века». Но о Фучике сказать это слишком мало. Одним из самых главных достоинств его творчества и одной из самых существенных черт его личности является то, что Фучик неустанно искал, находил и уточнял оптимальное решение современных проблем в интересах человеческого общества. И поскольку внутренне он всецело подчинялся своему никогда не затухавшему стремлению изменить мир к лучшему, добиться для всех людей условий, достойных человека, Фучик вольно и невольно создавал, распространял и формировал во всех областях своего творчества новые критерии отношения к жизни и искусству, новые этические и эстетические понятия самого высокого философского плана.

Особенно в Юлиусе Фучике ценна цельность. Его жизнь на редкость неотделима от его творчества. Каждая строка его произведений подкреплена его собственными действиями, всей его жизненной позицией и конкретными поступками. И, в конечном счете, не только его героической жизнью, но и героической смертью.

Двадцать пять лет тому назад я прочла в подлиннике «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Теперь я могу сказать, что эта книга связала меня нерасторжимыми узами с Чехословакией и ее литературой.

Особенно поразили меня непосредственно обращенные к читателю слова Фучика:

«Об одном прошу тех, кто переживает это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безыменных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безыменных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои

чаянья и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим».

...Терпеливо собирая свидетельства, связанные с жизнью, деятельностью, творчеством, памятью Юлиуса Фучика, я пришла к выводу, что его слова были гораздо серьезнее даже такого понятия, как «категорический императив» преемственности поколений. В них был высочайший философский принцип действительной человечности, активной и конкретной любви к человеку и сочувствия ему.

Каждый день в период разразившегося в тридцатые годы экономического кризиса Фучик видел у себя на родине вереницы безработных, знал не один случай смерти людей от голода, не один случай самоубийства от отчаянья, но все эти случаи не сливались у него в некое общее и абстрактное тяжелое «понятие» страха или ужаса.

«Один-единственный случай смерти от голода,— пишет Фучик,— один-единственный человек, который умер от голода среди переполненных складов и перед оградой двора, где умышленно уничтожали хлеб, должен потрясти сознание настолько, чтобы об этом никогда нельзя было забыть».

В этих словах — весь Фучик. Все его действия и поступки говорят о том, что он никогда таких вещей не забывал и никогда не мог смириться ни с жестокостью, ни с бесчеловечностью, ни с несправедливостью. Активно не мог смириться. «Не проходить мимо» — стало его жизненным кредо, нормой поведения, жизненным принципом.

«Вы, которые были возмущены, вы, кто выражал протест, кто пришел в ужас от этого убийства, вы убеждены, что вы сделали все?» — пишет Фучик в одной статье.

«Во имя чего вы писали свои книги, свои стихи, свои статьи, направленные против преступлений империи? Во имя чего вы боролись с такой решимостью и отвагой, за которую вас любили и почитали мы, молодые люди, студенты и рабочие? Во имя чего вы боролись, если не чувствуете необходимости действовать теперь?..» — пишет он в другой статье.

«Вы, которые подчиняетесь и не протестуете, потому что с этим строем связаны кое-какие ваши интересы,— вы думаете, что не являетесь его опорой? Нет силы, которая удержала бы этот строй, кроме вашей слепоты. Нет силы, которая удержит его, если вы прозреете», — пишет в третьей. И т. д.

Юлиус Фучик не уставал призывать людей к действию, к активным выступлениям против голода, безработицы, против капиталистического строя. Он отдавал все свои силы политическому воспитанию масс. И в деле этого воспитания он руководствовался еще одним критерием, который в тридцатые годы приобрел для него основополагающее значение. Это — отношение к Советскому Союзу.

Впервые в СССР Фучик попал в 1930 году, после 18-дневного путешествия. Вместе с четырьмя рабочими, которых пригласили в Киргизию их бывшие земляки, Фучик добирался до СССР без билета, без паспорта, нелегально. Пробыл он в СССР четыре месяца, а по возвращении написал книгу «В стране, где завтра является вчерашним днем» (1930).

Вторично он приехал в СССР в 1934 году. Компартия послала Фучика в Москву корреспондентом «Руде право». Он был первым чехословацким коммунистическим корреспондентом в Москве. Отчасти это было вынужденное решение. Фучику после окончания военной службы¹ предстояло отсидеть слишком большой срок, сразу по нескольким приговорам — и все в основном за пропаганду СССР.

Отношение Фучика к Советскому Союзу никак не исчерпывается теми двумя книгами репортажей, которые он написал во время своих двух поездок в СССР — в 1930 и в 1934—1936 годы. Оно пронизывает всю его повседневную деятельность — и литературную и политическую. Пропаганда достигнутый Советского Союза и советского пути развития, а также неустанное противостояние разного рода попыткам бросить тень на героическую деятельность советских людей становится делом жизни Фучика.

Юлиус Фучик всегда был в самой гуще борьбы чехословацкого пролетариата. И многие его статьи и репортажи о жизни трудящихся Чехословакии давно уже приобрели значение документов истории. В особенности это относится к его статьям, написанным о событиях в Радотине, в Духцове, в Фривальдове и в Мосте, где была пролита кровь рабочих.

В 1930—1934 годах Фучика неоднократно арестовывали, иногда в году по несколько раз. В основном ему ставилась в вину пропаганда советского строя, советского образа жизни. Иногда ему удавалось воспользоваться каким-нибудь противоречием в своде законов и избежать наказания. Временами он должен был скрываться от полиции, жить на нелегальном положении.

Фучику часто приходилось писать намеками, эзоповым языком. Он очень тонко, с опытностью хорошего юриста умел обойти параграфы закона об «охране республики», направленного против демократических свобод, умел поставить цензора в затруднительное положение.

Но не раз Фучик действовал и совершенно открыто. Никогда никто еще не подсчитывал, сколько раз он открыто и резко протестовал против разных несправедливых событий. Никто никогда не подсчитывал, ибо это сделать не так легко. Но вот лишь несколько открытых писем:

«Письмо некоторым людям, которых я уважаю», «Не вы ли это, доктор Мейсснер!», «Господин начальник полиции», «Господин цензор, вы конфисковали...», «Письмо людям о казни товарищей Шаллаи и Фюрста», «...Открытое письмо министру Гебельсу».

¹ См. Письмо из Тренчина

Никто никогда не подсчитывал такого рода выступлений Фучика, как правило непосредственно обращенных к конкретным адресатам. Он вел прямой и честный диалог. И с врагами, и с друзьями. Подлинными и потенциальными.

Письма Юлиуса Фучика родным и близким представляют собой особый вид его литературной деятельности. Письма эти также свидетельствуют о необыкновенной цельности писателя-героя и одновременно усложняют, вернее, уточняют его образ. В обращении к самым близким людям Фучик — точно такой же, как и в своих статьях, если речь идет о его взглядах, только несколько сложнее, когда дело касается настроений. Если статьи отражают зачастую уже преодоленное страдание или сомнение, то письма полны и робких надежд, и сомнений, и разочарований, и упреков.

В настоящее время Фучик по праву считается одним из самых блестящих зарубежных журналистов 20—30-х годов и одним из самых активных и находчивых популяризаторов жизни в СССР. Но по письмам видно, что Фучик постоянно находился в мучительном поиске, как «выразить невыразимое», найти правильный тон и правильное слово для передачи того нового, с чем он столкнулся в СССР.

«Мы родились в великую эпоху,— пишет он из Москвы жене 9 августа 1935 года.— Это хорошо чувствуют даже люди в самых отдаленных уголках мира. Но здесь в Москве это чувствуется еще больше, будто бы здесь подбивается итог или происходит сгущение. Москва сейчас, действительно, центр мира. Здесь делаются первые главы всей будущей истории человечества. Это столь грандиозно, что меня, к величайшему моему отчаянию, раздвигает. Как человек я расту, а как корреспондент — самое несчастное существо под солнцем... Как все это передать?»

Он старается влезть в самую гущу жизни, берет на себя уйму «общественных нагрузок», и чтоб способствовать своей непосредственной деятельностью общественному прогрессу, и чтоб лучше понять, изучить жизнь. Он старается, насколько возможно, учесть и восприятие своего читателя, его психологию и привычный образ мыслей. Но действительно часто все-таки оказывается в затруднительном положении. Либо сам чего-то до конца не понимает, либо не может коротко объяснить. Все эти настроения отражены и в письмах, которые публикуются ниже.

Фучик прежде всего ищет основной ключ к явлениям советской жизни. И вот ему кажется, что он его находит. Это происходит во время его вторичного приезда в Советский Союз. Он пишет статью «4—5 лет спустя». Рост советского человека, повышение его культурного уровня, обогащение его жизни, расцвет личности — вот что считает Фучик ключевым и определяющим для жизни в СССР.

«Во имя человека, ради человека строились промышленные гиганты. Теперь человек сам становится гигантом, гигантской проблемой всего строительства социализма.

Плуг героизма первой пятилетки вспахал поля 160 миллионов душ, лежащих рядом в столетней отсталости. И теперь поднимается первая озимь, Человек и его отношения с человеческим обществом начинают проявляться».

Это был совершенно правильный ключ. И поэтому уже не собирательный образ советского человека-героя появляется с этого времени в его очерках, а, как правило, люди живые, с подлинными их именами и фамилиями, множество людей с личной биографией, личной судьбой.

А если мы задумаемся над тем, что в настоящее время и ведущие западные прогнозисты приходят к выводу об особых перспективах тех стран в соревновании современных обществ, где люди способны постоянно учиться и переучиваться, мы лишней раз должны будем убедиться, насколько Фучик хорошо понял суть революционных преобразований в СССР.

Московский корреспондент «Руде право» еженедельно публиковал в своей газете, а также и в других газетах статьи, очерки и репортажи из СССР. В «Руде право» была даже заведена специальная рубрика с рисунком почтового ящика, где Фучик отвечал на все вопросы своих соотечественников.

Стремясь создавать «живой и верный образ людей и поступков», Фучик ищет в советской жизни самое существенное, самое типичное, что давало бы правильное, не искаженное представление читателю об СССР и воодушевляло читателя на борьбу за социализм.

Нет ни одной значительной проблемы тех лет, на которую Фучик не откликнулся бы в своих статьях. Он пишет о Седьмом съезде Советов, реконструкции Москвы, Краматорском заводе, о школах, игрушках, изобретениях, праздновании Первого мая, колхозах, электрификации страны, советском законодательстве и воспитании людей, новых магазинах, московском трамвае, советской семье и т. д. Он интересуется всем, начиная от цифр, показывающих рост промышленности в СССР (единственной страны в мире, которая не испытывала тяжелого экономического кризиса и развивалась невиданными темпами), рост народного дохода и реальной заработной платы трудящихся, и кончая тем, на сколько больше сахару съедают москвичи за последнее время или как махорку вытесняют папиросы.

Публикуемые в журнале «Письма» составляют только небольшую часть корреспонденции Фучика, изданной в Чехословакии специальным томом в собрании сочинений.

До сих пор на русском языке были изданы только «Последние письма» Юлиуса Фучика, написанные им в тюрьме перед казнью.

Предлагаемые Вашему вниманию письма публикуются впервые.

Нина НИКОЛАЕВА

Густе в Прагу

Почтовый штемпель Москва 20 мая 1930

Путь был длиннее, чем мы предполагали, но теперь мы уже на месте. Мы в совершеннейшем восторге. Москва действительно великолепа. Ленинград — совершенно рабочий город. Беднота — а создается богатство. Уже в Твери (Тверская губерния) мы встретили совершенно новый город, большие современные дома для рабочих. Все находится в революционном соревновании.

Всем знакомым привет. И тебе Густина.
Юля.

Тренчин, 22 ноября 1932 года

Моя милая Густина!

Я снова глубоко каюсь, что не писал тебе. Но мне, на самом деле, трудно было писать. Все эти дни прошли как-то глупо, я чувствовал себя страшно усталым — не физически — и был недалеко от желания не то заплакать, не то напиться. Или, скажем, выкинуть какую-нибудь штуку, т. е. развлечься любой глупой шуткой, лишь бы только выкарабкаться из этого состояния. Поэтому и не писал.

Вероятно, я сумел бы преодолеть свой кризис, приди письмо от тебя. Я ждал его с робкой надеждой в воскресенье. Но не дождался, и мне ничего не оставалось, как нырнуть и погрузиться в свое отчаянное настроение, а потом выплывать собственными силами.

Кажется, мне это уже удалось — не знаю, правда, надолго ли. Сейчас я сижу в маленьком, почти никем не посещаемом кафе. Больше всего я люблю писать тебе здесь. Хотя на минутку, а все-таки чувствуешь себя «гражданским» человеком. То есть просто-напросто человеком. Вообще же на военной службе все человеческое из тебя куда-то улетучивается. Не можешь не замечать этого — и стараешься противостоять. Как раз в этом и состоит трудность службы. Теперь я понимаю, почему военная служба в империалистической армии **должна** продолжаться столь долго. Не для того, конечно, чтобы нас многому научить. А для того, чтобы мы оступели, чтобы потеряли ощущение добра и зла, чтобы утратили всякую критичность и привычку к собственному мнению. И эти качества, отличающие хорошего солдата, должны в течение военной службы так глубоко войти в наше сознание и подсознание, чтоб срабатывали потом механически в любую минуту — окажись мы снова в солдатской форме.

Ты стараешься воспрепятствовать тому, чтобы окружающие тебя люди тупели. И в то же время чувствуешь, как тупеешь сам. Вот окаянная ситуация!

Первое столкновение с военщиной я все же не проиграл: борьба, можно сказать, длилась пять недель, и все это время новобранцев атаковали и торжественными речами, и строгими придириками, и проповедями о благородном величии военной службы, и всякого рода дерганьем — пере-

гонкой с работы на работу, с учебы на учебу. Новобранцы, в большинстве своем люди бедные, были не очень склонны пугаться этой строгости, как и слишком увлекаться благородной болтовней. Зачастую достаточно было одного их слова, одного движения или одного небольшого примера, — и военщина проигрывала.

Сейчас, уже более двух недель, мы ничего не делаем, т. е. не делаем ничего нового. Только повторяем и повторяем. Снова и до омерзения повторяем заданные марши, прискоки, привалы; чистим картофель, чистим ботинки, наводим особый субботний порядок. Если раньше это хоть в какой-то мере вызывало необходимость думать, то теперь все делается механически, бездушно. Но механизм военной службы тем не менее столь гроыхает и утомляет, что человек уже не может думать ни о чем ином, пусть у него для этого и уйма времени.

Господа знают, что их армия — это не армия верных и надежных солдат. И поэтому они превращают казарму в фабрику машин — бегающих и припадающих к земле, а также и послушно стреляющих, как только нажимается соответствующая кнопка приказа.

И все-таки, рассказывая тебе обо всем этом, я вижу, что излишне подчеркиваю успешность их метода. Правда, мы, военные машины, порой уже не реагируем, когда оскорбляется наше человеческое достоинство, и тем не менее наш механизм достаточно чувствителен, чтобы заскрипеть и заставить отозваться все до одного колесика при каждом заметном толчке извне. Да, теперь я это осознаю совершенно ясно.

Любопытный эпизод произошел вчера днем в нашей комнате. Ефрейтор (тот самый человек, которому вменили в обязанность неотступно следить за мной) вступил со мной в спор о немецком гимне. Потом мы заговорили о гимнах вообще, и он позволил себе шутку: «Вы, наверное, охотнее поете русский, чем наш». Я согласился с ним с видимой охотой. Тогда он полюбостствовал: «А какой у русских гимн?» И я запел по-русски («Интернационал»). Не особо громко. Но все-таки это услышал один немец, который стоял, склонившись над своим чемоданчиком. Он вдруг выпрямился и запел вместе со мной «Интернационал» по-немецки. А тут присоединились и два словака, а потом еще один чех. И прежде чем мы успели спеть первую строфу, как уже все парни (кроме одного) стояли посреди комнаты, руки по швам — и «Интернационал» сотрясал стены казармы.

Такая случайность, а кончилось ведь дело настоящей демонстрацией. Да к тому же еще — тревогой среди начальства, строгим обыском, произведенным в нашей комнате, и наказанием четырех солдат... потому что у них оказались невычищенными ботинки... Ребята на неделю были оставлены без увольнения. Наказать строже и откровеннее не посмели. А «механизм», как видишь, не подвел.

Ну это только небольшой эпизод. Есть

факты и покрупнее. Взять хотя бы реакцию солдат на события в Поломке¹. Говорят об этом очень много, все здесь страшно возмущены. Это был слишком серьезный удар по нашим отупевшим чувствам и мыслям. Ребята понимают, что они тоже могли попасть в положение жандармов на Горегроне! Только им пришлось бы поступить иначе. Все возмущены. Проявляют большие симпатии и сочувствие к тем, в кого стреляли. В дебаты вступают все новые и новые люди, о настроениях которых я даже и понятия не имел. Видишь, это как раз одно из тех трагических событий, которые, очевидно, никогда нас не будут оставлять безучастными.

Поломка вообще вызвала страшное возмущение. Гораздо большее, чем это нашло отражение на страницах «Руде право». Скажи об этом в редакции. Они ведут эту кампанию плохо. Длинные комментарии не нужны. По существу не нужно ничего, кроме хорошей информации, как раз этого в «Руде право» нет.

Я принес в казармы воскресные номера «Руде право» для чехов и словаков и «Прагер Тагблатт» для немцев. Немцы реагировали гораздо живее и гораздо точнее. И дело, конечно, не в них самих, а в несколько лучшем отражении событий на Горегроне в «Прагер Тагблатт».

И «Словак», который я достал сегодня, произвел гораздо большее впечатление на наших ребят. Очень плохо, что «Руде право» в такие вот моменты не оказывает должного влияния. И здесь нельзя делать скидку даже на то, что арестовали Пепика, как я узнал. (Вообще-то ослабленную редакцию я сердечно жалею.)

Ну, пора кончать, уже скоро вечерняя поверка. Девочка, теперь ты должна мне прислать письмо. Поверь, мне иногда бывает очень плохо, и часто меня спасают только твои письма. Я так им радуюсь. По крайней мере, в них — ты моя. А ты? Я уже не отваживаюсь написать о Догальском. Надеюсь, что даже и без него мы увидимся хотя бы на пару дней, когда я приеду на рождественские каникулы.

Девочка моя, я покидаю свое кафе, рассказ мой кончается. Снова я перестаю быть человеком — становлюсь солдатом, который, впрочем, любит тебя совершенно по-человечески.

Твой Юля.

Привет всем, не забудь о Пепике. И главное, не забывай обо мне и не пиши таких злых слов, как на этой фотографии.

Москва, 13 сентября 1934 г.

Моя милая девонька!

Я все время откладывал письмо тебе, все дождался, что сяду за него в своей комнате. Мне хотелось начать с радостного сообщения, что вот наконец-то я нахожусь на месте, на постоянном месте, но боюсь, что этой радостью мне не скоро придется поделиться, и поэтому сейчас я снова поль-

зуюсь редким случаем оказаться за письменным столом (у Гакена)¹. Многое я здесь уже понимаю. Многое увидел и понял — главным образом с тех пор, как уехали писатели-делегаты, которые слишком решительно придерживались центра города. Но одна вещь остается для меня метафизической загадкой: как здесь люди приобретают права на жилье. Немало товарищей прилагает все силы, чтоб меня поселить, мне так или иначе помогают все, но квартира для меня все еще дело «завтрашнего» дня, как и в день приезда. И в то же время я никак не могу пожаловаться на невезенье. Нигде и никогда еще я не видел жилищного кризиса, который с таким успехом способен был бы устоять против столь мощного и боевого напора на него. Люди здесь вырастают прямо с мостовой, вчера еще человек был в Самаре, в Кузнецке, в Праге или в Сан-Франциско, а сегодня он уже в Москве, и мятежно или смиренно, в зависимости от темперамента и дисциплины, он требует себе квартиру — и, наконец, покорно попадает в непередаваемо длинную очередь. Нахожусь на этой очереди и я. И понимаю, что вся моя покорность проистекает отнюдь не от безнадежности, а от понимания...

Точка. Или, скорее, три точки. Я долженю это письмо только сегодня, 24 сентября 1934 года, но честное слово, в своей собственной комнате... Трижды я начинал письмо тебе, каждый раз на новом месте, каждый раз у нового хозяина — и трижды не успевал закончить, должен был оторваться. Честное слово, не было места, где бы я мог присесть, чтобы спокойно пописать хотя бы часок. И в последние дни я уже начал немного нервничать, в особенности в связи с тем, что приезжавшие передавали, что, мол, в Праге недовольны моим молчанием — и я вас, пражан, понимал и ничем не мог помочь. Я не знаю, возможно ли себе это представить, чтоб человек не нашел свободного места на таком куске земли, как Москва? Где живет четыре миллиона людей? Человек может испытывать самое острое чувство одиночества (хотя я сомневался, чтобы коммунист в Москве испытывал такое чувство), но едва он захочет вне очереди найти себе спокойное место для работы, он не сможет не убедиться, что одиночество — роскошь, о которой не приходится даже и мечтать.

Теперь уже все хорошо, все налажено. Даже замечательно. У меня своя квартира, приличная, уютная квартира в гостинице «Европа», в той самой гостинице, где я жил четыре года тому назад как делегат. Теперь я могу тебе сообщить и собственный адрес, и ты напиши мне на него длинное-предлинное письмо, сразу же как только перестанешь на меня сердиться. Адрес немудреный, теперь меня, пожалуй, нашло бы и письмо, надписанное «Фучик — Европа», как любил в хорошем настроении ост-

¹ В деревне Поломка в Словакии 16 ноября 1932 года жандармы стреляли в население, вышедшее на демонстрацию протеста против голода. Были убиты.

¹ Йосеф Гакен (1880—1949) — выдающийся деятель чехословацкого коммунистического движения, один из основателей компартии Чехословакии. В 20—30-е годы представлял чехословацкую компартию в Коминтерне.

рить отец. Но для того, чтобы оно дошло наверняка, пиши лучше так: «Москва, Неглинная улица, гостиница «Европа», номер 98». Я нахожусь здесь уже третий день, или, точнее сказать, третью ночь. Вчера я написал свою первую статью (сегодня утром она уже полетела в Прагу). А сейчас спешу порадовать тебя своими хорошими известиями (сначала, как видишь, долг, а потом уже удовольствие — как сказал тот господин, который отрубил королю голову, а потом начал душить его детей).

У меня снова прекраснейшее настроение, и меня не вывела из равновесия даже ругательная телеграмма, которую мне вручили как раз в ту минуту, когда я, совершенно счастливый, принес свою переносную статью и которая (то есть эта самая телеграмма) меня убедила в том, что ни Борин, ни Лацо не рассказали в Праге о моем тяжелом положении, хотя видели его и хотя я их об этом просил. Что делать, некоторая доля зловредности свойственна, очевидно, каждому человеку.

Теперь — хотя и с основательным опозданием — я хотел бы ответить на письма и вообще привести в порядок свою переписку. А именно; 1. От Иржи я, разумеется, никакого письма не получил. Я не удивляюсь этому, ведь я не писал ему тоже. 2. Что, мол, я не хочу писать в «Гало»¹ — чистейший вымысел. И в настоящее время надеюсь это поняли и мои почтенные коллеги, ибо я послал туда уже вторую статью. 3. Что касается моего выступления против архитектурного проекта посольства в Америке, я об этом ничего не знаю. Но я выступил против, к сожалению, уже построенного американского посольства в Москве, а потом и против разных других, к несчастью, уже построенных — очень некрасивых зданий. И я не понимаю, какие неприятные последствия здесь может иметь любая критика, кроме разве того, что она способна раздружить с некоторыми из критикуемых. Но это ведь не всегда плохое последствие. Если бы так называемые современные архитекторы, что пишут за рубежом негодующие письма о засилье классической архитектуры, обладали характером и проявляли бы свое негодование здесь, иностранным корреспондентам вовсе не пришлось бы впутываться в дела архитектуры.

Тут нужно понять одну важную вещь: во имя конструктивизма в Москве построили целый ряд домов, которые нельзя назвать ни хорошими, ни красивыми. Приверженец «классической архитектуры» охотно покажет тебе эти дома, и в его хуле будет немало правды. Он, правда, признает и другое, что даже и прославленное классическое здание американского посольства мало чего стоит, но все-таки оно чуть лучше некоторых современных, хотя бы потому, что в нем лучше функционирует центральное отопление. Видишь, мол, что такое классика! И ко всему прочему, что касается отопления, это правда.

4. Высказывание Тайге¹ о том, что здесь поднимается волна мещанства, очень тесно связано с общим восприятием у таких вот людей того, что происходит в Советском Союзе. Они совершенно забывают о том, что Советский Союз действительно опередил капиталистические страны, материально опередил. Что из того, что культурный уровень, а лучше сказать, культурные традиции у нас выше, старше, когда они уже почти не могут осуществляться в действительности. А здесь для культуры — поле неограниченное. Это касается и культуры отдельного человека, и культуры всего общества. Так же обстоят дела и с жилищной культурой, то есть культурой создания и строительства новых домов. Вдруг ты осознаешь: то, что дома у нас кажется огромным достижением, огромнейшим завоеванием, здесь свидетельствует только о ненужной бедности. Вот у нас очень любят говорить: это красиво, потому что, мол, целесообразно. Здесь такая фраза производит впечатление совершеннейшего пережитка. И происходит это потому, что, несмотря на все трудности, СССР — страна чрезвычайно богатая, страна растущая, страна, которая, вульгарно говоря, «может себе позволить больше», чем все капиталистические страны. И именно отсюда «целесообразность», как критерий «прекрасного», является каким-то свидетельством Робинзонов культуры посреди моря капиталистического варварства. Для Робинзона стул из ветвей тоже был прекрасным, потому что на нем можно было сидеть и потому что ничего иного сделать он не мог. Здесь рассуждают так: пусть будет целесообразно, но одновременно пусть будет и прекрасно. То, чего здесь добиваются, может быть расценено, как **новый стиль** нового благосостояния самой крупнейшей человеческой эпохи. И в этом отношении им, конечно, ионические столбы не помогут, и против такого позорного копирования классики необходимо бороться изо всех сил. Но не помогут им в этом отношении также и стандарты. И если всего этого так называемые «модерные» архитекторы не поймут, то они так и останутся всего-навсего «так называемыми современными архитекторами», которые дома топчут ножкой: «Ах, я эти ионические столбы строить не буду — и basta». А потом спокойно их строят. Впрочем, с этой самой классикой у нас дома преувеличивают. Здесь есть целый ряд новых зданий, которые, на самом деле, являются и целесообразными и прекрасными.

5. Что касается выхода в международную жизнь, я не думаю, чтоб ее было меньше, чем у нас. Наоборот. Но на первый взгляд наше развитие острее, **драматичнее**. Само собой разумеется, это — субъективные ощущения. У нас эти чувства я знаю. Я был в гуще жизни, был в деле — а здесь я только пока знакомлюсь, приближаюсь к делу. И, конечно, некоторое время придется еще подождать, прежде чем к настоящему делу всерьез приобщусь. Ведь здешние люди на целых **восемнадцать** лет

¹ «Гало-Новины» — орган компартии Чехословакии, в который регулярно писал Ю. Фучик, а в некоторые годы и возглавлял редакцию.

¹ Карел Тайге (1900—1951) — известный чешский критик-авангардист.

ушли дальше, чем мы. У меня вообще нет больше мыслей, что я здесь не на своем месте. Все едино, и задача у меня та же самая, только материал иной. Я должен успеть здесь максимально, сколько хватит сил, а ты можешь и должна мне помочь. Без критики с вашей стороны я, даже при очень большом усердии, могу попасть в довольно неприятную ситуацию: я говорил бы, а вы бы меня не понимали или понимали бы только наполовину. Жить долго в Советском Союзе, проникнуть в суть дел, стать здесь своим и смотреть при этом на все глазами человека из капиталистического мира — это очень трудная задача.

Густина, меня очень обрадовало твое письмо. Напиши мне снова такое же. Ты должна мне писать, и я сам буду теперь тебе писать регулярно. Ты же знаешь, как я накидываюсь на письма. Как дракон. И ребятам скажи, чтобы порой сунули листочек-другой для меня в конверт. Хотя бы — для контроля.

Сегодня я телеграфировал, что в Прагу приедут советские спортсмены. Точный состав команд определится, наверное, послезавтра. Как только он мне станет известным, я напишу в «Гало-Новины» статью об отдельных участниках, чтобы в Праге их уже знали. Вообще я здесь становлюсь специалистом по спорту. Очевидно, потому, что уж очень я добивался их поездки (Б. очень меня об этом просил). Скажи ему об этом.

Твою просьбу, Густина, не забывать я выполняю, и это мне совсем нетрудно, то есть выполнять нетрудно. Но само незабываемое уж слишком на меня действует, и люди по вечерам мне говорят: «Что это ты такой «задумчивый»?»¹

Но сейчас уже не вечер, сейчас — ночь — 2 часа. И ты отправляешься, наверное, спать. И мне надо идти. Завтра мы пускаем Краматорский завод, я и хочу написать об этом большую статью. А потом снова продолжу свой рассказ. Но теперь слово тебе, Густина, не забудь об этом.

Спокойной ночи, Гу — сти — на.

Твой Юля.

Передавай привет всем, кто меня помнит. Густина, не забудь также, что тебе надо взять отпуск дважды — зима здесь тоже прекрасная. А что, если в Крым в феврале — марте?

Москва, 6 октября 1934 г.

Моя милая Густина!

Вот уж три дня, как, подходя к дежурному за ключом, я всякий раз осторожно заглядываю через его плечо в свое почтовое отделение, не виднеется ли там белого конверта. Моя полка, вернее, шельф, быстро наполняется, там много московских газет, нередко появляются и конверты — приглашения, запросы, делегатские удостоверения и разные другие документы, но белого конверта от Тебя там еще ни разу не было.

Сегодня я направился за Твоим письмом почти уже наверняка — и все-таки

опять «нет». Я знаю, что своего второго письма я заставил Тебя долго ждать, но мне казалось, что я весьма основательно изложил тебе свою ситуацию — и ты все поймешь. А если ты все же хочешь меня наказать, что я могу поделаться на таком расстоянии? Только принять наказание. Но ведь и ты могла бы принять мое покаяние.

Я здесь крепко впряжен, дали мне уже несколько порядочных «нагрузок». Пишу достаточно, а главное, очень много учусь. От всего этого я могу получить — и надо сказать, получаю — одну только радость. Но есть факты, которые мне очень неприятны. Страшно неприятны. Это — несколько телеграмм, пришедших на имя Гагена еще три дня тому назад, где выражается великое негодование по поводу того, что я ничего не делаю. В одной из этих телеграмм говорится, что в течение уже шести недель от меня ни слуха, ни духа, какие, мол, сделаны из этого выводы? Выводов, разумеется, не было сделано никаких. Потому что каждый здесь видел, что сразу по приезде я писать не мог. Это во-первых, а во-вторых, в Москве календарь идет, наверное, несколько медленнее, чем там у вас. Прошло ровно три недели и два дня, как я послал свою первую статью. Даже и сегодня еще до шести недель не дотянул. Остается почти целая неделя. А ведь я послал уже шесть статей, а кроме того — целый ряд сообщений и телеграмм. И так, с этим шестинедельным расчетом происходит какая-то чепуха. Но как раз именно это мне и неприятно, ибо похоже на то, что в Праге на мой счет распространяются какие-то несерьезные настроения (телеграммы ведь были из разных мест). Или это свидетельство нетерпения, которое, надо сказать, неуместно?

Ребята должны были бы понять — а Лацо должен был бы им хоть немножко объяснить, что для того, чтобы быть здесь хорошим корреспондентом, нужна довольно основательная подготовка. Разве я Иржи Бенеш¹, чтоб просто болтать о том, что вижу, не стараясь разобраться в причинах тех или иных явлений? И неужели они там думают, что так легко сразу вдруг освоить все эти причины? Нет, именно теперь все стало совсем нелегко. Социализм здесь не только растет, но и разрастается и достигает такой широты, что ты уже не можешь из одной точки и единым взглядом все окинуть, заметить и понять.

В своем первом (и до сих пор единственном) письме ты мне писала, что Тайге толкует о рождении мещанина в Советском Союзе. Отнюдь не случайно, что он так толкует. Не случайно и то, что многие люди, проведшие в СССР по несколько дней и не заглянувшие в гущу жизни, или люди, следящие за жизнью в СССР по статьям, пусть даже и советским, — представляют себе, что это рождение происходит именно сейчас. В первые три дня пребывания здесь, когда я болтался по улицам, меня тоже порой охватывало такое чувст-

¹ Иржи Бенеш — журналист, в тридцатые годы корреспондент реакционной газеты «Ческе слово», органа национальных социалистов.

¹ Написано по-русски.

бо, и все-таки это чувство — ложное и несправедливое, а такого рода взгляды на советскую жизнь куда грязнее, чем вся клевета на Советский Союз в первые годы строительства социализма.

Представь себе, какое отчаяние они порождают и каким служат контрреволюционным тормозом у нас! О стране, где строится бесклассовое общество, вдруг пускается острота (а у нас такого рода заявления не воспринимаются просто как острота), что там-де рождается новый мещанин! И вот если ты живешь здесь не дни, а недели и если учишься понимать жизнь, то начинаешь это остроумие расценивать как грубую клевету, вытекающую из совершеннейшего непонимания всего развития... А понимая, ты можешь уже обрисовать общую ситуацию в Советском Союзе — что я и попытался сделать в своей первой статье — «Спустя четыре-пять лет». Но если ты собираешься быть постоянным корреспондентом, тебе нужно вгрызаться в детали, и любое порядочное сообщение требует от тебя свободного владения целым комплексом вопросов.

Вот позавчера здесь, например, открыли новый гастроном. Это огромный магазин в стиле Ренессанс, который скорее похож на балльный зал, чем на гастроном. Но когда-то до революции здесь был именно гастроном, который посещала самая крупная московская аристократия и буржуазия. Говорят, что там бывало всегда полным-полно — и теперь там стоит очередь, и только в первый день гастроном посетили 14 тысяч человек. Если я дам такое вот сообщение (оно наверняка интересно), чем я буду отличаться от господина Бенеша, который присовокупит к нему «мудрое поучение», что это, мол, и есть доказательство того, что в Советском Союзе все снова **возвращается в нормальную колею**? Да ничем. Потому что и сухое сообщение, без этого мудрого поучения на неинформированного, а следовательно, на непонимающего читателя произведет такое же впечатление, как и тенденциозно заостренная статья Иржи Бенеша.

Я, конечно, могу спорить: нет, ничего не возвращается, потому что до революции туда ходили буржуазия, а теперь ходит пролетариат, и я буду совершенно прав. Но он, Иржи Бенеш, может опубликовать — и он наверняка сделает это — преискурант гастронома с его высокими ценами (здесь так и говорят — «гастроном — астроном»). А рядом с этими ценами может привести зарплату рабочего, хотя бы с фабрики «Парижская коммуна», и при этом заметить: как же, мол, рабочий за свои 185 рублей зарплаты может позволить себе зайти в гастроном и купить баночку маслин стоимостью в 20 рублей? Или, скажем, килограмм конфет за 40 рублей? Нет, скажет Бенеш, в этот гастроном ходят не рабочие, а спецы и квалифицированные руководители промышленности, которые зарабатывают по 1000—2000 и больше рублей в месяц и являются новой буржуазией Советского Союза. Но пусть даже он всего этого и не скажет. Разве моей обязанностью не является

в своем сообщении показать, что именно рабочие ходят в гастроном и почему? Почему они могут себе это позволить, почему покупают там килограмм конфет за 40 рублей, хотя и на самом деле их зарплата составляет всего лишь 185 рублей в месяц?

А для того, чтобы на все эти «почему» я мог ответить, я должен знать много разных рабочих семей, должен основательно знать их жизнь, я должен знать больше, чем можно почерпнуть в какой-нибудь теории, — если, конечно, я хочу живо и убедительно отобразить и такую, в сущности, мелочь, как открытие нового гастронома.

Объяснения такого рода вещей мне сами советские люди не дадут. Для них все это уже слишком ясно, они просто-напросто **думают** иначе, чем мы. Да и иностранные спецы мне тоже этого не объяснят, если они не пытаются понять сути и живут «для себя», как, например, Яромир, который находится здесь уже целый год и сохраняет приблизительно такие же взгляды, как Тайге.

Я уже кое-что видел, чтобы понять, что вся эта небывалая роскошь, вся эта **роскошь благополучия**, которая сейчас проявляется, представляет собой антитезу к строгому тезису героического самоотвержения, который осуществлялся в начале строительства социализма. Теперь же речь пойдет о **синтезе**, о могучей свободе бесклассового общества. Но для того, чтобы я был способен все это выразить в любой статье и в любой, пусть и без того любопытной детали, я должен еще очень многому учиться, должен многое узнать и собрать много материала. Теперь я хочу все это осуществить хотя бы в некоторых вещах — ведь до сих пор я больше регистрировал всякие новшества, чем писал.

Обо всем этом ты как-нибудь расскажи ребятам, прошу тебя. И еще одно замечание: если уж мы послали сюда собственного корреспондента, то почему бы не начать с этого настоящую **кампанию!** «Ческе слово» сумело произвести шум — а а нам, что, стыдно? Здесь ответственные товарищи очень удивляются (и я совершенно нескромно тоже), что моя вступительная статья не была с соответствующей врезкой — о том, что московский корреспондент начинает свою работу — опубликована на первой странице. Моя статья здесь была переведена для внутреннего потребления и ее формулировки в «соответствующей инстанции» были расценены как особо удачные. А почему бы «Руде право» было и не подать ее получше, разумеется, не ради меня, а ради самого дела. Я думаю, что это нерасторопность.

У меня есть план. Ежедневно — два сообщения, раз в неделю — статью в «Руде право» (в воскресенье), один раз в неделю — статью в «Гало-Новины», и один раз в неделю — в «Творбу» или «Свет праце», кроме того, еженедельный обзор. Затянутые статьи, с каких я начал, я писать больше не собираюсь. Очень уж я испугался, что выходит так длинно.

Я собираю материал, начал вести свою собственную картотеку, у меня уже есть не-

большая библиотечка, и я очень много читаю. Со среды — ты меня еще слушаешь? — я уже начал работать по-новому. Это своего рода новый метод корреспондирования, пригодный и для стенографа...

Сейчас в «Комсомольской правде» идет анкета, как смотрит молодежь на любовь. Подавляющее большинство в этой анкете жалуется, что на любовь нет времени. На эту тему, пожалуй, мог бы высказаться и я. Но у меня есть время, Густина, чтобы вспоминать о тебе, хотя ты там, наверное, меня и забываешь. Я знаю, вы снова мне скажете: «Слишком холодные «деловые»¹ письма. А к чему мне быть неделовым, лиричным, пусть даже у меня и есть к этому склонность? Густина, на самом деле, пиши мне. Ты знаешь, я испытываю совершенно безумную радость, когда в своей почтовой «щелочке» вижу белый конверт. А нередко это просто приглашение или просьба до завтрашнего дня написать статью для «Революционной печати» или копия ругательной телеграммы из Праги. Ах, если бы что другое!

Знаешь, сегодня у меня впервые был выходной день, первый день, когда я почти ничего не делал, — и я сразу же затосковал.

Бумага кончается. Спешу вернуться к делам. Итак, еще один «деловой вопрос»². Прошу тебя, пошли мне мои «солдатские рассказы» («О маленькой Терезке и бравом судебном исполнителе» из «Творбы» в том числе), а потом где-то в столе лежит блокнот с заметками к этим рассказам, мне хочется здесь все доделать. Заказ я получил бы. Мой единственный готовый рассказ («Зеркало») ты лучше перепиши на машинке. Если вдруг потеряется, мне будет жаль. Нужны мне и другие вещи. Прежде всего «Бессмертные» из первого номера «Добы». Густина, не сердись, что у меня все время какие-то просьбы, хотя ты и молчишь. Но ведь ты знаешь, что я все время думаю о тебе, и мне кажется, что ты хочешь меня просто наказать. Густина?

Юля.

Ребята должны были бы мне ежедневно посылать и ту и другую газету на мой адрес: Москва, гостиница «Европа», 98. В секции мне их не могут одалживать, а к Гагену газеты приходят раз в неделю (если вообще приходят).

Москва, 9 февраля 1935 г.

Моя милая, дорогая Густина!

Твой жалобный голос в телефонной трубке преследовал меня до тех пор, пока я не сел писать тебе. Раньше никак не мог избавиться от мук совести.

Съезд кончился шестого. Первая сессия ЦИКа — только вчера. Это были очень торжественные и очень радостные дни, и переживал я их не как сторонний наблюдатель. Но работы была уйма — для каждого представителя коммунистической печати. Мы так вымотались, что вчера всем нам предложили по несколько дней отпуска. Но послезавтра — опять событие, начинается

съезд колхозников-ударников, и таким образом, в отпуске можно было бы провести всего лишь один сегодняшней день, который я уже наполовину проспал. Потом я немножко привел в порядок материалы, мне нужно закончить вторую часть статьи для «Творбы» (первую я писал прямо на заседании и послал, не читая, настолько спешил. А сейчас беспокоюсь, передал ли я там хоть что-нибудь из того, что я хотел и должен был передать. Другая часть, надеюсь, будет получше, потому что сейчас у меня чуть больше времени). И вот, наконец, я пишу тебе, моя девочка.

В ответ на мое среднеазиатское предложение ты сказала мне по телефону, что ваши посчитают меня «сумасшедшим»¹. И только. А каково твое мнение? Ты умоляла. И письма я тоже никакого от тебя не получил. Вот почему я и принимаюсь уговаривать тебя снова. По-моему, все это вполне может получиться. Пять недель отпуска ты все равно должна получить, работаешь ты хорошо². Есть хорошая традиция — премировать ударников. Я тоже что-то вроде ударников. Так вот нас и премируют капелькой личного счастья. А что если бы у тебя должен был родиться «ребенок»? Тогда ведь тебя пришлось бы отпустить на целых четыре месяца! Вот и пообещай им, пожалуйста, что в этом году ты, так и быть, без ребенка обойдешься и, таким образом, не воспользуешься четвертым месяцем, не говоря уж о финансовой экономии на бездетности.

Может быть, тебе покажется несколько диковатой моя арифметика, но что делать? Я на самом деле не нахожу никаких доводов против моего великолепного предложения, сколько бы я об этом ни думал. Подумай только, Густина, ты ведь фактически успела бы сделать гораздо больше — даже при условии, что находилась бы в отпуске и отдыхала.

Ты мне нужна, как помощница. Нужна именно ты. Чтобы я мог «ковать свои планы». Ты помогала бы мне, знакомясь с материалом, который я собираю для своей книжки. А книжку я должен буду написать не только потому, что тут мне это настоятельно советуют. Это намерение уж слишком крепко засело у меня самого в голове.

Материал, привезенный мною теперь из Средней Азии, очень богат и интересен. Но мне никак не хочется излишне увлекаться экзотикой. Есть кое-что поважнее и поконкретнее для нас, то есть для того мира, который лежит за границей СССР. Скажем, «Интергельпо». Я был там вторично, и только теперь понял, как много «Интергельпо» дает для понимания различия между Советским Союзом и капиталистическими странами. На нем — на его живой истории и на живых людях — можно показать всю эту разницу, причем нет необходимости допускать ни малейших композиционных сдвигов.

Ты знаешь, как часто я старался пока-

¹ Написано по-русски.

² Написано по-русски.

¹ Написано по-русски.

² Г. Фучикова работала в это время в советском торгпредстве в Праге.

зять два класса на судьбах двух людей в одно и то же время. Правда, я представлял себе этот контраст в иных измерениях (шахтер — акционер). Но и сейчас меня привлекает принцип одновременности действия. И вдруг я увидел свою идею полностью воплощенной в «Интергельпо»! Представь себе: люди из Европы, из Чехословакии, словаки, венгры, чехи, немцы едут в Киргизию создавать свою коммуну, а вместе с ней и первую промышленность в этой отсталой стране. Уезжают они из Европы во времена конъюнктуры. Отнюдь не потому, что дома страдали от безработицы. Но почему, собственно, они уезжают? Некоторые потому, что видят в СССР вторую Америку. Некоторые потому, что у них — авантюрный характер. Некоторые потому, что это коммунисты и хотят учить отсталых киргизов строить социализм. И вот приезжают они все в голую степь. И должны теперь почти героически преодолевать тяжелые, очень тяжелые препятствия. Людям с авантурными наклонностями это нравится: «американцы» работают потому, что представляют себя на месте первых колонизаторов Америки — там ведь было не легче, а в результате все-таки сколотились миллионы. А «учителя социализма»? Те уже заранее шли на всякие трудности.

Но строительство «Интергельпо» не игрушка. Кругом недостатки, нехватки. Начинается малярия, умирают дети, люди падают от усталости. Советское правительство помогает — и все-таки много членов «Интергельпо» бежит обратно в Чехословакию.

И вот перед тобой несколько типов — людей, которые все выдержали: это коммунисты, прошедшие в свое время через забастовки, через войну, через революцию в России (в качестве военнопленных), через венгерскую коммуну; потому один «американец», который так долго и усердно работал в «Интергельпо», дабы стать миллионером, что, наконец, вдруг понял, что он фактически не может и не хочет жить вне социалистического коллектива — и стал коммунистом; и ряд других типов, на которых непосредственно виден рост нового человека. Это вот одна линия: рост рабочих из капиталистических стран. Ведь из них сейчас становятся хозяева богатого «Интергельпо», новые **социалистические люди** Советской Киргизии.

Со всем этим, само собой разумеется, связана и другая линия: рост отсталой Киргизии, бывшей царской колонии, которая сейчас превращается в новую советскую республику. И виден не только этот рост. Не менее очевидно и то, что «иностранцы», приехавшие учить киргизов строить социализм, сами только здесь учатся социализму. Их ненаучный утопизм (если он только был) под конкретным руководством партии уступает место целеустремленному и сознательному строительству социализма. И страна меняется. В степи, в которой интергельповцы заложили первое «промышленное предприятие», т. е. вырыли яму и наделали кирпичей из вырытой глины, стоят теперь и интергельповская текстильная

фабрика, и кожевенный завод и так далее. Кочевники с гор приехали в долину посмотреть на все эти чудеса — и из них стали грамотные мастера. Люди, которые еще недавно покупали себе жен, теперь преподносят политграмоту. Басмачи, которые еще в 1931 году боролись против Советской власти, теперь строят шоссе в горах и соединяют с миром места, тысячелетиями отрезанные от него трех- и даже шестидесятичелювными поясами гор.

«Бедная земля гор» с единственным богатством — горными пастбищами — вдруг становится землей чрезвычайно богатой, потому что в ней открывают великие залежи угля, серы, нефти, руты, радия и т. д.

И это вот — та другая линия, которая должна быть в моей книжке. Экономическая и национальная политика Советского Союза, показанная на примере одной страшно отсталой республики...

И, наконец, третья линия... Только она и придает этим двум предшествующим — нашу значимость. Или, другими словами, — актуальность для читателей капиталистических стран. Конечно, я никак не хочу сказать, что сам Советский Союз недостаточно актуален. Я хочу только сделать так, чтобы можно было **сравнивать**, причем чтобы читатель не принуждал себя к этому искусственно, нарочито.

Эта третья линия такова: много людей, приехавших в «Интергельпо», уехало обратно в Чехословакию, потому что трудности созидания показались им непреодолимыми. Они помнили еще Чехословакию времен конъюнктуры, а стали возвращаться, когда уже начался кризис. Там, в степи у Фрунзе, устав от двенадцатичасовой работы, которая к тому же была им не по душе (текстильщики должны были работать каменщиками), они мечтали о своей работе, о восьми часах на текстильной фабрике и о жаловании, пусть небольшом, но твердом. А также и об удобствах «цивилизованной» страны. И вот они вернулись. И ругали Советский Союз. Но недолго! Потому что свою восьмичасовую работу, о которой они мечтали, они уже не нашли. Не нашли они и двенадцатичасовой. Не нашли и двухчасовой. Просто-напросто не нашли никакой работы. Удобства «цивилизации» превратились в варварство безработицы — в кризис, в упадок капиталистических стран. Теперь в богатом «Интергельпо» люди получают письма из Чехословакии: возьмите нас обратно, мы умираем, мы не можем здесь жить.

И вот их истории «дома» — это и была бы третья линия. И совершенно естественно, она пересекалась бы с первыми двумя. Выходило бы примерно так: это вот Советский Союз, — он **удовлетворяет** также и запросы западноевропейских рабочих, — а это вот капиталистическая Европа.

Возможно, сейчас все это производит впечатление лишь сухих тезисов, но на самом-то деле материал чрезвычайно живой — живые, настоящие люди. И мне страшно хочется об этом написать.

Только нужно как следует все сделать. И поэтому я хочу еще подробнее позна-

комиться со своим «материалом», главным образом с конкретным материалом для своей «второй линии» — с Киргизией; «Интергельпо» я уже хорошо знаю, Чехословакию, конечно, тоже. Но Киргизию **изнутри**, ее **отдаленные** горные районы не знаю. А отсюда и мой план: май, июнь, июль — новая поездка в Среднюю Азию, а точнее, во внутренние районы Киргизии и в Таджикистан.

Путь примерно должен быть такой. Москва — Куйбышев (Самара) — Оренбург — Кзыл-Орда — Ташкент (оттуда на Чирчикстрой, о котором нужно много писать, потому что это настоящий азиатский Днепрострой, «чудо Узбекистана») и поездка в Самарканд. Из Ташкента до Фрунзе — озеро Иссык — через Александровский хребет до Нарына — через хребты Тянь-Шаня до Оша — по Памиру до Душанбе — Бухара — Ашхабад — Красноводск (оттуда в Кара-Бугаз, это — другая достопримечательность Средней Азии) — через Каспийское море в Баку — Тбилиси и по Кавказу до Ростова — Москва.

Дорога продолжалась бы три месяца, потому что из Нарына до Оша (и, по всей вероятности, с Памирского перевала до Хоргоа) можно ехать только на лошадях — другими транспортными средствами пока что не воспользуешься. Собранные материалы, само собой разумеется, дали бы не только книжку об «Интергельпо», но также и книжку репортажей.

А теперь посмотри, Густина, неужели все это не стоит того, чтобы тебе дали отпуск? Я ведь забочусь не только о том, чтоб тебе было интересно. Но и отношусь к этому плану совершенно объективно — по деловому. Ты сама знаешь, как мне помогает твое присутствие и твоя критичность. От этой идеи я совершенно обезумел и убежден, что ты смогла бы всего добиться. О том, что хочешь поехать с тобой, я здесь еще не говорил, но думаю, что никаких препятствий быть не может. Поэтому я очень прошу тебя, попробуй раздобыть себе отпуск и быстренько ответь мне, что ты сама об этом думаешь. Ведь поездку можно устроить как раз в те месяцы, когда у нас не так много работы (правда, в это время все стараются уйти в отпуск).

Единственно, что во всем этом мне не нравится, — это сроки: тебе снова пришлось бы отложить свой отъезд, то есть твой приезд сюда. А расстояния и разлука уже плохо на меня действуют. Я скучаю, Густина, по тебе. Но зато потом целых **три** месяца! Подумай, девочка, и действуй, настаивай, сделай.

Но если бы вдруг (я уже не знаю, по каким причинам) это все-таки не получилось, приезжай в марте! Я думаю, что смогу получить отпуск, и мы куда-нибудь поедем. И все-таки, повторяю, было бы гораздо лучше, если бы удалось осуществить мой план! Это было бы полезно, Густина (видишь, какой я деловой!), — и **замечательно**.

Напиши мне, пожалуйста, побыстрее. И я тоже тебе **сразу** же отвечу. Передавай всем привет. Скажи Будину, что они хорошо

освещали седьмой съезд. Только стоило бы получше стилистически оформлять мои телефонограммы и самим побольше писать. Но я знаю, что хочешь от них уж слишком много. Нужно признать, что они действительно не жалели места — в мировом масштабе все вышло хорошо. В «Гало» сделали серьезную ошибку, когда перевели «равные выборы» как «полные выборы» в смысле «всеобщие». Это, конечно, неправда — кулаки не будут участвовать в выборах, и сейчас диктатура пролетариата не кончается, а также и не предоставляет никаких прав остаткам эксплуататорских слоев. Ребята еще не научились уважать «словечки» — но вообще-то они поработали на славу.

Снова я деловой! Да, Густина, я слишком этим живу, чтобы именно с тобой не говорить об этом. А говорить тебе приятные вещи, касающиеся только тебя, в «открытых» письмах я не могу. Ты услышишь их, Густина, услышишь, **только приезжай!**

Твой Юля.

Москва, 9 августа 1935 г.

Моя милая Густина! Снова уже наступают славные торжественные дни. Мы вообще родились в великую эпоху — это хорошо чувствуют даже люди в самых отдаленных уголках мира. Но здесь, в Москве, это чувствуется еще больше, будто бы здесь подбивается итог или происходит сгущение. Москва сейчас действительно центр мира. Здесь делаются первые главы всей будущей истории человечества.

Это столь грандиозно, что меня, к величайшему моему отчаянию, раздваивает. Как человек я расту, а как корреспондент — самое несчастное существо под солнцем, которого, кстати, здесь черт знает как мало. Я сижу, слушаю, посылаю телеграммы, все это работа, от которой едва ноги таскаешь, а удовлетворения никакого. Как все это передать?! Как сделать так, чтобы люди там у нас осознали все величие этой исторической эпохи. Ведь даже по тому, как сокращаются мои телеграммы, я вижу, что наши ребята и те недостаточно увлечены, что даже они не переживают десятой доли того величия и той силы, которую мы здесь все чувствуем.

Я могу себе представить, что они работали бы совершенно по-другому, если бы своими ушами слышали историческую речь Димитрова или, наоборот, посидели бы, погруженные в великую тишину после того, как Ван-Мин прочел письмо неизвестного японского солдата-коммуниста, привезшего китайским партизанам полный грузовик военного материала, а потом кончившего жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки японским офицерам. Я переживаю, как свою собственную вину, что не могу всего этого передать. И особенно меня подавляет необходимость работать, как телеграф. Единственно, что меня немножко утешает, это то, что великие события и в отражении своем являются великими, а по-настоящему великими — только с отступа.

А сейчас вот мне кажется, что тебе я

это величие передаю как-то плаксиво. Я прошу тебя, не воспринимай этого так. Это, наверное, переутомление. От усталости на меня находят минуты, когда я должен немного пожаловаться, а ты, несчастная, должна всегда все это выслушивать.

А вообще-то мне совсем не на что жаловаться, как ты сама видишь. Закончу работу здесь и поеду в свою родную Среднюю Азию. Мне уже хочется очень серьезно реализовать свой план.

А кроме того, у меня есть и еще один план — чисто журналистский. Как я говорю, «журналистский», только теперь он приобрел уже конкретные формы. Это будет серия полубеллетристических репортажей с профессором Вериге, который ищет космические лучи в шахтах, под уровнем моря, на поверхности Эльбруса, в Арктике и в стратосфере; о солнечных домах в Ташкенте; о Чирчике, который вырабатывает из воздуха тысячи вагонов азотистых удобрений, и так далее. Для всего этого я штудирую физику, химию, астрономию и так далее. Но мне еще необходимо поупражняться в журналистском стиле. Поэтому я тебя, Густина, очень прошу, пошли мне с кем-нибудь (возможно, с Ваничкой — мне говорили, что она скоро сюда приедет) Жюль Верна «Таинственный остров», часть I, «Путешествие вокруг света», «20 тысяч миль под водой», «Робур — завоеватель» и «Путешествие на луну». Мне хочется все написать основательно, и, по-видимому, это было бы хорошее чтение и в газете и, возможно, в книжке.

Одно твоё письмо, открытку, написанную пером, календарик и стеклышко я получил (как тебе Новак, наверное, уже передал) и очень тебя благодарю. Но письма, обещанного в открытке, до сих пор у меня еще нет. Конечно, у меня нет никакого права упрекать тебя, сам я тоже написал тебе только один раз, а ты ведь, как видно, руководствуешься принципом равного представительства? Но теперь, Густина, ты мне все-таки напиши еще. Хотя бы подтверди получение моего письма. Я не получаю из Праги ни от кого даже и открыток. А это очень грустно. На ребят не стоит больше жаловаться — им, очевидно, никогда не понять, как важно находиться в постоянной связи со своими, знать настроения и атмосферу на родине. Без этого трудно писать. Возмести мне то, чего они не дают.

А теперь мне уже снова надо приниматься за работу. Короткий дневной перерыв давно уже кончился — и мне снова пора из прекрасных речей делать сухие телеграммы.

Передавай там всем привет, также и нашим (не забудь!) — и пиши, пиши!

Твой Юля.

Каракол, 28. 10. 35 г.

Моя милая Густина!

Псылаю тебе свой самый «далекий» привет. Так далеко от тебя я, кажется, еще никогда не был. И немедленно должен зарегистрировать, что километры на думы и человеческий контакт влияния не оказывают.

Завтра, наверное, я уже тронусь в обратный путь. «Наверное» — это слово я должен подчеркнуть. Путешествовать здесь нелегко. Пароход по Иссык-Кулю идет раз в четыре дня, а машину (грузовую, конечно) до Рыбачьего можно найти только чудом, хотя мне и помогает ее искать сама инспекция «Кирдортранса». Так обстоят дела с путешествием по Киргизской республике.

Горы, горы, горы, через них тропинки, по которым и на лошадях страшно отправиться. И по этим вот тропинкам ездят грузовые машины. Не знаю, можно ли найти лучшее доказательство в пользу высокого качества советских автомашин и профессионального мастерства советских шоферов! Ведь они на этих дорогах не разбиваются! Теперь «Памирстрой» прокладывает здесь шоссе, которое соединит Фрунзе с Рыбачьим. Оно уже почти готово. Вероятно, окончательно будет готово к 7 ноября, то есть на полтора месяца раньше, чем запланировано. Это огромный успех! Дороги — необходимое условие развития богатств Киргизии. Без них Киргизия далеко отстанет от других советских республик.

От скуки я отправился в горы, над Караколом. Они находятся на уровне трех — трех с половиной тысяч метров. На них лежит свежий снег, хотя внизу — нестерпимая жара, когда светит солнце.

Солнце! Это было для меня сегодня неразрешимой загадкой. Я немного заблудился в горах и вдруг вижу: солнце вот-вот спрячется за вершины. Я смотрел ему вслед и больше всего хотел оказаться в иных широтах — ведь между нами разница в пять часов. О, если бы мне такой выигрыш во времени — я бы как-нибудь не растерялся. Сама посуди, на западе сначала золотое небо стало вдруг красным, и, наконец, каким-то грязным. А около меня все сгущалась тьма. Помнишь, как неприятно на нас действовала темнота на Дюмбире — а здесь ведь был Тянь-Шань! Но в общем-то я из этого кое-как все-таки выкарабкался, что видно уже из того, что я теперь пишу тебе. Сегодня уже, собственно, 29-е, а не 28-е. Приближается утро, а ты, наверное, только собираешься спать. Я тоже сейчас лягу — два чайника чая и немного водки меня уже разогрели — так что могу спокойно ложиться.

А утром, когда проснусь, продолжу. На завтрашний отъезд, т. е. на возможность машины, я, конечно, не надеюсь. Здесь вообще нет никакой определенности. Спросишь, когда, мол, будет машина или пароход? А тебе отвечают: «На днях, а может быть, и раньше»¹. И это единственно правильный ответ — тебя не обманывают.

Утверждать, что машина, которую тебе обещают на «завтра», завтра не поедет, не представляет никакого риска. Сейчас, когда я снова взялся за это письмо, уже 31. А я все еще сижу в Караколе, и, ко всему прочему, вчера был, по-моему, последний хороший день. Ночью началась метель, быстро нагнала тучи, а утром уже лежал снег. Еще вчера он был только на вершинах гор.

¹ Написано по-русски.

Сам Каракол расположился на высоте 1800 метров над уровнем моря (кстати, те горы, где я заблудился, были на высоте более 4100 метров, как я узнал внизу). Все это означает, что начинается грязь — а на Долонском и Атбашинском перевалах я уже убедился, что машина принадлежит к семейству свиней: нигде так охотно не оставивается и не валяется, как в хорошей грязи. Сегодня уже прошел слух, что почту теперь будут доставлять в Каракол только на лошадях. Возможно, и мне в конце концов придется таким же образом добираться до Рыбачьего. В этом, конечно, нет ничего неприятного, — я уже привык к седлу, но все-таки это слишком медленный способ передвижения.

О Караколе говорят, что это самый красивый город в Киргизии. И что-то верное в этом есть. Когда приезжаешь сюда из голого, пустого и пыльного Рыбачьего или спускаешься с другой стороны китайских перевалов, сердце подскакивает от радости — здесь веселые тополя, богатый парк... Но город... города здесь, конечно, еще нет. И вообще Караколом я уже пресытился. «Надоело!»¹

Не думай, пожалуйста, что я предаюсь лени. Я привожу здесь в порядок свои материалы, записные книжки. Я хочу написать свою книгу еще зимой. И если Борецкий еще существует, то как порядочный издатель он должен быть готов к тому, чтоб еще весной (в марте или в апреле) ее издать. И пусть не боится — ему не придется получать ее по страничкам. Посылать отсюда по кускам было бы слишком громоздко. У меня много великолепных материалов, и книжка полурепортажей и полубеллетристики пойдет у меня быстро. Я возьмусь за дело сразу же, как вернусь в Москву. И тебе буду ее посылать по частям. Как первому своему читателю. Ты же знаешь, что без этого у меня ничего не получится.

Вот выберусь отсюда (возможно, это все-таки случится еще сегодня) и увижу еще много интересного: снова Ташкент, Душанбе, Бухара, Ашхабад, Красноводск, Кара-Бугаз, потом Баку, Тифлис, Батум. А потом я хочу по морю в Одессу и потом в Москву. Далекий мой путь, но не напрасен, об этом вообще думать не приходится. А ты знаешь, что здесь самое удивительное? Всюду, в самых отдаленных углах удивительно чувствуешь Советскую власть, и всюду замечаешь удивительный рост!

Теперь мне пора произвести «очередной»² осмотр улиц — возможно, что «моя» автомашинка уже где-нибудь стоит и дожидается своего неизвестного пассажира, и поэтому я заканчиваю свое каракольское письмо.

Всем там передавай от меня привет. Нашим дома передай множество приветов от меня — и не забывай о себе, Густина.

И обо мне тоже.

Твой Юля.

Густина, свое письмо часть дороги я провез с собой. Посылаю тебе его из Ташкента, 7 ноября, в день, который был здесь так прекрасен! Путешествие из Каракола было диким, и я добрался до Ташкента только вчера. Устал я страшно, но сладка эта усталость, и мне, видно, на пользу. Кстати, я съел в Киргизской республике по крайней мере пять баранов и выпил море кумыса (и водки — без водки я бы замерз). Единственно, что мне было не по вкусу — это глаза баранов, которые мне, как «почетному»¹ гостю, предлагали киргизские товарищи.

Ну вот, а теперь уже мое письмо пойдет без меня. Всем привет и до скорой встречи.

Твой Юля.

Москва, 9 июня 1936 г.

Милая Густина!

Я здесь уже совершенно «обрусел». И в этом тебя, очевидно, лучше всего убедит снимок, которые я тебе посылаю. На этой фотографии — я, хотя, очевидно, и трудно в это поверить. По крайней мере, я сам поверить в это не могу. Не правда ли, скорее это какой-то французский романсьеро или адвокат 50-х годов прошлого века? А главное, мне здесь, разумеется, не меньше 45. Ну, «ничего». Пока 45 нет, можно и подшутить над собой. Эти усы — помимо уймы интересного материала — я вывез из Средней Азии. Там так и ходят, это — норма, и я совершенно чувствовал себя по-свойски, тем более что носил тубетейку, а иногда даже и халат.

Теперь я снова собираюсь в путешествие — на Север. Ни Архангельска, ни Мурманска я еще не видел, а там страшно много интересного.

Уеду, я думаю, недели через две. Но до этого времени, надеюсь, ты мне пришлешь какое-нибудь письмо. Ты мало пишешь, Густина! Очевидно, я здесь уже слишком давно, и ты меня забываешь. Но я Тебе напомним о себе, когда ты приедешь!

Как обстоят дела с Твоим отпуском? Я жду Тебя в июле или августе совершенно определенно, Густина!!!!

Поедем вместе куда-нибудь на лоно природы, да?

А теперь мне уже пора кончать. Работа ждет.

Великое множество приветов всем, в том числе и мимо проходящим.

Твой Юля.

¹ Написано по-русски.

² Написано по-русски.

¹ Написано по-русски.

КОНТУРЫ НОВОГО ГОРОДА

Магазин на площади

Сухаревка, Пречистенка, Воздвиженка, Остоженка, Собачья площадь. Только старожилы помнят эти древние, ставшие для нас поэтическими, названия. С исчезновением даже только таких названий не потускнело ли наше восприятие Чехова, Бунина, Куприна, Гиляровского?

Вполне естественно, что московские архитекторы стараются новое строительство активно совмещать с реконструкцией. Новое не отесняет, но дополняет старое. Патриархальные московские улочки переживают сейчас вторую, а иные и третью молодость. Это произойдет в ближайшем будущем и с бывшей Каланчевкой, нынешней трех вокзальной Комсомольской площадью.

У нее своя история. Вокзал первой в России Николаевской железной дороги, соединившей Москву с Петербургом, — это сегодня Ленинградский вокзал, построенный в 1851 году архитектором К. А. Тоном и неоднократно реконструированный. Вслед за ним здесь появились сказочные терема Ярославского и Казанского вокзалов. Автором Ярославского вокзала, выполнившим его в русском былинном стиле, стал архитектор Ф. О. Шехтель. Известный всем нам академик А. В. Щусев проектировал Казанский отправной путь, «ворот на восток».

Автором же будущей площади стал целый коллектив зодчих мастерской № 15 управления Моспроект-1. Это — А. Г. Рочегов, В. М. Гинзбург, Ю. И. Филлер, В. А. Несте-

ров, инженеры Ю. А. Дыховичный, В. В. Ханджи, А. Е. Уланов.

Впрочем, определение «будущая площадь» не совсем верное, поскольку при реконструкции главным принципом остается дополнение к тому, что уже есть, что красиво для нас и привычно. Сегодняшние перемены, которые вот-вот преобразят площадь, планируются так, чтобы не пострадали архитектурные и исторические памятники.

В таком огромном и бурно растущем городе, как Москва, реконструкция наиболее многолюдных улиц, площадей и транспортных узлов необходима. И особенно это касается Комсомольской площади. За одни только сутки три ее вокзала пропускают около полумиллиона человек. В часы «пик» по ней проезжает более четырех тысяч машин в час.

В прошлом веке, когда строилась Каланчевка, о такой нагрузке не могли предполагать даже фантасты. А ведь всех прибывающих в столицу гостей нужно обслужить, и хорошо, если все необходимое они смогут купить тут же, не тратя энергию на поездки по городу. Так возникла необходимость построить неподалеку от вокзалов торговый центр, который смог бы разгрузить центральные московские универмаги и столичный транспорт. Кстати, такие торговые центры согласно генеральному плану развития Москвы должны возникнуть на всех привокзальных площадях. Большой универсальный магазин на Комсомольской площади будет лишь первой ласточкой. Он поместится между Краснопродной улицей и путями Казанской железной дороги.

Сколько рождений пережил этот Универмаг в эскизах, вариантах проектов, рисунках и прочем «черновом» материале архитекторов! Он был то внушительно-респектабельным, то монументальным, то эффектно воздушным. Каждый проект был хорош. Но как только его «выносили» на площадь, вся привлекательность сразу терялась. Теремки вокзалов смотрелись сами по себе, противопоставляя сверкающему блеску стекла веселую вязь гирлянд. «Так-то, мол, так. А мы красивее».

И все-таки зодчие нашли оптимальный вариант. Они не искали сногшибательных решений, а по детальке сложили здание, и оно «засмотрелось», оставаясь самостоятельным, не умаляя достоинств старых заслуженных вокзалов.

Новый магазин займет обширную площадь — около гектара. Двадцать тысяч посетителей смогут находиться здесь одновременно. К их услугам будет столовая, сберегательная касса, междугородный автоматический пункт связи и другие предприятия бытового обслуживания.

Как и все родители, архитекторы видели свое «детище» не только красивым, но и оригинальным, ни на что не похожим. Поэтому и снабдили его необычными дверьми, перед которыми не будут стоять хрупкие старушки, выжидая благоприятный момент, когда можно проскользнуть за широкой спиной покупателя, входящего без риска столкнуться с массивной преградой. Дверей нет. Вернее, они есть, но, заключенные в боль-

шие металлические рамы, днем они будут опускаться вниз. Их заменят тепловые завесы. Этажей, какими мы привыкли их видеть, тоже нет. Но эта оригинальность скорее вынужденная — мало места. Поэтому они сдвинуты по вертикали и имеют несколько уровней. Из этих же соображений экономии места и само здание имеет вид усеченной пирамиды, перевернутой основанием вверх.

А теперь о том, чего покупатель не видит и не должен видеть, — о многочисленных службах магазина, ведь такому крупному торговому центру понадобится великое множество товаров. Прежде чем они разместятся в витринах, их надо привезти, разгрузить, поднять на этажи. Грузовой двор проектируется под зданием, он представляет собою кольцо, по которому будут двигаться всевозможные машины, начиная от малолитражек и кончая мощными рефрижераторами. Всего такое кольцо сможет пропустить около ста автомашин в сутки. Дебаркадеры в виде островков будут принимать товары. Одни — продовольственные, другие — промышленные. В середине этого кольца разместятся две группы лифтов, развозящих прибывшие товары.

Правда, сейчас подвести автомашины к Универмагу довольно сложно. Его соседи — Почтамт, багажный павильон, в свою очередь, требуют большого количества транспорта. Эта проблема решится, когда вступит в действие транспортный дублер, расположенный параллельно Краснопрудной улице.

Еще одно новшество будет введено не только в этом торговом центре, но и в других продовольственных магазинах Москвы — специальная линия подачи молока. Только работники торговли знают, как неудобна, трудоемка доставка молока в бутылках. Инженеры разработали новую линию, удобную и для покупателей, и для продавцов.

Вот таким и будет новый Универмаг на старой московской площади, современный магазин большого города.

Дворец кино

В Москве более двухсот кинотеатров, а все равно у каждого из них толпятся зрители. «Нет ли лишнего билетика?» — эта фраза стала привычной. Она — свидетель не только популярности нового фильма. Кинотеатров все еще не хватает, хотя за последнее время открыли для зрителей свои залы такие киногиганты, как «Октябрь», «Россия».

Скоро появится в Москве еще один. Это даже не кинотеатр, а Всесоюзный киноцентр. Он вырастет в районе Красной Пресни на пересечении улиц Дружинниковской и Заморонова и будет привлекать зрителей не количеством мест в главном зале. Основное его назначение — пропаганда нашего и зарубежного киноискусства.

У советских зодчих была сложнейшая задача — тактично войти на старые заслуженные улицы и площади, не нарушив их

архитектурной целостности, и «вписаться» в современный ансамбль, созданный высотными зданиями на площади Восстания, СЭВа, павильона станции метро Краснопресненская.

Каким же запроектировали киноцентр архитекторы? На местности, отведенной под его строительство, довольно сильный уклон, поэтому зодчие придали сооружению террасную композицию. Строгое здание компактных объемов, не лишено парадности, хотя и без окон. Оригинальные лоджии, проемы, эркеры создают внешний рисунок постройки, придавая ей черты современности.

Наружные стены из естественного светлого камня, большая парадная лестница на фоне окружающей киноцентр зелени делают здание торжественным и монументальным. Встреча с искусством всегда праздник, и здесь он должен начинаться задолго до того, как погаснут огни в зрительном зале.

Новый киноцентр будет не только зрелищным, но и культурно-просветительным учреждением, где можно прослушать лекцию об истории советского и зарубежного киноискусства, позаниматься в читальном зале, библиотеке, посетить музей — для него отводятся специальные комнаты.

Архитекторы запроектировали просторные и удобные помещения для группы современных опытно-экспериментальных лабораторий с просмотрными залами, печатные мастерские, типографии.

Для тех, кто придет в кинотеатр на автомобиле, предусмотрена подземная автостоянка, рассчитанная на размещение сорока автомобилей.

Внутренняя отделка Всесоюзного киноцентра будет отличаться оригинальностью. Передвижные стены позволят увеличивать или уменьшать отдельные помещения. Будут широко применены новые отделочные материалы.

Авторы проекта нового Всесоюзного киноцентра объединены мастерской № 15 Управления «Моспроект-1».

Образец школы будущего

За весьма короткий промежуток времени система нашего школьного образования претерпела весьма существенные изменения, и это вызвало ряд определенных преобразований, в частности, заставило архитектуру школьного строительства приспосабливаться к диктуемым современностью требованиям.

Разумеется, экспериментальные школы еще своеобразно контрастируют с привычными для нашего взгляда кирпичными зданиями, в которых учились мы сами. Но эта привычка постепенно претерпевает изменения.

Уже сейчас можно рассказать о новом школьном здании в Ногинском научном центре Академии наук СССР. Ее проект раз-

работан в архитектурной мастерской ЦНИИЭПа авторами архитекторами Л. Газеровым, В. Степановым, В. Толмачевым, А. Дубовским и инженерами В. Моргулец, А. Бобковой, руководитель К. Френкель. Это специализированная физико-химическая школа. Она займет несколько корпусов, составляющих единый архитектурный ансамбль. Главный корпус — своеобразный технический центр — композиционно строг. В нем разместятся лаборатории, ученые кабинеты с лингафонным оборудованием и кабинеты программированного обучения, обсерватория с вращающимся куполом и телескопом.

Классы рассчитаны на обучение тысячи трехсот двадцати детей. Для тех, кто приедет сюда из других городов, построен интернат. Специальные комнаты для так называемых групп продленного дня позволяют

детям, родители которых заняты на работе, отдыхать, готовить уроки, заниматься в специальных помещениях музыкой, рисованием, скульптурой, техническим конструированием.

Большие мозаичные панно украсят наружные и внутренние стены зданий. Внизу, где будут учиться малыши, темами панно будут такие категории, как «Земля», «Огонь», «Вода», «Воздух», у старших — «Свет», «Звук», «Космос».

В актовом зале светло и в меру празднично, без напыщенности и излишней театральной натянутости. Художники, оформлявшие зал, продумали каждую деталь украшения стен и выполнили свои замыслы с большим и тонким вкусом.

Школа уже построена в Ногинске. Авторы проекта ее награждены премией Совета Министров СССР.

НИКОЛАЙ ПАНИН

Дневник АЗЛК

Каждый день на автозаводе имени Ленинского комсомола — новые события, которые делают жизнь коллектива автомобилестроителей интересной, содержательной. Мы будем информировать наших читателей о наиболее значительных из этих событий.

Вот что произошло в жизни АЗЛК только в мае этого года.

Тюльпаны на стадионе

Лучи весеннего солнца сияют на трубах оркестра, на орденах и медалях, которыми отмечены доблесть ветеранов и трудолюбие передовиков производства. По дорожке заводского стадиона движется вереница автомобилей, возглавляет ее первенец предприятия «КИМ», а завершает комфортабельный «Москвич-412». Таков итог сорокатрехлетней истории завода.

Начинается торжество автозаводцев, посвященное празднику Победы и открытию летнего спортивного сезона.

Два года назад в Текстильщиках возле пруда был сооружен новый стадион — с беговыми дорожками, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами. Тогда же началось сооружение Дворца спорта. Сейчас оно близится к завершению. В его строительстве принимали участие сами автозаводцы.

Праздник открылся парадом. Чеканя

шаг, проследовали курсанты военного училища имени Верховного Совета РСФСР. В первой шеренге — пятеро в плащ-палатках, с автоматами в руках, у каждого на руках маленькая девочка. Воины-освободители — живое напоминание о мужестве и благородстве советского солдата.

В марше шагают колонны представителей передовых цехов и отделов — сборщики, пресовщики, моторщики, шассисты...

Парад, посвященный празднику Победы, стал одновременно и рапортом автозаводцев о трудовых завоеваниях. Несут знамена — свидетельство этих завоеваний. Вот и в первом квартале 1973 года коллективу АЗЛК двадцать четвертый раз подряд присуждено переходящее Красное Знамя Министерства автомобильной промышленности СССР и ЦК профсоюза.

А парад продолжается... Дети в серебристых костюмах космонавтов проносят огромный макет земного шара, выпускают перед центральной трибуной голубей. Проплывает по стадиону живая клумба алых тюльпанов. Парадным маршем проходят прославленные спортсмены предприятия. Их много: вело- и автогонщики, картингисты, штангисты, легкоатлеты. Только мастеров спорта на АЗЛК более пятидесяти. Их показательные выступления были встречены с особой заинтересованностью. Свои! Как не гордиться этим!

А сколько знатных гостей приехало к автозаводцам. Хозяев приветствовали чемпионка мира и Европы, чемпионка Олимпийских игр, известная фигуристка Ирина Роднина и ее тренер Станислав Жук. От души аплодировали зрители чемпиону Олимпийских игр Ивану Калите за его прекрасное выступление на коне со сложнейшими элементами по выездке.

И наконец — «Сделаем Москву образцовым коммунистическим городом!» Транспарант с этим лозунгом пронесли по стадиону участники парада.

Никто не забыт, ничто не забыто

Замерли шеренги курсантов военного училища имени Верховного Совета РСФСР. В тишине звучит рапорт офицера: «Почетный караул по случаю открытия памятника погибшим воинам-автозаводцам построены!»

Первый секретарь Люблинского райкома партии столицы Ю. Г. Зайцев разрезает ленточку, и с монумента плавно спадает покрывало. На гранитном постаменте высечено: «1941—1945. Вечная слава погибшим героям-автозаводцам». Звучит Гимн Советского Союза. С красными знаменами застыли ветераны войны: Павел Логуты — участник встречи на Эльбе, автоматчик Виктор Павлов, бывший артиллерист Егор Нефедов, бывший моряк Владимир Рагулин... О доблести их на полях сражений свидетельствуют ордена, медали. Много орденов, много медалей.

Война! В первые суровые дни именно здесь, на этом месте собирались одевшие солдатскую форму автозаводцы. Они прощались с семьями, с товарищами, остающимися у станков. Они уходили отсюда, и более трехсот из них не вернулись с полей битвы. Сегодня сюда пришли тысячи москвичей — автомобилестроители, родственники погибших, войны, пионеры, дошкольники.

— Ветераны помнят, как провожали на фронт автозаводцев, — сказал старший мастер АЗЛК С. Е. Бутусов. — Вернувшись с фронта, мы снова почувствовали себя в строю. И я, придя с войны без обеих рук, не стал жить инвалидом, а пошел работать за товарищей и друзей по оружию, которые пали смертью храбрых. Светлая память о них не уйдет никогда из наших сердец!

Минута молчания... К памятнику нескончаемым потоком тянутся люди. Они идут, не стыдясь своих слез, бережно опускают к подножию букеты весенних цветов. Замерли в пионерском салюте руки школьников. Над площадью у завода, над дремотными голубыми елями разнеслись звуки оркестра...

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Этот выразительный памятник соорудил главный архитектор АЗЛК Юрий Андреевич Регентов. Зодчий, построивший немало дворцов спорта — в Москве, в Горьком, в Куйбышеве, в Воскресенске, плавательный бассейн в санатории Министерства обороны, он ныне стал патриотом АЗЛК. По его проекту здесь был сооружен спортивно-оздоровительный комплекс, и Ю. А. Регентов остался в коллективе завода. Свой опыт и любовь к предпринятию он вложил и в памятник, спроектированный и сооруженный в кратчайший срок.

А ныне у памятника молодые автозаводцы рапортуя о выполнении своих социалистических обязательств. Здесь им вручают комсомольские билеты и рабочие паспорта. Отсюда их торжественно провожают в армию.

Авторалли «Москвич-73»

5 мая со стадиона АЗЛК был дан старт участникам авторалли «Москвич-73» на приз памяти летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. Н. Волкова. В пятый раз проводит завод эти соревнования, ставшие очень популярными у спортсменов-автомобилистов и почитателей автоспорта. В автогонках приняли участие и опытные спортсмены, и молодежь, и автолюбители на собственных машинах. Из ста сорока четырех стартовавших экипажей до финиша дошли только сто семь, хотя погода была на редкость хорошей и благоприятствовала однодневным и двухдневным гонкам.

Самой сложной была трасса трехдневного ралли, которая проходила через три области: три круга — две тысячи сто километров с множеством дополнительных сложнейших элементов. И уже на первом круге несколько машин выбыло из борьбы.

Но особенно много выбывших было у двухдневников, это в основном была молодежь. Из пятидесяти шести только восемнадцать дотянули до финиша. А впрочем, не так уж и плохо для новичков...

На этот раз в автогонках «Москвич», ставших одним из этапов чемпионата страны, участвовали гости из других городов. Соперничество началось на первом же круге. Представитель спортклуба «Банга» из Каунаса С. Брундза, ехавший на ижевском «Москвиче», спортсмены Волжского автозавода Г. Иванов и А. Козырчиков на автомобилях «Жигули» оказались сильными конкурентами ведущих гонщиков АЗЛК. Однако С. Брундзе не повезло: подвел двигатель. С третьего круга стали отставать вазовцы...

Во всех группах, кроме однодневных, победили автозаводцы. Им досталась добрая часть наград: кубки, грамоты, призы.

Гонщикам АЗЛК приходится участвовать и в более крупных соревнованиях, таких, как авторалли «Лондон — Сидней», состоявшемся в 1970 году, или гигантском по своему масштабу марафоне «Лондон — Мехико», который заграничные любители автоспорта метко называли ралли века. Длинный и трудный путь прошли участники этого соревнования. Четыреста часов безостановочной гонки по дорогам двадцати пяти стран. Двадцать шесть тысяч километров! Из стартовавших в Лондоне девяносто шести машин дошли до финиша только лишь двадцать две. В числе победителей оказались три «Москвича». Они заняли в своем классе второе, третье и четвертое места, а в итоге — командное первенство. Автогонщики-москвичи показали выдержку, волю к победе, смелость, сплоченность, патриотизм.

А в прошедшем феврале в Западной Африке состоялось еще одно международное авторалли — «Сафари-73», в нем участвовали три экипажа автозаводцев. Нигерийская трасса проходила через саванну и тропики, по пустыне и бездорожью, в невыносимой жаре. Все три наших «Москвича»

412» пришли к финишу в отличной форме. Команда советских гонщиков заняла первое место.

С каждым годом растет популярность «Москвичей» на мировом рынке. Более чем в семьдесят стран мира экспортируется продукция завода. В этом немалая заслуга и автогонщиков. В труднейших условиях соревнований выявляются все слабые места машины.

Заслуженные мастера спорта В. Кислых, Ю. Лесовский, А. Терехин, мастера спорта международного класса Э. Лифшиц, В. Бубнов, А. Печенкин, Л. Евсиков, В. Ржевичский, много гонщиков-патриотов своего предприятия умножают славу любимого «Москвича».

«Гостиница-автомат»

В сборочном цехе вступил в строй новый автоматизированный склад двигателей. Уникальное сооружение высотой в пятиэтажный дом, ажурное сплетение из металлоконструкций... Склад вмещает около семи тысяч двигателей для автомобиля «Москвич». Такого запаса хватит сборщикам на две недели.

...На электрокаре подвезли очередной двигатель. На пульте управления оператор «прописывает» новичка на временное проживание. На перфораторной карточке появляется адрес: номер пролета (их на складе четыре), номер колонны (их более сорока), этаж. Оператор закладывает карточку в одну из ячеек, нажимает кнопку. Приходит в движение рольганги, конвейеры, из пролета подъезжает штабелер-искатель, очень похожий на лифт, подхватывает двигатель и отвозит в запрограммированную «квартиру». Обслуживание «клиента» происходит за четыре минуты.

Со склада на конвейер сборки моторы подаются мгновенно. Из диспетчерской цеха на пульт дается зашифрованная команда на определенный промежуток времени. Например, в специальном журнале появляется такая запись: «2:1—10 раз». Это означает, что на главный конвейер нужно подать по два двигателя 408-й модели и по одному 412-й модели десять раз подряд. Кроме того, система дополнительных подвесных конвейеров позволяет подавать со склада в сборочный цех двигатель в комплекте с задним мостом и передней подвеской. Готовые комплекты ходовой части хранятся в так называемых накопителях и оттуда спускаются на сборочный конвейер — тоже по вызову.

Новый автоматизированный склад — лишь одно из новшеств автоматизации, которая занимает все больше места в производстве.

Оно позволило повысить темп выпуска автомобилей «Москвич», уже дав заводу тысячи рублей экономии.

Новая «лечебница» автомобилей

При пересечении Волгоградского проспекта и Кузьминской улицы взору открывается двухэтажное сиреневое здание. Оно занимает ни мало ни много — полтора гектара. Это новая заводская станция технического обслуживания легковых автомобилей «Москвич» с целым комплексом автосервиса и проектной мощностью обслуживания до четырехсот машин в день.

Торжественное открытие станции состоялось в конце мая.

На первом этаже помещения находится главный производственный зал. Он светлый, просторный, украшен большими мозаичными панно; каждое рабочее место оборудовано по последнему слову техники, весь персонал работает в удобных костюмах.

Сюда поступает нуждающийся в ремонте автомобиль, и его, после тщательного осмотра, направляют на соответствующие участки — туда, где будут произведены техническое обслуживание, гарантийный и заявочный ремонт. На том же этаже — лабораторный участок, кузовное и малярное отделения, магазин автозапчастей.

А выше... Во втором этаже все предусмотрено для удобства клиентов: лекционный и кинозалы на двести пятьдесят мест, помещения для выставок, столовая, холл, зимний сад, бар, буфет. Владелец автомобиля может здесь получить квалифицированную консультацию. В скором времени здесь откроется центр для подготовки специалистов автосервиса.

А «больной» автомобиль проходит курс «лечения». Взгляните на световое табло, и вы проследите весь ход выполнения заказа — на станции установлена современная информационная система.

О видах услуг, которые оказывает станция, рассказывает начальник цеха ремонта и технического обслуживания автомобилей АЗЛК В. Я. Букреев.

— Наша станция — это завод в миниатюре и может выполнить все виды услуг, начиная с мойки и смазки и кончая крупным ремонтом, вплоть до замены кузова и перекраски автомобиля. У нас установлено уникальное диагностическое оборудование. И хотя наша «лечебница» фирменная, она сможет со временем обслуживать «жигули», «запорожцы», автомобили иностранных марок.

ИГОРЬ ГОРБАЧЕВ,
народный артист СССР

РАДОСТЬ МОЯ— ТЕАТР, БОЛЬ МОЯ— КИНО

Последнее десятилетие атаковало актеров, режиссеров, теоретиков искусства театра и кино проблемами новыми, часто неожиданными.

Природа актера — игра, и очевидно, что театр удовлетворяет запросы этой природы больше, чем кинематограф. По крайней мере мне, актеру, имеющему опыт работы и на сцене и на экране, представляется, что дело обстоит именно так, а не иначе.

Я вижу, как увлеченно и раскованно играют дети, как легко воображают они себя то Чапаевым, то Гагариным, то пограничником, то машинистом, а то и паровозом. И заново повторяя полюбившуюся игру, дети не повторяются в ней никогда: новый день — новые обстоятельства, новое восприятие жизни, новые оттенки действий. В театре — так же. В потоке сиюминутного на сцене рождаются проявления «жизни человеческого духа», которые ни на какой репетиции не наживешь.

На экране же я не выдерживаю себя как зритель больше 7—10 минут. Мысленно вношу поправку за поправкой: здесь надо было действовать так, а здесь — так, и вообще — играть иначе! Закономерность это или аномалия? Думаю, что закономерность: я живу уже другим днем и, естественно, на созданное мною же когда-то, пусть совсем недавно, смотрю другими глазами — сегодняшними. Но повторить, исправить ничего нельзя — неумолимо одинаково будет крутиться целлулоидная лента и завтра, и послезавтра, и после нас... Миллиметр в миллиметр — всё то же!

И все же есть в этом неумолимом вращении киноленты нечто привлекательное и

поучительное для театрального актера. Я вижу, как чуть приподнятая моим киногероем бровь — уже мизансцена. Порой она бывает красноречивее хитроумного сценического построения. И мне становится немного грустно от сознания несовершенства театра, в котором зритель сам «кадрирует» происходящее, отбирает удобные ему «крупные» и «средние» планы, вводит «за кадр» того или иного актера. Все это по его, зрителя, прихоти! Но тут же, становясь на место зрителя, я обнаруживаю не грустное, а вполне удовлетворяющее состояние и осознаю, что театр дает большую волю зрительной активности, инициативе, сопричастности к сценическому действию, чем кинематограф.

Проще простого отнестись к этим и многим другим раздражающим актера противоречиям театра и кино умозрительно, как принято почему-то говорить, — «философски». Но как быть, если эти противоречия оборачиваются порой жертвами, рождают образы-инвалиды? Случилось же у меня так с моей первой ролью в профессиональном театре, которая была перенесена на профессиональный киноэкран. Это был гоголевский Хлестаков. В каких мерах исчислить потери при экранизации образа? Но виною я в этих потерях только себя. Опыт мой в кино был тогда слишком мал. Театр — другое дело. Театральные средства я пробовал с семилетнего возраста, на любительской пионерской сцене, под руководством хороших, знающих дело ленинградских режиссеров-педагогов. А кино я знал только как зритель — ни на гран глубже. Сейчас даже не понимаю, как мне удалось сыграть в Хлестакове и то немногое, что каким-то чудом перешло на экран. До сих пор, мне кажется, слышу голоса: «Так это вот и есть хваленый Хлестаков Горбачева? По какому же поводу так шумели молва и печатать? И где были глаза Игоря Владимировича Ильинского, который похвалил этого Хлестакова?» Не знаю, говорили так или нет, но возможность таких откликов допускаю. Попробуйте-ка тут быть умозрительным, подойти с философским спокойствием к извечной проблеме взаимоотношений актера со сценой и кинокамерой!

Исполнительское умение на съемочной площадке представляется мне «высшим пилотажем» актерского мастерства. Я откровенно завидую тем, кто умеет сниматься, не теряя лучшей формы. Таких актеров, на мой взгляд, можно по пальцам перечесть. На редкость технически оснащенными предстают перед нами на экране, например, Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Андрей Попов, Анатолий Папанов, Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев. Всегда уверенно творит в кинематографе большой мастер Юрий Толубеев. Есть и другие имена — прославленные и молодые, менее знаменитые, не стану их здесь называть, поскольку боюсь кого-то пропустить. Как правило, все эти актеры воспитаны театром.

Не хочу обижать профессиональных киноактеров, но, за небольшим исключением, их исполнение не рождает у меня чувства удовлетворения, довольно часто я

вижу «белые нитки», которыми они шивают образ, вижу приспособления, которыми пользуются для создания этого образа. И главное,— слышу вялую, монотонную речь, лишнюю музыкальности, энергии слова, многообразия его звучания. Мне возражат, что и в театре сплошь и рядом стали говорить «впробос», на двух-трех нотах, матово-блеклыми голосами. Все так. Но в кино, которое все усиливает до того, что поры видны на актерском лице, блеклая речь особенно раздражает и подавляет. Вспомните, как говорят на экране только что перечисленные мной мастера искусства театра и кино, и думаю, что никому не захочется меня опровергнуть.

Лучшие мастера кинорежиссуры посвятили годы, десятилетия поискам места настоящего художественного слова в кинематографе. Выдающийся кинодраматург Е. Габрилович вспоминает об А. Довженко: «Он смело ввел в кинематограф не только литературное слово со всей неповторимостью авторской интонации, но и впервые стал пользоваться закадровым монологом автора». Довженко ввел в практику кинематографа понятие «драматургия мысли». Эту «драматургию мысли» мы встречаем в лучших советских фильмах.

И все же с упорством, достойным лучшего применения, большинство кинорежиссеров и кинотеоретиков продолжают пропагандировать какой-то особый, отдаленный от литературы, «язык кино», в котором слову уделяется чисто утилитарная роль. Я резкий противник пренебрежительного отношения к слову и в театре, и в кино. Особенно в кино: миллионы зрителей воспитываются на речи, звучащей с экрана, снисходительность к нивелированной, невыразительной, подчас попросту малограмотной речи, на мой взгляд, граничит с преступлением перед современниками. С экрана должны идти в жизнь, к нам, полноценная литература и чистый, яркий русский язык. Бытовые, для «узнаваемости» используемые словечки уличного, профессионального, местного жаргонов заполнили залы кинотеатров. Они пристают к языку и, точно язвы, разъедают речь.

Я часто думаю о месте слова в современном кинематографе, обсуждаю эту проблему с друзьями и единомышленниками. Один из моих собеседников однажды высказал мысль о том, что упадок интереса к искусству художественного слова намечается прежде всего у писателей. Парадоксальное явление! Звучащее слово, казалось бы, должно быть предметом особенно пристального внимания со стороны тех, кто посвятил свою жизнь литературе. Большие писатели самозабвенно изучали русский язык не только в жизни, в толпе людской, но и в театре, где слово звучало особенно емко, ювелирно. Известно, как любил А. Н. Островский слушать, стоя за сценой, речь актеров Малого театра. Как Горький восхищался культурой слова в Московском Художественном. Как зачарованно слушал и ставил в пример другим речь мхатовского актера А. Р. Артема Чехов. Странное и горькое представление о разграничении ис-

кусства на отдельные, вне связи друг с другом, виды и жанры, существующие в представлении некоторых, не что иное, как плод лениности ума и духа. Стоит всерьез задуматься над тем, отчего понадобилось талантливому режиссеру Николаю Экку в первом же звуковом фильме «Путевка в жизнь» ввести монолог-прелюдию в исполнении В. А. Качалова!

Меня порадовали статьи С. А. Герасимова, в которых он отстаивает приоритет слова в кинематографе, в воспитании будущего актера кино. И тем горше слышать и видеть, как на практике отрицается этот приоритет многими кинорежиссерами и даже кинодраматургами. В театре мы, актеры, имеем возможность работать над словом вместе с автором пьесы, выбросить из текста наносное, случайное, убрать следы скорописи, которой грешат некоторые драматурги. В кинематографе сам процесс работы над ролью построен так, что актер лишен возможности поделиться своими сомнениями и пожеланиями с автором сценария. Это считается даже дурным тоном.

А ведь классика советской драматургии создавалась в прямом соавторстве писателя с театрами. В такой совместной работе над текстом пьесы рождались «Любовь Яровая» К. Тренева, «Поэма о топоре» и трилогия о В. И. Ленине Погодина, многие пьесы Л. Леонова, А. Афиногенова, Б. Ромашова, К. Симонова, А. Арбузова, В. Розова.

Если поглубже заглянуть в историю и в нынешний день советского кинематографа, то мы увидим, что и здесь обычно успех приходит тогда, когда картину делают не только режиссеры, но и настоящие писатели. Конечно, у нас есть примеры талантливого и плодотворного совмещения этих дарований: хотя бы М. Ромм, Г. Козинцев, С. Юткевич, С. Герасимов, В. Шукшин. Кстати говоря, очень часто эти люди, действительно имея право ставить свои имена в качестве авторов и соавторов сценария, скромно оставались только постановщиками или ограничивались титрами «при участии». Но мы знаем многих кинорежиссеров, которые двух слов на бумаге связать не могут и тем не менее зачисляют себя в соавторы сценария. Как правило, сценарии эти очень слабы, и называться автором в таком фильме — не велика честь.

Вместе с тем актеру, которому суждено произносить текст роли, почти не дается никаких прав вмешаться в драматургию. Мы часто обречены произносить «рыбий текст» на экране или, улучив момент, подпольно произнести ту или иную фразу по-своему, отредактировав ее тут же, перед кинокамерой, в суете съемки.

Вообще говоря, коэффициент полезного действия актера в кино пока что ассоциируется у меня с паровозом Стивенсона, почему-то оказавшимся на современной железной дороге. Мне странно, например, что до сих пор актер обязан проходить оскорбительный путь всяческих проб. Важен же образ! Зачем устраивать болезненные для художника конкурсы, если у режиссера есть четкое видение персонажа, а исполнитель, которого он приглашает на роль, ему хоро-

шо известен, любим и понимаем? Но уж если непременно надо проходить через унижительные препоны киноконкурса, то почему это удел актеров, но не режиссеров тоже? Почему режиссер не защищает экспозицией право на работу над фильмами, особенно такими, которые связаны с экранизацией произведений, принадлежащих истории культуры народа, ее золотому фонду? Последние экранизации «Дворянского гнезда» Тургенева, «Трех сестер» и «Чайки» Чехова, «Гранатового браслета» Куприна, по моему убеждению, — глубокие и горькие неудачи или полуудачи. И ведь это не просто неудача еще одного режиссера, — это драма для нескольких поколений кинозрителей, которые видят изуродованными великие творения русской литературы.

Сколько раз мы сталкивались с тем, что актер, чья культура оказывалась неизмеримо более высокой, чем культура режиссера, вынужден был, повинувшись каким-то неписанным «законам» кинематографического производства, подчиниться воле ничего не понавшего и ничего не захотевшего понять постановщика фильма. Мне было больно видеть, как Юрий Яковлев — артист поистине «чеховский», с большим и признанным опытом работы над образами чеховских персонажей, блистательно играющий на сцене театра имени Вахтангова самого А. П. Чехова в спектакле «Насмешливое мое счастье», — не смог победить режиссерской опустошенности в экранизации «Чайки». Что пользы в том, что актер хорошо играет Тригорина в этом фильме, если фильм не удался, если в нем нет прежде всего чеховского взгляда на мир? Чехов — гармония. В нем ничто не может фальшивить. А Яковлев в роли Тригорина уподоблен камертону, брошенному на струны расстроенного роля.

Да, очевидно, мы не совсем точно используем режиссерский приоритет. Не могу и не хочу отрицать: значение режиссера как идеолога, организатора, инициатора творческой акции в театре и кинематографе очень велико. С тех пор как на спектакль и фильм стали смотреть с точки зрения целостного произведения, в котором все художественные компоненты подчиняются единой идее, «сверхзадаче», требованиям единого стиля, форм, ювелирно разработанного рисунка мизансцены или столь же граверно-точного киномонтажа, режиссер по праву возглавляет творческий коллектив — труппу или съемочную группу. Но все творческие усилия режиссера должны быть направлены на благо человека-актера. Не хочется лишний раз повторять ставшее театральной аксиомой высказывание К. С. Станиславского об актере как единственном владыке сцены. Это один из неоспоримых законов, открытых великим реформатором театра в самой природе театра, актерского творчества и зрительского восприятия.

Но, как известно, законы иной раз обходят или создают то, что на языке юристов называется «прецедентом»: закон, мол, звучит так-то, а на практике бывает и по-другому. Вместе с тем режиссер, который сам побывал «в шкуре» актера, отлично понимает, что все его хитроумные построения не достигнут высокой цели, которой преднач-

начены театр и художественный кинематограф, если главным объектом зрительского внимания не делается актер, только актер. «Меня как режиссера и как актера, — пишет главный режиссер Центрального театра Советской Армии А. А. Попов, — очень волнует положение дел в актерском цехе. Потому что полноценное творчество начинается только тогда, когда актер и режиссер выступают как сотворцы. Ведь режиссер может по-настоящему режиссировать только творческое начало актера».

В кинематографе мы отмечаем огорчительное увлечение режиссуры предметами живой и неживой природы, которые, по мнению самих изобретателей такого образного строя в кино и поддерживающей их критики, призваны заменить живые глаза, пластику, мысли, чувства и слова человека.

Проблема эта вовсе не узкопрофессиональная. Не противоречит ли такая «образность» лучшим традициям отечественной и мировой литературы и искусства? Речь идет о возможности создания образа героя-современника: складываясь из символов, а не живых проявлений человеческого характера, он не может подняться выше информации. Русская литература веками развивалась в сторону одухотворения, «очеловечивания» природы, но не наоборот. Холстомер, Каштанка, Карюха, наконец, проникают в мир наших эмоций и раздумий прежде всего потому, что в образах лошади и собаки мы ощущаем близкое, вечное, человеческое. И левитановские пейзажи любимы нами потому, что в них явственно обнаруживается присутствие человека, его настроение, его «внутренний монолог», который вызывает и в нас чувства и думы, аналогичные авторским.

В попытках оправдать режиссерский деспотизм у нас часто ссылаются на пример Мейерхольда. А ведь это — явная передежка. Мейерхольд любил и понимал актера, считался с ним, часто даже еще зыбкий, ранний замысел спешил поведать актеру, которому верил, мнение которого ценил. Выдающийся актер советской сцены и экрана Николай Константинович Симонов рассказывал, с каким трепетом Мейерхольд делился с ним планом постановки горьковской пьесы «На дне». Режиссер не представлял себе этого спектакля без участия в нем Н. К. Симонова в роли Сатина. Не имея возможности поставить спектакль с Симоновым, Всеволод Эмильевич так и не осуществил нигде этот один из талантливейших своих режиссерских замыслов.

Режиссерский деспотизм, на мой взгляд, явление социально отрицательное, не свойственное вообще нашему образу жизни, — оно обрекает актера на страх, на поступки, далекие от художественных. Нередко даже признанные мастера ломают свою индивидуальность ради прихоти режиссера, которому по всем статьям, как это мы увидели на примере фильма «Чайка», был бы прямой смысл занимать положение скромного ученика в знании темы и умении ее раскрыть актерскими средствами.

Хочется еще раз вернуться к размыш-

лениям о судьбах слова в кино, но уже поиному, в свете режиссерского увлечения, так сказать, «предметным изобразительным эквивалентом». Порой слово крылатое, призванное играть ведущую роль во взаимоотношениях героя со зрителями, пропадает в толчее всяких ракурсов. Чеканные формулы лучших драматургических произведений, как известно, попадают со сцены и экрана в повседневность, их цитируют, берут на вооружение в быту и в труде. «Служить бы рад — прислуживаться тошно», — этого не было в фольклоре, это создано гением А. С. Грибоедова, как и многое другое, вошедшее в наш обиход из бессмертной комедии «Горе от ума». Мы помним с детства полюбившиеся крылатые выражения из фильма «Чапаев», из «Трактористов», «Большой жизни» и многих других. Красивый и выразительный ракурс с собой к людям не унесешь, не процитируешь. Он не главное средство общения человека с человеком, а лишь вспомогательное, главное — слово.

Вот ведь как получается: в театре драматург дерется за каждую фразу, за малейший оттенок мысли, а в кинематографе, скрепя сердце, отдает свое литературное дитя на произвол режиссера. И хорошее произведение переписывают как угодно, ссылаясь на то, что у кино-де свои законы, далекие от законов театральной драматургии. Как будто мы не видели фильмов «Мари-Октябрь» и «Двенадцать разгневанных мужчин», поставленных как будто бы и по законам театрального спектакля и одновременно высокопрофессиональных произведений кино. Писателя травмирует небрежное отношение кинематографа к его литературному созданию. Я хорошо помню статью Юрия Нагибина, одного из самых «кинематографических» писателей, в «Литературной газете», где каждая строка напоена горечью и сетованиями на режиссеров кино, безжалостно кромсавших драматургию талантливого человека, подминавших под себя писательскую индивидуальность.

Увы, приходится признать, что уважение к драматургу, так прочно вошедшее в творческий обиход театра, не стало еще обязательным в кинематографе, несмотря на практику отдельных, большой культуры, режиссеров.

С годами я все больше убеждаюсь, что и оператору становится тесно в кинематографе. И над ним довлеет пресловутый режиссерский деспотизм. В некоторых фильмах откровенно демонстрируется это пренебрежение к операторскому творчеству, к содружеству художников. И не в том ли причина ухода хороших, первоклассных операторов в кинорежиссуру? Иные раскрываются в новой профессии своеобразно (например, И. Волчек в остром гражданском фильме «Обвиняются в убийстве»). Но большинство операторов оказываются перебежчиками в другой цех — и только. На новой почве они не находят себя вообще, проваливая картину за картиной, либо создают проходные фильмы, в которых и операторское их искусство оказывается неинтересным. Плоды кинематографических содружеств, в которых каждый художник равно уважаем,

как правило, остаются надолго в памяти людей, то и дело возвращаются к новым поколениям. Пример такого рода — творчество выдающегося ленинградского кинооператора Андрея Москвина; изобразительный строй его картин и по сей день — эталон мастерства.

На мой взгляд, замечательный оператор С. Урусевский не нашел себя в режиссуре. Думаю, нельзя считать удачей и его последний фильм о Сергее Есенине: оператор теснит режиссера, а оба вместе вытеснили образ поэта, потому что — вот уж классический пример недооценки слова в кино! — головокружительные ракурсы призваны были здесь заменить живое слово и живую ткань образа. Но живет и вызывает поклонение своей новаторской работой над фильмами «Летят журавли» и «Неоправленное письмо» Урусевский-оператор.

Предвижу нападки грозных оппонентов: «Горбачев с апломбом театрального актера пытается громить кинематографа!» И сразу же попытаюсь опровергнуть эти обвинения. Я столь же принадлежу театру, как и кинематографу. Люблю и восхищаюсь каждой профессией в кино. И не намерен ни громить кого-то, ни поучать. Но, воспитанный на хорошей литературе и хорошем театре, я хотел бы видеть, как лучшие достижения культуры разумно используются и в дорогом моему сердцу кинематографе. Из опыта знаю, что мои личные удачи на экране всегда были связаны с работой съемочных групп, в которых царил атмосфера доброжелательная и доверительная, в которых каждый участник творческого процесса отвечал за свое дело и был на своем месте. Так было и в коллективе телевизионного многосерийного фильма «Операция «Трест». Большая культура сценариста А. Юровского, который, кстати говоря, блистательно знает телевидение во всех его тонкостях, в его развитии, отражалась буквально в каждом из участников дела, от режиссера-постановщика до осветителя. Без этой атмосферы доверия и общего поиска мне вряд ли удалось бы найти в роли Якушева человека, который нелегко пришел к пониманию и признанию новой, революционной России, обобщающие черты.

Такая же атмосфера творческого подъема, серьезного отношения к теме и ко всем, кто был призван воплотить ее на экране, царил в работе над фильмом «Укрощение огня». Я находился во власти большого личного, точнее, личностного обаяния крупнейшего советского ученого Исаева, ближайшего соратника и последователя С. П. Королева. Исаев был не только консультантом нашей картины, но и одним из прообразов моего героя, ученого Огнева. Вместе с автором сценария и постановщиком фильма Д. Я. Храбровицким и великолепными актерами К. Лавровым, А. Поповым, В. Сафоновым, И. Владимировым, А. Роговцевой и другими мы были одержимы желанием воплесть подвиг первооткрывателей космоса, их нравственный облик, их гражданский пафос и высокий патриотизм.

Задача искусства — всегда быть немного впереди времени. Без литературы, кото-

рая питает театр и кино новыми, едва еще прорастающими характерами и явлениями современности, мы не можем воплощать черты будущего. В сценарии Храбровицкого, пусть не до конца подробно и образно, эти черты будущего все же есть. И мы с Кириллом Лавровым стремились внести свою, актерскую, лепту, чтобы усилить, укрупнить, сделать убедительными не просто характеры двух конкретных ученых — покорителей космоса, но и отразить закономерный процесс смены самого типа организаторов научного коллектива. Нам хотелось донести очень важную мысль о том, что кончина академика Башкирцева, страшная, горькая и невосполнимая, не привела и не могла привести к остановке величайших исследований, что Огнев, при всей кажущейся мягкости и деликатности, — достойный продолжатель дела своего друга.

Закономерно сменяются тип научного руководителя и самый стиль руководства. Не потому, что плох оказался стиль предшественников, а потому, что время иное: после первого рывка в космос наступили годы тщательного, последовательного, скрупулезного и неторопливого изучения Вселенной, постепенное проникновение в галактики, научная разведка других планет и их околопланетного пространства. Эту мысль нам казалось чрезвычайно важным донести до зрителей. Фильм «Укрощение огня» — первая серьезная попытка художественно отразить сложнейшую тему современности, повести разговор серьезный, а не иллюстративный или развлекательный. Мы каждый по-своему становились пропагандистами свершений людей, по праву пользующихся всечеловеческим уважением. Это обязывало, требовало определенной культуры. Необходимо была не только нравственная и духовная подготовка каждого из нас, но и

коллективная заинтересованность проблемами, которые охватывает фильм. Работа над картиной в такой обстановке воспитывает, совершенствует, вызывает чувство личной гордости за общественную значимость актерской профессии.

Такую гордость испытал я, работая над образами героев-современников в театре: над Платовым в «Друзьях и годах» Л. Зорина, Владимиром Устименко в «Деле, которому ты служишь» (по роману Ю. Германа), Антуана де Сент-Экзюпери в «Жизни Экзюпери» Л. Малюгина. В кинематографе эти встречи с характерами героев-переустroителей и преобразователей жизни у меня оказались редкими. Строго говоря, кроме Огнева в «Укрощении огня» и назвать-то в этом ряду некого.

Думаю, что немногие из моих коллег могут с удовлетворением сказать, что в кино им посчастливилось воплотить больше одного-двух таких образов. А жизнь зовет их на экран. Сплошь и рядом, знакомясь с новыми людьми, читая о героических, рожденных любовью к человеку поступках современников, я жду, что они найдут своего драматурга, своего режиссера и своего актера. Понимаю, что писать о современности, о близком, вплотную стоящем всегда труднее, чем о том, что уже ушло от нас на некоторое временное расстояние. Я не обвиняю драматургов в медленном творческом отражении времени и его героев, но убежден, что только условия, в которых равноценно могут быть применены усилия художников разных профессий, помогут плодотворной работе над пьесами и фильмами о людях семидесятых годов. На нашу долю выпали огромные богатства культуры. Мы обязаны осмыслить и синтезировать их в произведениях, достойных времени большого взлета научной, технической, общественной мысли.

ЮРИЙ ТЮРИН

МАСТЕР ИЗ СОЛИГАЛИЧА

Все золотые самородки найдены случайно. Их подобрали при самых различных обстоятельствах, в разное время, люди разных лет и профессий. Промысловики говорят: когда старатель уходит в золотоносный район, он не знает, на какой час ему выпадет «короткая спичка» — это дело удачи. То же при поисках старинных живописных шедевров. Тут не просто сравнение, тут

родство по существу — вспомним хоть Грабаря, счастливо нашедшего в 1918 году Звенигородский чин Рублева. Три уникальные поясные иконы из разобранного деисусного ряда Грабарь отыскал на заснеженном Звенигородском Городке, среди сараев, под заледенелой поленницей. Работы Рублева были приготовлены на дрова, и к апрельскому первотравью ничего не осталось бы от этих полутораметровых липовых досок, высушенных до стеклянного звона еще пять столетий назад.

В 1971 году издательство «Искусство» выпустило книгу Алексея Алексеевича Тица «На земле древнего Галича». Книга в характерной ярко-желтой обложке была напечатана в серии «Дороги к прекрасному», прекрасной серии небольших путеводителей по художественным памятникам некоторых, особенно интересных в этом отношении областей страны. Научная добросовестность и безупречный справочный раздел (в сочетании с теплотой и сердечностью тона) отличают, как правило, книги этой популярной среди читателей серии. У Тица, который, очевидно, использовал большую часть

Портреты Григория Островского — на вклейке номера.

своей информации об истории культуры старинного русского края, есть откровенное (а для нас интересное) признание-вывод: «Районы древнего Галичского княжества слабо изучены, чему немало способствовало мнение о них, как о страшном захолустье. Чухлома даже стала в дореволюционной литературе синонимом серости и беспросветного провинциализма. Конечно, бедным чухломским поместьям было далеко до роскошных подмосковных усадеб, но и в *заволжских «дворянских гнездах» хранились значительные культурные и художественные ценности, о чем свидетельствуют экспонаты краеведческих музеев* (курсив мой.— Ю. Т.). А сколько было разбросано по затерявшимся в лесах поселкам и деревням сокровищ народного искусства, самобытных творений русских умельцев!»

Два года назад Тиц не знал о живописных находках Солигалича, иначе он назвал бы имя солигаличского мастера в своей книге. Тогда он и не мог знать его. Но надо отдать должное его чутью исследователя: экспонаты краеведческих музеев Галичского края действительно засвидетельствовали значительные культурные и художественные ценности заволжских дворянских гнезд. Вернее, засвидетельствовали запасы одного музея — Солигаличского.

Открытие нового имени в русском изобразительном искусстве состоялось в прошлом году. Теперь этого художника знают многие — специалисты и любители живописи, а после того как прошла в Москве и Костроме выставка «Солигаличские находки», его знают больше, шире и глубже.

«Островский Григорий — автор хранящегося в ГИМ¹ портрета Н. С. Черевинной 1774 г.» — столь скупое говорит о художнике словарь «Живописных дел мастера», выпущенный издательством «Искусство» в 1935 году. Семь лет искусствоведам нечего было добавить к этим строчкам.

Ныне мы называем солигаличского живописца Григория Островского автором еще шестнадцати портретов.

Я был косвенным свидетелем этого, без сомнения выдающегося, открытия для истории нашей культуры XVIII века. Весной прошлого года, когда на полях начал сходить снег и горожане, наблюдая перелет птичьих стай, бредят наяву дорогой, мне поздно вечером позвонил реставратор Савелий Васильевич Ямщиков, с которым мы готовили альбом древнерусской живописи по собранию Псковского музея. Альбомы и публикации Ямщикова-искусствоведа известны, но я должен ближе представить читателю этого непоседливого тридцатичетырехлетнего человека. Савелий Ямщиков — не только и не столько профессионал-реставратор, сколько первооткрыватель и убежденный пропагандист русского искусства. Главная творческая черта в нем — завидная последовательность в осуществлении замыслов, упорная сосредоточенность на том участке работы, который обещает волнующие результаты, самостоятельность выводов, независимость экспериментов. У него

темперамент борца, — для первопроходца в искусстве иначе и нельзя.

— Завтра я уезжаю в Кострому по вызову областного художественного музея. Вернусь через несколько дней, тогда позвоню. — Голос у Ямщикова звучал, пожалуй, взволнованно. Он вообще не умеет говорить рассудительно и неторопливо, будучи человеком конкретного, не терпящего отлагательств дела. Я знал, Ямщиков более десяти лет изучал фонды художественных музеев Суздаля и Ростова, Пскова и Петрозаводска, Рязани и Вологды. Настал черед Костромы.

Около месяца спустя Савелий Васильевич позвонил снова.

— Найден гениальный художник! — На этот раз он просто кричал, в голосе его был неподдельный восторг. — Мастер XVIII века из Солигалича. Он равен Рокотову, Вишнякову. Его имя — Островский!

Я запомнил это имя.

Картины Григория Островского Ямщиков вывез в Москву, в Центральные реставрационные мастерские имени академика И. Э. Грабаря. Когда авторская живопись была укреплена, расчищена лучшими специалистами, Ямщиков пригласил меня в мастерские посмотреть произведения из Солигалича. Шестнадцать неизвестных людей — современники Ломоносова и Пугачева — смотрели на меня с покрытых свежим лаком холстов, почерк зрелого, самобытного мастера читался в каждой мазке. Это было замечательное мгновение. Я уверен, его испытали многие, кто увидел впервые картины Островского.

Эти живописные холсты, едва не преданные полному забвению, как пришли они к нам спустя двести лет после своего рождения? Каким чудом спаслись они от погребения временем, которое навечно бы стерло имя их автора? Послушаем, как рассказывает об этом Ямщиков:

— Директор Костромского музея изобразительных искусств Виктор Яковлевич Игнатъев, энтузиаст краеведения, подлинный коллекционер, работал в фондах краеведческого музея старого русского города Солигалича. Его внимание привлекли многочисленные портреты, беспорядочно разставленные в хранилище. Среди них выделялось несколько холстов, явно принадлежащих одному автору. На обороте некоторых обветшавшая ткань хранила старые надписи, сообщающие имена и возраст изображенных людей, а чуть ниже, в правом углу, — подпись художника, сделанная славянской вязью. Почти непрозрачные пленки лака, прорывы холста и утраты красочного слоя полностью искажали авторскую живопись, и все же опыт, эрудиция и вкус подсказывали Игнатъеву, что перед ним произведение незаурядного мастера. Соблюдая все меры предосторожности, он вывез в Кострому три портрета, находившиеся в наиболее тяжелом состоянии. Московские реставраторы пришли на помощь охотно, а главное — быстро. Все же один портрет из вновь найденной серии погиб еще в Солигаличе. На пропавшей от грязи и сырости картине был изображен, как гласила надпись,

¹ ГИМ — Государственный Исторический музей.

солигаличский дворянин Петр Иванович Черевин, заказчик Григория Островского. Есть портрет этого же человека (конечно, постаревшего), выполненный в начале XIX века другим местным художником. Когда я нашел этот портрет, темный, покрытый пылью, я опрометчиво думал, что передо мной очередная работа самого Островского. Холст, к великой досаде, принадлежал неизвестному эпигону, а не самому мастеру. Впрочем, я опередил события в своем рассказе.

«Портрет Анны Сергеевны Лермонтовой. От роду имеет пять лет. Писан в 1776 году». Небольшой холст с такой надписью Игнатьев показал мне в Костроме. В потемневшей живописи только угадывался незаурядный талант художника, но очарование его кисти, певучая гармония красок в полной мере не были видны. Только после расчистки я имел возможность как следует изучить этот изумительный портрет ребенка, по человеческой доброте, по вложенной в него чистой и нежной любви равный классическим образам девушек-смолянок Левицкого.

Через несколько дней после моего приезда в Костромской музей мы с Игнатьевым вылетели на место — в Солигалич. Внизу, под крыльями неспешного «АН-2», разворачивались бесконечные заволжские леса. Обычно, когда летишь невысоко, ты занят тем, что беспечно разглядываешь пейзажи — при вынужденном бездействии это занимает глаза, а главное — ты расслаблен и блаженно коротаешь время в сладкой полудреме. Мы очень волновались, словно нас ожидала встреча с близким человеком. И волновались мы не зря: их оказалась целая дюжина — портретов, подписанных почти неизвестным до сих пор именем Григория Островского. Несколько картин не имели подписи, но бесспорно были выполнены тем же мастером. Позже нам удалось, в результате более кропотливого обследования Солигаличского музея, отыскать два новых портрета. Один из них, как помним, погиб. Но я не осознал тогда невосполнимости потери в достаточной степени. Я вместе с Игнатьевым был в те счастливые дни на седьмом небе. Судьба одарила нас невероятной удачей — сразу шестнадцать полотен неизвестного, но незаурядного мастера. Имя его стало быстро покрываться позолотой славы.

Нам оказали при поисках огромную поддержку. И в Костроме, где нашей работой интересовались областное управление культуры, местное общество по охране памятников, и в самом Солигаличе. Сотрудники музея, краеведы, работники райкома предлагали любую форму помощи. Приятно сознавать, что наше дело встречало максимальное понимание. Никаких проволочек не было. Особенно внимательно относился к нашим трудам первый секретарь Солигаличского райкома КПСС Иван Евгеньевич Щиплецов. Сердечную благодарность испытываем мы ко всем этим прекрасным, отзывчивым людям.

— Вот так, общими усилиями едино-

мысленников была открыта новая страница в истории отечественной живописи, — заключает свою повесть московский реставратор.

Сейчас творчество Григория Островского представляет общенациональный интерес, а ведь был он художником всего одной, поглощенной заболоченными лесами округи, а точнее — художником одной семьи. Все вновь открытые портреты прежде находились в подгородной солигаличской усадьбе Нероново, которой владел старинный и знатный дворянский род Черевиных. Родословная Черевиных восходит к XV веку. И в прошлом еще столетии — как это можно поньше прочесть на могильных плитах нероновского погоста — представители этого старинного рода занимали видные посты на военной и государственной службе.

Какая нужда заставила назвать глухое солигаличское поместье именем свирепого римского императора? Мы не знаем отношений и порядков, какие царили здесь во времена «Очакова и покорения Крыма», да не о них теперь речь. Первостепенно и важно иное. Откуда появился в Неронове Григорий Островский, этот самородок, где научился он живописи, почему работал он для одних и тех же заказчиков? Не был ли Островский крепостным?

Большинство портретов изображают самих Черевиных, их соседей по солигаличскому поместью или родственников хозяев нероновского дома. В 1741 году создан портрет Ивана Григорьевича Черевина, владельца усадьбы. Портрет его жены Натальи Степановны и другие произведения появились спустя целых тридцать лет — в 70-х годах. Островский создал законченную семейную галерею.

Иван Григорьевич Черевин, открывающий эту серию, обращен к зрителям в профиль, рука его привычно заложена за отстегнутый борт зеленого суконного мундира, взгляд несколько подлущих глаз властен и тверд. Художник великолепно передал характер человека решительного и сановитого. Подпись на портрете говорит, что заказчику в это время было всего-навсего 39 лет. Возможно, Иван Григорьевич Черевин после воцарения в 1741 году императрицы Елизаветы Петровны удалился на покой, и тут, в солигаличской вотчине, у него поневоле родилась мысль о прочном деревенском быте. Черевин принялся приводить в порядок и обстраивать свое имение. Он имел перед глазами примеры загородной застройки столичных вельмож, подражавших в этом смысле двору. Русская усадьба приняла с начала XVIII века новый вид, внушенный европейскими образцами царю Петру. От летних резиденций Петра протянулись нити к загородным Подмосковьям, а отсюда к усадьбам губернских городов, к интимному складу не пышных, но уютных и обжитых дворянских гнезд. Черевин, очевидно, одним из первых на Галичской земле начал строить именно такую, в новом вкусе усадьбу, заведя в ней — хоть на неширокую ногу — порядки столичного барина, не желавшего терять своего достоинства даже в провинции. Затраты не останавливали Черевина: он строил свое поместье,

которое затем поновляли его сын, внук и другие наследники рода.

Нероново достаточно полно сохранилось до сих пор. Уцелели служебные постройки, пятиглавая, несколько арханчая по своим формам церковь с пристроенной к ней многоярусной колокольной, увенчанной заостренным шпилем; цел и разросся липовый парк. Хорошо сохранился барский многооконный дом. Это была, безусловно, богатая, особенно для далекой провинции, ухоженная усадьба, обстроенная не без вкуса и по-хозяйски добротой. Здесь-то и жил и работал Григорий Островский. Жил, наверное, подолгу, а это обстоятельство особенно надо учитывать.

Историческая жизнь давно покинула Галицкий край. Некогда тут решались судьбы государства, Галич оспаривал престол у Москвы. В Галиче за насыпным валом городской крепости готовился к битве с московским князем блестящий полководец и строитель Юрий Звенигородский. Буйно играла здесь молодецкая кровь галичского вотчинника Дмитрия Шемки, неугомонно преследователя Василия Темного. По реке Костроме плыли караваны барж, груженых товарами богатой Соли Галичской. Ветер времени все-таки засыпал столбовую дорогу в Галич: после исторических бурь наступило затишье. Зато на этой заволжской лесной стороне, пусть подспудно, но безостановочно текла жизнь созидательная, творческая, которая выдвигала порою из своей среды явления исключительных достоинств. Этот край дал России Катенина, Писемского, «русского Колумба» адмирала Невельского. Добавим теперь к этим славным именам Григория Островского, живописца.

Причудлив был усадебный барский быт. Опальные или престарелые государственные чины, становясь помещиками, делали по большей части ипохондриками и чудаками. Но один аршин для всех не годится. Иной барин оправдывал свою наследную праздность созданием в поместье по-настоящему культурного дворянского гнезда. Такие усадьбы являлись островами среди черноты и безнадежного провинциализма заштатной русской жизни. Они были этическим и эстетическим образцом для передовых умов поколения, они питали лучшие силы дворянской культуры. Ведь Писемский родился в усадьбе, сюда он приезжал работать над своими рукописями. Несколько лет, не бросая литературных занятий, провел в своем имении сосланный по велению Александра I поэт и переводчик Катенин. Отсюда он переписывался с Пушкиным, заинтересованно и пристрастно следил за журнальной периодикой, сохраняя желчь и независимость суждений. Тиц в упоминаемой мною книге называет несколько других галичан — людей, хорошо знавших цену подлинной культуре, не сломленных гонениями и немилостью двора. Участником заговора «верховников» против Бирона в 1730 году был Мусин-Пушкин. Высланный из столицы, Мусин-Пушкин обстроил свое село Бушнево, постройки которого славились еще долго в Чухломском крае. Отец Анны Сергеевны

Лермонтовой (той самой девочки, что рисовал Островский) Сергей Михайлович Лермонтов¹ вел каменное строительство в селе Понизье.

В этом смысле не составляла исключения семья Черевиных. О них можно сказать стихами Пушкина:

...Ступив за твой порог,
Я вдруг переносюсь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне...

Этими строками поэт мог бы передать свое впечатление о Неронове. У Черевиных было великолепное книгохранилище, без чего в XVIII веке не представлялась усадебная жизнь знатного дворянского рода. Черевины собрали превосходную домашнюю библиотеку, где главную гордость составляли книги на французском языке. В нероновском поместье отлично знали и свободно цитировали сочинения Вольтера. Чиновный Солигалич вряд ли знал, что знакомством с Вольтером, даже заочным, гордились монархи Европы. Для губернского общества остроумные колкости серейского мудреца выглядели неподвольительной гордостью ума. Много позже, свидетельствовал Писемский, желчный скептик Катенин «во всей губернии слыл за большого вольнодумца, насмешника и даже богоотступника». Это через столько лет после смеха французского писателя! Наконец, Черевины могли разделять взгляд Вольтера на преимущество уединенной деревенской жизни — взгляд, который Вольтер осуществлял на собственном примере. Возможно, Черевины не полностью восприняли проповедь Вольтера о добровольном затворничестве в поместье: они не имели нужды сочинять стихи или трактаты. Зато они твердо знали, что русская деревенская жизнь для них не скучна, не позорна, не дика, что поместье предназначено не только для хозяйственных выгод, знали, что надо при любых обстоятельствах оставаться культурным и воспитанным человеком, что земля требует не только эксплуатации, но и украшения.

Остатки черевинского книгохранилища целы по сию пору. У этой семьи хранились книги французских энциклопедистов, труды по медицине, естествознанию, фортификации. Важный пункт для характеристики заказчика Островского: Черевины поддерживали прочные связи с Францией — в Париже постоянно жили близкие родственники Черевиных, с которыми велась регулярная и откровенная переписка. Хотя тогдашнюю галломанию поощрял придворный свет, склонный, как флюгер, следовать за ветром европейской моды, влияние передового крыла французской культуры было при тогдашнем педантизме и отсутствии творческой самостоятельности у петербургской и губернской бюрократии явлением в конечном счете бунтарским. Вот в каком доме творил Островский, вот что каждодневно окружало и, безусловно, нравственно воспитывало его.

Я не случайно столь долго подчеркиваю

¹ Предки и родственники поэта, в частности его прадед — Ю. Лермонтов, жили в Галичском крае.

французские симпатии Черевиных. Семья эта могла приезжать в Париж, а вместе с Черевиными мог попасть во Францию Островский. Путешествия тогда длились долго, это легко сейчас представить. По дороге случались остановки на день, два, неделю. Островский вместе с Черевиным мог быть в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Вене. Тогда русские путешественники, дожидаясь отправки, коротали время, осматривая европейские достопримечательности, в том числе знаменитые живописные коллекции прославленных городов.

Три десятилетия разделяют первые портреты Григория Островского и последующие четырнадцать полотен. За это время умер первый заказчик — Иван Григорьевич Черевин. Постарела его вдова, Наталья Степановна Черевина. Выросли дети, появились внуки. Семья Черевиных надолго перебралась в поместье, оставив шумные, далекие Москву и Петербург.

Эти три десятка лет резко изменили живописную манеру мастера, довершили воспитание его художественного вкуса, да и сам он, Островский Григорий, решительно неизвестный нам как живой человек, сделался мудрее и, по-видимому, снисходительнее к людям — об этом говорят нам его поздние работы. Груз жизненного опыта разнообразил и обогатил его искусство.

Первые портреты Григория Островского стилистически близки русской парсуне. Вероятно, художник обучался живописному мастерству у безвестных изографов, в одном из иконографических центров, которых в Заволжье было достаточно даже после петровских нововведений.

Картины 70-х годов заметно разнятся от первых произведений художника. Элементы архаики сведены на этих полотнах почти на нет. Живопись Островского сделалась изысканней, звонче, стилистически богаче и гибче. Это, бесспорно, шедевры русского камерного искусства.

Все произведения Григория Островского выполнены в жанре портрета. Для русской живописи XVIII века этот жанр является главным, именно здесь русские художники добились наивысших результатов, доведя искусство портрета до совершенства. Своеобразие Островского в том, что солигаличский мастер создал особый род портрета: интимный портрет. Конечно, этот вид портрета был в творчестве ведущих живописцев того времени, но для Островского интимный портрет стал основным способом изображения. Черевины не обладали восточной пышностью петербургских вельмож, которые заказывали парадные, официозные полотна. Владельцы солигаличского поместья были проще в своих стремлениях и желаниях, что подсказывало художнику иной стиль живописи: на ней лежит печать большей откровенности и задушевности. На картинах Островского видно, как любит он некоторых из тех, кого изображает. Особенно заметно это, когда Островский рисует детей. Какое светлое чувство любви передает портрет пятилетней Анны Сергеевны Лермонтовой! Ребенок, показанный живописцем, — это сама чистота, сама неомраченная ра-

дость, это создание, жадно открытое всем впечатлениям, незнакомое пока ни со злом, ни с пороком.

Виртуозна кисть мастера на этом портрете. Легкими, но уверенными мазками, точно соблюдая меру, Островский живописует красивое, обаятельное лицо ребенка, нежность кожи, выразительные, внимательные, чуть со смешинкой глаза в миндалевидном разрезе век, высокий, чистый лобик с убранный под легкий чепчик прической. Вместе с тем художник великолепно передает материальность предметов: воздушные кружева чепца, матовое, глубокое свечение грушевидной жемчужины-серезжки, невесомость бисерного шнурка, повязанного на тонкой, хрупкой детской шее. Модели Островского раскрыты не только со своей человеческой стороны, они нарисованы великолепным колористом, прекрасно знакомым с законами современной живописной школы. Это умение с видимой легкостью соединять талант рассказчика, умного и глубокого повествователя с безупречным искусством живописи отличает действительно редких мастеров.

Творчество Григория Островского не имеет прямых аналогий среди известных сейчас произведений того времени. Но правомочно сравнить манеру работы художника, его своеобразный и неповторимый стиль с искусством ведущих портретистов-современников: Вишняковым, Рокотовым, Левицким. Сходство в некоторых приемах, живописных принципах объясняется, пожалуй, знакомством Островского с лучшими работами русских художников. И в Париже, и в Петербурге, и в Москве Григорий Островский многому научился. Он увидел общее направление европейской и русской живописи, познакомился с новыми, безусловно жизнотворными приемами наиболее талантливых современников, бесконечно обогатил свое знание живописных законов. Однако объяснить теперь искусство Островского только влиянием новых течений в столичном русском искусстве, очевидно, нельзя.

В основе творческого метода Григория Островского лежит следование традициям национального демократического искусства, полное, самозабвенное понимание творческих принципов народной самобытности, народного мировосприятия. В творчестве Островского есть корень, который крепко связывает его живопись непосредственно с жизнью его родины, его народа, его края.

В отдельных моментах метод Григория Островского — даже позднего периода — восходит к парсунному письму русских мастеров.

Но не только определенным приемам научили его местные изографы. Они воспитали в нем доброту, внимание к человеческим нуждам, чуткость к внутреннему миру человека, к его нравственным идеалам, духовным порывам.

Париж, круг недавно учрежденной русской Академии художеств, участь мешенатов выработали из Островского художника с требованиями современного, передового искусства, не оценимо развили его профессиональную подготовку. Но при всем том из Островского получился бы пустоцвет,

если бы не та закуска, которую вложили в него безымянные учителя заволжских родных земель, если он утерял бы ободряющее чувство родины, те нравственные достоинства, что получил на заре сознательной жизни своей в искусстве.

В Галиче, Чухломе, Солигаличе работали зодчие, резчики, изографы из народа, неимущие, обкраденные начальством, администрацией, темные, но удивительно талантливые люди, с живым чувством прекрасного в сердце. До нас дошли некоторые из их созданий. Это были соратники, учителя и ученики Григория Островского. Среди них некоторые даже напоминали творческим своеобразием путь самого художника. Вот что пишет в своей книге Тиц об архитектурном памятнике Галича — соборе Преображения:

«Освященный в 1774 году, собор собрал воедино веяния различных художественных эпох. Строили этот храм, несомненно, местные мастера. В соборную церковь они вложили все свое искусство, всю свою выдумку, все свое знание непонятных им заморских архитектурных деталей.— Тиц продолжает: —...блестящий пример местного мастерства... столь оригинального произведения, сочетающего *необъяснимым путем* (курсив мой.— Ю. Т.) элементы западноевропейского архитектурного языка с народным северным говором».

Можно было бы привести и другой пример — из романа А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов», созданного автором буквально с натуры. Много лет минуло с тех пор, как умер Островский, как работали строители галичского архитектурного памятника. А в лесном краю не переводилась их традиция, ее несли другие чудотрудцы, хранители народного гения. «В местности, где находилось Воздвиженское, были всякого рода мастеровые», — свидетельствует Писемский. К герою книги, молодому барину Вихрову, жившему в поместье, приводят живописца поправить на потолке росписи.

«Мастеровой еще раным-ранехонько притащил на другой день леса, подмостил их и с маленькой кисточкой в руках и с черепком, в котором распушена была краска, влез туда и, легши вверх лицом, стал подправлять разных богов Олимпа... Живописец и сам, кажется, чувствовал удовольствие от своей работы: рисует что-нибудь окончательно, отодвинется на спине по лесам как можно подалее, сожмет кулак в трубку и смотрит в него на то, что сделал...»

— Что же ты не отдохнешь никогда? — спрашивал его Вихров.

— Так уж, я николи не отдыхаю, не надо мне этого! — отвечал живописец...

Недели в две он кончил весь потолок — и кончил отлично: манера рисовать у него была почти академическая».

Так кем все-таки был Григорий Островский? Таким вот мастеровым, даровитым учеником иконников, взятым в усадьбу помещиком? Или был он крепостным Черевиных подобно шереметевскому художнику Аргунову? Или был он бедным родственником богатых бар и прожил среди них приживальщиком? Ничего нельзя сказать точно — документальной биографии Островского нет. Остается представить ее, что я и старался сделать.

Этот безвестный человек открыл яркую, бывшую чистой, страницу русского искусства XVIII века. Он обессмертил свое имя для истории русской живописи. Удивительное дело: теперь благодаря дару Островского не канули в лету и его герои. Сила искусства воскресила всех этих современников мастера. Три поколения Черевиных, их близкие и родные, сановный Михаил Иванович Ярославов, его сын Алексей Михайлович Ярославов, одутловатый помещик Акулов, сосед Черевиных, неизвестные молодой человек и молодая светская дама, гостя из столицы, — все они, участники семейной живописной хроники, стали образами и характерами в творчестве художника. Спасибо вам, исчезнувшие люди, если вы чем-либо помогли своему домашнему живописцу. Краеведы еще, возможно, напишут о вас, а мне пора заканчивать свой очерк. Пусть заключат его слова Аксакова из романа «Семейная хроника». Слова эти подходят ко всем героям Григория Островского, каких мы увидели на его прекрасных портретах:

«Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, в которых есть и светлые и темные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое! Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили: но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания. Могучею силою письма и печати познано теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никаким прикрасным судом, никаким легкомысленным словом!»



Портрет Анны Сергеевны Лермонтовой. 1776 г. Фрагмент

Портрет Ивана Григорьевича Черевина. 1741 г.

ИВАНЪ : ГРИГОРЬЕВИЧЪ : ЧЕРЕВИНЪ : СЪРОЖДЕНІЯ : 39 : ЛЕТЪ
1741 : РОДЛ.





Портрет Натальи Степановны Червиной. 1774 г.



Портрет
Мари Михайловны
Червиной. 1774 г.



Портрет
Алексея Михайловича
Ярославова. 1776 г.



Портрет неизвестной. 1770^егг.

Портрет Е. П. Червиной (?). 1773 г.





Портрет мальчика в мундире. 1770^егг.



Портрет Прокофия Ивановича Акулова. 1775 г. Фрагмент

В. НОВИКОВ

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

Одной из главных особенностей социалистического искусства является сочетание конкретной правды с художественным обобщением, отражающим характерное в его исторической достоверности.

По поводу исторической достоверности у нас не утихают споры до сих пор. Сторонники так называемого «визуального реализма» сводят историческую достоверность к правде отдельного факта, забывая, что искусство по самой своей природе — обобщение характерного и что любая визуальность — это точка зрения отдельного художника, она нуждается в проверке. А критерием истины всегда является исторический опыт народа, его практика. «Визуальность» тогда станет отражением истины, когда точка зрения автора будет совпадать с историческим опытом народа и выражать в определенной форме этот опыт.

Почему у нас пользуются такой популярностью мемуары героев и полководцев Великой Отечественной войны? Они читаются и перечитываются как художественные произведения! В них авторы рассказывают о том, что они видели. Но в них есть и нечто большее, чем конкретные факты. Между прочим, к мемуарам (как и к ряду архивных документов) нужен критический подход. Не все мемуаристы верно освещают и осмысливают факты. Их взгляд оказывается односторонним. Однако мемуары виднейших полководцев — Г. Жукова, К. Рокоссовского, И. Конева, К. Мерецкова, И. Баграмяна, С. Штеменко — это живой документ эпохи. В них правдивый, достоверный рассказ о действительных событиях сочетается с широким и глубоким осмыслением хода Великой Отечественной войны, с ясным представлением значения той или иной битвы, ее стратегического замысла и места в общей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Историческая точность и в очерке и в документальной повести обязательна. Очерк визуален по своей природе. Но без художественного обобщения фактов и дел героев очерк останется корреспонденцией с места, а не художественным исследованием. Документальная повесть потому и называется документальной, что в ней не обязательна «визуальность», она рождается на обобщении свидетельств других, содержит «вытяжки» фактов из документальных источников.

Историческая точность в романе-эпопее при описании действительных событий сочетается с достоверностью в развитии сюжета и в характеристике поведения героев. Эпопея исторична как по концепции (раскрытию роли народа в истории), так и по конкретности обобщения значительных и значимых фактов жизни народа. Пример тому — «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Русский лес» Л. Леонова, «Правда и кривда» М. Стельмаха, трилогия К. Федина и другие.

Как видим, речь снова идет об исторической конкретности, от которой некоторые теоретики пытаются отказаться. Они берут

**Литературная
критика**

под сомнение эту особенность художественного творчества или пытаются заменить ее «условными формами творчества», по их мнению, наиболее характерными для мышления XX века. Об этом свидетельствуют, в частности, статьи Ю. Давыдова «Блок и Маяковский» и В. Тасалова «Десять лет проблемы «эстетического» (1956—1966)», помещенные в «Вопросах эстетики» (Выпуск 9, М., «Искусство», 1971.) Эти статьи уже подвергались критике в выступлении В. Иванова «Литература — эстетика — критика» («Знамя», № 1, 1972) и А. Дымшица «Против уступчивости в идейно-эстетической борьбе» («Коммунист», № 11, 1972).

Нет нужды вдаваться в спор, особенно об условности и ее границах. Подчеркнем только то, что, с нашей точки зрения, наиболее важно для развития современного искусства. Это — усиление активного вторжения в жизнь, художественно яркого отражения «свершения современного этапа коммунистического строительства», как сказано в постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии».

Без конкретного историзма нельзя показать тех сдвигов, которые происходят в жизни, борьбу нового со старым, победу нового над старым — на производстве и в быту, в сфере мышления и нравственных убеждений — со всеми неповторимыми приметами времени. Открывать новое можно только конкретно.

Факт — основа творчества. Конкретная обобщенность требует от писателя специальных знаний, особенно когда речь идет о профессии героя. Эта сторона в творчестве современных советских писателей приобретает особое значение в связи с тем, что технический прогресс захватывает все стороны нашей жизни. Уровень образования советских людей повышается. Расширяется круг профессий, связанных с использованием техники. Люди науки и новых профессий все чаще привлекают внимание писателей и становятся объектом художественного изображения. Вместе с новыми героями в искусство входят новые понятия, новое миропредставление, новые явления нашей жизни.

Если писатель обращается к новому виду производства, изображает людей науки, техники, то он не может не описывать характер производства, характер научных открытий и технических достижений. Однако художник в таких случаях поступает как художник: он исследует технику производства, характер научных исследований не для того, чтобы сообщить результат (выпущена такая-то новая турбина, сделано такое-то научное открытие), а для того, чтобы показать процесс, психологию подвига. Главным для него является человек как творец нового, люди, которые создают новые машины, строят новые электростанции, осваивают космос, делают новые научные открытия. Есть высшая художественная правда, к которой стремится писатель, — это правда характера героя, воплощающего в себе тип поведения и образ жизни, через который просвечивается время со всеми его конкретными признака-

ми. Историческая достоверность в таких случаях обязательна в произведении как при описании обстоятельств, в которых происходят сюжетные события, так и при передаче чувств, мыслей, действий героев. Конечно, в разных жанрах и видах творчества эта достоверность проявляется по-разному — с разной долей акцентировки (то на обстоятельства, то на психологию героев). Но в настоящем произведении достигается гармония. Конечная цель художественного творчества — создание героя нашего времени.

Если нарушается этот закон типизации, то как бы талантливы писатель ни был, как бы он ни ярко описывал факты, интересные сами по себе, его произведение (очерк, повесть, роман) не принесет ничего нового.

В журнале «Звезда» № 7—8 за 1972 год опубликованы путевые заметки В. Конечного «210 суток на океанской орбите». В них рассказывается о рейдах теплохода «Невель» в Атлантическом и Индийском океанах по обслуживанию полетов космических кораблей и запуска спутников. Цель рейдов — научная.

История советской литературы знает произведения очеркового жанра, посвященные описанию рейдов кораблей с научной целью. Такова, например, очерковая повесть Ю. Смуула «Декабрь. Японское море». В ней в центре внимания оказывались образы ученых (метеорологов, инженерно-электроников, специалистов по ракетам и т. д.). Писатель с увлечением и восхищением описывал их работу, рассказывал об их прошлом и настоящем, стремился раскрыть их характерные черты, понять героя нашего времени. Однако в путевых очерках В. Конечного, занимавших большое место в публикациях журнала «Звезда», ничего этого нет.

Автору не откажешь в знании мореходного дела. Он сам был в прошлом моряком и сейчас на «Невеле» выполняет обязанности второго помощника капитана. Но «Невель» — не экскурсионное судно. На нем 80 человек экипажа, сложное специальное оборудование, предназначенное для приема сигналов со спутников и космических кораблей. Кто эти люди, которые участвуют в обеспечении полетов космических кораблей и лабораторий? Ни об одном из них мы ничего не узнаем из очерков В. Конечного.

Образ капитана «Невеля» не раскрыт. Капитан — эпизодическая фигура. И кроме того, что он «отличный капитан, ибо спокоен без всякой натяжки и актерства», способен понимать шутку, мы ничего не узнаем.

Более подробно характеризуется Вова Перепелкин — журналист, бывший физкультурник. Характеризуется он в юмористическом плане. О себе он говорит так: «С образованием мне повезло... два высших... А ты ведь знаешь: мне учеба не очень-то давалась. Пришлось порабатать. В Лесгафте выучил название всех человеческих мышц. Жуть. Но если не знаешь, из каких мышц состоит тело физкультурника, то из тебя не получится настоящей физработник...

— А устройство мозга там изучают?

— Слава богу, нет,— простодушно сказал Володька...»

К обслуживанию космических полетов и вождению теплохода «Невель» Вова Перепелкин, к счастью, никакого отношения не имеет.

Чем же заполняются путевые очерки В. Конечкого? Описанием встречных пароходов, традиционного праздника Нептуна, экзотических достопримечательностей острова Маврикия и порта Сингапур, экскурсий, встреч с советскими артистами Госцирка, посещения базара.

«Бюстгальтеры и карты с голенькими женщинами, безобразные кофты и замусленные открытки, плавки и мечта любого современного модника — рулоны гипюра. Наконец-то я узнал, что это такое: нечто вроде кружева нежных тонов, используется для нижних юбок.

Китаец ткнул пальцем мне в седой висок, подмигнул и сказал: «Ай!.. Бери!.. Старый!.. Мадам Мигни!» Дело шло о японской открытке, на которой соблазнительная азиатка, если ее немного наклонить, подмигивает двусмысленным образом... Мадам Мигни — мне понравилась, и открытку я купил».

О главном же, как «Невель» обслуживает космические полеты, В. Конечкий говорит мельком, как сторонний наблюдатель, который видит только внешнюю сторону. Читатель из его очерков не узнает, сколько труда, знаний, напряжения ума разных специалистов потребовалось, чтобы принять сигналы спутника, зафиксировать его орбиту, передать об этом в космический центр.

Мы помним, как в повести Ю. Смуула «Декабрь. Японское море» запуск ракеты развертывался в целую новеллу, с характеристикой действующих лиц, с раскрытием перипетий открытий, дум, чаяний, связанных с освоением тайн погоды, овладением законами природы. В. Конечкий же в подготовке к приему сигналов со спутника на теплоходе «Невель» увидел только казус, сценку в духе Райкина:

«— «Рулевая!» Я «Четвертый!» Могу транслировать на «Девятый».

— Я «Рулевая!» «Четвертый», транслируйте «Девятому»!

— Я «Шестой!» Почему мне надо транслировать на «Девятый»?

— Отставить, «Шестой!» Никто вас не вызывал!

До того, как над горизонтом взойдет рукотворная звездочка, остается несколько минут. Руководители экспедиции начинают нервничать:

— Передайте «Девятому!» Немедленно восстановить связь!

— Я «Пятый!» Слышу отлично, «Рулевая!»

И так далее.

Путевые очерки В. Конечкого по сравнению с очерковой повестью Ю. Смуула «Декабрь. Японское море» в лучшем случае — частное свидетельство виденного посторонним человеком, записки туриста.

Во второй части очерков автор несколько больше говорит о научных задачах экспедиционного судна «Невель». «На общесу-

довом собрании нам объявили, что ожидается запуск трех пилотируемых космических кораблей типа «Союз». На нашей половине планеты космонавты будут спать. И мы будем обеспечивать им отдых. А следующая точка работы — у восточных берегов южной оконечности Южной Америки».

Читатель ждет: наконец-то начнется рассказ о работе по обеспечению полетов космонавтов, то есть о том новом, что еще не получило отражения в литературе. Речь пойдет о самом важном событии, которому была посвящена экспедиция «Невеля».

«В космосе уже три «Союза».

Космонавты Шаталов, Шонин, Кубасов, Филипченко, Волков, Гсрбатко, Елисеев чувствуют себя хорошо, кровяное давление и давление в кораблях нормальное. Утром они провели физическую зарядку, сопровождающуюся медицинским контролем, затем позавтракали. Все это сообщил ТАСС. ТАСС не забыл и с нас. Мы, то есть научно-исследовательское судно Академии наук СССР «Невель», ведем непрерывную работу по приему и обработке информации, поступающей с борта космических кораблей, и поддерживаем постоянную связь с мужественными космонавтами. Короче говоря, мы вносим свой вклад в мировую научно-техническую революцию. И члены нашей экспедиции держат носы высоко».

Намечается даже интересная деталь — идет разговор о том, что космонавты занимаются астрономией. Один из «Союзов» располагает датчиком автоматической ориентации по звездам, другие имеют секстанты. «Мы качаем секстаны над мокрым океаном, космонавты — очевидно, над искусственным горизонтом. Просочились слухи о том, что лампочка подсветки горизонта одного космического секстана перегорела. Бортинженеры беседовали в небесах о том, из какого другого прибора можно вывинтить эту проклятую лампочку, чтобы заменить перегоревшую. Все там происходит точь-в-точь, как в вашей квартире или на экспедиционном судне «Невель».

Но тут же автор меняет аспект изображения. Он иронизирует над корреспондентом ТАСС, допустившим в своем репортаже стилистические украшения: «Корабли-спутники, подобно небесным светилам, прочертили свои очередные витки над антеннами Центра и ушли за горизонт...» По этому поводу В. Конечкий раздражается следующей филиппикой: «Интересно было бы спросить корреспондента... какие это небесные светила чертят витки над антеннами? Похоже, мы начали забывать, что сами вертимся вокруг светила. Пора вспомнить о Копернике, он учил людей быть скромными, как сказал Эйнштейн. А скромность и юмор создают равновесие. Кто-то из физиков сострил, что физик — это человек, который всю жизнь тратит гигантские общественные средства для удовлетворения своего любопытства. Почему бы не заимствовать у физиков чуточку юмора? Тогда и наши члены экспедиции смягчили бы таинственно-многозначительные выражения своих физиономий и стали славными ребятами — такими, какие они и есть на самом деле».

Как видим, здесь даже упоминаются члены экспедиции — «славные ребята». Они даже приглашают автора к себе: «У ребят отличное настроение — работу свою они выполнили хорошо... Я сидел у ребят, пили разбавленный спиртик тайком от высокого начальства, слушая магнитофон, трепались за жизнь...» Вот и все о главных героях, если не считать еще одного эпизода, когда молодой научный работник путает слово «секстан» с «сектантом», сообщая, что космонавты в прибор ручной астроориентации — «сектант» — вернули хорошую лампочку. Автор учит молодого научного работника: «...прибор называется «секстан» — общепринятое среди моряков наименование. «— Запомните, от слова «секс», а не «секта».

И снова страницы очерка заполняются впечатлениями от Индийского океана, посещения островов Каргадос-Карахос, добывания экзотических сувениров — кокосовых орехов, кораллов, морских ракушек.

«Едва вылез из прибора, разбив колено о камень, едва отфыркался от соли и очухался от неистовых птичьих криков, едва глаза привыкли к слепящему сиянию распаленного прибрежного песка, как я увидел... миллионы ракушек, кусочки кораллов, окаменевших морских ежей, звезд, панцирей. Волна, смачивая раковины, заставляла их сверкать всеми цветами и оттенками.

И буйная сумасшедшая жадность охватила меня. Я бросился собирать все подряд раковины и кораллы, совать их в авоську, словно пробрался в пещеру Али-Бабы и растерялся среди безмерных сокровищ... Кротом рылся в береговом откосе, выворачивая пудовый коралловый остров».

Даже стиль здесь меняется, окрашивается авторским чувством, становится поэтическим в отличие от сухого репортажа о запуске трех космических кораблей.

Писатель включает в свой очерк документальную повесть (так ее определяет он сам) о спасении команды советского спасательного судна «Аргус». Но тут автора снова влекут казусы и недоразумения (как и в изображении «молодого научного работника»), он заостряет внимание на резком контрасте в поведении команды «Аргус»: во Вьетнаме команда вела себя героически (оказала помощь советскому теплоходу «Переславль-Залесский» во время пиратского налета американских бомбардировщиков), а в Индийском океане — преступно-беспечно, погубив судно и принеся огромный убыток государству. Сочувствие пострадавшим сменяется иронией. Среди попавших в беду было три женщины. С одной из них автор ведет такой разговор:

«— Закрой голову, — сказал я одной сирене. — С этим солнцем шутить нельзя.

— У меня волосы густые.

— Страшно было?

— Ужас сплошной! Я такие выкройки в Сингапуре купила — закачаешься!.. Не знаете, нам валюту вернут?

— Скорее всего, вернут.

— Мы в Одессу шли. Думали, рейс месяцев восемь будет — заработаем сразу хо-

рошо. На спасателе-то рейсы обычно короткие... И выкройки утонули!

Я внимательно присмотрелся к женщине. Подумал, что ее навязчивое упоминание выкроек — нечто послешоковое, но она глядела на меня ясными глазами:

— Я толстая — сама знаю. На мою фигуру хорошие выкройки достать — проблема номер один.

Я чуть не выругался. Потом спросил: — Как они вас вытаскивали? С воды брали?

— А я со страху и не запомнила.

— Хорошо, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать...»

Вместо драматической сцены с острыми переживаниями появляется жанровая картинка, которая затем заканчивается совсем в духе травести:

«Всех накормили (дело происходит уже на «Невеле». — В. Н.) ...А вашим женщинам наши девчонки свои халатки поотдавали... Толстушка, которая совсем почти голая была, как поужинала, говорит: «Ну вот, обсохла, накушалась, теперь бы еще веселого кавалера под блок...»

Нет надобности отказывать В. Конечному в таланте юмориста, в умении перемешивать возвышенное и низменное, заметить в обычном необычное, подчеркнуть, «обыграть» необычное. Но такая манера требует достоверной и художественной точности. Нарочитое перемену возвышенного и низменного может обернуться односторонностью, и тогда казус может выйти на первый план и заслонить исторически значимые явления.

Перед нами — пример того «визуального реализма», а вернее — натурализма, когда автор описывает все, что он видит, не давая себе труда отсеять главное от второстепенного. И получается, что казус, парадоксальные моменты жизни выходят на первый план и заслоняют главное. В лучшем случае такое произведение представляет интерес как частное свидетельство очевидца. «Езды в незнаемое» — каким должно быть настоящее искусство — в «210 суток на океанской орбите» у В. Конечного не получается, хотя он их и озаглавил «путевые заметки».

2

Иную картину мы видим в творчестве писателей, часто молодых, которые входят в литературу с оригинальными произведениями, основанными на обобщении личного опыта и глубокого знания жизненного материала.

Роман Александра Бахвалова «Нежность к ревущему зверю» («Молодая гвардия» 1972 г. № 5, 6, 7) — первое крупное произведение писателя. Оно поражает прежде всего достоверностью описания жизни летчиков-испытателей. Александр Бахвалов сам работал аэродромным механиком, знает всю сложную систему работы аэродромной службы, новейшую технику оборудования самолетов и т. д. Он с увлечением описывает весь процесс полета по испытанию

различных типов машин, участие в этом аэродромной службы, представителей конструкторского бюро, авиационного завода — большого количества людей, занятых обеспечением развития нашей авиации.

Может быть, кое-где автор злоупотребляет профессионализмами. Его описание поведения отдельных типов самолетов на определенных режимах напоминает научную статью: «...При нарастании скорости в сочетании с потерей высоты резко меняется характер обтекания: при общей дозвуковой скорости на отдельных участках самолета образуются местные потоки сверхзвуковой. Возникнув на одной стороне подвижной плоскости руля, так называемые скачки уплотнения с большой силой перемещают его в противоположную сторону, а оттуда вновь в исходное положение... Разрушающему действию маховой тряски противостоят специальные устройства — демпферы сухого трения».

Но в наиболее ярких главах, где изображаются драматические ситуации, «техницизмы» оправданы целью — раскрыть причины, вызвавшие эту ситуацию, показать поведение летчика-испытателя, его волю, знания, энергию, умение разобраться в неполадках, которые неожиданно возникают в новом типе самолета, найти верное решение в сложных условиях.

Роман интересен для любого читателя. Сюжет его динамичен, насыщен острыми моментами. На первом месте в романе — летчики-испытатели, их внутренний мир, особенности поведения. Главный принцип характеристики героев — отношение к делу. В этом плане роман Александра Бахвалова противостоит тенденции характеризовать поведение героя, раскрывать его внутренний мир абстрактно, как проявление человеческих свойств вообще. Писатель остро ставит вопрос о долге, о чувстве ответственности, о взаимосвязи в коллективе — то есть о тех важных сторонах нашей жизни, в которых проявляются новые нравственные качества и внутренние свойства советского человека.

Вот Лютров — главный герой романа — под командованием летчика Боровского, вместе с штурманом Саетгиреевым и бортрадиостом Костей Карауш испытывают новый лайнер на дальность беспосадочного перелета с тремя заправками в воздухе. Трое суток непрерывного полета. Трое суток напряженной работы. Когда программа испытаний подошла к концу и надо было выходить к аэродрому, воздушный лайнер попал в грозу.

Боровский — опытный летчик. Его зовут «корифеем», но недолюбливают в коллективе за чрезмерную требовательность к подчиненным и стремление поставить себя выше других. Но это честный человек, преданный делу. В критический момент с наивысшей силой раскрываются внутренние свойства Боровского как летчика — его выдержка, смелость, полная отдача сил. Эта черта поражает Лютрова — второго пилота, который сам побывал уже во многих острых ситуациях, но впервые увидел, как в сложнейших условиях ведет себя Боровский.

«Лавинный надгрозовой поток воздуха, завалив самолет на правое крыло, вмиг всосал машину, бросил ее на четыре километра ближе к земле... Единственным ориентиром, указывающим положение самолета, осталась плавающая линия авиагоризонта. Чтобы совместить ее с неподвижной чертой на шкале, когда машину неистово швыряет из стороны в сторону, нужно было нечеловеческое напряжение. Следя за прибором, Лютров с удовлетворением отметил, что Боровский легко справляется с этим...»

Боровский заваливал самолет в крен до шестидесяти градусов. Послушание огромной машины в руках корифея казалось фантастическим. Крылатая машина, подобно живому существу, почуявшему опасность, повиновалась безропотно.

Но... приходят новые испытания. От грозových разрядов и перенапряжения загораются штанга. Затем останавливаются два двигателя. Экипаж в это время не думал об опасности, он был занят работой.

«Боровский с первой минуты прохода грозовой облачности работал... Работал, чтобы уберечь машину от перегрузок, заваливал самолет, скользил в ад грозы, не думая о том, как это называется, и делал это как надо, потому что был на своем месте, у него была высота и самолет, а в остальном он был, умел быть самим собой на любом расстоянии от смерти. Пробивая огненный хаос, он обязал себя забыть, что есть что-то еще, кроме той работы, которую нужно сделать немедленно, и он делал ее как надо, наваливаясь на всю эту божью канитель разом: и бычьими мышцами, и опытом, и все сметающей страстью старого летчика, отрицающего саму возможность поражения. Он мог проиграть где угодно, но не здесь».

Сильной стороной романа Александра Бахвалова является изображение мужественного поведения летчика-испытателя как проявления внутренних свойств характера. Интересны рассуждения главного героя Лютрова о страхе: «Для тебя страх — это когда не можешь понять, что происходит с машиной. Летный багаж никогда не бывает слишком велик, в нем может не оказаться нужной подсказки в нужный момент. Но этот страх никогда не мешал твоей голове, у тебя не случалось так, что ты мог, но не сделал. И только неизвестность — вот что иногда сковывает тебя до жути, до холода в животе, но ей не под силу помешать тебе работать, оставаться при деле».

Как видим, это, собственно говоря, не чувство страха, а чувство ответственности, острое чувство долга: помочь разгадать неизданное, то, что, в свою очередь, поможет конструкторам устранить недостатки, обеспечить надежность полета и управления серийной машиной. Это чувство, как показывает Александр Бахвалов в романе, помогает советскому летчику быть самим собой, «жить в нерушимом мире с самим собой», то есть со своим устремлением и нравственным смыслом дела, которое он делает. А это единство личных и общих интересов, как известно, — характерная черта человека социализма. Лютров говорит о себе: «Человеческая деятельность правомерна, если она

в союзе с совестью. Это когда веришь, что твое дело — благо для людей. И тогда ничто на свете не заменит тебе твоей работы. Союз труда, мысли и совести. Вот из этого и состоит мужество».

Александр Бахвалов уделяет внимание личным взаимоотношениям героев. Через весь роман проходит сюжетная линия, характеризующая любовь Лютрова к Валерии. Ретроспективно в романе показано детство Лютрова, его юношеские годы. Характеристика героев — Лютрова, Гая-Самари, Долотова, Извольского получается довольно полной и всесторонней. Симпатии писателя на стороне тех, кто воплощает в себе единство нравственных убеждений и поведения.

Душой коллектива летчиков-испытателей является Гай-Самари. В нём «все красиво» — и внешность, и поведение (отношение к товарищам), и мастерство летчика. К заслугам молодого писателя следует отнести тот факт, что, изображая Гая-Самари, он попытался раскрыть особенные черты человека, занятого техникой. Гай-Самари знает все типы самолетов как инженер, его характеристика поведения новой модели самолета на совещании в конструкторском бюро отличается тонким чутьем. Писатель показывает, что увлечение техникой не мешает развитию интеллекта, всесторонних способностей и нравственному совершенству советского человека XX века. Гай-Самари предстает в романе как всесторонне развитая личность. Правда, в этом плане он несколько «приподнят». Его взаимоотношения с женой (врачом Леной) и вся история женитьбы даны в слишком романтическом ореоле.

Конечно, не полностью удалось автору раскрыть «совершенный» тип нового человека в облике Гая-Самари, но сама попытка интересна. Она позволила автору рядом с образом Гая-Самари нарисовать другие типы характеров: «замкнутого» Долотова, самолюбного и где-то самовлюбленного Боровского, жизнерадостного и общительного Извольского.

Реальное содержание романа Александра Бахвалова доказывает, что нравственные требования к герою в условиях, когда люди управляют техникой, не уменьшаются, а возрастают. Автор показывает, какое огромное значение в поведении летчиков-испытателей имеет их увлеченность делом, «любовь к небу».

Вообще следует сказать, что конкретные приметы нашего времени ярко проступают в романе Александра Бахвалова. Но автор не всегда выдерживает «режим» творчества. Кое-где, как уже указывалось, роман перегружен техницизмами. «Отлеты» в личные отношения героев, включение отдельных эпизодов, не связанных с темой, временами сюжетно не оправданны.

«Нежность к ревушему зверю» — заметное явление в творчестве молодых. Роман несет в себе новую тему и свежесть непосредственных впечатлений от характерных явлений в нашей жизни.

3

Жизненная достоверность материала дает твердую опору писателю в обобщении характерных явлений. Это особенно важно для молодых, для тех, кто приступает к осмыслению больших и важных проблем нашей жизни.

Тема романа В. Жукова «Хроника парохода «Гюго»» («Знамя», 1972 г. №№ 6, 7, 8) — недавнее прошлое. В нем повествуется о рейсах корабля «Виктор Гюго» по перевозке стратегически важных грузов во время войны из Владивостока в Америку и обратно. Это — первое крупное произведение автора, отличающееся художественным мастерством как в описании событий, так и в характеристике героев.

Сам автор называет свое произведение «хроникой». Да, хроничальность здесь присутствует при описании рейсов, биографии героев (капитана Полетаева). И тем не менее перед нами — художественное произведение, роман. В нем есть свой сюжет, галерея героев, драматизм событий, объединенных единой идеей.

Этого трудно было достичь. Роман рассказывает о судьбах самых различных людей — от московского школьника Левашова до капитана парохода Полетаева. Писатель включает в сюжетную канву описание личных взаимоотношений (семейная история старпома Реута). Его влекут романтические истории (необычайные приключения аспиранта-филолога Бориса Сомборского). Но тот факт, что в центре оказывается подвиг команды корабля «Виктор Гюго», позволяет писателю связать все эпизоды, сюжетные линии в один узел, придать им законченную картину. На первый план выдвигается характеристика людей, показ их героизма, проявленного и в повседневном труде, и в каждодневном выполнении одних и тех же обязанностей (вахта, уборка корабля, погрузка, разгрузка), и в необыкновенных условиях, когда требуется напряжение всех сил (во время аварии и во время претотвращения аварии). Писатель сочетает очерковость в описании событий с психологической характеристикой героев, прибегает к обобщенно-публицистическим приемам. И все они оказываются оправданными.

Очерковость помогает достоверно раскрыть причины, приведшие к аварии — разлому корабля. Факт оказывается характерным. В нем отражаются сложные экономические, военные и политические взаимосвязи. Оказывается, океанский пароход «Виктор Гюго» получен СССР по ленд-лизу от американской фирмы «Либерти». Он — цельносварочный, без единой заклепки, сделан быстро, поточным методом. С одной стороны — это достижение судостроения промышленно развитой страны. С другой — конструкция «Либерти» имеет существенный дефект. Электрик Огородов, страдающий «слабостью» все знать, так передает мнение сведущих людей об американском пароходе: «Хилый у них, у «Либерти», продольный набор корпуса, всего три балкестрингера, что соединяют шпангоуты в длину. Да и толщина стрингера — смех. Выходит... паро-

ход, когда он залезет на гребень волны, становится вроде той доски, на которой дети качаются. Но доска, подпертая под середину, не ломается, если крепкая, конечно, и пароход не должен... Не должен! Много чего в мире не должно быть».

Кульминационным пунктом в романе и является разлом «Виктора Гюго» во время шторма.

Общий тон повествования сурово реалистический. Он позволяет показать, какие трудности пришлось преодолеть советским людям во время аварии. Особенно трудным было Маторину и Левашову — молодым морякам, находившимся на носовой части корабля. Она отделилась от кормовой и оказалась неуправляемой. Ночь, день и еще ночь и день молодые комсомольцы, окруженные разбушевавшейся стихией, находясь без куска хлеба и глотка воды, боролись за жизнь.

Что спасло ребят? Что помогло им выдержать испытание? Писателю удалось жизненно убедительно раскрыть то общее, что характеризует поведение героев.

Для Вл. Жукова характерно умение в процессе развития сюжета создать живой образ, показать его в движении. Между сюжетным потоком и действиями героев, их чувствами и мыслями в лучших частях романа возникает органическая взаимосвязь.

Например, Андрею Щербине в романе уделяется куда меньше места, чем Полетаеву, Левашову, Сомборскому. О прошлом Андрея Щербина говорится вскользь: «Коренной владивостокский житель... Стал сигнальщиком на плавбазе подводных лодок. В сорок первом осенью из добровольцев формировали морскую бригаду и Щербина сменил черную флотскую шинель на серую пехотную. Воевал под Москвой, в Сталинграде, где его сильно ранило». Когда разворачиваются главные события — шторм и разлом корабля, — Андрей Щербина произносит две фразы, свидетельствующие о том, что он опытный моряк. Скупыми, но выразительными средствами автор выделяет образ Андрея Щербина, делает его заметным на корабле. Он подчеркивает, что с Щербиной считается боцман, к его словам вынужден прислушиваться старпом Реут, который только одного себя считает правым. В ряде же эпизодов (разгрузка танков и предотвращение аварии корабля в порту Калэма) образ Андрея Щербина выходит на передний план. Здесь он предстает во всем своем своеобразии, пластически выпукло и художественно выразительно. При этом читатель все время чувствует драматизм развивающихся событий и ту особую роль, которую играет в них Андрей Щербина. Писатель рисует его портрет, который особенно убедителен оттого, что дается в восприятии электрика Огородова:

«И тут мне на глаза попался Щербина. Стоит и кончиком языка сигарету закладывает. Последняя, ломанная у него, видно, сигарета осталась, а может, просто порвалась бумага... Я никогда раньше не мог представить, каким он на фронте был, Андрей. Краснофлотцем, сигнальщиком с плавбазы «Амур», — помнил... Но то время было

довоенное... А каков он был на фронте, Щербина, долго я вообразить не мог. А тут, у лебедки, сразу представил. Вот такой и был: челка из-под шапки выбилась, полушубок расстегнут. Спрыгнет в темноте в окоп, притулится к земляной стенке и сигарку начнет языком склеивать — аккуратно, задумчиво, будто это все, на что он способен!»

В ответственный момент, когда назрела авария корабля (старпом Реут неудачно начал разворачивать «Виктора Гюго» в порту Калэма), Андрей Щербина пожертвовал собой, чтобы спасти судно и людей от гибели. Обычное и необычное в Щербине сливаются и делают его образ наиболее впечатляющим. Это достижение молодого автора необходимо особо подчеркнуть, ибо в лице Андрея Щербина перед нами раскрывается человеческое поведение, характерное для представителя народных масс. А раскрытие героического облика народа, создание ярких образов представителей народных масс — главная задача советской литературы.

Роман Вл. Жукова населен индивидуальностями. Хочется особо отметить мастерство речевой характеристики, умение Вл. Жукова в двух-трех ярких фразах подчеркнуть, передать, оттенить особенности движения чувств и мысли героя. Достоверность и художественность при этом сливаются. Писатель прибегает к различным способам характеристики своих героев. Левашов дан в эволюции, в процессе созревания. Чтобы глубже проникнуть в его мир, писатель ведет повествование (в главах о Левашове) от имени действующего лица. Это усиливает эмоциональную окраску образа — при строгой достоверности описания его поступков (приобщение к матросской службе, выполнение вахты, самоотверженное поведение во время разлома корабля). Образы капитана Полетаева и старпома Реута даны в контрастном противопоставлении. Писатель разоблачает внутреннюю несостоятельность «службиста» Реута, который хочет во что бы то ни стало выдвинуться, быть впереди, произвести «эффект», не думая о последствиях и не заботясь о людях.

При характеристике поведения героев в романе Вл. Жукова, как и в романе Александра Бахвалова «Нежность к ревущему зверю», начинается властно звучать нравственная проблема. Понятие совести, чести приобретает общественную значимость.

Для усиления достоверности повествования писатель обращается к общенно-публицистическим приемам. Конкретные факты международной политической обстановки (вопрос о поставках по ленд-лизу, о роли Америки и Англии во второй мировой войне) органически входят в художественную ткань произведения.

К достоинствам романа Вл. Жукова следует отнести умение передать в целом исторически точную картину времени (качество особо важное в связи с тем, что у нас все еще появляются тенденции одностороннего, а значит, и тенденциозного отношения к прошлому). Суровый реализм приобретает

внутреннюю энергию. Стиль становится эмоционально экспрессивным.

«Ржавый, исцарапанный борт поднимается из воды. Где-то в глубине парохода тяжело вздыхает донка. Серое небо шумится и швыряет вниз пригоршни дождевых капель. Два матроса сидят на подвеске, стучат молотками по железу.

Ржа сыплется вниз, в воду, забивается в глаза. Тук, тук-тук-тук. Как дятлы. А дождь — редкий, надоедливый и сонный, точно день заболел гриппом».

Как будто бы — осенняя, мрачная картина. Нудный дождик, нудная однообразная работа. Но эту работу делают два молодых матроса — Левашов, вчерашний московский школьник, и Алферова, которая бросила химвак, поступила на штурманское отделение мореходки, но война помешала учиться, и она оказалась на Дальнем Востоке матросом «Виктора Гюго». И вот в условиях войны молодые комсомольцы не оставляют своего желания учиться. Их воля не сломлена. Они каждое дело хотят делать как можно лучше. Алферова значительно старше Левашова и уже перенесла тяжелые испытания (участвовала в рейсе парохода «Турлес» из Архангельска в Англию; пароход подвергался пиратскому налету немецких бомбардировщиков, хотя и шел с мирным грузом — вез лес). Но Алферова в Левашове видит своего соратника.

«Она вдруг замечает: глаза у Левашова серые-серые, и, сама не зная, почему, подвигается к нему, и рука ее медленно скользит по гладкой, вымазанной суриком доске.

— Сережа, хочешь, будем заниматься вместе астрономией, навигацией? Я научу тебя всему, что знаю, а потом пойдем дальше и сдадим на штурманов. Экстерном сдадим.

— Ой... Конечно хочу!»

В незначительном, но характерном эпизоде раскрывается светлое чувство, которым живут положительные герои романа. И этим светлым чувством одухотворено все повествование. Оно берет верх над серым небом, осенним дождиком, монотонностью работы, заставляет нас соприкоснуться с жизнью, которой жили герои в период Великой Отечественной войны,

Вообще следует сказать, что образы героев в романе Вл. Жукова по психологической характеристике оказываются более яркими и индивидуально выразительными тогда, когда они раскрываются в действии. Однако автор не всегда выдерживает этот принцип, и тогда невольно изобразительность заменяется описательностью. (Это, кстати, очень распространенный недостаток в творчестве молодых прозаиков.)

Так, образ капитана Полетаева предстает перед нами более ярким, когда его черты проявляются непосредственно в решении сложных задач. Как характер, он во всех отношениях превосходит Реута. По замыслу автора, Полетаев должен воплощать в себе характерные черты передового, опытного, знающего свое дело моряка. В своей работе он опирается на партийную организацию, в условиях напряженной обстановки не забывает о том, что главная задача руководителя — заботиться о людях, воздействовать на них силой убеждения, а не приказом. Но эпизоды, в которых раскрываются эти черты Полетаева, так и остаются эпизодами. Органического слияния действия, событий и психологических переживаний героя при характеристике Полетаева автор редко достигает. Образ Алферовой, сильно заявленный вначале, теряет затем свои индивидуальные черты.

Все это доказывает, что Вл. Жукову (как, впрочем, и многим нашим прозаикам) еще трудно найти художественное единство в раскрытии «диалектики души» героя и его сюжетного положения. В целом же роман Вл. Жукова рисует перед нами яркую страницу из истории Великой Отечественной войны. Автор создает внутренне закономерную, связанную в единое целое картину. Произведение о прошлом звучит по-современному.

«Хронике парохода «Гюго» Вл. Жукова, как и роману Александра Бахвалова «Нежность к ревущему зверю», свойственно одно общее примечательное качество — свежее ощущение жизни, светлое сопричастие с переживаниями людей, воплощающих в себе наши представления о долге, о социалистических отношениях. Это и делает названные произведения заметным явлением в современной советской литературе.

АНАТОЛИЙ ЕЛКИН

НЕВСКАЯ БАЛЛАДА

К 60-ЛЕТИЮ
АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО

Холодок волнения на сердце — хотя все здесь знакомо до мелочей и пройдено тысячи раз...

Революция и битвы, свет пушкинского гения и ледяные ночи Достоевского, гул залпов петровских фрегатов и движение рабочих отрядов с Выборгской стороны, стремительный шаг Ильича по брусчатке Нарвской заставы и 900 немыслимо жестоких, огненных дней блокады, невесомость решетки Летнего сада и предсмертный бросок в атаку кронштадтских моряков, — все это ты, Ленинград.

Тревожная тень веков легла на стены домов многих прекрасных городов земли. Время тронуло зелень старинную бронзу победных памятников. Эхо мятежей бродит по улицам. Но все они, убеленные сединою грады, снимают перед тобой шапку, город на Неве.

И не потому, что ты соткан из волшебства трепетных белых ночей и само совершенство великих мастеров — твои набережные, дворцы и литая вязь чугунных решеток под блеклой северной водой. Здесь зябкой октябрьской ночью отразила черная Нева багровую вспышку шестидюймовки «Авроры». Тогда задрожали не только стекла Зимнего. Отсчет новой истории человечества начался от белых колонн Смольного. Вечерами и сегодня на них — призрачные блики красногвардейских костров.

В годы тягчайших испытаний, сотрясавших планету, город всегда принимал огонь на себя, поражая подвижничеством и друзей, и недругов.

Город тревожил сердца, околдовывал души, и потому не мог не рождать своих певцов и поэтов: «Давно стихами говорит Нева. Страницей Гоголя ложится Невский. О Блоке вспоминают Острова. И по Разъезжей бродит Достоевский...»



А. Б. Чаковский

Я сам «питерец» — слово это любил Киров. Все близкие мои обожжены холодом и огнем блокады. Когда-то отец, питерский рабочий, уходил с Охты комиссаром отряда, вставшего на пути Юденича. Потому — зачем скрывать это — с пристрастием и требовательностью раскрываю я каждую книгу, коснувшуюся судьбы твоей, Ленинград. В том числе и книги Александра Чаковского.

Тем более — давно знаю его. Видел и на Пискаревском кладбище. Обнажив голову, стоял он у страшной надписи: «658550 ленинградцев погибло от артиллерийских, бомбардировочных и голодных». Обожженные руины стоявшего насмерть Орешка. Чаковский поднимает с земли порывевший осколок. Задумался, рассматривая его. Бездонной белой ночью медленно идет по набережной. Подняты мосты, и такая вокруг безмерная тишина, и все сущее: и шпиль Петропавловки и Ростральные колонны — как размытый штрих старинных гравюр.

Как все это переплавилось в сердце писателя?

Большой талант просвечивает каждую строку рожденной этим талантом книги, и было понятным и очевидным всенародное признание романов и повестей Чаковского «У нас уже утро», «Год жизни», «Дороги, которые мы выбираем», «Свет далекой звезды», «Невеста». Они — все в современности, и раздумья писателя над актуальнейшими проблемами, волнующими современное общество, не могли не найти отклик в душе читателя.

Но ленинградец не может не остаться

ленинградцем: счастье, боль, совесть, вчерашнее и будущее его — все так или иначе фокусируется в том беспредельно большом и священном, что связано со шпилем Адмиралтейства, летящим в облаках над временем, войнами и судьбами, с влажными от невиской волны гранитными парапетами набережных, с разбойным, вьюжным посвистом ветра над замерзшей Ладогой.

И пусть книги, которые мы назвали, возможно, прямо и не сопричастны со всем этим, истоки их прямоты, мужественности и честности в тех днях, когда военный корреспондент Александр Чаковский лежал под огнем в Волховских болотах, шел вымершим, страшным в ранах своих блокадным Невским, видел обескровленные лица людей, похожих на тени, кровь на Садовой, мертвых женщин на набережной. Артналет еще не кончился, а поэмка уже заносила снегом неостывшие трупы.

Кошунственно рядом с таким, увиденным и пережитым, ставить слово «счастье». Но когда человек оглядывается на пройденные годы, легкие и безоблачные дни не вспоминаются. Навсегда остаются в сердце только часы навысшего нравственного напряжения, когда ты был сопричастен с судьбой народной, с подвигом и трагедией людей, с их муками и их подвижничеством. Но, может быть, — это и есть счастье, если судьба подарила тебе такие мгновения, какими бы кровотокающими ранами в душе они ни остались.

Пепел ленинградских развалин и могил стучал в сердце писателя, и она не могла не появиться еще в огненном 1944-м — повесть Чаковского «Это было в Ленинграде», составившая впоследствии вместе с книгами «Лида» и «Мирные дни» взволнованную трилогию — исповедь о подвиге, сравнений с которым невозможно подобрать в истории.

Так не могла не появиться и «Блокада» — огромное полотно о жизни народной в дни войны. Книга, вместившая множество судеб и по масштабности, широте и глубине охвата событий и проникновения в них превосходящая, пожалуй, все, вышедшее ранее из-под пера писателя. Полотно еще не завершено (опубликованы только четыре книги эпопеи), но уже и сейчас огромный интерес и читателей и критики к рождающейся эпопее говорит сам за себя.

Одно перечисление тех, кто оказался в орбите художнического внимания Чаковского, говорит об огромной ответственности, взятой на себя писателем: Сталин, Жданов, Ворошилов, Жуков, Василевский, Федюнинский... Государственные, партийные, советские руководители. Инженеры и рабочие. Офицеры и солдаты.

Сейчас много спорят и пишут об историзме прозы, рассказывающей о минувшем. И сколько еще в таких дискуссиях схоластики: нередко историзм меряется просто количеством использованного архивного материала. В лучшем случае — разносторонностью его подбора.

Но историзм состоит в выявлении главных, ведущих закономерностей народной жизни в определенную эпоху, в соотношении

и объективной оценке роли как известных, так и «рядовых» личностей во всех обстоятельствах, предложенных людям временем.

В этом смысле «Блокада» — эпопея не только примечательная, но и полемичная. А. Чаковский всеми своими раздумьями над ходом событий разрушает легенду о неких отдельно существующих и не взаимосвязанных друг с другом «штабной» и «окопной» правдах войны. Нет, утверждает он в романе, была одна правда. Только одна и никакая другая. Имя ей — единство помыслов всех — от Главнокомандующего и маршала до офицера и солдата. Так выявляется философская суть эпопеи, раскрытая и самым подробнейшим образом «разработанная» в характерах всех героев. Суть эта — политическое и нравственное единство общества, принявшего на себя главный удар фашизма и свергнувшего ему голову.

Так писатель подходит к исследованию, пожалуй, определяющего все и вся, из чего сложилась наша победа, — характера и смысла советского патриотизма.

Да, это совсем не философско-социологические понятия! Бессонные, мучительные ночи Жданова и Васнецова, когда положение на фронте угрожало стать катастрофой. Нечеловеческие усилия стариков с Кировского завода, падающих от голода, но не отходящих от станков. Бегство из госпиталя на фронт рабочего Андрея Савельева и капитана Владимира Суворцева: они не думали о своих незаживших ранах. Они не могли поступить иначе, ибо решалась судьба всего, во имя чего существовали они на этой земле, — Родины, Советской власти. Воспаленные глаза Верховного Главнокомандующего: он — не «святой», но бремя каких ответственнейших решений лежало тогда на его плечах. Обожженные, окровавленные солдаты в окопах Невской Дубровки, где — я сам видел это — не было ни одного сантиметра земли, не исколенного осколками и пулями. Сколько их полегло на том, последнем своем рубеже! Полегли, но не сделали ни шагу назад...

Старый кировский рабочий Королев, сам шатаясь от голода, с трудом добрался домой. И уже не достал жены в живых: голод сделал свое дело. Ушло то, что казалось ему вечным...

«Она не умерла, — горько подумал Королев, — ее убили. Она погибла, и ее убийцы живы. Притаились там, в темноте. Со всем недалеко, в конце этой улицы... Убили ее, а сами живы...»

Сжал кулаки и услышал хруст крошащихся сухарей, которые он сберег для жены из своего нищего пайка и нес к ней... Прикрыл лицо жены одеялом, подошел к столу, разжал ладонь, высыпал на стол крохи сухарей. Потом негромко позвал соседку: «Ксюша!.. Вот... Сухари... Возьми. Поешь. Хоронить буду завтра».

Так жили тогда они, если слово «жизнь» вообще употребимо здесь. Это был бой, где каждый держался до конца, до последней пули, до последней кровинки в угасающем от голода теле.

Личное?! Разве о себе думал Королев, переживший самое страшное, что может слу-

чаться в «личном», и снова, волоча ноги, возвращающийся на завод.

Характеры героев лепятся А. Чаковским в их исторической достоверности и правде. Эта правда образов опирается на правду тяжело и трагически складывающихся обстоятельств. Читатель поймет и внешне грубоватую резкость маршала Жукова, и стремительную решительность Федюнинского (он сам просит Ставку освободить его от командования Ленинградским фронтом и послать под Волхов командовать 54-й армией: тогда там решалась судьба Ленинграда).

Всеякими были тогда люди — и маршалы, и генералы, и солдаты. И резкими, и грубыми, и порой нетерпимыми. Но писатель глубоко вскрывает смысл их поступков, действий. Не личные свойства и качества характеров определяли тогда поведение людей. Все личное осталось за той роковой чертой, которую определил день начала войны. Любое промедление в решениях, определяющих судьбу Ленинграда, было тогда смерти подобно. Наглости и бешеному натиску гитлеровцев могла быть противопоставлена только решительность, только сила.

Конечно, после войны, в уюте кабинетов, где создавались многие мемуары, поздним числом и голосом симпатий и антипатий было высказано немало личных «болей, бед и обид». Я благодарен А. Чаковскому за то, что он встал выше их, не оказался в плену часто взаимоисключающих друг друга характеристик. Он не опрощал характеры. Раскрывал их во всей сложности человеческой и нравственной противоречивости раздумий, дел и поступков. Писатель рассказывал о жестком времени. И эта жесткость не могла не наложить отпечаток на действия людей, которые думали тогда не о том, «понравиться или не понравиться» кому бы то ни было. И солдат, и маршал, и Главнокомандующий несли государственную, я не побоюсь этого слова, ответственность за судьбу страны, за судьбу Ленинграда. Им в голову даже не могла прийти мысль о возможности распорядиться этой судьбой так или иначе. Решение их было только одно: победить. И они победили!

Вероятно, сейчас (роман еще не закончен) трудно оценить целесообразность многочисленных советов, которые дает критика писателю. Кому-то кажется излишне подробной, затянутой в первой книге эпопеи история безнравственной личности Анатолия Валицкого и его отношений с Верой Королевой. Кто-то заметил в отдельных главах

следы скорописи, подчас понимая под нею ту сильную и страстную стихию публицистичности, без которой А. Чаковского, как художника, вообще трудно себе представить. Видимо, какие-то из этих советов автор примет. Но соотношение пропорций и вся архитектура эпопеи станут видимой только после завершения романа. Книги, к которой никто не останется равнодушным: в ней слишком очевидны и боль, и счастье, и личностная высокая взволнованность автора.

Да разве можно писать иначе о подвиге Ленинграда!..

Два года назад мы зашли с другом в гости к Ольге Берггольц. Не по-северному щедрым был тот май, и от влажных гроздьев сирени, которую мы принесли с собой, тянуло весенним ветром и невским холодком.

Ольга Федоровна живет на Черной речке. Рядом с обелиском, поставленным на месте, где когда-то в смертельном поединке сошлись Пушкин и Дантес.

И — начался разговор. Не о весне. Не о стихах. О блокаде. Какие бы темы ни затрагивались тогда, все невольно возвращалось в это русло. Да иной Ольгу Федоровну и трудно представить: ведь она ленинградка. Я попросил ее почитать стихи.

Как когда-то в 1941-м, в промерзшем Доме радио, глухо звучали в 1971-м ее строки:

Мы знаем — нам горькие выпали дни,
Грозят небывалые беды,
Но Родина с нами, и мы не одни,
И нашею будет победа...

Сейчас, когда я закрыл четвертую книгу «Блокады» Александра Чаковского, мне вспомнился тот весенний день и глаза Ольги Берггольц. Они были отрешенные, темные, все там — в страшном, заснеженном, голодном и кровавом прошлом...

Я представляю себе Александра Борисовича за рабочим столом. На машинке — страницы новой части «Блокады».

Как развернется это мужественное повествование? Каким нравственным аккордом завершится?

Трудно проникнуть в еще неосуществленный замысел художника, тем более что героиня, обретая живую плоть и кровь, часто в искусстве этот замысел и ломают и изменяют. Но, думается, философский итог раздумий писателя о подвиге великого города выльется в строки, сопричастные тем, которые еще в 1941-м прозвучали по ленинградскому радио: «И нашею будет победа!»

Ведь оба они — и Берггольц и Чаковский — ленинградцы.

А этим все сказано.

Правда факта и правда искусства

И. Вайнберг. За горьковской строкой (Реальный факт и правда искусства в романе «Жизнь Клима Самгина»). М. «Советский писатель». 1972. 400 стр. Цена 1 р. 10 к.

Горький, как известно, дружил с полпредом СССР в Италии Дмитрием Ивановичем Курским. В одной из бесед,— это было в конце 20-х годов,— Дмитрий Иванович, находившийся под впечатлением только что прочитанных им первых двух томов «Жизни Клима Самгина» и с нетерпением ждавший продолжения, спросил Горького:

— Мне кажется, этот роман имеет для вас какое-то особое значение, не правда ли?

— Да,— ответил Алексей Максимович.— Я не могу не писать «Жизнь Клима Самгина». У меня накопился фантастически обширный материал, он властно требует, чтобы я объединил его, обработал. Я не имею права умирать, пока не сделаю этого... Есть у Менделеева книга с весьма полновесным названием: «К познанию России». Я был бы счастлив, если б и мою хронику можно было так назвать... Быть может, сразу вещь моя не будет понята. Но когда-нибудь оценят...¹

Как и предвидел Горький, его «хроника», которая является на самом деле сложнейшим психологическим, социальным и философским романом, переросшим в эпопею и не лишенным, кстати, и композиционных признаков хроники, не сразу была в полной степени оценена критикой и читателями. Но сбылось — вернее, сбывается — и другое предвидение художника. Гениаль-

ный роман постепенно входит в наш духовный мир.

Конечно, мы еще только на подступах к его научному постижению. Мы еще только начинаем вглядываться в художественную структуру этого уникального повествования, мы еще далеки от раскрытия того волшебства, с помощью которого Горький «объединил» и «обработал» свой «фантастически обширный материал».

Между тем самая безбрежность этого материала, обусловленная желанием писателя создать полотно, которое мощно послужило бы «познанию России», требует особого внимания и имеет отношение к новаторству Горького.

В частности, мы с интересом замечаем необыкновенно широкое и, пожалуй, по размаху беспрецедентное в мировой литературе использование Горьким такого изобразительного средства, как «реалии», т. е. конкретные упоминания (в авторской речи и в речи персонажей) об исторических, культурных и бытовых фактах, о реальных лицах, о научных, политических и философских идеях, произведениях литературы и искусства. «Реалия» — это «факт» на службе художественного слова. По моим (предварительным) подсчетам, в романе содержится 2475 «реалий». Богатство и сложность фактографического материала в горьковском повествовании обусловлены, очевидно, самим жанром современной социальной и историко-философской эпопеи.

Но не только этим. В «Самгине» нашла особенное интенсивное выражение своеобразная индивидуальная черта Горького — интерес, даже страсть к «реалиям». И в «Самгине» же с наибольшим блеском проявилась способность Горького поднимать эмпирический материал на высоту идейно-художественного синтеза. Это горьковское «К познанию России» создано в годы наивысшей зрелости мастера, когда он особенно глубоко постиг ленинскую концепцию исторического процесса, выработал стиль, который считал наиболее подходящим для «современного искусства слова», — стиль «строгой сжатости, эпического спокойствия, суровой объективности». В «Жизни Клима Самгина» каждая деталь обрела особую емкость, многозначительность, целенаправленность. Это относится и к деталям фактографическим.

Автор рецензируемой книги был первым исследователем, взявшимся за серьезное изучение «фактографии» великого романа. Многие годы посвятил он этой, необычайно трудоемкой теме, разработка которой необходима не только для того, чтобы лучше ориентироваться в лабиринтах гигантского повествования, но и для того, чтобы лучше понять его поэтику.

Исследователю пришлось столкнуться с загадками, которые возникали обычно там, где Горький цитировал, не указывая источник, или, несмотря на свою феноменальную память, неверно называл фамилию реального лица — или вводил его в повествование неназванным. Поэтому некоторые «биографии» фактов, рассказанные И. Вайнбергом, воспринимаешь как острозагадочные литера-

¹ Разговор записан мною 15 апреля 1953 года со слов Анны Сергеевны Курской — вдовы Д. И. Курского.

туроведческие новеллы. Таковы, например, истории поисков материала о «купчике Поликарповой», о «процессе братьев Святских», которые оказались братьями Скитскими, о «немце Драйзере», который оказался Карлом Вейзером, автором чрезвычайно интересовавшей Горького драматической тетралогии «Иисус», вышедшей в Лейпциге в 1906 году и на русском языке не публиковавшейся. При этом выясняется, что «даже обманчивый факт (отдельные неточности или хронологические нарушения) не теряет в романе своей исторической конкретности и характеристики».

На многих примерах исследователь остроумно демонстрирует повышенную смысловую и идейную насыщенность «реалий» горьковского романа — их «грузоподъемность», как образно выражается И. Вайнберг.

«Какой бы факт мы ни взяли, идя в глубь горьковской строки,— замечает исследователь,— мы неизменно видим его глубоко разветвленную корневую систему, прочный жизненный базис и неизмеримо расширяем и обогащаем наше восприятие каждой исторической детали, запечатленной в романе».

Присматриваясь к этой «корневой системе», к ее иногда причудливо запутанным разветвлениям, автор монографии увидел и сумел сделать ощутимым и наглядным для нас, читателей, поразительное умение великого художника поставить каждый факт «в связь с эпохой, временем, условиями, его породившими».

В частности, интересны экскурсы автора монографии, выясняющие, какая бедна материалов, изученных Горьким, скрывается за своеобразной «летописью революционных событий», содержащейся в романе, как исторически и художественно многозначителен каждый факт, включенный мастером в эту «летопись».

«Реалии» совершенно справедливо рассматриваются И. Вайнбергом как элемент не только содержания, но и формы, как характерная черта художественной структуры «Самгина». По справедливому замечанию исследователя, факт в горьковском романе «говорит читателю и о том, что рассказано, и о том, как рассказано».

В структуре горьковского романа «факт» живет чрезвычайно своеобразной и сложной жизнью, для определения которой И. Вайнберг нашел запоминающуюся формулу: «двойное подданство». Это значит, что «художественный образ, рожденный из характерного факта», принадлежит одновременно и «стране реальности», и «стране вымысла». И художник здесь — «хозяин факта, а не раб его». Если было нужно, Горький даже отказывался от формальной точности — ради точности глубокой, жизненной, социально-исторической.

«Факт» был для Горького не просто иллюстративным материалом, а одним из средств создания образа человека, образа эпохи,— такова центральная мысль книги И. Вайнберга. Для обоснования этой мысли он привлекает главным образом «реалии», связанные с литературой и искусством.

Выбор основного объекта анализа про-

диктован не только личными склонностями исследователя, но и важнейшим свойством эстетики Горького, которое можно было бы назвать «интеллектуализмом», если бы в последнее время термин этот не приобрел несколько одиозного оттенка. Для Горького человек начинается с мысли, с его взглядом. Естественно, что отношение персонажей к литературе и искусству, как справедливо указывает И. Вайнберг, служит весьма существенным средством обрисовки их внутреннего мира, их социального лица, их моральных критериев, их эстетических вкусов. Будучи одним из элементов построения образа, мотивы литературы и искусства служат вместе с тем воссозданию картины литературно-эстетической борьбы в России конца XIX — начала XX века.

В наблюдениях и размышлениях И. Вайнберга мне кажется особенно ценным то, что он остро ощутил и сумел наглядно выявить одну принципиально важную черту горьковского восприятия литературы. Черта эта заключается в том, что литература была для писателя не только отражением жизни, но и важнейшим, ярчайшим проявлением жизни. Или, как пишет И. Вайнберг: «Факты жизни и литературы всегда сливались у Горького в единое целое».

Это убедительно подтверждается в работе анализом сцен и бесчисленных деталей, связанных с литературно-идейными битвами эпохи. Если Горький, скажем, вкладывает в уста персонажа реплику о повести Боборыкина «Поумнел» или строки Некрасова (последние нередко поются), то за этим, как скрупулезно выясняет И. Вайнберг, скрывается огромный пласт реальной жизни. Высказывания персонажей о литературе, их симпатии и антипатии в этой области, их подражание герою определенной книги или отталкивание от него складываются в своеобразную «социологию литературных вкусов», свидетельствуют порой о том, как литература становится «своего рода «типическими обстоятельствами», в которых живут и формируются действующие лица романа».

Интересны, в частности, наблюдения И. Вайнберга, выявляющие тот иронический и пародийный эффект, который нередко достигается Горьким путем раскрытия литературных ассоциаций персонажа — например, самодовольных размышлений Самгина о его превосходстве над Грелу, героем романа Бурже, или его надежд повторить кое-что из практики мопассановского героя, эlegantного аристократа Марюля.

В научном освоении «Жизни Клима Самгина» И. Вайнберг шел непроторенными путями. Неудивительно, что в его обширной работе не все еще откристаллизовалось, кое-что требует фактографического исправления или теоретического углубления.

Как правило, предлагаемые И. Вайнбергом истолкования «реалий» вдумчивы и убедительны. Но в отдельных случаях он проявляет торопливость. Я ограничусь одним примером, который, кстати, покажет, как много скрывается за «реалиями» у Горького, с какими сложными вопросами приходится сталкиваться тому, кто их исследует.

Самгин знакомится с библиотекой Безбедова. «144 тома пантелеевского издания иностранных авторов, Майн-Рид, Брем, Густав Эмар, Купер, Диккенс и «Всемирная география» Э. Реклю,— большинство книг без переплетов, растрепаны, торчат на полках кое-как.

«Библиотека гимназиста»,— мысленно определил Самгин. Безбедов не замедлил подтвердить это.

— Со времен гимназии накопил,— сказал он, недружелюбно глядя на книги.— Ерунда все. Из-за них и гимназию не кончил».

И. Вайнберг комментирует: «Так красноречиво характеризует умственное развитие великовозрастного недоросля эта «гимназическая» библиотека». И далее уточняется: литературными симпатиями Безбедова Горький «метко характеризует «романтизм мещанина», жадный интерес обывателя лишь к «роману преступлений»...»

Все это, возможно, было бы справедливо, если бы на книжных полках Валентина Безбедова находились, скажем, «Пещера Лейхтвейса», «Разбойник Арно Крафт», похождения Ната Пинкертола или женщины-сыщика Эллен Кинг и другие лубочные издания, распротранившиеся в то время. Но Диккенс, Купер, Густав Эмар, Майн-Рид, Брем, Реклю... Что касается пантелеевского издания, то братья Пантелеевы в 90-е годы выпустили собрания сочинений Вальтера Скотта, Марка Твена, Гофмана, Брет Гарта, Додэ... Как говорится, дай бог каждому такую библиотеку!

Что же хотел сказать этой сценкой Горький? Отношение буржуазно-мещанского интеллигента к русской литературе (разрыв с ее великими традициями) изображается в романе на многих страницах. А в данном случае, я полагаю, художника интересовало отношение интеллигентного обывателя (Самгина) и полунинтеллигентного обывателя (Безбедова) к хорошей остроумной литературе Запада и к естественнонаучным сочинениям. Обыватель нередко читал и то и другое, а занимательные (я не хотел бы употреблять неуклюжее и какое-то несправедливое слово «приключенческие») романы даже поглощал, но поглощал бездумно, гастрономически; чаще всего он только в отрочестве и ранней юности, когда была в душе еще какая-то свежесть, отдавал дань литературе, исполненной романтики приключений и научных открытий. А потом он увядал, засыхал, погружался в меркантильность или в обломовскую дремоту или в холодный скепсис и снобизм. И вот он, равнодушный и чуждый благодарности, встретившись снова с гениальным Купером, с единственным и несравненным Диккенсом, симпатичными и занимательными Густавом Эмаром и Майн-Ридом, с художниками науки — Бремом и Реклю, ничего не может сказать, кроме небрежно-снихождительного: «Библиотека гимназиста». Или уже совсем по-вински: «Ерунда».

Главный повод для полемики дают, однако, не истолкования отдельных «реалий», предложенные И. Вайнбергом, а некоторые крайности, которые проявляются у него в

понимании общей идейно-художественной функции «факта».

«Героем» книги И. Вайнберга является эмпирический, невыдуманный факт. «Герой» этот по-своему чрезвычайно интересен. Но масштабы его постепенно начинают приобретать у И. Вайнберга гиперболические очертания. Исследователь порой явно склоняется к мысли, что «факт» является и «героем» горьковского романа. Напомню читателю, что речь идет не о тех мириадах «фактов», реальных впечатлений, которые, естественно, составляют в творчески преобразованном виде плоть и душу всякого искусства. Нет, речь идет о «факте» как таковом, о «факте» документально-конкретном, эмпирическом. Речь идет о том, что принято называть «реалиями». Как это ни странно, и как это ни противоречит наблюдениям самого исследователя, выявляющим покорность эмпирики творческой воле Горького, «факт» провозглашается «основным строительным материалом» горьковского романа, «фундаментом», «едва ли не основным героем»; мы узнаем, что «факт» в «Самгине» отличается «универсальностью», что вся эпоха здесь «раскрывается через реальный факт» и что «вся художественная структура романа фактична». Более того: «факт» провозглашен «ключом к пониманию творческой индивидуальности Горького».

Эти смелые обобщения вносят неясность не только в понимание структуры и жанровой природы «Самгина», но и в понимание творческой индивидуальности Горького — и природы искусства вообще.

Любовь Горького о «фактам», о которой я говорил выше, вовсе не значит, что они стали «основным строительным материалом» романа. Пусть извинит меня автор рецензируемой книги, но мне кажется, он порой забывал об одном «факте» — о том, что все герои «Самгина», за исключением нескольких, эпизодических, не «факт», а вымысел великого художника, и все, что с ними происходит,— вымысел. Едва открываешь страницы «Самгина», как оказываешься втянутым в царство вымысла, того извечного и славного творческого вымысла, о котором метко сказано, что он «не просто фантаст, но прежде всего — изобретатель, разведчик и добытчик на путях познания». «Факты» в «Жизни Климата Самгина», хотя их и две с половиной тысячи,— это сравнительно редкие островки в океане воображения. Достаточно проследить духовную и житейскую эволюцию Самгина или, скажем, Марины Зотовой, Ивана Дронова, Турбоева, или Степана Кутузова — и мы увидим, что Горький не только мудро и властно распоряжается «фактами», искуснейшим образом включает их в поток сознания своих героев, но и не допускает ни на миг, чтобы «факт» присвоил себе функцию «основного строительного материала». Перед нами развертываются свитки жизни разнообразных людей, свитки, письма которых повествуют «не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться», следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости».

И еще надо сказать: беспощадно-прав-

дивый, написанный в такой спокойной, хладнокровной, трезвой, сдержанно-иронической манере роман «Жизнь Клима Самгина» — один из самых драматических и «фантастических» романов мировой литературы. Где еще, кроме Достоевского, найдем такие изгибы, причуды и изломы психики, картины такого духовного смятения (вспомним Лютова, Дьякона), такую гротескную, хотя изображенную и не в гротескных тонах, борьбу противоречий в душе человеческой личности! И где еще в таких суровых, рембрандтовских тонах и с такой глубиной показаны огромные человеческие массивы с их пестрым колоритом, наивностью и талантливостью, «простой, грубоватой решительностью» (В. И. Ленин), с яростной жаждой обновления жизни! Сделай писатель «факт» героем своего повествования, мы могли бы получить интересные очерки, портреты, но не получили бы гениальной эпопеи.

Если воспользоваться гетевской терминологией, Wahrheit, т. е. эмпирическая правда, факты, сохранившиеся в памяти художника или заимствованные из различных источников, используются Горьким для торжества Dichtung, т. е. поэзии (в широком смысле), художественного синтеза, служащего не только «познанию России», но и познанию всей нашей эпохи с ее социальными и идейными битвами.

И самая выразительность «фактов» в этом романе объясняется тем, что они освещены, озарены, истолкованы вымыслом художника, его интеллектом, его интуицией. Вымысел же, в свою очередь, помимо использования мириад фактов, оставшихся безмянными и покорно вошедших, как некая космическая материя, в созданную художником планету, находит дополнительную опору в «реалиях», т. е. фактах, уцелевших от «химической переработки» и сохраняющих свое реальное обличье.

Для понимания того, какое существенное, хотя и не первостепенное значение имеет этот эмпирический материал в романе Горького и какое значение вообще имеют в искусстве слова «реалии» как элемент содержания и формы, монография И. Вайнберга, несомненно, дает очень много. Что касается допущенного в работе фактографического экстремизма (если можно так выразиться), он психологически понятен: автор увлекся своим «героем» и начал идеализировать его. Это бывает. Но мы не последуем за ученым, когда он сходит со своего основного пути — с пути трезвого и объективного рассмотрения подлинного соотношения Dichtung und Wahrheit в горьковском повествовании. К счастью, этот трезвый, объективный, подкрепляемый материалами бесчисленных — изданных и неизданных — источников анализ и составляет основное содержание интересной и ценной книги И. Вайнберга, которая, конечно, войдет в обиход всех, кто изучает величайший роман нашего века.

Н. ЖЕГАЛОВ,

кандидат филологических наук

Именем поэзии

Лев Озеров. *Мастерство и волшебство. Книга статей. М. «Советский писатель». 1972. 392 стр. Цена 1 р. 04 к.*

Константин Паустовский в «Золотой розе» говорит, что вдохновение писателя часто получает толчок от знакомства с произведением другого писателя; иной раз абзац, фраза, беглое замечание дают пищу для напряженной работы мысли, выливающейся в новое явление искусства... Это очень верно — достаточно вспомнить сообщенные самим Пушкиным истории возникновения замыслов «Полтавы» и «Графа Нулина». Что же тут особенного? — могут меня спросить. Существует критика, есть литературоведение — признанные области словесности и науки, предмет которых — художественные и не только художественные творения прозы, поэзии, драматургии.

Книгу Льва Озерова «Мастерство и волшебство» не причислишь ни к сборникам критических статей, ни к литературоведческим исследованиям, хотя в ней нетрудно обнаружить признаки и того и другого. Это — книга поэта, вдохновенная «копьем больших поэтов», подкрепленная многолетним поэтическим трудом самого автора, известного своими стихотворными сборниками, переводами и подвижнической деятельностью по воспитанию литературной молодежи. И строится книга не по канонам обзоров и монографий, а по законам поэтических жанров: непринужденность интонации, глубокий лиризм, смелые сопоставления, свободные переходы от предмета к предмету, подчеркнуто личное отношение к высказываемому, отсутствие каких-либо притязаний на выдачу формулировок и провозглашение неоспоримых выводов... Это придает книге обаяние и цельность, хотя в рамках этой цельности есть отклонения в ту или иную сторону; так, статья о Фете близка по характеру к исследованию, а эссе о Пушкине или о Барглицком напоминают стихотворения в прозе.

Стержем, становым хребтом книги, по мысли автора, высказанной в предисловии, являются раздумья о лирике. «Эта книга — о лирике... как стихии творчества, о лиризме, разлитом, как воздух, повсюду — в эпосе и драматургии, в очерке и песне».

Лирика, поэзия — не абстрактные понятия, приобщиться к ним, постигнуть их дух можно только через вполне конкретные их проявления в строках и строфах, созданных стихотворцами; поэтому «Мастерство и волшебство» еще и книга о мастерах русского стиха. Герой книги — поэзия, действующие лица — поэты, место действия — то неопределимое топографически, что именуется мастерской или творческой лабораторией, время действия, по существу, не ограничено, хотя поэты, чей путь и опыт дают пищу размышлениям автора, творили или творят в минувшем и текущем столетиях, их поэзия несет в себе и многовековое наследие прошлого, и уверенно простерта в будущее.

Тема неисчерпаемости и беспредельности поэзии возникает в книге с первых же ее страниц, посвященных Пушкину. «Я стою перед океаном и пытаюсь рассказать о нем», — пишет Лев Озеров. Действительно, поэзия Пушкина — океан. Но океан особого рода. Если обычные океаны вбирают в себя воды рек и поглощают их, то пушкинский океан, вместив в себе предшествующие течения русской словесности, сам стал истоком для множества могучих и глубоких поэтических рек. Продолжение и развитие пушкинских начал Лев Озеров видит, обращаясь к творчеству Фета и Блока, Антокольского и Сельвинского. Широкое дыхание «животворного океана» пушкинского овеивает многие страницы этой книги. Собственно же в раздумьях о Пушкине автор касается всего нескольких эпизодов и мотивов: болдинских осеней, одной строфы «Памятника», рисунков поэта. Но какой простор мыслям, какие вереницы ассоциаций распахиваются для умеющего видеть и в малой капле отражение «солнца русской поэзии!» Вот Лев Озеров читывается снова в хрестоматийное «...и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык», — и рождается вдохновенное рассуждение и о пронизательном гуманизме поэта, применившего к тунгусу определение «ныне дикой», то есть верившего, что не всегда он будет таким, и сопоставление «ныне» пушкинских времен с «ныне» советской современности, все народы поднявшей и приобщившей к Пушкину, и наблюдение, с каким интересом и уважением относился поэт ко множеству племен и народностей тогдашней России, заслужив навеки великую любовь, которую питает к нему в нашей стране «всяк сущий в ней язык»...

Видное место занимает в этой книге статья о Тютчеве. Чем дальше уходит нас время от эпохи Тютчева, тем понятней и ближе становится нам лучшее в его поэзии. Никогда не забуду, как, прочитав в ранней юности: «...живая колесница мироздания открыто катится в святителище небес» и «...мы плывем, пылающе бездной со всех сторон окружены», — я не только разумом, а всей кожей, каждым нервом почувствовал космос, так, что мороз пробрал!

Теперь у нас — неисчислимое количество стихов о космосе и космодромах, спутниках и ракетах, но, думаю, тютчевское ощущение космоса так и осталось самым сильным и тревожащим... Причину этого Лев Озеров объясняет весьма убедительно: «У Тютчева нет стихотворений специально и преднамеренно философичных в том смысле, как это понимают теперь: проблема, обобщение, область логики и выводов. Философия — не область, а пафос тютчевской лирики. Его стихи о любви, природе, жизни, смерти всегда овеяны мыслью и всегда настояны на переживании. Вне переживаний, вне субъективно-биографического начала в лирике Тютчева нет философии». Космос у Тютчева потому столь осязаем и достоверен, что он обнаружен не в стекле телескопа, а в душе поэта. К живому организму тютчевской лирики Лев Озеров прикасается не скальпелем анатома, если

можно так выразиться, прикипает сердцем, стремится проникнуть в глубины (сам Тютчев сказал бы — «бездны») его почти непостижимого внутреннего мира. Как бы глазами самого поэта хочет представить он и олицетворенный хаос, и разлад между гармонией природы и смятенностью духа, и непрестанное противоборство враждующих стихий. Так приходит догадка о Тютчеве — мифотворце и разрушителе мифов, об антиничности его мировосприятия. Догадки или разгадки? Тут не может быть окончательного ответа: поэзия тем и высока, что не поддается неоспоримым решениям: «как сердцу высказать себя?»

Несколько иного плана работа о Фете — «Там человек сгорел...»

Вокруг имени и наследия этого выдающегося русского лирика в недавнее время разгорелись споры. С одной стороны, некоторые критики, считающие себя в литературном деле последователями революционных демократов, заостряя внимание на консервативных политических взглядах Фета, готовы были замалчивать значение его поэзии и чуть ли не исключать его из большой литературы. (Заметим в скобках, что сами революционные демократы в разгар идейных битв того времени, сражаясь с апологетами «чистого искусства», были куда объективней и неизменно отдавали должное художественным достоинствам лирики Фета и особенностям его поэтического мира: Лев Озеров приводит пронизательный отзыв Некрасова о Фете.)

С другой стороны, вышли на арену новоявленные противники «утилитарной поэзии» и бурно начали славить Фета именно за то, что он, дескать, сохранил в целостности эстетические заветы Пушкина, якобы искаженные гражданскими поэтами второй половины прошлого века.

На фоне этих споров, доходивших подчас до крайности, работа Льва Озерова дает пример современного прочтения Фета, избавленного как от полемических уклонов его эпохи, так и от попыток причислить его к одной из нынешних внутрилитературных группок. Фет в освещении Озерова далеко не свободен от гражданских страстей своего времени (речь идет, разумеется, о его лирике, а не о публицистике или переписке). Еще более он зависим от личных жизненных и нравственных потрясений. В силу малого знакомства сегодняшних читателей с Фетом Озеров считает нужным дать хотя бы краткий очерк его жизни и творчества. В статье о Тютчеве, к примеру, не понадобилось подробно говорить об отношении поэта к Денисьевой, достаточно было лишь упомянуть об этом. Историю же любви Фета к Марии Лазич и ее трагического исхода, как и повесть о происхождении поэта и его борьбе за гражданское и словесное признание, пришлось изложить, дабы опровергнуть легенду о Фете — созерцателе и бездумном певце ручейков и соловьев. Не идиллическое существование прижимистого помещика, а полное бурь чуткое бытие поэта встает со страниц этого очерка. Эстетические ценности фетовской лирики предстают в свете двух скрещенных лучей: истори-

ческого подхода и эмоционально-художественного восприятия. Возникает образ открытой всем впечатлениям бытия ранимой души. Только такая душа может стать источником и инструментом поэзии. «Между строфами Фета не бумажные провалы, а горные пропасти, бездны, звездные миры», — справедливо замечает Лев Озеров. Вдумчивое проникновение в лирику Фета позволяет ему усмотреть и разницу и сходство ее с творчеством Тютчева. Заметим попутно, что еще не так давно сам Озеров склонен был видеть только разницу. Так, в статье о Тютчеве в книге «Работа поэта» (1963 г.), — а «Мастерство и волшебство» автор позволяет считать «своего рода продолжением» ее, — читаем: «Разница между Фетом и Тютчевым — это разница между сильной грозой и слепым дождиком в полдень. Это разница между узловатым и могучим дубом, который после грозы лежит дымясь, сраженный молнией, — и кустом сирени, разморенной вешним теплом».

В новой книге Лев Озеров цитирует Блока: «Все торжество гения, не вмещенное Тютчевым, вместил Фет», и продолжает, не без изящного озорства: «Это — утверждение высшего родства двух наших лирических поэтов. Как бы соединительным стало «е» между «ф» и «т» — инициалами Тютчева, образовав фамилию — Фет». Вместе с тем Лев Озеров отчетливо сознает, что «историческая давность не снимает действительно имевших место разногласий между революционными демократами и Фетом», и отмечает широту взглядов Некрасова, который «понял поэзию Фета в развороте грядущего, в исторической перспективе». И сам автор «Мастерства и волшебства» старается следовать Некрасову в стремлении воспринимать поэзию «в развороте грядущего».

Отсюда — постоянная проекция на современность, присутствующая в статьях о классиках русской поэзии: на страницах, посвященных Пушкину, — пожелание, чтобы и нынешние поэты возродили дух пушкинского общения с друзьями; разбирая статьи Блока, Озеров их бесстрашие и неприязнь ставит в пример тем, кто в критике шарахается от безудержного восхваления к безоговорочному осуждению; в этюде о Багрицком напоминает о высокой взыскательности автора «Юго-Запада» при отборе стихов для книги...

Как строки поэтов минувших лет, служа предметом изучения и обсуждения и храня первозданную свежесть свою, врываются в сегодняшние понски и дискуссии, так и неугомонное эхо современности слышится, когда Лев Озеров прикасается к поэзии прошлого... Особенно ощутимо это в последнем разделе книги «Письма о поэзии»: Пушкин, Тютчев, Пастернак, которым в предшествующих главах отведены целые статьи, снова приходят в книгу, как судьи и образцы, когда автор ведет речь о разнице между ремеслом и мастерством, определением и эпитетом, стихотворством и поэзией... Обстоятельная работа в книге «Мастерство и волшебство» посвящена творчеству Бориса Пастернака. Рассматривая ис-

торию стихотворных циклов и сборников поэта, Лев Озеров строит некую диалектическую спираль движения его личности и поэзии... Его возвращения через много лет к уже опубликованным и прославленным строкам, — возвращаясь с целью улучшить, перестроить, сделать понятней и современной, — говорят не только о строгости мастера, но и о непрекращающемся его развитии, о том чувстве пути, которое, по словам Блока, является признаком настоящего писателя. А в статье «Дверь в мастерскую» Лев Озеров демонстрирует труд Пастернака над одним только стихотворением поздней поры его творчества, наглядно показывая, как воплотился опыт большого пути в принципы конкретной работы.

Доминантой книги становится постижение поэтами разных поколений, обликов, школ всепроникающих и благотворных пушкинских начал. Остро чувствуется это в статье о Сельвинском: автор специально привлекает внимание читателя к включению Сельвинским в свой стих пушкинских строк («Лебединое озеро»), к взаимодействию ритмики и образов Пушкина с поисками Сельвинского в области строфы и интонации. Лев Озеров приводит восмистишье Сельвинского, посвященное Пушкину и завершающееся так: «и стих восходит прозрачной легендой, легчайшим почерком лаская глаз...»

Это — не очень известная миниатюра автора «Улялаевщины», но звучит в ней что-то давно и прочно помнящееся... Ну, конечно же: прямая и ритмическая, и словесная переключка с «Охотой на тигра»: «Он ушел. Величавой легендой...» О, тайна поэтического мышления! Поневоле вспомнишь, что юного Пушкина, быстро в движениях и яростного в гневе, лицейские друзья звали «помесь обезьяны с тигром», а в письмах, воссоздающих облик Пушкина последних месяцев его жизни, измученного душевными страданиями, попадают сравнения поэта с израненным и разъяренным тигром... А какова роль образа тигра в поэзии Сельвинского, думаю, напоминать не надо! Что сопрягалось, что сталкивалось в душе поэта, когда он равно уподоблял легенде походку тигра и поступь пушкинских ямбов?

Книга Льва Озерова — книга художника, и вдохновение его, воспламененное общением с высокими образцами поэзии, в свою очередь, заставляет работать мысль и воображение внимательного читателя. Приведенный выше пример со строчками Сельвинского может показаться случайным и не вполне серьезным. Но вот более серьезные соображения, также возникшие по ходу чтения «Мастерства и волшебства». В эссе, написанном о Болдине, Лев Озеров мимоходом замечает: «Здесь сожжена X глава «Онегина»... Зашифрованные отрывки главы, дошедшие до нас, говорят о грандиозности построения: Россия со времен войны 1812 года до декабрьского восстания на Сенатской площади. Не могу даже выразить, какая это потеря — десятая глава...» В этюдах о Блоке читаем: «Незавершенная поэма «Возмездие»... лишь упоминается во многих

книгах о Блоке... Пока что исследователи не сумели раскрыть смысл и глубину «Возмездия»...» И далее: «Из всех попыток поэтов нашего времени приблизиться к пушкинской душевной свободе и умению определять малое и великое в их исторической связи... я считаю наиболее убедительной поэму «Возмездие»...»

Попробуем продолжить мысль Льва Озерова, призвав на помощь даты и строки. В 1910 году появляются в печати расшифрованные отрывки X главы «Онегина». К 1910—1911 годам, по свидетельству Блока, относятся замысел и первоначальные наброски «Возмездия». Это — даты. А вот — строки:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славы,
Над нами царствовал тогда.
(«Онегин»)

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла.
Победоносцев над Россией
Простер свиные крыла.
(«Возмездие»)

Кажется, замени Победоносцева Арачеевым — и будет прямое продолжение пушкинского зачина! А вот в том же «Возмездии» намеренная, подчеркнутая связь с пушкинским «Памятником»: «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век». Насчет «жесточкого века» ясно... Лев Озеров помогает — в книге «Работа поэта» — прояснить генеалогию и «железного века» у Блока: тут ощутим Баратынский: «век шестувает путем своим железным». Добавим, что у термина «железный век» есть предтечи и подревнее Баратынского: вплоть до античного Гесиода... Пушкин в замыслах X главы исторической хроникой «Онегин» завершал, Блок в «Возмездии» с нее начинает. Так подтверждается образное выражение Льва Озерова, что русская поэтическая классика подобна радуге, на одном конце которой — Пушкин, на другом — Блок! Кстати, этот образ радуги присутствует в целом ряде разделов «Мастерства и волшебства», равно как и еще один полюбившийся Озерову образ: «воспаленная зона» лирики... Это не повторяемость, а постоянство: найдены точные слова!

Ощущением протяженности и многоцветности этой радуги и температуры «воспаленных зон» проникнуты статьи Льва Озерова о поэтах-современниках, которых в отличие от Пушкина, Фета, Блока автор знал или знает лично. Здесь глубокое знакомство со стихами переплетается с живыми впечатлениями от встреч, бесед, совместных поездок и выступлений, а иной раз — и споров с самими поэтами. Озеров разворачивает галерею портретов: Пастернак и Багрицкий, Антокольский и Сельвинский, Светлов и Семинин, Звягинцева и Ушаков. Портреты эти сделаны то тушью, то пастелью, то акварелью, реже — маслом. Основное в них — не особенности штриха или мазка, а продуманное расположение светотени: высветлены наиболее близкие душевному строю автора черты изображаемых поэтов. И как много дает ответ непосредственного — рабочего и житейского — обще-

ния! В статье о Михаиле Светлове устные высказывания поэта приводятся не менее часто, чем цитаты из его стихов и статей, облик Асеева или Сельвинского становится скульптурно выпуклым и в то же время — движущимся, изменчивым... В книге «Мастерство и волшебство» мы встречаем ряд имен, фигурировавших в «Работе поэта»: Асеев, Сельвинский, Звягинцева, Семинин... Но в предыдущей своей книге Лев Озеров вел разговор преимущественно о тех или иных поэтических сборниках мастеров-современников. В новой — речь об определяющем и главном в их судьбах и творениях. На статьях первой книги лежал известный отпечаток рецензионности, во второй — проникновение в «самую строчечную суть».

В разделе «Письма о поэзии» мне хотелось бы выделить две работы: «Поэтическая экономия» и «Ода эпитету». В них, равняясь на пример Блока, Лев Озеров вершит суд над стихами именем поэзии. Там есть заслуженные упреки по адресу опытных и признанных, — упреки, высказанные ради того, чтобы не тратился попусту «дорогостоящий материал поэзии». На наш взгляд, эти статьи — достойные образцы критики взыскательной и целеустремленной, тонкого анализа просчетов современного стихописания. Думается, что этот раздел смогла бы украсить и пополнить опубликованная лет пять назад в «Вопросах литературы» статья «Краткий трактат о яблоке», где на примере стихов одного из популярных современных поэтов Лев Озеров ярко исследует проблемы стиля и мировосприятия. К сожалению, она не вошла в книгу, как осталась за ее пределами и заметка «Вперед, к «Медному всаднику», напечатанная в свое время «Литературной газетой» в ходе дискуссии о поэме. А между тем она и сейчас — через семь лет после опубликования — вызывает отклик. Дело не в том, что книга «Мастерство и волшебство» могла бы быть объемистой, — она могла бы стать многогранной в пределах поставленной ее автором задачи: рассказать о стихии лирики.

Примечательна и языковая ткань книги «Мастерство и волшебство»: Лев Озеров не то чтобы намеренно и старательно, а скорей естественно избегает пользоваться в ней расхожими литературоведческими терминами. У книги есть стиль, есть своя образная стихия. Приведу хоть один пример — вот как сказано о последних днях Тютчева: «Мысль уходит из умирающего тела последней, как капитан с гибнущего корабля». Хотя автор «Мастерства и волшебства» выступает во всеоружии эрудиции и методологии, — он нигде не грешит академизмом, а во всем остается поэтом. И к поэтическим именам, перечисленным в оглавлении книги, органически добавляется еще одно — имя самого автора, который, говоря о них, рассказывал и о себе. О поэзии и поэтах Лев Озеров пишет как непосредственный участник творимой поэзии современности.

ЖИЗНЬ МОЛНИИ

Дюла Ййеш. Шандор Петефи. М. «Художественная литература». 1972. 496 стр. Цена 1 р. 52 к.

Жизнь Шандора Петефи была короткой и ослепительно яркой, как вспышка молнии. Она оборвалась в двадцать шесть лет: сражаясь за свободу и независимость родины, поэт пал как воин 31 июля 1849 года в одном из последних сражений венгерской революционной армии с преобладающими силами мировой реакции.

Недолгие годы своей зрелости Петефи «песню пел свою между всяческими бедами, и на сцене, и в строю», но сделал так много, словно предчувствовал неминуемую гибель на поле битвы и свою роль в судьбах венгерской литературы. За каких-нибудь шесть-семь лет он успел создать почти тысячу стихотворений, несколько поэм и рассказов, две драмы, роман, путевые очерки, письма, дневники. Буревестник и трибун революции, «большевик своего времени» (по меткому определению Луначарского), Петефи вывел венгерскую литературу на ту широкую дорогу, по которой она непременно должна была пойти — раньше или позже. В мировой поэзии возвышается его творческое кредо: «Напрасно забывают, что настоящая поэзия — это поэзия народная, она-то и должна стать господствующей. Властвуя в поэзии, народ приблизится и к господству и политике, а в этом — задача века».

За сто пятьдесят лет, прошедших со дня рождения Петефи, его стихи перелетели через горы, моря и океаны, заговорили на множестве языков, далеко за пределы Венгрии разнося славу о великом поэте и певце революции.

«Вместе с нами юбилей Петефи празднует весь мир», — сказал в своей речи на торжествах Петефи Председатель Президиума Венгерской Народной Республики Пал Лошонци, возглавляющий Юбилейный комитет. Эти слова — не дань Международному году Петефи, отмечаемому по решению Всемирного Совета мира в связи со 150-летием со дня рождения великого поэта.

Вот уже много лет в каждой стране, в каждой республике Советского Союза есть свой — французский или чешский, армянский или грузинский — Петефи, который в восприятии читателей обязательно похож на национальных героев этого народа — Давида Сасунского, Витязя в тигровой шкуре или легендарную Жанну д'Арк.

Разумеется, здесь во многом заслуга поэтов-переводчиков, влюбившихся в Петефи и добившихся подлинного мастерства перевоплощения. «Наслаждаясь русскими ритмами маршаковского «Лаци Араню» или пастернаковского «В конце сентября», невольно поражаешься, как верны они по содержанию и по форме. И сколько еще примеров, сколько потрясающих стихов мог бы я привести здесь для иллюстрации этих необыкновенных переводческих достижений!» — пишет крупнейший венгерский поэт

Иштван Шимон в рецензии на один из сборников Петефи. Нельзя не согласиться с Шимоном, который считает, что Петефи перевела «первая шеренга русской поэзии» (Мартынов, Маршак, Исаковский, Левик, Тихонов, Чуковский, Пастернак), свершившая поистине «поэтический подвиг» и сделавшая Петефи достоянием советской поэзии. Ведь именно они помогли нашему читателю ощутить неведомый ему мир, почувствовать уклад жизни старой Венгрии и страну в огне революции, народные обычаи, — словом, «лица необщее выражение», свойственное лишь одному Петефи. А затем уже великий венгр легко, победно «завоевал» почти все наши республики и заговорил на семнадцать языках.

Жизнь Петефи — прекрасная и трагическая, — на редкость богата неожиданными, почти сказочными поворотами, а легенды причудливо сплелись в ней с действительностью.

Но в памяти исследователей Петефи живы не только легенды и народные предания, но и злобная фальсификация поэта-революционера. Ведь к Петефи больше, чем к кому-либо другому, можно отнести старое немецкое изречение: «На мгилах великих людей быстро вырастают цветы и лжедрузья». Да и как могли бы без них, мнимых «приятелей», при жизни Петефи принимавших тайное участие в его травле, праздновать юбилей поэта-революционера, ненавидевшего Габсбургов, в «двуединой» Австро-Венгерской империи? «Превозносятся тебя, тебя все глубже хотят похоронить», — писал в 1923 году, в дни столетнего юбилея, пролетарский поэт Аггила Йожеф, свято присягнувший девизу Петефи «мировая свобода». Борьбу за подлинного Петефи, «Петефи социальной революции», вели крупнейшие венгерские поэты — от Э. Ади и А. Йожефа до ныне живущих Д. Ййеша, Г. Гаран, А. Гидаша, И. Шимона. В их творчестве Шандор Петефи становится примером несгибаемого поэта-революционера, гордо отвечающего «нет!» всем попыткам примирить непримиримое. Он видится им на баррикадах Парижской Коммуны, в героические дни Венгерской Советской республики 1919 года и в буднях социалистической Венгрии.

Помимо неоднократно издававшейся у нас книги Гидаша большой интерес представляет роман-исследование Дюлы Ййеша «Шандор Петефи», недавно вышедшее в издательстве «Художественная литература» в очень удачном переводе Е. И. Малыхиной. Необычна судьба этой книги Ййеша. Она была написана в 1936 году, в годы жестокого террора фашизирующей клики Хорти, и звучала смелым вызовом против реакции, пытавшейся сделать великого революционера «певцом любви и природы», «модным поэтом» и даже актером, увлекшимся ролью народного вождя. С тех пор книга Ййеша переводилась на многие языки мира, неоднократно переиздавалась, а в шестидесятых годах была значительно переработана. Перевод Е. И. Малыхиной сделан с последнего издания Ййеша (1971 г.). Ей удалось мастерски передать все своеоб-

разие прозы Ййеша, по праву считающегося не только «живым классиком», с достоинством несущим «бремя первого венгерского поэта», но и писателем, особенно трудным для перевода. Серьезное литературоведческое исследование читается легко и свободно, как роман, увлекающий с первой же страницы.

Дюла Ййеш обладает редким даром переноситься в далекие казалось бы эпохи и увлекать читателей романтикой героических деяний. О людях прошлого он рассказывает с таким жаром, словно сам только вчера говорил с Петефи, вместе с ним пером и саблей сражался на поле боя, испытывал «стыд поражений, бегство позор» и радость борьбы за народное дело. Так образ Петефи становится зримым, осязаемым, мы видим в нем соучастника борьбы за победу того строя, о котором мечтал Певец Свободы. При этом романтика революционной борьбы, романтика высокого долга — человеческого и гражданского — неразрывно слетаются с интереснейшим историческим материалом и скрупулезным анализом творчества Петефи. Шаг за шагом, с раннего детства и вплоть до гибели на поле Шегешварской битвы, Ййеш прослеживает формирование сильного, непокорного и самобытного характера, закалившегося в горестях и лишениях, которые помогли школяру Шандору Петровичу выпрямиться во весь рост и войти в историю мировой литературы под именем Петефи. «Море, в которое он так доверчиво бросился,— простой народ, венгерская беднота, приняло его в себя и увлекло все дальше, передавая с волны на волну»,— пишет Ййеш. А далее, словно в калейдоскопе, перед нами пронесется множество эпизодов «ураганной» юности поэта, ставшего своим в бурном море крестьянской бедноты. В слиянии с этим морем Ййеш видит самую суть личности Петефи, источник его вдохновения и творческих побед. Скитания бродячего актера, тяготы солдатчины заставляют его «Музу спуститься с романтических горных лугов, усеянных искусственными цветами, на реальную грешную землю». Так в поэзии двадцатилетнего юноши появляются степные табунщики и шинкарки, крестьянские парни и молодухи, деревенские пьянчужки, пытающиеся залить горе вином, и бегяры, которых нужда толкнула на большую дорогу. Это был тот мир «отверженных», до которого редко снисходили его современники. Петефи смело рвет с сентиментальностью модного в те годы романтизма, высоким стилем классицистов, мишурой псевдонародности и с несвойственной литературе тех лет искренностью и непосредственностью говорит обо всех переживаниях, с теплым, мягким юмором подшучивая над своей бедностью.

Ййеш останавливается на том, как постепенно зарождалась у Петефи естественная, почти фольклорная форма стиха, и рассказывает об ошибке одного из исследователей фольклора, включившего стихотворение «Хортобадская шинкарка» в сборник народной поэзии.

Хортобадская шинкарка, ангел мой,
Ставь бутылку, выпей, душенька, со мной!

Ведь, право же, ни одному из «модных» поэтов не пришло бы в голову так ласково и запросто, как к равной, обратиться к видавшей виды деревенской бабе!

Ййеш прослеживает, как органически входили в жизнь народную стихи Петефи, как помогали они подняться над жалкой участью бедняка, почувствовать себя людьми. Писатель приводит любопытные свидетельства этой невиданной популярности Петефи — популярности, пришедшей еще до того, как был опубликован в печати первый сборник его стихотворений. «Каждый вечер он засыпает под звуки собственных песен, которые распевают на улицах». Может ли быть лучшее доказательство народности поэта?

Рядом с образом народного моря исподволь, незаметно возникает поэтический образ огня. Писатель-борец, Петефи ассоциируется с огнем, пожирающим все скверное, с пламенем, столетиями тлеющим в недрах народной души и вырвавшимся на поверхность в славные дни революции.

Да, Дюла Ййеш поэт, и это придает его прозе особое обаяние, прекрасно переданное в русском тексте Е. И. Малыхиной. Но он и психолог, умеющий схватить в человеке главное, глубоко типичное. Вереницей проходит перед нами колоритные фигуры современников Петефи — от прославленного Вёрешмарти, не без труда добившегося издания первого сборника безвестного гения и во всеуслышание назвавшего его первым поэтом Венгрии, до мужественного генерала Бема, под предводительством которого Петефи сражался до последнего дня. В каждом из этих характеров Ййеш обнаруживает множество сторон и граней, ранее неизвестных или трактованных неверно. И в сложных взаимоотношениях со всеми этими людьми еще рельефнее вырисовывается недюжинная фигура Петефи: грозного, дерзко ошестинившегося «смутьяна», вожака передовой молодежи, требовавшего кровавой расправы с врагами народа, и тонкого, вдохновенного лирика, стремившегося к свободе и гармонии, поэта, все помыслы которого были устремлены в будущее.

Книга Ййеша, сразу же ставшая событием в литературной жизни Венгрии, явилась предметом многих литературоведческих исследований, восторженных рецензий видных писателей и литературных критиков. От лица собратьев по перу известный прозаик Лайош Галамбош на страницах журнала «Кортарш» сердечно благодарил Ййеша, открывшего миллионам венгров (да и не только венгров) подлинного Петефи. «Смог бы я без Ййеша понять этот огонь, этого человека?.. А разве мало людей, которые могут наизусть процитировать стихотворения Петефи, дорожат его книгами, интересуются малейшими подробностями биографии, но не видят истинного Петефи...» Галамбош убежден, что в знак благодарности Ййешу за эту радость открытия венгерские писатели будут нести с собой огонь Петефи, творчески развивая его тра-

диции и присягая памяти поэта-революционера так, как это делает сам Ийеш, который помог целому поколению венгерских писателей найти своего подлинного вождя и учителя.

«Право на стихи Петефи мы можем купить лишь одним — признав себя его сторонниками, лишь приняв, почувствовав, наряду с красотой, и дух его, можем мы понять в полной мере его произведения. Таково их требование и одновременно критерий: ибо самое это требование и есть критерий великой поэзии».

Эти заключительные строки книги Ийеша стали девизом венгерских поэтов самой различной творческой манеры — от самого Ийеша до Ф. Юхаса, Л. Надя, И. Шимона, М. Ваца, Л. Герейбеш и целой шеренги талантливой молодежи, гордо называющей себя учениками Петефи и Ийеша.

Е. УМНЯКОВА

Сквозь время

П. Куприяновский. Сквозь время. Статьи о литературе. Ярославль. Верхне-Волжское издательство. 1972. 224 стр. Цена 61 коп.

Давно и много мы говорим о необходимости теснейшей связи критики и литературоведения, об умении взглянуть даже на далекие от нас литературные явления сквозь призму нашего времени и тем самым, может быть, приблизить эти явления к современности, увидеть в них не душную архивную пыль, а живые истоки, без знания которых не понять многое и в развитии литературы наших дней. О новом типе литератора, соединяющего в себе эрудицию ученого-исследователя с оперативностью и публицистическим жаром критика, настойчиво писал А. А. Фадеев. На необходимость теснейшей связи критики с литературоведением указывает постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике».

С большим интересом и вниманием читаешь изданную недавно в Ярославле книгу П. Куприяновского «Сквозь время» — сборник статей о литературе. Из послесловия К. Д. Муратовой, где дана краткая биографическая справка об авторе и обзор основных его работ, мы узнаем, что книга издана к 50-летию автора, постоянно живущего в центре текстильного края — Иваново, где он возглавляет в местном пединституте кафедру литературы, что книга — своеобразный итог определенного этапа его работы, хотя в ней и не представлены известные всеобщему читателю серьезные исследования П. Куприяновского о Дм. Фурманове, опубликованные в свое время отдельными изданиями в Ярославле и Москве.

Книга состоит из трех разделов, резко отличающихся на первый взгляд друг от друга. В первом из них — серьезные, несколько «академические» работы о малоисследованных и спорных явлениях литературы на-

чала XX века, главным образом русского символизма, во втором — статьи о Горьком, в третьем — литературные портреты, статьи и заметки, посвященные поэтам-землякам, а также большая общая статья о поэзии периода Отечественной войны. Как сложно под «общей крышей» построить стройное здание из такого очень уж разного, а кое-где и хрупкого, казалось бы, материала! Но если глубже вдуматься, то станет очевидна композиционная стройность книги — в ней речь идет об идейных истоках советской литературы, обнажаются корни чуждых ей взглядов и концепций, не раз позже возрождавшихся под самым различным камуфляжем, показан расцвет нашей литературы на примере творчества ее корифея — А. М. Горького, сказано о лучших страницах недавнего прошлого и о сегодняшнем этапе ее развития. И все это — на самом разнообразном материале, с подробным, аргументированным анализом творчества писателей разных масштабов и дарований — от А. Вольнского и Д. Мережковского, А. Блока и Н. Гумилева до Н. Майорова и В. Жукова.

Даже при первом беглом знакомстве с книгой она привлекает тщательностью аргументации, неторопливостью в суждениях и выводах, широким привлечением архивных и других малоизвестных материалов, уважительным (чаще всего) отношением к труду своих предшественников — и в больших фундаментальных статьях, и в кратких заметках. Автор постоянно стремится связать развитие литературы с течением сложной и быстро меняющейся жизни, с ее социальными процессами. И название сборника очень точно определяет его суть, внутреннее единство основных разделов.

Книга открывается большой статьей «Из истории раннего символизма». Спокойно и убедительно, вводя в научный обиход немало новых фактов, тщательно анализируя идейно-эстетическую позицию журнала «Северный вестник» 90-х годов прошлого века, автор обнажает порочность основных концепций русского символизма — большого и сложного явления в русской литературе, все еще слабо изученного. Подробно анализируя выступления «лидеров» раннего символизма А. Вольнского-Флексера, Н. Минского, Д. Мережковского и др., П. Куприяновский особо подчеркивает антигуманизм их взглядов, ненависть к лучшим материалистическим традициям русской эстетической мысли, презрение к национальным истокам, обнажает мистико-идеалистическую основу их проповедей. Большой интерес представляет умение автора увидеть в концепциях «правоверных» русских символистов «повторение задов» эстетики наиболее реакционной части западноевропейских модернистов той поры. Автор подводит читателя к неизбежному выводу о пагубности пути символизма для русской литературы. Хочется лишь заметить, что в статье, помеченной 1945—1967 гг., автор ограничивается ссылками лишь на труды исследователей 30—40-х годов. В статье даже не упомянуты некоторые современные работы по истории русского символизма

(В. Орлова, И. Машбиц-Верова, И. Крука и др.).

И в наши дни, как и полвека назад, не утихают споры об Александре Блоке — крупнейшем поэте XX века, талант которого уже отрицать никто не в силах. Блок был одним из основоположников советской литературы, советской поэзии. Но и сейчас многочисленные «советологи», чаще всего из лагеря заокеанских недругов, повторяя утверждения многочисленных пророков и «теоретиков» русского декаданса, пытаются отлучить Блока от советской литературы, увидеть в «Двенадцати» лишь недолгий и случайный взлет его дарования, поведать о длительном кризисе, якобы продолжавшемся у поэта до самой смерти.

Не называя нынешних идейных противников (может быть, их все же следовало бы назвать), П. Куприяновский убедительно разрушает их хитроумные построения во второй статье сборника «Александр Блок и поэты-акмеисты», тесно связанной своей концепцией с предыдущей.

Анализируя творчество поэтов-акмеистов как одну из худших разновидностей русского декаданса, подробнейшим образом рисуя взаимоотношения Блока и акмеистов, П. Куприяновский подчеркивает прежде всего полную противоположность их взглядов на социальную действительность, на отношение искусства к жизни. Если акмеисты всячески стремились прославить устойчивый буржуазный быт, «нарумянить» его, то великий русский поэт в те же годы писал с тревогой и гневом:

Пускай зовут: Забудь, поэт!
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта — нет! Покоя нет.

С огромным пафосом отрицал Блок «страшный мир» буржуазной действительности, поэтизовавшийся акмеистами:

Но только лживой жизни этой
Румяна жирные сотри...

Не случайно А. Блок в многочисленных отзывах на стихи и декларации Н. Гумилева и других поэтов-акмеистов еще до Октября подчеркивал их аполитичность, пренебрежение к гражданским традициям русской литературы. В свою очередь, они выступали с нападками прежде всего на патриотические стихи Блока о России, особенно — на его великолепный цикл «На поле Куликовом».

Октябрь окончательно обнажил пропасть между Блоком и акмеистами. Резкое отрицание акмеизма, в котором великий поэт пронзительно видел отрыв поэзии от национальной почвы, от русской народной жизни, отсутствие чувства родины, содержится в блестящей полемической статье Блока «Без божества, без вдохновенья», созданной им весной 1921 года — незадолго до смерти. Справедливо отмечая одаренность и особый путь некоторых поэтов из группы акмеистов (особенно — А. Ахматовой), поэт вместе с тем беспощадно писал, что Гумилев и его сподвижники «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма», что они «не имеют и не желают иметь тени представле-

ний о русской жизни и о жизни мира вообще», что «они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими...»

Таким образом, статья А. Блока «Без божества, без вдохновенья», несмотря на некоторую идейную нечеткость отдельных формулировок, — яркое свидетельство борьбы Блока за утверждение передовых идейно-эстетических взглядов в молодой советской литературе. Не только стихи А. Блока, но и его публицистика по праву позволяют говорить о нем, как об одном из основоположников советской литературы. «В условиях первых лет революции, — справедливо пишет П. Куприяновский, — полемика Блока с акмеизмом объективно способствовала формированию сил молодой советской литературы, выраставшей в борьбе с явлениями, ей чуждыми и враждебными».

«Академическая» статья П. Куприяновского актуальна и злободневна еще и потому, что иной раз в наши дни можно прочитать работы иных увлекающихся молодых (да и не только молодых!) исследователей советской литературы первых послеоктябрьских лет, где, превратно трактуя известный тезис о многообразии форм искусства нашей страны, утверждается примерно следующее: акмеизм (футуризм, имажинизм и др.), конечно, плох, но акмеисты (футуристы, имажинисты и др.) каждый сам по себе чем-то хорош. Приятные, мол, симпатичные люди, оригинальные, милые поэты... А ведь на деле-то было вовсе не так! И акмеисты, в частности, вовсе не случайно в основной своей массе оказались чужды советской литературе, чужды нашему народу, хотя и нельзя отрицать определенное влияние некоторых сторон акмеизма на отдельных поэтов первых послеоктябрьских лет (Н. Тихонова, Э. Багрицкого и др.). И это убедительно показал П. Куприяновский на примере полемики Блока с акмеистами.

Полезно в связи с этим еще раз вспомнить, что в постановлении ЦК КПСС о литературно-художественной критике особо подчеркивается недостаточная активность современной критики «в разоблачении... декадентских течений, в борьбе с различного рода немарксистскими взглядами на литературу и искусство».

Очень трудно сейчас сказать новое, свежее слово о творчестве Горького — настолько оно подробно изучено, описано. Но и тут П. Куприяновский сумел добиться успеха. Второй раздел книги, посвященный творчеству великого пролетарского писателя, открывается статьей «М. Горький и журнал «Северный вестник», которая отличается обилием новых фактов и свежих наблюдений, относящихся к формированию мировоззрения и эстетических взглядов молодого Горького. Они складывались в сложной обстановке развивающихся в 90-е годы буржуазно-модернистских течений, которым уже в значительной степени противостоял в то время начинавший свой путь А. М. Горький.

Но центральное место в этом разделе занимает статья «Портрет вождя», которая бесспорно является одним из наиболее сер-

езных и обстоятельных в современном горьковедении исследований об очерке «В. И. Ленин». В нем автор справедливо отмечает «лирический голос» писателя как «прямое следствие безграничной симпатии автора к Ильичу, той любви, которую так хорошо подметила Н. К. Крупская в письме к Горькому, делясь с ним впечатлениями об очерке». Автор работы анализирует очерк Горького на очень широком фоне воспоминаний, мемуарных свидетельств об Ильиче (включая весьма малоизвестные), дает тщательный, скрупулезный анализ «художественной ткани» этого замечательного произведения, показывает роль и место очерка в истории всей советской литературы, справедливо называя его «крупнейшим завоеванием литературы социалистического реализма 20-х годов, бессмертным памятником бессмертному человеку».

Автору этих строк уже пришлось убедиться, что к работе П. Куприяновского «Портрет вождя», рассчитанной, разумеется, вовсе не только на узкий круг литературоведов, сразу же после выхода ее в свет проявили большой интерес учителя-словесники; она оказывает им немалую практическую помощь при изучении в школе очерка Горького «В. И. Ленин». Заинтересуются бесспорно этим исследованием и ученые-горьковеды, и студенты-филологи, и все, кому дорога богатая и многогранная история советской литературы.

Третий раздел книги посвящен почти исключительно поэтам родного ивановского края. При этом П. Куприяновский явное предпочтение отдает не шумным и торопливым «новаторам-ниспровергателям», а художникам истинно ярким и самобытным, не потерявшим здоровой связи, с народными истоками, с русской национальной традицией поэзии. Среди них — имена, известные далеко за пределами родных мест, — Дмитрий Семеновский, Александр Благов, Ефим Вихрев, Николай Майоров, Владимир Жуков... Статьи, написанные о них П. Куприяновским, можно отнести к жанру литературного портрета. При этом автор стремится показать не только своеобразие творчества, но и лучшие душевные, человеческие качества писателя.

Этот раздел книги открывается статьей «По следам записки В. И. Ленина», где дается обстоятельный комментарий к письму Владимира Ильича от 28 января 1921 года с просьбой достать ему, по совету А. М. Горького, годовой комплект иваново-вознесенской газеты «Рабочий край», чтобы познакомиться со стихами кружка настоящих пролетарских поэтов». Анализируя творчество этих поэтов первых послеоктябрьских лет, П. Куприяновский приводит интересные, но малоизвестные отзывы о них А. В. Луначарского, отметившего еще в 1919 г., что с приходом революции промышленный и немusыкальный Иваново-Вознесенск превратился в своего рода «поэтическое Афины».

Особенно удачно написан П. Куприяновским в виде отдельного большого очерка портрет старейшины ивановских советских поэтов Д. Н. Семеновского, талант ко-

торого так высоко ценили А. М. Горький, А. А. Блок, В. В. Маяковский. А похвалу этих очень разных художников было заслужить не просто! Горьковское определение Д. Семеновского «Он — поэт настоящий» прочно вошло в историю русской советской поэзии. По складу своего характера поэт был человеком «глубоко эмоциональным, остро впечатлительным, самозабвенно влюбленным в окружающие полевые просторы, перелески, неяркую, но по-своему прекрасную природу Верхневолжья, — пишет П. Куприяновский. — Стихи у него выпевались как бы непрочно». «Бродил в поле и вдруг почувствовал огромную нежность к этим полям, к этому хмурому небу — и заплакал от острой жалости и любви и написал стихи», — так, например, он рассказывает о рождении одного из лучших его стихотворений «Родина».

Облик Д. Семеновского — писателя и человека — рисуется автором очень сдержанно, но любовно и точно: «Из-за Дмитрия Семеновского критики не ломали копий. Свою большую жизнь в поэзии он прожил скромно, вдали от шумных литературных перекрестков, не витийствуя, не претендуя на славу и бурный успех. И в быту это был необычайно скромный человек».

Запоминается литературный портрет ивановского поэта и публициста Ефима Вихрева. Страстный, убежденный коммунист, всего себя отдавший делу Октябрьской революции, был не только одаренным поэтом, но и одним из лучших пролетарских журналистов 20—30-х годов. Он известен как вдохновенный певец палехского искусства, друг и советчик палешан. По словам Д. Семеновского, своими очерками Е. Вихрев открыл миру Палех как некую неизвестную страну. Многие грани дарования интересного писателя, прожившего недолгую, но яркую жизнь, впервые осветил в своем очерке П. Куприяновский.

Более бегло, но достаточно интересно и живо созданы в том же разделе книги портреты старых ивановских рабочих поэтов А. Ноздрина и А. Благова, сравнительно мало известных широкому кругу современных читателей.

Особо хочется выделить лаконичный, но душевно и выразительно написанный портрет геройски погибшего во время Отечественной войны молодого поэта-ивановца Николая Майорова, художника редкого, незаурядного дарования. Его программное стихотворение «Мы», впервые опубликованное уже после войны, сейчас стало подлинно хрестоматийным. В нем — поразительный по силе поэтического обобщения портрет нашей молодежи последних предвоенных лет с ее максималистскими требованиями и устремлениями. Портрет юности, устремленной к созданию, к творчеству, к любви, к распахнутому настежь миру:

Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Мы жгли костры и вспять пускали реки,
Нам не хватало неба и воды.

Мы брали пламя голыми руками,
Грудь раскрывали ветру. Из ковра

Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.

П. Куприяновский перечисляет имена поэтов и критиков, друзей Н. Майорова, буквально по крупницам собирающих и все еще собирающих его стихи. Но из понятной скромности он не называет и самого себя. А ведь именно автор этой книги одним из первых полным голосом сказал о большом таланте поэта-земляка и разыскал немало неизвестных его стихов.

Совершенно органически соседствует с очерком о Н. Майорове литературный портрет поныне здравствующего ивановского поэта того же поколения — В. Жукова, прошедшего трудный путь солдата Великой Отечественной войны. Имя В. Жукова почти не встретишь в привычных «обоймах» столичных литературных критиков, но это вовсе не мешает ему быть одним из лучших современных поэтов России, что так убедительно и обстоятельно показано в работе П. Куприяновского, согретой особой душевной теплотой к доброму таланту поэта-друга.

Завершает книгу обзорная статья о поэзии периода Великой Отечественной войны «На вооружении народа», помеченная 1959 годом. Безусловно, она представляла немалый интерес для своего времени; и сейчас читатель найдет в ней яркие характеристики, интересные наблюдения, но после выхода в свет капитальных исследований на ту же тему А. Абрамова и других литературоведов статья явно «потускнела». Кое-где заметны в ней общие фразы, известная декларативность, столь редкие вообще-то в книге П. Куприяновского.

Боясь весьма модного сейчас обвинения в «комплиментарности» критики, торопимся с замечаниями о некоторых недостатках, спорных моментах интересной книги. Так, вряд ли представляет интерес для широкого читателя, на которого прежде всего ориентируется автор, опубликованная в разделе о творчестве Горького заметка «Загадочный рассказ». Из нее следует, согласно гипотезе автора (не слишком, на наш взгляд, убедительной), что известный рассказ А. М. Горького «Болезнь» ранее имел название «Обман». Что ж, может быть, это и так... Ну и что же?

Книга написана чистым, ясным литературным языком, без «витийства», которое так справедливо осуждает сам автор. Но иной раз хотелось бы, особенно при чтении первого раздела, пожелать автору избавиться от «академической» скованности, явной перегрузки цитатами и сносками. Вряд ли постоянно нужны холодная сдержанность и бесстрашие, особенно если речь идет о наших идейных противниках.

Можно, наконец, отметить небрежное редактирование некоторых страниц...

Но стоит ли дальше цепляться к мелочам? Важнее всего главное: вышла в свет новая интересная книга ученого, литературного критика. Книга, пронизанная острым чувством современности, еще раз разбивающая все еще живучее представление о «литературной провинции».

В. РУЖИНА

Биография Томаса Манна

С. Апт. *Томас Манн. М., «Молодая гвардия», серия ЖЗЛ. 1972. 349 стр. Цена 87 коп.*

В нашей стране автора «Будденброков», «Волшебной горы», «Доктора Фаустуса» хорошо знают и высоко ценят. О творчестве Томаса Манна в советском литературоведении написано уже немало. Теперь литература о Т. Манне обогатилась новой книгой, написанной в популярном жанре биографии. Но это не «романизованная» биография, а строго обстоятельное, научно документированное жизнеописание замечательного немецкого художника XX века. Автор книги опирается на «факты и документы» — художественные произведения, эссеистику, богатое эпистолярное наследие.

Т. Манн за свою долгую жизнь написал свыше десяти тысяч писем. В шестидесятые годы вышли различными изданиями письма Т. Манна, его переписка с братом Генрихом, немецким литератором Эрнстом Бертрамом, венгерским историком Карлом Кереньи. По словам Эрики Манн, дочери писателя и издательницы его писем, нигде Т. Манн не предстает таким живым и многогранным, как в письмах. Строго придерживаясь богатого фактического материала, исследуя, анализируя его, С. Апт воссоздает в неповторимой жизненности облик писателя.

В суждениях Т. Манна о собственном творчестве С. Апт находит ключ к изучению его биографии, его личности. Истина, что всякое художественное произведение неотделимо от создателя, в большей степени, чем к другим, приложима к Т. Манну. Т. Манн причислял себя к художникам автобиографического склада, чьи произведения являются «частью их творческой биографии, более того — частью их жизни и самой их личности». Всю свою литературную деятельность писатель рассматривал как «единую исповедь». «Исповедально-автобиографическое начало, — пишет С. Апт, — прочно утвердилось в творчестве Т. Манна».

Воссоздавая биографию своего героя, С. Апт стремился проследить те нити, которые связывали автора с его творениями, показать органическое взаимопроникновение жизни и творчества. Зная пристрастие Т. Манна к возведению в символы переживаний и событий собственной жизни, зная, что «в любом его романе, да и в новеллах, есть много автобиографического материала», автор книги подолгу останавливается на произведениях, ставших основными вехами духовной эволюции, прослеживает, как бережно писатель запечатлевал в них факты своей жизни, придавал им сверхличное, важное для всех значение. Даже в тех произведениях, где внешний автобиографический материал занимает гораздо меньше места, чем в первом романе «Будденброки» и новелле «Тонио Крёгер», своим героям прин-

цу Клаусу — Генриху («Королевское высочество»), Ашенбаху («Смерть в Венеции»), Гете («Лотта в Веймаре») и даже библейскому Иосифу писатель отдал собственные размышления и чувства. Адриана Леверкюна и его друга Серенуса Цейтблома в знаменитой «итоговой» книге «Доктор Фаустус» автор также наделил собственными чертами характера, привычками, пристрастиями, суждениями. При этом, разумеется, нельзя сводить романы Т. Манна только к автобиографизму. «Я свято верю, — писал Т. Манн, — что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я бы отказался от всякого творчества». Так, в «Будденброках» Т. Манн, по словам С. Апта, одушевил историю собственного семейства, придал ей широкое символическое значение. И сам Т. Манн отметил, что своим рассказом о распаде одной бюргерской семьи «возвестил о более глубоких процессах распада и умирания, о гораздо более значительной культурной и социально-исторической ломке». Принадлежа рождению и воспитанию к немецкому бюргерству, Т. Манн на близком и хорошо ему знакомом жизненном материале ставил и повсюду решал важнейшие проблемы современности.

В первой главе С. Апт обрисовывает среду, в которой прошло детство Т. Манна, отмечает органическую приверженность будущего писателя к бюргерской культуре, его нравственную связь с отцом. «От отца мы унаследовали «суровость честных правил», этическое начало, которое в значительной степени совпадает с понятием бюргерского, гражданского... Этическое начало не позволяет художнику смотреть на искусство как на освобождение от всякого человеческого долга».

Опубликованные несколько лет назад вдовой писателя первые юношеские произведения, написанные Т. Манном-гимназистом для журнала «Весенняя буря», дают возможность автору книги судить о «явном подражании Гейне» и о «самобытном и глубоком толковании житейских фактов». Работа молодого Т. Манна в берлинском журнале «Двадцатый век», где он развивал националистические идеи, и его ранняя новеллика говорили, по мнению автора, о «чрезвычайно медленном политическом созревании очень рано созревшего художника и органической неспособности замкнуться в своей «музыке». С. Апт верно нащупывает здесь предвосхищение дальнейшего писательского пути Т. Манна.

С. Апт справедливо выделяет одну из тем, которая поглощала Т. Манна, начиная с «Будденброков». «Художник и бюргер» — так примерно можно определить главную проблему, главный нерв написанных им до войны новелл и романов». Посвятив себя литературе, Т. Манн с одной стороны чувствует свое избранничество, свое духовное и моральное превосходство над бюргерским обществом, с другой — тянется к теплу простых человеческих отношений, тоскует, говоря словами Тонио Крёгера, по «блаженству обыденности». Писателя угнетает ощущение холодности, обедненности своего существования, целиком подвластного «бичу

таланта». Тонио Крёгер, в признаниях которого С. Апт усматривает «черты автопортрета», называет себя «бюргером, оплошно забредшим в искусство»: «Ведь это бюргерская совесть заставляет меня в занятиях искусством, во всем из ряда вон выходящем и гениальном видеть нечто двусмысленное, глубоко подозрительное, вызывающее опаску. Отсюда и моя нежность, граничащая с влюбленностью, ко всему примитивному, простодушному, утешительно нормальному, заурядному и благопристойному». Не щадя, критически оценивая себя, художник преодолевал мучительные чувства, делая их предметом раздумий в целом ряде произведений».

Новелла «Смерть в Венеции», написанная Т. Манном накануне первой мировой войны, содержит, по мысли С. Апта, наиболее глубокий по сравнению со всем предыдущим творчеством анализ проблемы «художник и бюргер». На примере судьбы писателя Ашенбаха «довольно отчетливо выявилось то соседство эстетизма и варварства, прусской дисциплинированности и темных страстей, всю опасность которого для бюргерства и Германии Т. Манн, доголе «аполитичный», осознал только после опытов мировой войны». Автор видит в новелле предвосхищение духовного кризиса, пережитого Т. Манном в военные годы. Война ускорила выход писателя из круга внутренних проблем искусства и обострила его интерес к общественной и политической проблематике. С. Апт не выпрямляет, не сглаживает противоречивой позиции, занятой Т. Манном в годы войны, тщательно исследует постепенный процесс освобождения писателя от националистически-консервативных иллюзий.

Участившиеся в 20-е годы лекторские поездки по городам Европы, публичные чтения своих произведений, активная общественная деятельность, работа над романом «Волшебная гора» и новеллой «Марио и волшебник», раскрывающей психологию фашизма, указывали на духовную эволюцию, пережитую автором «Размышлений аполитичного». «Как никто другой, пожалуй, — писал позднее Т. Манн, — испытал я на самом себе в тяжелых борениях порожденную эпохой властную необходимость перехода от метафизически-индивидуального к социальному».

Отбросив свои прежние мысли о независимости «духа» от политики, Т. Манн занял решительную позицию в годы гитлеровской диктатуры. Эмиграция из фашистской Германии, антифашистская деятельность, которой он отдал много сил и времени, выглядят в книге С. Апта не чем-то неожиданным в судьбе Т. Манна, а естественным продолжением наметившейся в двадцатые годы новой линии поведения.

Подробный анализ дневниковых записей Т. Манна 1933—1934 годов, метко названных «Страдая Германией», раскроют читателю тревогу писателя-гуманиста за судьбу его родины, ту зоркость, «с какой он в первые же, можно сказать, дни гитлеровской диктатуры, в дни, когда к фашизму еще никто не прилагал эпитета «обыкновенный», разглядел самые разные аспекты этого

страшного порождения XX века». Т. Манн, показывая пример бескомпромиссной твердости, в публичных заявлениях и докладах тридцатых годов настойчиво повторял призыв бороться с фашизмом, «основать новый гуманизм»: «Воинствующий гуманизм — вот что нужно сегодня, гуманизм, который обнаружил бы свое мужество, проникшись убеждением, что принцип свободы, терпимости и сомнения нельзя позволять эксплуатировать и подавлять лишенному стыда и сомнений фанатизму». Главной для Т. Манна становится мысль об огромной ответственности художника перед своим временем, ощущение неотделимости искусства от первостепенных социальных и политических проблем. Однако С. Апт не замалчивает и «мотивов усталости», порою овладевавших писателем.

По ходу повествования автор анализирует целый ряд произведений Т. Манна и делает это интересно, талантливо. Они получают в книге четкую, подчас новую оценку. Свежо, по-новому истолковывает С. Апт роман «Лотта в Веймаре». Ранее роман связывали с историческим жанром (Н. Вильмонт — в этюде «Гете в романе Томаса Манна»). Один из главных мотивов «Лотты в Веймаре» С. Апт видит в отношениях Т. Манна с его соотечественниками, в проблеме «я и немцы». Книга эта, пишет автор, «очень личная, очень автобиографическая», теснейшим образом связана со временем, когда она писалась. Читатель сможет проследить еще один из этапов творческой эволюции Т. Манна. Сущность её в расхождении писателя с бюргерством, которое раньше было для него синонимом Германии. Теперь, когда его именуют «господин Тонио Крёгер», ему кажется это «совершенно неверным». Тонио Крёгер принадлежал уже прошлому, как и образ Гете, в котором еще сравнительно недавно, в дни гетевского юбилея 1932 года, Т. Манн видел «представителя бюргерской эпохи». Теперь на первый план выступают стороны жизни и личности Гете, отделявшие его от немецкого бюргерства, ставившего его над ним. С. Апту-биографу важно, чтобы читатель почувствовал особую роль образа Гете. «В «Лотте» дан двойной портрет — и Гете, и автора: «Гете «Лотты», оставаясь историческим Гете, был для нашего героя и таким медиумом, как бы и рупором, и в то же время сурдинкой для собственной исповеди».

Читатель почерпнет много новых сведений о различных обстоятельствах американского периода жизни Т. Манна, связанных с его общественной деятельностью и работой над художественными произведениями, семейных и бытовых. В первые же месяцы жизни в Америке Т. Манн, не отстраняясь от насущнейших вопросов борьбы с гитлеровской Германией, стремился установить связь, по его словам, между «немцами внутри страны и нами, представителями духовной Германии за рубежом». С 1940 по 1945 год писатель обратился к немецким слушателям по радио пятьдесят пять раз. Германней он жил в Америке и как художник, работая на исходе второй мировой войны над романом «Доктор Фаустус». Привычным для Т. Манна было его обращение в «Фауст-

тусе» к теме искусства. Существенная особенность «Доктора Фаустуса» по сравнению с предыдущими произведениями Т. Манна состоит, по мнению С. Апта, в том, что роман этот наименее «герметичен». В неразрывной связи частной судьбы с судьбами Германии, буржуазной культуры и буржуазного общества видит С. Апт особенность знаменитого романа-итога.

Т. Манн питал к России непреходящие глубокие чувства, восхищался «святой русской литературой». В последние годы он не раз высказывал свое непримиримое отношение к антикоммунизму и антисоветизму, выступал за мир между народами.

Жизнь Т. Манна и творчество Т. Манна, подобно произведению искусства, подчинены какому-то высшему внутреннему единству. С. Апт-биограф, связывая воедино факты жизненного и творческого пути писателя, производит самое сильное впечатление тем мастерством, с каким дает почувствовать читателю «единство и цельность» художнического и человеческого облика Т. Манна. В этом смысле С. Апт выполнил пожелание Т. Манна видеть свою биографию «единой и цельной», высказанное в письме от 8 декабря 1949 года: «Люди, которые видят единство моей жизни, видят, что я не только ничего из нее не теряю, но всегда беру с собой раннее и вношу его в позднее, — такие люди всегда принадлежат к наиболее умным, причем, как правило, не только в этом вопросе».

Привязанность к однажды выбранной теме, строгая преемственность этапов творческой жизни — характернейшая примета томасманновского своеобразия. Первая мысль написать книгу о «своем Фаусте» посетила Т. Манна в 1901 году, а написан был роман на исходе второй мировой войны. В одном из писем 1951 года Т. Манн сообщает, что, возобновив работу над «Признаниями авантюриста Феликса Круля», продолжает писать на том же листе рукописи, где остановился в 1911 году. Листок, дорисованный через сорок лет — наглядный пример цельности, последовательности творческой жизни Т. Манна. Писатель, претерпевший длительную и сложную эволюцию, всегда оставался верен себе, менялся, но никогда не изменял основному и главному: его творческие усилия служили гуманизму, поискам истинной человечности.

С. Апт тщательно и критично взвешивает суждения писателя о себе и собственном творчестве. Так, автор не соглашается с мыслью Т. Манна, что ему был чужд интерес к внешним, зрительным впечатлениям, приводит в доказательство «Книгу с картинками» (содержащую рисунки Томаса и Генриха Маннов) и в связи с нею пишет: «Карикатура «Адвокат Якоби и его супруга» до мелочей соответствует словесным портретам новеллы «Луизхен». А сколько в дальнейшем творчестве, и в новеллах, и в романах, таких же тщательных описаний наружности героев, как эти, сделанные на самых первых порах! Притом описаний не выдуманных, а опирающихся на «натуру», на прототип. Нет, когда дело касалось изображения человека, обстоятельный «внеш-

ний аспект» был Томасу Манну, за редчайшими исключениями, просто необходим». В «Очерке моей жизни» Т. Манн, объясняя природу успеха «Волшебной горы», писал, что «немецкий читатель узнал себя в простодушном, но «лукавом» герое романа; он был способен и согласен следовать за ним». Это утверждение не представляется автору книги бесспорным. Среди читателей «Волшебной горы», справедливо отмечает С. Апт, были не только те, кто разделял позиции «друга человечества» Сеттембрини, но и те, кто вряд ли держался «касторповской середины», кто склонен был скорее следовать путем, рекомендуемым Нафтой.

Самые значительные события в жизни художника — это его творения. Но жизненный путь такого большого писателя, каким был Томас Манн, и сам по себе представляет огромный интерес. Его жизнь может показаться внешне вполне благополучной: успех, выпавший на долю его первого ро-

мана «Будденброки», всегда сопутствовал ему. Лауреат Нобелевской премии, к слову которого прислушивался мир, относился к прижизненной славе спокойно, временами скептически. Необычайно развитое чувство ответственности перед Германией, современниками, человеческая отзывчивость, «совестливость», пишет С. Апт, делают его одним из замечательных людей нашего времени.

Книга о Т. Манне написана с подлинным писательским мастерством. В ней «изложение и разбор фактов» — так скромно определяет свою задачу автор — сочетаются с глубоким проникновением в душевный мир художника, с умением пластично передать его живой и полнокровный образ во всей сложности и противоречивости. Перед нами и художественная, и исследовательская биография. Ее появление — значительное событие в советской литературе о Т. Манне.

М. ЧЕРНОВА



ИСПОВЕДЬ ГРАФОМАНА

Теперь, когда никто не осмелится назвать меня графоманом, когда издано двадцать пять моих книг, куда вошли семнадцать романов, тридцать шесть повестей и три сотни рассказов, когда по моим сценариям и пьесам поставлено шесть фильмов и двадцать восемь спектаклей, — теперь я могу признаться: да, я действительно графоман. Вот уже скоро семнадцать лет, как меня одолевает неистовый творческий зуд. Как другие не могут не пить, не курить, не играть в преферанс или домино, так я не могу прожить дня, чтобы не исписать хотя бы пары десятков страниц.

С шестнадцати лет я начал наводнять редакции своими писаниями. Сначала мне не отвечали. Потом стали советовать учиться, приобретать жизненный опыт, совершенствовать мастерство. Наконец из одной редакции сообщили, что у меня имеются «несомненные литературные способности». После этого я сразу же вообразил себя Гоголем, Чеховым, Львом Толстым, Достоевским, Шекспиром и Мольером в одном лице. Мой сочинительский зуд, а вместе с ним и моя продуктивность сразу же возросли вдвое. Если раньше я наводнял редакции своими опусами, то после получения этого письма навод-

нение перешло в потоп. Многим редакциям пришлось выделить по специальному сотруднику — исключительно для чтения моей писанины, которая поступала к ним ежедневно, а то и по два раза в день.

Поскольку, несмотря на мои «несомненные литературные способности», все мои опусы единодушно отклонялись, я стал жаловаться. Жаловался на литературных сотрудников, редакторов, старших редакторов, заведующих отделами и редакциями, главных редакторов и директоров издательств — боже мой, на кого я только не жаловался! И при этом, ничуть не снижая темпов, строчил и отсылал, отсылал и строчил все новые повести, романы, кинопоэмы, драмы, комедии, либретто опер и оперетт, сборники рассказов, литературно-критические обозрения, проблемные статьи, рецензии — все, что производила моя воспаленная фантазия.

Да, бог не дал мне таланта. Зато он дал мне такую пробивную способность и такую непоколебимую уверенность в себе, перед которой не устоял бы и сам дьявол.

В войне нервов выигрывает тот, у кого крепче нервы. Мои нервы сделаны из железобетона. Моей невозмутимости позавидует носорог. Редакции должны были капитулировать, и они начали капитулировать одна за другой.

О, как им приходилось мучиться, чтобы придать моей макулатуре хоть сколько-нибудь приличный вид! Но другого выхода у них не было. Ругались, плевались, проклинали меня на чем свет стоит, но — печатали. Переделявали мои

опусы так, что моего там, собственно, почти ничего не оставалось, но — печатали, и — под моим именем. Вкладывали в мою убогую писанину то, что сами вносили, выстрадали, придумали, изобрели и — печатали. Разумеется, — под моим именем.

Конечно, не все. Иначе им пришлось бы печатать меня одного. Однако ежемесячно лавина моего зудотворчества обрушивалась на головы читателей. Талантливые произведения ждали годами, а меня печатали. Журналы теряли подписчиков, а меня печатали. Издательства превращались в поставщиков макулатуры, а меня печатали.

Из-за меня закрылось пять журналов и два издательства. Один директор издательства сошел из-за меня с ума, три главных редактора и шесть заведующих редакциями покончили жизнь самоубийством, двадцать редакторов получили инфаркты и инсульты, — а меня печатали и продолжают печатать.

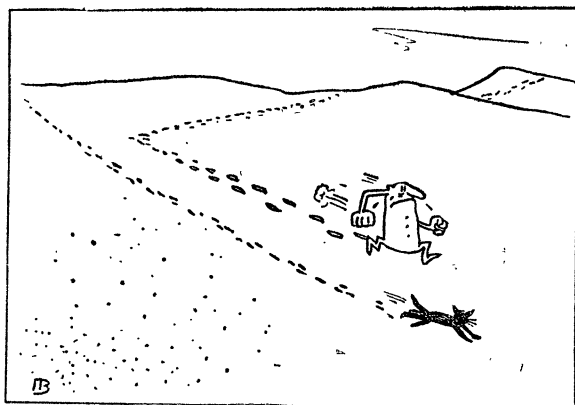
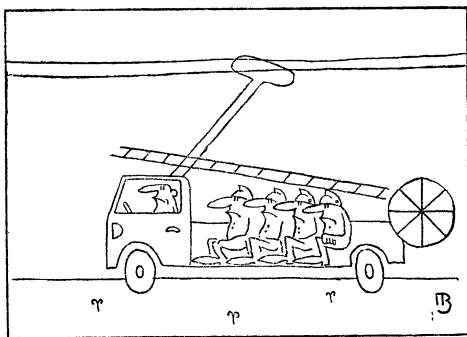
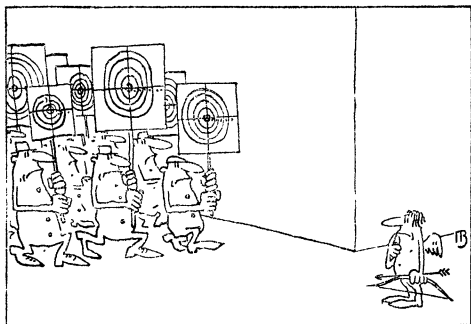
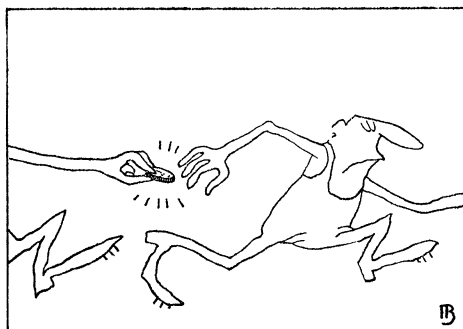
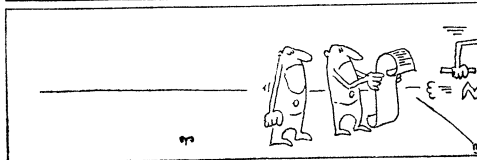
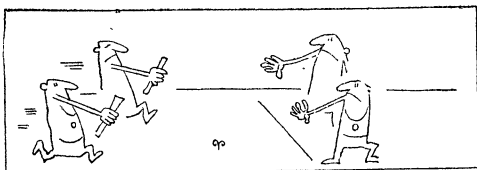
Со мной пробовали бороться: устраивали мне темную, спускали с лестницы, выбрасывали из окна, били по голове пишущими машинками. Но у меня крепкая голова. Я жив и здоров. А после сотрясения мозга, которое я получил, когда мне на голову сбросили линотип, я стал писать еще больше.

Теперь на мою жизнь больше не покушаются. Поняли: себе же обойдется дороже. И когда я прихожу в редакцию или издательство, на киностудию или в театр, там больше не объявляют пожарной тревоги, не закрывают изнутри двери. Поняли: если меня не пустить в дверь, я пролезу в окно, в форточку, в замочную скважину, пройду сквозь стену.

Сегодня в троллейбусе случайно услышал разговор двух редакторов. Речь шла обо мне. Один назвал меня стихийным бедствием. Другой с ним согласился. Это меня взорвало. Что я для них бедствие — с этим я не спорю. Но почему — стихийное? Ну нет, голубчики! Вы, вы меня породили! А уж теперь я вас дождю.



БЕЗ СЛОВ...



Художник

В. ПЕСКОВ

Наш 
вернисаж

ВЯЧЕСЛАВ ОРЛОВ

ПАРОДИЯ

ДЛЯ ПРАВНУКОВ

*Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Жди срока, Ньютон! Потерпи, Эйнштейн!
Я подружился с Диаклетианом...*

(Павел Антокольский)

Люблю с друзьями посидеть в харчевне,
Коль скоро подадут тебе харчо в ней,
И жаль, коль нет дежурного врача в ней

На случай всяких там перипетий.
Здесь Врубель сам с Иеронимом Босхом,
Художники, еще не члены МОСХа.
Манон Леско, что распуская леску,
К аббату де Грие спешит уйти.
Эйнштейн глядит из-за спины Спинозы
И морщится, что заглушают «МАЗы»
Довольно музыкальный голос Музы,
Толкующей с Шекспиром и Гюго
О милой сердцу Англии и Франции,
О том, что вздорожали индульгенции,
А доллар потерял былые функции
И стал бумажкой. ТОЛЬКО И ВСЕГО!
И стал бумажкой. Только и всего!

ВЕСЕЛАЯ РОССЫПЬ

Губа не дура. А сам?

Хотел попасть в большую литературу, а попал в переплет.

Пустить по миру можно и без визы.

Взять на брудершафт часто легче, чем на абордаж.

Его интересовали не причины, а последствия.

Ю. ВОИТИЛЕВ

· Не начинай творить чудеса, пока тебя не объявили святым.

Отвел душу — приведи ее обратно!

Презирать ослов — еще не значит любить мудрецов.

Иному легче делать дела, чем дело.

А. ФЮРСТЕНБЕРГ

· Если пересчитать все звезды на небе, то окажется, что звезд с неба никто не хватал.

С. АЛЬТОВ

Что сводит человека в могилу? Жизнь.

Не бряцай своими железными принципами — ты не робот!

В. ЛОМАНЫЙ

Каждый предпочитает, чтобы его третировали, нежели четвертовали.

Почил в позе.

Б. КАМЯНОВ

Не зная броду, пропустил вперед товарища.

Д. РУДЫЙ

Не путай прогресс с прогрессивкой!

Е. МОСТОВОЙ

За одного битого пятнадцать суток дают.

П. НИКОЛАЕВ

Журнал «Москва» в 1974 году

В будущем году предполагается опубликовать

романы: **Г. Коновалова** «ПРЕДЕЛ», **М. Стельмаха** «ЗА ТАТАРСКИМ БРОДОМ», **П. Проскурина** «БЕРЕГ СУДЬБЫ», **И. Данилова** «ХРОНИКА МОЕЙ СТАНИЦЫ», **М. Коршунова** «ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ»; повести: **Е. Пермьяк** «ВМЕСТО РОМАНА», **Л. Якименко** «ЖЕРЕБЕНОК С КОЛОКОЛЬЧИКОМ», **Ю. Бородкина** «КОЛОГРИВСКИЙ ВОЛОК», **Вл. Андреева** «ГРУСТНАЯ ПТИЦА», **Л. Корнюшина** «ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ», **Л. Федоровой** «ИЗ ЧУЖОГО ГНЕЗДА».

Свои новые произведения нам передают

И. Акулов, А. Ананьев, Г. Бакланов, Г. Боровиков, А. Иванов, Ю. Куранов, Л. Ленч, В. Лидин, Ю. Нагибин, А. Рекемчук, В. Солоухин, Л. Фролов, В. Цыбин, С. Шуртаков.

В журнале выступят поэты

К. Ваншенкин, С. Васильев, С. Викулов, Р. Гамзатов, М. Горбунов, В. Гордейчев, Н. Грибачев, Н. Доризо, И. Драч, М. Дудин, Е. Исаев, Д. Ковалев, В. Кочетков, М. Луконин, М. Нагибеда, С. Наровчатов, С. Орлов, Г. Регистан, Л. Решетников, И. Рядченко, В. Сидоров, С. Смирнов, В. Соколов, А. Софронов, Ф. Сухов, Н. Тряпкин, В. Федоров, В. Фирсов, О. Фокина.

Будут опубликованы стихи молодых поэтов, переводы с языков народов Советского Союза и стран мира.

«Москва», углубляя шефские связи с Московским автозаводом им. Ленинского Комсомола, намерена опубликовать очерки о делах и людях прославленного предприятия, вести «Дневник АЗЛК».

Проблемы, волнующие ученых, медиков, зодчих столицы, темы социальной, экономической, культурной и международной жизни страны найдут отражение в выступлениях писателей и журналистов **Б. Агапова, А. Злобина, А. Медникова, В. Панова, В. Полторацкого, Л. Кудреватых, В. Селюнина, М. Брагина, Л. Кокина, Б. Светличного, Е. Темчина** и других. Журнал предоставит свои страницы партийным и общественным деятелям, видным военачальникам.

О становлении советского кино расскажет читателям народный артист СССР, Герой Социалистического Труда **Г. Александров.**

В разделе «Искусство» будут опубликованы отрывки из книги **Нади Леже** «С природы и по памяти». Книга рассказывает о судьбе художницы, ее встречах с такими выдающимися людьми, как Марсель Кашен, Морис Торез, Пабло Пикассо, о жизни и творчестве Фернана Леже.

Известные деятели советской культуры поделятся своими размышлениями по проблемам театра, кино, музыки, изобразительного искусства.

Со статьями по актуальным проблемам современной советской и зарубежной литературы выступят известные критики и литературоведы **Ю. Барабаш, А. Беляев, Г. Бровман, П. Выходцев, И. Гринберг, В. Демантьев, В. Друзин, А. Дымшиц, Л. Иванова, Е. Книпович, М. Лобанов, Ю. Мелентьев, А. Метченко, А. Михайлов, В. Новиков, А. Овчаренко, Н. Потапов, Д. Стариков, Д. Тевекелян, В. Чалмаев, В. Щербина**, а также молодые авторы критического отдела.

СОДЕРЖАНИЕ

	МОСКВА СОВЕТСКАЯ. Из хроники	3
ПРОЗА	Николай Родичев. ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ. Рассказ Фазу Алиева. СТО ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ КО- СИЧЕК НЕВЕСТЫ. Роман	13 40
ПОЭЗИЯ	Сергей Викулов. КОСТЕР ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ. Борис Бобы- лев, Николай Горохов, Сергей Мнацаканян, Раиса Романова, Ла- риса Румарчук, Виталий Шента- линский, Татьяна Шубина. Стихи . . .	10 30
	ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ. Микола Ав- рамчик, Анатолий Гречаников, Сергей Гроховский, Иван Колес- ник. Стихи Александр Коваль-Волков. БЕЛАЯ ВЕСНА	36 145
ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА	И. М. Чистяков. КУРСКАЯ БИТВА	147
МОСКВА — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА	Н. Щербина. КОНТУРЫ НОВОГО ГОРО- ДА.—Николай Панин. ДНЕВНИК АЗЛК	178
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	Юлиус Фучик. «МЫ РОДИЛИСЬ В ВЕЛИ- КУЮ ЭПОХУ». Письма. Вступительная статья Нины Николаевой	165
ИСКУССТВО	Игорь Горбачев. РАДОСТЬ МОЯ — ТЕАТР, БОЛЬ МОЯ — КИНО.—Юрий Тюрин. МАС- ТЕР ИЗ СОЛИГАЛИЧА	183
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	В. Новиков. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ХУДОЖЕ- СТВЕННОСТЬ Наши юбиляры. Анатолий Елкин. НЕВ- СКАЯ БАЛЛАДА. К 60-летию Александра Ча- ковского	193 201
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ	Н. Жегалов. ПРАВДА ФАКТА И ПРАВДА ИСКУССТВА.—Лазарь Шерешевский. ИМЕНЕМ ПОЭЗИИ.—Е. Умнякова. ЖИЗНЬ МОЛНИИ.—В. Ружина. СКВОЗЬ ВРЕМЯ. М. Чернова. БИОГРАФИЯ ТОМАСА МАННА	204
САТИРА — ЮМОР	Михаил Анин-Крутик. ИСПОВЕДЬ ГРА- ФОМАНА.—Вячеслав Орлов. ДЛЯ ПРАВ- НУКОВ. Пародия.—ВЕСЕЛАЯ РОССЫПЬ.—НАШ ВЕРНИСАЖ. Художник В. Песков	220
ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»	Григорий Островский	

Художественный редактор
Н. И. ЛОМАКО

Корректоры: О. С. Карцева, Т. С. Панкратова

Технический редактор
Л. Н. ПЕТРОВА

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16. Сдано в набор 18/VI 1973 г. Подписано к печати 25/VII 1973 г. А02142. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Тираж 274 000 экз. Печ. л. 14,0 = 19,6 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 22,603 + 4 вкл. = 23,518. Заказ № 2406. Цена 50 коп.

50 коп.

Индекс
73253.